

**Н О В Ы Й  
М И Р**

**9**

---

**МОСКВА**

**1940**

# НОВЫЙ МИР

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Москва, 1940 г.

№ 9

Год издания XVI

★ ★ ★

## СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
Людас Гира — Стихотворения . . . . .	3
Иоганнес Барбарус — Стихотворения . . . . .	5
Максим Танк — Стихотворения . . . . .	7
Ник. Асеев — Над пасмурным Лондоном, стихотворение . . . . .	9
Г. Байдуков, Д. Тарасов, Б. Чирсков — Валерий Чкалов, сценарий, режиссерская разработка М. Калатозова . . . . .	10
Евг. Долматовский. — За Карпатами, стихи . . . . .	54
А. Твардовский — Загорье, стихи . . . . .	57
Михаил Пришвин — Фацелия, поэма . . . . .	64
К. Мурзиди — Небо, стихотворение . . . . .	97
А. Антоновская — Великий Моурави, роман, продолжение . . . . .	88
Вас. Кудашев — Наташа, рассказ . . . . .	146
К. Бадигги — На корабле «Георгий Седов» через Ледовитый океан, продолжение . . . . .	156
—	
Сергей Юрин — Рассказы о деревьях . . . . .	190
—	
Акад. Филарет Колесса — Об украинском фольклоре . . . . .	202
Анна Караваева — О Борисе Левине . . . . .	207
М. Винер — Мастер эпического повествования . . . . .	217
—	
Кто правит Америкой (Из книги Ф. Лундберга «Шестьдесят семейств Америки»), окончание . . . . .	229

## БИБЛИОГРАФИЯ

Мих. Зенкевич — Поэзия новых советских республик (о стихах Иоганнеса Барбаруса и Людаса Гира) . . . . .	250
Е. Шварц — Сигизмунд Леваневский (О книге Макса Зингера) . . . . .	252
Г. Ленобль — Книга о прошлом нашего Севера — «Урман» И. Панова . . . . .	255

★



# Стихотворения

ЛЮДАС ГИРА

★

## БРАТЬЯМ ЛАТЫШАМ

Нет, мы не только близкие соседи, —  
Мы встарь одним владели языком,  
С одною песней мы рвались к победе,  
Плечо к плечу стремились в бой с врагом.

Порой литвинка мать с латышской песней  
Качает колыбель и в наши дни,  
А те слова, что слов других чудесней,  
Слова любви, слова высокой чести, —  
Как схожи в наших языках они:

Эс мѝлу... лай дзѝво... и тѝвия... и брѝли<sup>1</sup>,  
Мы девушке, мы родине святой  
Взволнованную песню посвящали,  
Из тех же трав мы им венки сплетали,  
В ночи пленяясь тою же звездой.

Мы любим Балтику, — литвин, латыш ли, —  
И Балтика, как ласковая мать,  
Целует берег наш. И вместе вышли  
Мы солнце нашей вольности встречать.

И если нам невидящей судьбою  
Не общие назначены пути,  
Пускай поднимут факел свой звездой  
Те, кто зовет народы наши к бою,  
Чтоб их к великой правде привести.

1935 г.

Перевод с литовского  
Н. ВОЛЬПИНОЙ

---

<sup>1</sup> Я люблю... да здравствует... родина... братья... (латыш.)

★



## МЫ

Лишь проснувшись, в гневе яром  
Вспомнил меч о долге старом;

Лишь раздался звук волторны,  
Нас призвав на бой упорный;

Лишь сказали те призывы,  
Что повстанцы снова живы, —

Мир в ответ на эти зовы:  
«Кто поднялся? Кто вы? Кто вы?»

Кто взамен серпов и весел  
Взял мечи и вызов бросил?

Кто из праха, кто из тлена  
Против сильных встал надменно?»

И клянут, и строят ковы,  
Вопрошая: «Кто вы? Кто вы?»

Кто мы? Что же, — мы ответим:  
Вам служа и вашим детям,

Мы терпели долго, много,  
Чтоб другим сравнять дорогу,

Но в душе средь темной были  
Радости не схоронили.

Мы нужду несли доньше,  
Как рабы, на десятине,

Но не меркла год от года  
Греза грозная — свобода.

Мы крестьяне — люди пашен,  
Но и бой нам не был страшен.

Мы крестьяне, — плуг нам дорог,  
Но не чужд нам меч и порох.

Край родной мы вражьей силе  
Не предали, — защитили.

Помнят Ширвинты поляки  
Партизанские атаки!

Под Перлоей и в Клайпеду  
Путь прошли мы сквозь победу.

Что несем? Вам — сердце, братья;  
Вам, предатели, — проклятья;

Труссы, вам — ярмо презренья,  
Смерть — врагам в пылу сраженья.

Наша связь — стремленье к воле,  
Ненависть к трусливой доле.

Наш хозяин — день грядущий  
Нашей родины цветущей.

Наша цель в дерзанье смелом,  
Чтоб стремленье стало делом.

1927 г.

Перевод с литовского  
Б. Н. ЛЕЙТИНА

# Стихотворения

ИОГАННЕС БАРБАРУС

★

## СКАЗКА НАШЕГО ВРЕМЕНИ

С бычьей физиономии пара нахальных глазок  
в розовом настроении смотрит из-за пещне...  
Если он видит слабого, бьет его, не промазав.  
— Что,—говорит,—поделаешь? В жизни, как на войне!

Нос натирает золото. Стала краснеть ложбинка.  
Щеткой пробор зализан, как языком кота.  
Лишь из ноздри забытая тянется волосинка  
да, как лучи, топорщатся усики возле рта.

Ворот теснит дыхание и подпирает уши:  
три подбородка выросли, — он тесноват для них!  
Кровь ударяет в голову, галстук петлею душит...  
Франт, он сует, как висельник, пальцы за воротник.

Цепь от часов, красивая, толстая, золотая,  
вдоль по жилету тянется через тугой живот.  
Он за любую женщиной, от сладострастья тая,  
как за своей добычей, улицами идет.

В ложе сидит промышленник с временною женою.  
Лисье боа на женщине — как серебристый жгут...  
Смрадно его дыхание, тяжкое и хмельное.  
Тлеют глаза любовницы, ресницы ее — как трут.

Солнце блистает на небе и серебрит порошу.  
Дама блаженно щурится: ласкова к ней судьба!  
Шуба ее из соболя и туалет хороший,  
пудель, звеня цепочкою, писает у столба.

Это — его законная розовая подруга,  
с утренними визитами выйдя на полчаса,  
шестьствует оснеженным, заиндевелым лугом.  
Ей Ариадны нитью служит цепочка пса.

Девушка с нотной папкою, в шубке из горносталя,  
следом идет. Шаги ее вялы и неровны.  
Ей ли в унылом Таллине жить, красотой блестя!  
Не для нее ль составлены все поезда страны?

Это его наследница сонной бредет походкой.  
Грезы о принцах оперных ей лишь одни милы...  
Папеньку нынче заперли в дом, где окно в решетках,  
и за подлог навесили на руки кандалы.

Тело рабочих Таллина обнажено бедою.  
С блуз их висят лохмотьями порванные края.  
Дома у них — салака, черный сухарь с водою,  
пасмурная, голодная, высохшая семья.

Три драгоценных шкуры плечи трех женщин нежат.  
Помните: эти шкуры содраны с нищих, с нас!..  
Песня — это не песня, если, как нож, не режет:  
слушайте хоть однажды поэзии диссонанс!

1934 г.

Перевод с эстонского  
ДМ. КЕДРИНА

★

## СЕРОЕ ПИСЬМО С ДОРОГИ

На зеленом фоне лета,  
сквозь туман седого цвета,  
запыхтел паровичок,  
серым дымом обволок  
местность знакомую — слишком, пожалуй:  
едем по республике, едем по малой.

Станция ль, платформа, разъезд, раздорожье, —  
на дворе, на поле, в долине — все то же;  
тут и там репейник торчит над канавой:  
серый кайцелийговец<sup>1</sup> — в позе бравой.

А шоссе поодаль выгнуто змеею,  
серый всадник едет по шоссе трусцою,  
пеший или конный — мгlistый воздух режет,  
на велосипедах — мундиры те же.  
Казарма и конюшня, — Эстония, ты!  
И письмо об этом — серые листы!

Свистнув, как полицейский, стал паровик унылым.  
Жаль — увезти отсюда нет у билета силы!

1927 г.

Перевод с эстонского  
П. ПАНЧЕНКО

<sup>1</sup> Кайцелийт — реакционный союз.

# Стихотворения

МАКСИМ ТАНК

★

## ЗВЕЗДЫ

Скорее выходите в поле!  
Где ветром гнуло лебеду,  
Там расцветает наша доля —  
Войска советские идут.

И мигом опустели хаты,  
И на железные полки  
Глядели матери, девчата  
Из-под платков, из-под руки.

Когда ж из тюрем к сирым хатам  
Мужья вернулись да сыны, —  
Впервые все глаза тогда там  
Зарею вспыхнули весны.

И с благодарностью, с порукой  
Великой дружбы — до конца —  
Крестьянок высохшие руки  
С рукою встретились бойца.

А только тихим листопадом  
Спустился сумрак на село, —  
Две песни зазвенели ладом,  
Сплетались в переливе слов.

И пел одну танкист веселый  
О лучшем сыне Октября,  
И пел другую ясный голос  
Иль, может, новая заря:

— Расти, сынок, чтоб мы не знали  
Ни горьких слез, ни доли злой,  
То звезды счастья мудрой Сталин  
Зажег над нашею землей.

1939 г.

Перевод с белорусского  
Б. ИРИНИНА

★



## НА ПЛОЩАДИ ЛЕНИНА

Осенний день. Дрожат листья,  
 Народом площадь плещет, ширясь,  
 Под ранним сумраком густым  
 Он, бронзовый, над нами вырос.  
 Издалека явился он  
 И встал, глядит, как золотится  
 В багряном пламени знамен  
 Орденоносная столица.

Железным шагом перед ним  
 Под взрывы медные оркестров  
 Идут колонны; золотым  
 Над ними песни веют ветром.  
 Звенит земля, горят штыки,  
 На шлемах боевые звезды;  
 И танки, и броневики,  
 И пушек ход, тяжелый, грозный,  
 И всех в огне знамен ведет  
 К тому, кто встал на пьедестале,  
 К вождю, зовущему вперед, —  
 Его соратник верный, Сталин.  
 Он смело, мудро и светло  
 В жизнь воплотил его заветы,  
 Чтоб правда большевистских слов  
 Звенела, как призыв, по счёту.  
 Он край наш вырвал из тюрьмы  
 И солнце он зажег над нами,  
 И к счастью, радостные, мы  
 Идем широкими путями.

Мы зачарованно глядим  
 На мощь земли своей родимой,  
 Что дышит пламенем живым, —  
 И губы сами шепчут имя  
 Того, кто молча к нам склонен,  
 И с ним того, кто в ветре синем  
 Хранит священный жар знамен  
 И правит летом соколиным.

1939 г. *Перевод с белорусского  
 Б. ИРИНИНА*

# Над пасмурным Лондоном

Ник. АСЕЕВ

★

Над дымным,  
пасмурным Лондоном  
с небес —  
стремительный росчерк;  
над Лондоном,  
ужасу отданном, —  
пикирующий  
бомбардировщик.

Розовощекие,  
рыжие,  
уверенные джентельмены  
не ждали  
над этими крышами  
существенной перемены.

Всю жизнь  
грубя и грабастая,  
весь мир загребая в руки,  
не верили,  
что над аббатствами  
иные возможны  
звуки.

От гула  
в трясущихся рамах  
вскакивающие  
с постели  
в своих полосатых  
пижамах, —  
вы этого ли хотели?

Конечно,  
не те поплатятся,  
чьи в золоте  
зубы бульдожьи;

ребенка рабочего  
платице  
осенний вымоет дождик.

Вон там  
кровавое зарево  
у Темзы,  
в дымящихся доках,  
где грудь  
у грузчика старого  
в последних дыбится  
вздохах.

Где стали,  
рвущей и режущей,  
есть в чью тесноту  
зарыться,  
где — редки бомбоубежища  
и людям —  
некуда скрыться.

А леди Астор  
в Америку  
вывозит свои конюшни...  
Коней отгружают  
с берега,  
людей же спасать —  
не нужно!

Мешок, набитый фунтами,  
взирающий  
хладнокровно,  
как рушатся  
над фундаментами  
горящие балки  
и бревна.

# Валерий Чкалов

(Сценарий)

Г. БАЙДУКОВ, Д. ТАРАСОВ, Б. ЧИРСКОВ

Режиссерская разработка М. Калатозова

★

Аэродром. Туман. Дождь моросит. Лужи, грязное месиво. На заднем плане в тумане эскадрилья самолетов; на переднем плане бежит военный, держа в руке бумажку. Ему трудно бежать по грязи, по лужам, он спотыкается, хлюпает. Бежит он быстро, на нем мокрое кожаное пальто.

Военный подбегает к стоящим вдали от самолетов летчикам, передает Алешину письмо и удаляется.

Облокотившись о самолет, стоит Пал Палыч.

Алешин читает вслух:

— «Повторно категорически требую разведки и установления связи с линкором «Марат». Командующий флотом (подпись)».

Алешин посмотрел вопросительно на стоящего перед ним летчика.

Тот ответил:

— Невозможно летать.

Алешин резко обрывает летчика:

— Я сам знаю, что невозможно!.. — Сердито смотрит на небо. Моросит дождь. И, как бы сам с собою советуясь: — Кто может?

Пал Палыч, стоящий в стороне, тихо, но уверенно подсказывает:

— Чкалов.

Алешин, вспыхивая, кричит:

— Ни за что! Я из него вышибу дурь... Ты у меня еще попрыгаешь, старая курица, со своим дружком! Кругом арш-ш под крышу!

Пал Палыч по всем правилам делает кругом, марширует.

Алешин отвернулся. Пал Палыч замедляет шаги, останавливается поодаль.

Алешин к летчику:

— Кто еще?

Летчик бесстрастно:

— Чкалов!

Алешин гневно:

— Я вам запрещаю напоминать мне о нем... Кто кроме?

— Я...

И, помолчав, разглядывая носки своих сапог, вздохнул и сказал:

— ...И Чкалов!

Гневное лицо Алешина.

В тумане стоят мокрые самолеты.

Под крылом одной из машин лежит молодой Чкалов и равнодушно, скучая, поет:

Мне все равно—страдать или наслаждаться.

К самолету подбегает запыхавшийся Пал Палыч.

Чкалов не шевельнулся, спросил:

— Борода все сердится?

— Волька, лететь!

Чкалов, не ожидая разрешения, вскакивает, радостно обнимает своего друга, бурно выражая свой восторг.

Аэродром.

В тумане, подпрыгивая по кочкам, садится самолет.

Пал Палыч и Алешин бегут навстречу.

Радостно взвывающиеся ракеты.

За Пал Палычем и Алешиным бегут летчики.

Алешин и Пал Палыч подбегают. Из самолета вылезает мокрый, измученный, с трудом держась на ногах, летчик. Ракеты потускнели на фоне. Летчик на страшном усилии, еле вытягиваясь, рапортует глухо:

— Обнаружить «Марата» не было никакой возможности...

Алешин молча опускает голову.

Пал Палыч стоит молча, на лице внутренняя тревога.

Алешин тихо:

— А Чкалов?

— Не встречал с того момента, как разошлись на поиски...

— Отдыхать...—коротко бросает Алешин, отходя.

Летчик не уходит, сказал:

— Туман... Не найдет аэродрома... Разобьется, я едва сел... Огней совсем не видно...

Остановившись, Алешин озабоченно слушает. Решительно крикнул в сторону самолетов:

— Все ракеты... Зажечь стога...

Как эхо, из тумана голоса:

— Полный огонь...

Аэродром.

Взорвались с треском ракеты: одна, другая, третья, десятки... Запылали в тумане стога. Бегают человек 20, поджигающих шнуры.

Неподвижно подняв головы к небу, застыли Алешин, летчик, Пал Палыч. Сзади у самолетов группа летчиков и механиков, человек 75.

Дождь разрывающихся ракет.

Пламяющие костры по всему аэродрому.

Канонада ракетных выстрелов. Трое напряженно прислушиваются.

Летчик тихо:

— Горючее кончилось... Он утонул или врезался в корабль...

— Прилетит... Бензин кончится, на самолубии прилетит!.. — с убежденностью отчаяния крикнул Пал Палыч.

Алешин яростно махнул рукой в сторону самолетов.

Новая волна ракет взрывается.

Новая волна ракет обогрывает небо.

Аэродром.

Трое стоят неподвижно, смотрят в небо.

Грохот разрывающихся ракет.

Из тумана бесшумно вынырнул самолет и пошел на посадку.

Все трое бросаются к нему. Алешин на полпути круто останавливается, овладев собой, с бесстрашием командира ждет.

За этими тремя — группа летчиков, человек 10.

Чкалов подошел своей характерной походкой, хрипло рапортует:

— Задание выполнил... Эскадру противника обнаружил... Сбросил вымпел на линкор «Марат»...

Растерянный Алешин, сзади Пал Палыч, летчик.

Перед ними Чкалов. Алешин, овладевая собой, отрывисто и официально:

— Как вы нашли в тумане? Вы уверены, что передали «Марату»?

Чкалов, усмехаясь, слегка насмешливо:

— Я, товарищ командир, по бортам летал, надписи читал...

Лестница с площадками.

На верхнюю площадку с пением выходят Пал Палыч и Чкалов. Подходят к лестнице.

На двери надпись: «Казначейство отряда».

Чкалов держит на ладони пачку денег, как бы взвешивая, сзади бредет Пал Палыч, старательно пересчитывая свою получку. Оба напевают:

Мне все равно—страдать или наслаждаться...  
Любовь забыта уж давно...

Чкалов искоса смотрит на деньги в руках Пал Палыча, бросает бесцеремонно:

— Пал Палыч, дай деньги...

Пал Палыч начинает мешковато отсчитывать несколько кредиток, напевая:

Мне все равно, мне все равно...



Чкалов безжалостно:

— Все давай...

Пал Палыч крякнул, замолчал, бросил мрачный взгляд и, почесав за ухом, отдал все деньги.

Чкалов, смешав кредитки, разделил на равные половины, протянул одну из них хмурому Пал Палычу.

— Э-э... Это ты, Валерий Палыч, брось... Не возму! — решительно крикает Пал Палыч и хочет идти дальше.

Чкалов, останавливая его одной рукой, с небрежной важностью:

— Ты с кем летаешь — с Чкаловым? Гроханемся, смерть разделишь с Чкаловым? Значит, все пополам...

Пал Палыч взял. Они пошли.

Подъезд. На улице дождь.

Они подошли и стали в дверях. Пал Палыч смотрит на Чкалова насмешливо:

— Зря идешь... Все равно не придет она в дождь-то...

Чкалов, оглядываясь по сторонам, засунул руки в карманы, стоит у решетки Летнего сада.

Блестящая от дождя набережная. Одинокая фигура милиционера в плаще с капюшоном, проезжает, нахохлившись, извозчик.

Чкалов увидел Ольгу, усмехнулся, не шелохнулся, ждет.

Пригнув голову, с поднятым воротником пальтишка, она почти бежит под дождем.

Ольга подошла, сразу подняла мокрое, смеющееся лицо, сказала весело, протягивая руку:

— Сумасшедший!

— А что? — спокойно, неторопливо вытаскивая руку из кармана, спрашивает он.

Ольга:

— Что мы теперь будем делать здесь?

— А что? Летний сад... Погуляем...

— В такой ливень!? — весело ужаснулась Ольга.

— А-а... Ничего. Я привык... — равно-

душно посмотрев на небо, успокоил он ее.

Она посмотрела на него озадаченно, потом насмешливо, засмеялась и первая быстро пошла в Летний сад.

Летний сад. Падающие листья, лужи. Льет дождь.

Они молча идут по раскисшей дорожке, медленным шагом прогулки.

Перепрыгивая через небольшие лужи, она обращается к нему:

— Ну, говорите скорее, в чем дело?

Он искоса посмотрел на нее, тотчас отвел глаза в сторону, спросил серьезным басом:

— Вам известен романс «Мне все равно — страдать или наслаждаться»?

Она качнула головой с смеющимися и удивленными глазами, прошептала:

— Нет.

Он покосился, пробасил:

— Как оторвется машина от земли, я пою, лечу и пою: «Мне все равно — страдать или наслаждаться...»

Она смотрит на него с веселым интересом, вдруг испуганно остановилась:

— Как же мы пройдем?

Она смотрит себе под ноги.

Большая лужа.

Чкалов смотрит на лужу. Потом на нее, опустил глаза к ее ногам.

Тоненькие, в забрызганных чулках ноги.

Мокрые, жалобные туфельки, рядом грубые, надежные сапоги Чкалова.

Чкалов неожиданно поднял ее на руки, пошел через лужу, вторую, вышел на песчаную хорошую дорогу, но не отпустил ее. Она притихла. Потом поспешно спрашивает:

— Так что же вам нужно сказать мне?

Она делает движение высвободиться. Он легонько сжимает ее, не отпускает. Молча продолжает нести ее. Она чуть испуганно смотрит на него, с досадой и тревогой:

— Что ж вы молчите, говорите...

Он молчит. Она решительно пытается высвободиться.

Он не глядит на нее, еще крепче сжимает и, не отпуская, буркнул:

— Боюсь.

Она сперва растерялась, стараясь подбодрить себя, бросила с презрительным удивлением:

— А мне говорили, вы храбрый... Вы трус!..

Валерий поднял на нее глаза и неожиданно прижал ее, поцеловал.

Она рванулась. Он опустил и поставил ее на землю.

Ольга быстро, не оборачиваясь, уходит. Кусая губы, она идет с неудержимым приступом беззвучного смеха.

Расставив ноги, Чкалов стоит, смотрит ей вслед почти с восхищенным лицом.

Лужа. Среди листьев медленно тонет конверт с ее именем, напечатанным на машинке.

Он быстро подымает конверт, разглядывает, решительно вскрывает ранее вскрытый конверт и читает письмо, отпечатанное на машинке:

«Я должен вам сказать нечто очень важное и так, чтобы об этом не узнали в отряде. Жду вас на Троицком мосту сегодня в 18.30. Алешин».

— Командир!.. Батя предал!..

Посмотрел на письмо, скончал в бешенстве.

— Так я ж тебя...

С силой швырнул и, взбешенный, ушел.

Брошенная Чкаловым бумажка тонет... На клочке бумаги видно: «18.30. Алешин».

Вечернее солнце.

С набережной на Троицкий мост заворачивают Ольга и Алешин. Проезжают трамвай, старые автомобили. Пешеходы. Алешин взволнованно тербит густую бороду, их закрывает проезжающий трамвай.

Слышны слова Алешина:

— Потому с таким нетерпением я ждал вас...

Они подходят к Троицкому мосту.

Алешин с тоскливой досадой говорит с Ольгой:

— Его надо, спасать немедленно. Он

заработал репутацию воздушного лихача, кое-кому он не нравится... Теперь достаточно одной шальной выходки... А она будет, обязательно будет...

Ольга слушает с удивленно раскрытыми глазами, спрашивает:

— Я не понимаю, почему все это вы говорите мне?..

Троицкий мост.

Они идут. Изредка их обгоняют, идут им навстречу пешеходы. Алешин, нервно теребя бороду, говорит, багровея и спотыкаясь на словах:

— Да, да... Это не деликатно... Но вся судьба его под ударом... Я не могу ждать, пока вы... округлите, так сказать, чувство и станете его женой.

Ольга испуганно и смущенно:

— Вы с ума сошли, я совсем не собираюсь быть его женой...

Алешин в пылу замешательства, настойчиво:

— Будете, будете... вы не знаете Чкалова! Он с Волги, и какая ж у него душа... А как он летает! Прирожденный талант! Художник!..

Неожиданно врывается гул пролетающего мотора.

Алешин прервал разговор, остановились. Смотрят вверх на улетающий самолет.

Алешин стукнул кулаком по перилам:

— Что это за болван! Летать над Ленинградом запрещено.

— Послушайте!..— испуганно начала Ольга прерванный разговор.

Алешин повернулся к ней и продолжает с прежней горячностью:

— Поймите, я больше не могу прятать его по тауптвахтам, вы же можете лаской и тому подобным... Чорт побери, только вы можете повлиять на него как будущая его жена...

Ольга в совершенном смятении:

— Но поймите вы, я не хочу, не могу быть его женой...

Алешин с досадой:

— Что за упрямство... Будете. Будете... И я не хочу вас обманывать, будет тяжело... Вас измучают тревога, страх, неприятности...

Растерявшаяся Ольга кричит с негодованием:

— Да не хочу я, понимаете вы, не буду его женой!

— Будете!.. — начал Алешин.

Вдруг снова нарастающий гул самолета.

Алешин повернулся к перилам. Из-за горизонта быстро приближается самолет.

Алешин впился глазами. Ольга оглянулась встревоженно.

Самолет, снижаясь к Неве, быстро движется на них.

Алешин вцепился руками в перила моста. Ольга прижалась к нему.

Алешин кричит:

— Это он! Сумасшедший!

— Чкалов? — испуганно вскричала Ольга.

Страшный рев мотора нарастает.

Оцепеневшие лица Алешина и Ольги.

Через решетки моста налетающий на мост самолет.

Ольга вскрикивает и закрывает лицо руками.

Вода, быки моста, темная впадина пролета.

Железные стропила моста. Мрак.

Между стропилами забилась испуганная чайка. Тьма. Железные стропила. Тьма. Летящая чайка ударилась о стропила и упала в воду.

Из темной воды на свет медленно выплывает убитая, с распростертыми крыльями чайка. Затихает рев мотора. Еще звенит мост.

Из-под моста вылетает самолет и уходит вдаль.

Ольга стоит, закрыв лицо руками, прижавшись к перилам. Алешин кинулся на противоположную сторону моста; потрясая кулаками вслед самолету, он орет громовым голосом:

— Ну, бандит, держись!

Кругом толпа народа, человек 100, перебегающая с одной стороны на другую. Два милиционера пытаются разогнать толпу. Алешина хватается за руки вынырнувший Пал Палыч.

В иступлении восторга, хватаясь руками за голову, кричит:

— Пролетел, батя, пролетел!

— Тридцать суток ареста! — кричит

Алешин и бросается в ярости обратно к Ольге, кричит ей:

— Забудьте все, что я вам говорил... Не будете его женой!

Она отнимает руки от лица. Потрясенная, широко открытыми глазами провозжая набирающий высоту самолет, тихо произносит:

— Я буду его женой!

Гауптвахта.

Угрюмый Чкалов лежит на койке. Пал Палыч стоит у окна. Открыто окно. Доносится песня.

Пал Палыч расстроен, с сердцем говорит:

— Уйду... Ты мою жизнь заедаешь. Я без тебя, может, во каком ходом в жизнь пойду... — Закипая, он подходит к Чкалову: — Ну, как ты теперь в глаза командиру посмотришь?.. Что ты Ольге своей скажешь?..

— Убью! — глухо говорит Чкалов.

Пал Палыч опешил:

— Кого?

— Обоих.

Пал Палыч возмущен:

— Да знаешь ты, зачем командир на мост ходил? Он за твой интерес хлопотать ходил...

Чкалов:

— Бредишь?

Пал Палыч с чувством:

— Да буйвол ты этакий. Я своими ушами слышал... Он на нее как цыкнет... А она затряслась, побледнела: «Ладно, говорит, буду Чкалову верной женой...»

Чкалов недоверчиво смотрит, но внутренно он начинает верить:

— Врешь, Паша?.. Скажи, врешь?!

Пал Палыч возмущенно:

— Не позволю! Полвека прожил, не врал!..

Чкалов, радостно просияв, вскочил обнять Пал Палыча.

Скрипнула дверь. Чкалов замер от неожиданности, и у него вырвалось с раскаянием, смущенно:

— Батя!

Входит молча, угрюмо Алешин, не смотрит на Чкалова. Задев взглядом Пал Палыча, бросил ему:

— Уйди...

Пал Палыч вышел.

Чкалов стоит притихший, ребячески виноватый... Медленно опускает голову...

Алешин подошел к окну.

Доносится песня. Алешин задумчив, сморщил, обратил внимание: на стене карикатура на него. Подправил пальцем.

Чкалов стоит виноватый.

Тихо сказал:

— Я подумал плохое... Прости...

Алешин, не отвечая, прошел и сел на табурет у стола, барабанит по столу пальцами. Потом протянул задумчиво:

— Да-а... Жалко мне с тобой расставаться...

Чкалов настороженно поднял голову. Алешин вдруг с гримасой боли стукнул кулаком по столу и заревел с досадой во весь голос:

— Ну... кто лучше всех в отряде стрелял?

Чкалов молчит с напряженным лицом ожидания.

— Кто, чортова башка, я тебя спрашиваю... — Алешин снова ударил кулаком о стол, встал: — Кто?

Чкалов молчит, Алешин с досадой:

— Чкалов!

И, с каждой фразой загибая палец на руке, с болью и восторгом кричит:

— Кто бесстрашно бился и побеждал всегда? Чкалов! Кому не страшен ни чорт, ни дьявол? Кто выполнял любое задание? Чкалов! Кого нарком благодарил за искусство? Чкалова!

Алешин сунул кулак под самый нос Чкалова:

— Вот твой актив!

Алешин повернулся и прошелся по камере.

Чкалов с опущенными глазами, мелькнула улыбка, поднял голову, виновато, с улыбкой смотрит на Алешина.

Алешин идет на Чкалова хмурый и изменившимся голосом снова:

— А кто озорства ради коров самолетом гонял... так, что коровы доить-ся перестали?

Улыбка сбегает с лица Чкалова, он молчит.

Алешин гневно:

— Что ж ты молчишь, ну?..

Чкалов с усилием, тихо:

— Ну... я...

Алешин жаждал один палец:

— Кто, несмотря на запрет, летал вверх колесами?

Алешин пристально смотрит. Чкалов, помедлив, сказал:

— Я...

— Кто вопреки уставу ниже всех пилотировал? Кто под мостом пролетел? Кто больше всех сидел под арестом?

С жалобной улыбкой полного замешательства и душевной тревогой взмолился Чкалов:

— Да что ты, батя, будто хоронишь меня, ведь вот же я, Валерий Чкалов, перед тобой живой и здоровый...

Алешин сел спиной к Чкалову, помолчал. Скупым, холодным тоном сказал:

— Да... В штабе округа подписан приказ о твоём увольнении...

Чкалов похолодел.

Алешин с досадой:

— Я чуть не в ногах валялся—клянчил, умолял... Полет на «Марата» помог... Отстоял тебя...

Чкалов со вздохом огромного облегчения и благодарности:

— Спасибо, батя, спасибо... Я... — протягивает руку, благодарит...

Алешин будто не слышит его, не обращает внимания на протянутую руку:

— ...и я дал слово, что после первой же выходки приведу приказ в исполнение...

Чкалов замирает на секунду. Потом лихорадочно:

— Подожди... Подожди... Когда это было?

— Позавчера... — угрюмо ответил Алешин.

Постепенно угадывая страшный смысл происшедшего, Чкалов почти беззвучно то ли спросил, то ли ответил себе:

— Значит, вчера... Я сам... Под мостом...

Алешин протянул ему отпечатанный на папиросной бумаге приказ.



— Теперь ты можешь прочесть его...  
Чкалов взял, читает:

«Выписка из приказа №... ...За воздушное хулиганство и неоднократное проявление недисциплинированности отчислить из рядов ВВС РККА старшего летчика Чкалова. Поставить на вид командир-у эскадрильи Алешина излишнюю мягкость в борьбе с подобными явлениями. Нач. ВВС ЛВО».

— Батя! — Чкалов закрыл лицо руками и тяжело опустился на койку...  
Алешин встал, подошел к окну...  
Из-за окна доносится песня:

Ай да не летай, орел, близко ко земле,  
Ай да не гуляй, бурлак, близко к берегу...

Батя грустно вздохнул, машет головой.

Чкалов сидит, закрыв руками лицо, он говорит:

— Не понимаю, батя, я... не понимаю... За шутки мои, за коров, за характер и всякое такое... бейте меня, гоните, — признаю, виноват... Но вы говорили, летать в тумане нельзя... Птицы, говорили мне, и те в тумане не летают... Как я буду подкрадываться к врагу? При ярком солнце? И я летал... Я... не птица, я человек... Мне говорили: точное управление самолетом невозможно...

Чкалов подошел к Алешину, говорит с сердцем.

Тот, не оборачиваясь от окна, мрачно ответил:

— Пока мы летаем на истребанных старых гробах...

Чкалов с страстным нетерпением ударяет себя в грудь:

— Но я-то новый!.. И я пролетел под мостом... Я — истребитель, боец, я должен летать так, чтобы это пригодилось в бою... В бою я буду брить самые низкорослые травы... Если я не сумею этого, — враг меня убьет!

— То, что можешь ты, губит других... Ты других заражаешь...

Чкалов с тоской непонимания:

— Но почему же все ребята спрашивают, как я дерусь, хотя не научился, втихомолку одобряют мои неустанные действия? Где правда?! Батя, смотри мне в глаза, скажи, где правда?! Пусть

я не военный, пусть я уйду... Но где же правда, батя?!

— Я сам не пойму многого... Не знаю... — глухо сказал Алешин и тревожно прошелся по камере.

Чкалов загородил ему дорогу, требуя:

— А я хочу знать! Что это? Бояться новшеств? А, может, хуже: может, кто-то не хочет, чтобы наши истребители побеждали? Может, мои враги — это наши враги?

Алешин взглянул на него с ужасом, резко одернул:

— Ты с ума сошел... Замолчи... Не твоего ума дело!

Чкалов, упрямо уставившись на Алешина, крикнул:

— Мое дело... Я заявление в партию подал...

Алешин отвел взгляд и угрюмо сказал:

— Вот потому, что в тебе честность спутана с сумасбродством, храбрость с ненужным ухарством, правда с самоуправством, тебе отказано в приеме в партию...

Чкалов, потрясенный, опускается на стул. Слова Алешина как бы оглушили его... Он не произносит ни слова, смотрит на Алешина.

Алешину трудно, он нервно закури-вает потухшую трубку, руки трясутся. Не закурил, тоном командира, отрывисто произнес, смотря в другую сторону:

— Бывший старший военный летчик Чкалов, прошу вас сдать документы...

Чкалов берет за карман гимнастерки... Руки не слушают. Он долго расстегивает, долго вынимает, кладет на стол документы. Вся его воля собрана. Он идет к стене, снимает фуражку, снял звездочку, вернулся, положил на стол.

Отошел к окну. Алешин стоит, понурив голову.

Слышна песня:

Ай да степь раздольная...

Алешин кладет в бумажник документы, помедлил, не поворачиваясь к нему, спросил:

— Деньги у тебя есть?.. Возьми!

Чкалов, не поворачиваясь, упрямо качает головой. Алешин подошел к Чка-

лову, хмурится, пряча волнение, тоном приказа крикнул:

— Летчик Чкалов, вам командир приказывает: взять деньги!

Чкалов тяжело повернулся от окна, в глазах вспыхнуло дикое упрямство, глухо ответил:

— Ты это кому командуешь?.. Нету тут военного летчика Чкалова... Больше нету...

—

Летний сад.

Ясный осенний день. Ветер гонит стаи сухих листьев... Чкалов идет в тяжелом раздутье, угнув голову... Не разбирая дороги, по лужам, по клумбам... Грязь и листья липнут к его сапогам, шинель расстегнута, фуражка не по уставу глубоко надета.

На ходу яростно бьет по сапогу несчастным букетом в опущенной руке... Падают сбитые головки цветов...

Набережная у Летнего сада. Ольга ждет... Осунувшаяся, с распухшими, еще не высохшими от слез глазами... Тревожно высматривает...

Вдруг оборачивается и видит Чкалова почти рядом...

Он подошел суровый, мрачный. Остановился.

Глядя в глаза ей, сердечно сказал:

— Прости ты меня за все.

И поднял руку, чтобы передать ей цветы... На секунду смущенно, а потом хмуро разглядывает оббитый и потрепанный букет в своей руке...

— Я всю ночь продумала... — тихо сказала Ольга. — Я хочу вам сказать...

Он безжалостно пытается засунуть букет в карман шинели и прерывает ее уже тоном невеселой решимости:

— Я уволен... Значит, и говорить нам теперь не о чем... — Нахмурился упрямо: — Уеду на Волгу... Прощайте... — И, не договорив, степенно, по-крестьянски стянул с головы фуражку, низко поклонился и повторил: — Прощайте...

И зашагал прочь...

Она посмотрела ему вслед и вдруг расплакалась жалобно, по-детски, то ли о нем, то ли о себе...

Потом, еще всхлипывая, торопливо вытерла глаза, нос и быстро пошла за ним...

Догнала его, взяла за руку и пошла рядом...

Он почти не удивился, не сказал ничего, только крепко сжимает ее руку в своей руке.

И уже с простотой близкого человека она отнимает руку на ходу, вытаскивает из кармана его шинели то, что осталось от букета, пытается расправить его...

Торчат голые, колючие стебли, редкие жалкие цветы...

Он смотрит на эти хлопоты...

Новая, удивленная и счастливая улыбка расплывается по его упрямому лицу, вдруг она сменяется подозрительной настороженностью, и он говорит так, будто все уже решено и сказано, с ребяческой бесперемонностью:

— Только, Ольга, если буду летать, на всю жизнь обещай не путаться в мои летные дела... Не люблю...

Она посмотрела на него озадаченно, потом все-таки улыбнулась.

—

Берег Волги.

В хмурой задумчивости стоит Чкалов на борту землечерпалки, пришвартованной к берегу.

Широкий простор Волги... Рядом с землечерпалкой рыбаки с песней тянут лапу.

Дед-рыбак с берега с трудом подтягивает сеть.

Кряхтит... Покрикивает тонким тенорком:

— Навались... Э-эх!.. Давай!..

Полная уловом сеть в его старческих руках не поддается.

— Э-эх!

Чкалов, засунув руки в карманы, стоит на борту, скучно смотрит на них...

— Эй ты, битюг!.. — сердито закричал ему дед. — Ты что стоишь, в воду плюешь? Не видишь — народ утруждается?

Чкалов молча спрыгивает к нему... словно бы затамась избытком никому не нужных сил, нетерпеливо, на ходу сбрасывает с себя лишнюю одежду.

Сильно пошла сеть в его молодых руках...

— Э-эх... Еще раз...—весело покрикивает он, будто всю жизнь рыбачил.— Заходи...

— Ух, какой бы рыбак из тебя вышел...—с сожалением говорит дед, присевший на корточки, закуривая...

— Не вышел, дед...

— То-то и оно, что не вышел...—глубокомысленно согласился дед. — В воздухе не удержался... И земля тебя обратно не принимает...

Сеть медленно подтягивают к берегу...

Где-то далеко зазвучал басовитый гудок парохода...

Дед прислушался:

— Слышь, гудит? «Урицкий» пошел...

Ответил новый гудок потоньше.

— А это?

Чкалов, улыбаясь воспоминаниям детства, угадывает:

— «Боярышня».

— Верно... была «Боярышня», а по-настоящему «Калинин»... И еще «Ленин» ходит, «Киров»... А кто котлы клепал? Отец твой... Пашка... Отцовские, стало быть, котлы-то... По всей Волге плавают, по всей России. Ту-ту-ту-ту... — подражая гудкам: — Мы-ы-де чкаловские. — Лукаво подмигнул: — Это, конечно, которые разговор ихний понимают...

Сеть уже вытянули на берег... Чкалов подтянул веревку от мотни

Богатый лов... Стерляди, щуки, судаки судорожно бьются в мотне...

— А ты пустоцветом по свету шляешься... Хоть сейчас помирай, хоть завтра... — махнул рукой дед.

— А хоть бы сейчас... — безнадежно откликнулся Чкалов.

— Во-во... В каждом человеке дело его гудет... На земле его держит...

Дальнее жужжание мотора.

Через их головы далеко над Волгой летит самолет.

Чкалов приостановился, с полной до краев мотней бьющейся рыбы в руках, замирает, провожая его глазами... Нарастает гудение самолета... Пролетает самолет.

Равнодушно поднял голову к небу старик, смотрит...

— Брехали в слободке, что ты летать, как птица, можешь...

Чкалов вдруг роняет в воду мотню со всей рыбой и, как был, полуодетый, бросается в Волгу.

Сверкая, порхнула из сетей во все стороны вольная рыба... Крики деда, рыбаков...

Стремительно и высоко над водой плывет Чкалов.

— Э-эй! — кричит дед.—Утонешь!

— ...то-онешь, — откликается с другого берега эхо.

Ветер... Большие волны...

Сильными, размашистыми саженками, то подымаясь на гребень волны, то опускаясь с него, плывет через Волгу Чкалов...

Комната Чкалова.

Фотография Чкалова в комбинезоне у самолета «Юнкерс».

Ольга у кровати маленького сына, показывает ему фотографию, приговаривает:

— Это папка... Папка твой опять летает... Ж-ж-ж.

На коленях у нее вскрытый конверт, только-что прочитанное письмо...

Ребенок пялит ясные глазки, хватая картинку, болтает толстыми ручками...

— Ж-ж-ж... — машинально еще тянет она, остановившись глазами на обороте фотографии...

Медленно опустив руки с фотографией, печально задумалась, глядя на надпись на ней.

«Бывший военный летчик-истребитель... Когда-то летал, сейчас подлетывает на Юнкерсе-13. Скучно и грустно смотреть на вас, Валерий Павлович... Самолет к вам не подходит, не по духу... Вам бы сейчас другой самолет, получше. Вот это еще пошло бы... Ну, а в общем, катайте, катайте пассажиров...»

Грустно задумалась Ольга. Вдруг открывается дверь, входит Чкалов. В кепке, в штатском...

Ольга подымается одновременно радостно, удивленно, испуганно... Крепкое, короткое объятие...

Валерий сразу же от нее быстро идет к кровати. Склоняется над ней, расстроганно шевеля бровями, всматривается в сына.

Мальчик обиженно опустил концы губ, всхлипнул и заплакал.

— Не признает...—огорченно оглянулся Чкалов на Ольгу.

Ольга сияет:

— Ты же нас совсем бросил... Не огорчайся, привыкнет.

— Зубки прорезались?

— Потерпи еще...—улыбается мать.

— Почему так долго нет, Лелька? Это плохо, если у него сразу пойдут...—встревоженно, со знанием дела беспокоится он.—Знаешь, как правильно? Два зуба внизу, потом два зуба наверху, четыре снизу...

— Почему ты приехал? — с легким беспокойством спрашивает Ольга. — Не предупредил...

Чкалов сразу темнеет, уклончиво:

— Потом расскажу.

Отходит от кровати, молча снимает кепку, макинтош, бросает их на стул.

Ольга секунду всматривается в него, потом так же молча собирает его одежду, идет вешать ее.

Чкалов грустно садится на диван, оперся локтями о колена, хмуро смотрит в пол...

— Что ж ты дальше не спрашиваешь? — утрово сказал он.

Ольга, спокойно двигаясь по комнате, пожала плечами:

— Я же обещала не вмешиваться в твои летные дела...

Чкалов недовольно хмыкнул, сидит в той же откровенно удрученной позе... На душе у него тяжело, молчать тяжело, он мельком, искоса поглядывает на Ольгу... Она спокойно готовит ему постель у стола, молчит... С некоторым трудом, не глядя на нее, он медленно пролизывает:

— Вчера... я вел свой небесный автобус...—И мрачно замолчал.

Ольга испуганно вскинула на него голову, помедлила.

— Ты разбил машину? — замирая, в тревоге спрашивает она.

Он медленно покачал головой... По-

том негромко, с мучительной гримасой внутреннего усилия:

— Я почувствовал, что больше не могу... Что у меня сами руки ходят... Вот, брошу машину в петлю, в пике... Рвану... И растрясу эту публику к чертовой матери...

— И ты... тряхнул?.. — с беззвучным отчаянием вырвалось у нее.

Он тяжело молчит... Потом так, будто он сделал нечто более страшное, тихо:

— Я доставил и посадил их нежно, как ящик с яйцами... А потом пошел и взял расчет...

Уныло замолчал, опустив голову.

— Можно мне вмешаться еще? — тихо спрашивает Ольга.

— Немножко можно... — мрачно сказал он.

Она быстро подошла, наклоняется и целует его.

Села рядом на валик.

И вдруг он неуклюжим рывком прижался к ней головой, как ребенок к матери, беспомощно пряча горе, может быть, слезы.

— Я знаю... — жалобно гудит его голос. — Ты очень устала от всех неприятностей... И вот, опять...

Она прижимает его голову к себе, успокаивает:

— Ничего... Скоро они пройдут... Ты опять устроишься куда-нибудь... И проживем мы с тобой, как следует...

— Я не знаю, как следует! — с глухим отчаянием вырывается у него.

Скупые слезы текут по суровому, резкому лицу.

Она по-матерински спокойно, тихо улыбаясь, говорит:

— Ничего... Это у тебя, как у сынка, режутся зубы... Мучительно, долго, потому что не по правилам, а все сразу... Зато будете вы у меня зубастые...

Тихо, удовлетворенно засмеялась, потом осторожно, мягко:

— И сам ты немножко виноват... Не умеешь с людьми ладить... Быть, как все...

Он отрывает голову и страстно, убежденно:

— Если бы я был, как все, я не летал бы так, как летаю!.. Я был прав — и буду еще больше прав.

Вскочил, взволнованно прошелся по комнате.

— И, наконец, сколько раз я тебя просил не совать нос в мои летные дела!..

Открывается дверь. Осторожно заглянул и вошел Алешин.

Чкалов обрывает себя, смотрит секунду:

— Батя!.. — бросается к Алешину.

Крепкое объятие, поцелуй. Вдруг отступает в шутовом ужасе...

— Батя! Где твоя борода, батя?!

Алешин шумно, с мрачным юмором:

— Сгорела, холера, в аварии. Сгорела борода!

Чкалов:

— Что ж теперь мы будем делать без бороды, батя?

— Не робей, отрастет... Ты вот тоже, говорят, остепенился, молоко возишь...

Чкалов осекая, замолк, потемнел, сказал глухо:

— Ополздал... Я уже и тут отлетал...

Алешин встревоженно:

— Выгнали?

— Сам ушел.

Алешин неожиданно:

— Великолпно! (К двери в коридор.) Борис Михайлович!

Входит скромный, близорукий, глубоко штатский человек...

— Знакомьтесь! — гремит Алешин. — Чкалов — лучший из летчиков, которого отовсюду выгоняют... Мухин — блестящий конструктор, машины которого брыкаются, как неукротенные жеребцы, и упорно разбиваются!

Хлопнул по спине того и другого.

— Ребята, вы нужны друг другу, как воздух!

Те молча обмениваются рукопожатием, осторожно и внимательно оглядывая друг друга.

Улыбающаяся Ольга с сыном на руках. Алешин задержал ее руку, смотрит на нее смеющимися глазами, лукаво, тонно заговорщика:

— Трудно?

Она смеется, упрямо качает головой.

Вежливо представляясь Ольге, подходит конструктор.

— Теперь к делу, — возвращается Алешин к Чкалову. — Очень хорошо, что тебя выгнали...

— Я сам ушел, — упорно буркнул Чкалов.

Алешин подмигнул:

— Допустим... Не в этом суть... Я нашел тебе дело, твое настоящее дело!

Чкалов настоуживается... Они идут к балкону.

Ольга и конструктор. Он неловко, двумя пальцами держит ручку ребенка, смотрит подслеповатыми глазами, говорит застенчиво:

— Вы вот мать, и вы поймете, как тяжело мне бывает, когда убивают мои машины...

Ольга невольно испуганно отводит назад ребенка и поспешно говорит:

— Садитесь, пожалуйста...

Конструктор садится на стул с детскими игрушками, давит их.

Чкалов и Алешин на балконе.

— Хочешь летчиком-испытателем на заводе имени Менжинского?

У Чкалова загораются глаза, он тихо ахает:

— Батя...

Алешин, сияя удовольствием:

— Что, почувал? Помнишь наш разговор, что старые наши машинки не по твоему полету? Вот там с ним (жест в сторону конструктора) ты сам будешь искать, примеривать. Сколачивать себе новые, подходящие крылья... А после тебя на этих крыльях полетит вся армия, вся страна. Понимаешь?

Чкалов загорелся:

— Значит, я буду первым летать на таких скоростных, на каких до меня никто не летал, выжимать из машины все до предела...

Алешин подхватывает на нарастающем возбуждении, с жестоким юмором:

— Да, да... Любую фигуру на любой высоте... Так, что крылья будут отваливаться, лопаться моторы и твои барабанные перепонки... И мордой об землю, чорт тебя побери, падать на ней тоже будешь первым, если тебе так нравится!

Чкалов в совершенном восторге:

— Я буду летать, как...

— ...как Чкалов! — отрезал Алешин, смеясь, и вдруг смолк, смущенно оглянувшись...

Крепко прижав к себе сынишку, слушает их Ольга. В ее напряженном лице, в широко открытых глазах немой мучительный страх...

В неловком замешательстве он смотрит на нее...

Она говорит поспешно, с дрожью в голосе:

— Нет, нет... Пожалуйста... Я не буду мешать... Я потерплю...

Алешин резко поворачивается к Чкалову и почти сердито кричит:

— А ты, разбойник, поймешь, что летать, как Чкалов, — значит, летать осторожно!

Аэродром завода им. Менжинского. Медленно двигается тупорылая военная машина.

Короткое, зализанное туловище, злая бульдожья морда современного истребителя.

На фоне стоят самолеты. Возятся механики около них.

На самолете торжественно стоит знакомая фигура Пал Палыча.

Рабочие заводского аэродрома выкапывают к дорожке истребитель «И-16».

Двор завода им. Менжинского.

Чкалов входит на аэродром... (Вдали закатывают машину «И-16» в ангар. Стоят самолеты. Проходят 10 летчиков, возятся у самолетов 7 механиков...)... И сразу натывается на почти бегущего навстречу конструктора, хватая его за плечо, удивленно:

— Куда?

Конструктор метнул на него потерянными глазами:

— Все пропало, Валерий Павлович, машину только-что сняли с испытания...

Чкалов, пораженный:

— Ты в уме? Нашу машину?

— Да, да... — словно бы торопясь отделаться и уйти, бросает конструктор. — Опасная, не маневровая... Забраковали приемщики...

Чкалов, накаляясь:

— Не маневровая? Сапоги! И ты смолчал? Идем!

Хватает его за руку. Конструктор нервно выдергивает руку:

— Оставьте... Я никуда не пойду... К черту эту бешеную выдумку... Отрекаюсь... Я жизни от нее не вижу...

Чкалов гневно:

— Жизни захотел?! Да если в тебе хоть капля ее осталась, ты и ее отдай... Ты что ж думаешь — машина на лимонаде вырастает?

Нервы конструктора не выдерживают, он твердит, как в лихорадке:

— Не хочу... Не хочу этого риска, не хочу этой муки... Я больше не выдержу!..

Чкалов хватая его за руку, увлекая за собой:

— Опасно? Умирай, но рожай!..

Навстречу бежит, размахивая руками, Пал Палыч.

— Где директор? — гремит Чкалов...

Надпись на двери «Директор». Открывается дверь.

Бурно влетает в кабинет директора Чкалов. За ним Пал Палыч...

Кабинет директора.

Захваченный врасплох директор бросил испуганный взгляд на Чкалова.

— А-а-а... Не могу... Не могу... Машина эта аспид какой-то! Ведь ты на ней уже сколько раз стучался! Я-то видел!

— На меня плевать! — бросил Чкалов. — Ты разрешение дай...

— Не могу! Мне специалисты говорят — машина негодная.

Чкалов восклицает, наступая:

— А я тебе говорю... Первоклассная, боевая... На этой машине, знаешь, как морду бить будем кому-то? Вспомните меня тогда! Именно такой ястребок Красной армии нужен... (Страстно.) Только дай довести!

Директор умоляюще разводит руками:

— Да ведь не я, дорогуша! Ведь приемщики! Мне говорят — я выполняю...

Чкалов, с трудом сдерживаясь:

— А совесть твоя что говорит? Завод ее два года делал, миллионы трудовые затрачены, — совесть у тебя где? Большевикская, человеческая совесть — где она?

Директор поморщился, потом вдруг весело:

— Слушай, Валерий... Да ведь ты в отпуск года два не был... Хочешь палатку в Сочи? А?

— Ты что? Дурака валяешь или в самом деле болван? — взревел совершенно взбешенный Чкалов.

— Гражданин Чкалов! — вспыхнул, подымаясь, директор: — Позвольте!

— Не позволю! Не смеешь!.. — гремит Чкалов.

— Замолчать! — заорал директор и стукнул кулаком по столу: — У меня здесь не цирк, а завод...

Пал Палыч с окаменевшим лицом прикрыл дверь.

Громовые раскаты двух разъяренных голосов за дверью, грохот стульев и каких-то других твердых предметов...

Вдруг дверь распахнулась... Вылетает взбешенный Чкалов...

— Уйду... — проревел он.

Крик директора:

— Уходи хоть к дьяволу...

Чкалов захлопнул дверь; прислонившись к ней спиной, стоит, тяжело дыша, поводя по сторонам дикими от сильного гнева глазами.

Пал Палыч безразлично смотрит в пространство...

Чкалов стоит так секунду... Потом, не отрываясь спиной от двери, открывает ее и так, медленно, сделав вместе с нею полный оборот, снова оказывается лицом к лицу с директором... Мрачные, тяжело дыша, молча смотрят друг другу в глаза...

И вдруг Чкалов с необычайным чувством, очень тихо сказал:

— Федя! У меня жена, дети, и я рискую головой... Значит, надо... А чем ты рискуешь?.. Местом?..

Директор от неожиданности моргает напряженно глазами...

И осторожно, прикрывая за собой дверь, с тем же потрясающим лиризмом Чкалов прибавил:

— Спросит тебя совесть: чем ты, Федор, для большого дела рискнул?

Тихо закрылась дверь...

Абсолютная тишина за дверью...

Пал Палыч безразлично насвистывает:

Мне все равно — страдать или наслаждаться...

Мне все равно, мне все равно...

И к тому времени, когда он закончил куплет, открылась дверь, деловито выходит Чкалов с бумажкой в руке.

На ходу сердито кричит Пал Палычу:

— Ты что ж, старый хрен, не запускаешь мотора?!

Пал Палыч бросается к выходу...

Скрываются оба.

Директор замер, прислушиваясь, и вдруг, схватившись за голову, ахнул:

— Товарищ! Что ж мы делаем?

Вскочил, бросился к окну... Короткий грохот промчавшейся машины.

Директор схватил трубку с вертушки, смотря в окно, наблюдая за полетом, говорит:

— Товарищ Серго... Я, я... Здравствуйте... Я как-раз о нем, беда... Угадали. Хоть убейте, сам не знаю, как разрешил... Нет, нет, еще не разбился... (Испуганно.) Алло! Алло!

Опускается в кресло, с тихим ужасом входящему конструктору:

— Еще хуже... Сам придет!

Вдруг вскакивает и бурей вылетает из кабинета.

Аэродром завода.

С земли взлетает истребитель, идет свечой вверх.

Идущий восходящим штопором самолет переходит в ряд бочек, крутых разворотов, иммельманов.

Пал Палыч и 10 механиков с восхищением смотрят.

Пал Палыч одобрительно:

— Не мотор, а гитара!

Сначала каскад фигур. Машина перешла в штопор, вышла, сделала крутой разворот.

Пал Палыч, с восторгом слушая вой мотора, говорит:

— Какой он летчик! Шаляпин!

Машина, делая две фигуры, переходит в пике. Нарастающий вой мотора.

Машина идет в вертикальный штопор, нарастает пронзительный вой.

Пикирующая машина пытается вырваться из пике.

Самолет планирует к земле, старается выровняться у земли.

Столб пыли, несколько раз капотирующая машина.

Мчится по траве аэродрома авто... Стоя в машине, конвульсивно схватив за плечи шофера, Серго Орджоникидзе глазами, всем лицом, всей своей фигурой следит за падающим самолетом...

Впереди бежит конструктор.

Шофер круто тормозит машину. Еще на ходу Серго спрыгивает, бежит...

Втянув голову в плечи, закрыв глаза одной рукой, остановился конструктор. Другой рукой он трагикомически дергает и никак не может высвободить запутавшийся в кармане расстегнутого макинтоша револьвер... Серго хватает его за кисть руки, бежит дальше. Револьвер падает на землю.

Разбитый самолет.

Над ним еще стоит легкое облако пыли от падения.

К самолету подбегает Орджоникидзе. Останавливается...

Вдруг, раздвигая плечом обломанные плоскости крыла и сорванные листы обшивки фюзеляжа, медленно, с трудом укрепляясь на ногах, подымается во весь рост ошалевший, но живой Чкалов.

Всей грудью, глубоко вздохнул и ошарашивающе неожиданно восклицает с восторгом:

— Хо-рошая машина!

— Жив? — крикнул Серго резко и кинулся к Чкалову. — Кости целы?

Чкалов проводит рукой по разрисованному ссадинами и пылью лицу... Из носа ползет тоненькая струйка крови.

— Пустяки, — бубнит он виновато. — Насморк...

— Ах, насморк? — кричит побагро-

вевший от гнева Серго. — Тогда, су-масброд, в машину!

И, ища конструктора:

— Где конструктор?

Притихший конструктор сидит в авто, Чкалов влезает к нему. Серго вскакивает на место рядом с шофером, хлопает дверцей и таким тоном бросает: «Давай!», что шофер с места стремительно срывает машину, и она с треском уносится с аэродрома.

Кабинет директора.

Чкалов неистово орет:

— Нам нужны истребители такие... стремительные, как гром, свирепые, как звери. А такие рождаются с риском, с кровью... Надо жизнь заложить, тогда покорится такая... — Снова, повышая голос: — И я вам докажу...

Серго, перебивая:

— Тебе придется показать много убедительнее того, что я видел сегодня на аэродроме...

— Докажу!—восклицает Чкалов.—А через месяц... умру, но на параде покажу...

Москва. Аэродром.

Развертывающиеся гирлянды пестрых флагов.

Сотни фанфаристов, играющих марши.

Трибуны, полные народа.

Голос диктора:

— Восьмым номером военно-воздушного парада пятнадцать истребителей...

На фоне грандиозное поле аэродрома, сплошь усеянное самолетами, на первом плане диктор, держа в руках микрофон, говорит:

— ...связанных между собой лентой, проделают в воздухе ряд фигур высшего пилотажа.

Поле аэродрома.

На старте стоят пятнадцать истребителей, связанных между собой широкой лентой.

Связывают последний крайний истребитель.



Взмах флажка стартера. Взревели моторы, машины двинулись, и 15 связанных истребителей проделывают в воздухе ряд фигур высшего пилотажа.

Поле аэродрома.

Колоссальная линия выстроенных бомбардировщиков, около которых стоят группы летчиков, оживленно следящих за полетом. Некоторые из них перестают смотреть в небо, заметив что-то впереди. Обращают внимание, указывают пальцем, смеются.

Неторопливым, прогулочным шагом идет Чкалов, следя за полетом. Новый штатский костюм сидит на нем мешковато. Он замечает обращенные на него взгляды, стараясь не слушать реплик по своему адресу.

Молодой летчик с задором окликает:  
— Эй, шляпа, кто разрешил путаться у самолетов?..

Чкалов срывает ромашку, повернулся всем корпусом и молча, угрожающе сжав кулак, медленно, тяжелым шагом идет в сторону молодого летчика.

Группа летчиков, улыбаясь, замирает в ожидании интересного столкновения.

Легкий обидный смех...

Чкалов, не оглядываясь и темнея в лице, подходит вплотную к молодому летчику.

— Валерий Павлович... — смущенно вырывается у молодого летчика.

Чкалов, пригнув голову, как бык для удара, тяжело отчеканивает:

— Да, отставной военный летчик Валерий Чкалов... — Вызывающе: — А ты кто?

— Ваш ученик!..

Чкалов угрюмо:

— Не помню!

— Испытательный институт... Курсы...

— А-а...

Чкалов на минуту смягчился и, всматриваясь в него, медленно припоминает:

— Ночной полет... Разговор по душе... Егор... — Снова насупил и сердито: — Ты что ж на учителя своего кричишь?

⇒ Простите, не узнал!

Чкалов пренебрежительно тряхнул головой:

— Учителя не узнал!

Летчик, улыбаясь, с молодым задором:

— Вы же ученика не узнали!

Чкалов с интересом оглядел его и одобрительно усмехнулся: «Фрукт!», качнул головой, с довольной усмешкой отходит и важно продолжает свой путь...

Поле аэродрома.

Алешин подходит к Чкалову. Тот обрадованно:

— Батя... Сколько лет..

Чкалов удивленно и радостно трясет ему руку. Алешин весело и радостно:

— Не ожидал? — Шутливо, формулой приказа: — Командовать парадом буду я!

Чкалов радостно:

— Ух ты! И борода опять отросла... В каком же ты теперь звании, батя, не вижу...

Алешин всей рукой задирает кверху пышную свою бороду, открывая петлицы с двумя ромбами:

— У-у... — удивляется Чкалов. — Как пошел...

Алешин смеется:

— Летал аккуратно, начальства слушался, и ты, сумасброд, мне карьеры не портил! (Оглядывает его.) А ты, брат, тоже фертом! Крахмалы! Собачья радость! Весело живешь?

Чкалов в грустном раздумье:

— Скучно, батя...

— Об армии тоскуешь?

Чкалов угрюмо:

— Мать она мне, а я ей чужой... Совет... Будто ворон я среди голубей... Сейчас вот мальчишка, ученик мой, и тот на меня цыкнул...

Алешин серьезно, укоризненно:

— Ух, неумный ты, Валерий... Вот они, смотри, стоят... Полки истребителей... Кто вывел их в жизнь? Чкалов. Гордись, радуйся!

Хлопнул его по плечу:

— И сегодня собой блеснешь — машинку новую покажешь!..

— Убьюсь — покажу! — вспыхнул Чкалов.

— Не-ет, этого ты не показывай, — забеспокоился батя. — Вот, кстати, противник твой...

Веселый, молодой голос:

— Товарищ командующий, явился по вашему приказанию.

Чкалов оглядывается, озадачен.

Чкалов удивленно и насмешливо:

— Он... будет драться со мной?!

Егор с веселым задором:

— Так точно, с вами, товарищ Чкалов!

Трибуны.

На одной из трибун, поблескивая медью, грандиозный сводный оркестр.

Диктор с микрофоном — на фоне трибун, полных народа, — объявляет:

— Поединок между двумя новейшими скоростными истребителями: под номером первым американский скоростной истребитель, под номером вторым советский скоростной истребитель моноплан «И-16»... Внимание, самолеты готовятся к старту.

Поле аэродрома.

В сдержанном возбуждении Егор забирается в кабину самолета № 1... И, помогая ему, с торопливой озабоченностью секунданта на ринге, напутствует его молодой бортмеханик:

— Только сам не сдай, Егор, а машинка у них... Я разузнал... Комиссией бракованная, не маневровая... — Тревожный взгляд в сторону соперников. — А Чкалов... Что нам Чкалов!

Звучат отдаленные оркестры.

Чкалов у своей машины. Начинает снимать крахмальное свое оборудование.

Пал Палыч принял шляпу, воротник, тревожно поглядывая в сторону соперников, жужжит:

— Опасный у них ястребок. Американец! Механик, кобель, не подпускает к машине... (Принимает крахмальный панцырь манишки.) Но чудная, прах ее возьми... Что к чему в ней, — понять невозможно... Только чую — маневровая, гадина!

Чкалов, разоблачаясь, невозмутимо слушает, внимательно прищуря глаз, наблюдает самолет противника... Треск мотора...

Сверкая белым лаком округлого и гладкого корпуса, красиво развернулась машина Егора... Лихо рулит к старту...

Чкалов уже в комбинезоне (остро всматривается), одобрительно бросает:

— Художник... Бродский...

С ревнивым восхищением оглядывается Пал Палыч, застегивая ему комбинезон.

Егор дал полный газ, и самолет, взревев, покатился и стремительно взвился в небо.

Трибуна.

Нарядная, возбужденная толпа штатских гостей, наблюдающих полеты...

Диктор у микрофона, следя за взлетом:

— Сейчас самолеты разойдутся для ориентировки местности, чтобы затем зайти и с исходных позиций начать бой... — Осекся: — Что ж это они?!

Смех легчиков.

Оба истребителя неожиданно со страшной скоростью понеслись навстречу друг другу...

Рев двух моторов вспарывает воздух.

Поле аэродрома.

Летчики, забравшиеся на крылья самолетов, на башни боевых кораблей, замерли...

Пал Палыч и рядом с ним бортмеханик Егора впились глазами в небо...

— Ага... — задыхаясь, приседает Пал Палыч, ткнув кулаком в бок парня: — Свернешь, молодой человек!

Парень с яростными глазами сунул ему в нос фигу.

Несутся прямо навстречу друг другу истребители. Со страшной быстротой сокращается между ними пространство.

Механик Егора с искаженным лицом:

— Побьются, звери... — Схватил Пал Палыча за плечи, яростно тряхнул. — Сворачивай, чорт!

Пал Палыч, не отрывая от неба отчаянных глаз, дрожа, как в лихорадке, показывает ему кулаки.

Сближаются самолеты.

Кабина американского самолета.

Пылающее азартом молодое лицо Егора. Глаза устремлены вперед... Рука, неподвижно зажавшая штурвал...

Через его голову с удвоенной скоростью встречного движения стремительно надвигается истребитель Чкалова.

Истребители мчатся друг на друга в лоб. Между ними полтора-два метра... сто...

— Валерка, Валерка... — дрожит, как в лихорадке, Пал Палыч.

Безумными глазами посмотрели друг на друга и, одновременно замахав руками, заорали:

— Сворачивай!

Парень схватился за голову и свез свою кепку на глаза.

Кабина американского самолета.

Грохот мотора. Побледневшее и острое лицо Егора, устремленная вперед рука, впившаяся в рукоятку управления.

Ужасающе близко несется на него стальная лавина чкаловского истребителя.

Кабина «И-16».

Упрямо окаменевший Чкалов, весь устремленный в одну точку впереди... Руки, зажавшие управление, замерли, не двигаются...

Сближающиеся самолеты. Вдруг оба одновременно поползли вверх и, почти коснувшись друг друга брюхом, разошлись иммельманами.

Трибуны.

Гигантский вздох облегчения всего аэродрома. Гром аплодисментов.

Поле аэродрома.

Пал Палыч, ликуя, тербит своего врага:

— Очнись, открой глаза, теленок...

Парень отнимает от лица кепку.

— Видал?

Ошалевший парень:

— Видал...

— Чкалов?

— А Егор?! — окрылся снова оживший парень, но тотчас оба поспешно задирают головы к небу.

В воздухе ожесточенная драка. По очереди, не давая противнику очутиться у

себя в хвосте, истребители лезут вверх в непрерывных крутых разворотах.

Голос диктора поясняет тактику боя:

— Оба противника стараются зайти друг другу в хвост для атаки...

Пал Палыч кричит неистово:

— Давай, Валерь Палыч, давай... — К парню в восторге: — Буйвол! В жизни не помню, чтоб отступил!..

Неожиданно самолет № 1 выходит в командное положение...

Чкалов резкими фигурами стремится вырваться...

Голос диктора:

— Самолет № 1 занял выгодную позицию... Чкалов принужден отступить...

— Теленок твой буйвол... — крикнул механик Егора и надвинул Пал Палычу кепку на нос.

Самолет Чкалова удирает от самолета № 1, который вот-вот сядет ему на хвост.

Чкалов делает бурную серию внезапных эволюций и оказывается на хвосте у самолета № 1.

— Дай, дай ему, Егор... — вопит в тревоге механик Егора.

Пал Палыч с надеждой приоткрывает кепку, увидел, снова загорелся:

— Осерчал Чкалов, совсем осерчал... Пропал Егор! — Сдвинул на нос кепку егорову парню.

Но еще раз истребитель Егора блестящим каскадом фигур вырвался изпод Чкалова и крепко надел на него...

Трибуны.

Гром аплодисментов на трибунах.

Поле аэродрома.

Яростно хлопают и, сорвав шлемы, машут им летчики, облепившие машины.

Трибуны.

Диктор, тоном реплики под занавес:

— № 1, применив излюбленный самим Чкаловым маневр, безусловно, принуждает Чкалова сдать...

Аэродром.

Самолет Чкалова, пикируя, камнем летит вниз. Под гром аплодисментов, также переходя в пике, его неотступно преследует самолет № 1.

Трибуны.

Бурно аплодирующая толпа вокруг конструктора, тревожно впившегося глазами в небо.

Голос диктора:

— Чкалов поставлен в такое положение, когда истребитель «И-16», очевидно, уступающий по своим аэродинамическим качествам...

— Не верю!! Не может быть! — вопит необычно взъерошенный и яростный конструктор.

Диктор:

— ...не в состоянии быстро выйти из такого молниеносного пикирования... Это грозит разрушением машины и организма летчика...

Аэродром.

Камнем летят вниз две машины.

— ...Сейчас, в настоящем бою, № 1 мог бы расстрелять Чкалова, так как...

Голос оборвался. Замерли трибуны.

Егор, не в состоянии вывести свою машину из пике, пронесится мимо, вниз, и, когда ему удастся выровнять машину, Чкалов рядом крутых поворотов крепко надел на № 1.

— ...Не давая развернуться противнику, прижимая его к земле...

Побежденный Егор идет на посадку. Чкалов низко пронесится над ним. Загремели оркестры. Гул аплодисментов и криков прокатывается по аэродрому.

Поле аэродрома.

Механик Егора сам медленно наводит кепку себе на глаза.

— Ура-а! — орет багровый Пал Палыч, победоносно оглядываясь по сторонам, вдруг замирает, остановив глаза. Срывает кепку с головы парня, задыхаясь от восторга: — Смотри, кто нам хлопает!

Правительственная трибуна.

Гул аплодисментов. Сталин, провожая довольными глазами самолет, крепко аплодирует. Серго Орджоникидзе темпераментно рассказывает ему, видимо, историю падения Чкалова в этой машине на заводском аэродроме...

— А вот теперь доказал! — восклицает довольный Серго.

Сталин, не отрывая глаз от чкаловской машины, качает головой, смеется, крепко аплодирует.

Самолет Чкалова, плавно идущий на посадку.

Трибуны.

Аплодируют зрители. Торжествующему конструктору пожимают руки.

Поле аэродрома.

Пал Палыч, поглядывая вверх, торопливо и торжественно раскладывает на траве ассортимент чкаловских крахмалов, в форме фигуры «на посадку».

Ровный гул низко проходящего на посадку самолета.

Пал Палыч, подняв голову, приподымается, вдруг тревожно всматривается, побежал.

— Шасси! — отчаянно заорал он в небо.

У самолета, летящего низко над землей, из-под брюха выползает одно колесо... Другое, показавшись, застрекает. Дергается... Застрыло...

Самолет снова кругами уходит от земли, набирая высоту.

Среди летчиков тревожное движение... Обмен профессионально сдержанных, но тревожных реплик:

— Одна нога...

— Табак дело...

— Сядет... В притирочку...

— На скоростной-то! Гроханется...

«Хладнокровный летчик» недовольно покосился:

— Ну... еще парашют...

Егор покосился на него:

— Чкалов? не бросит машины...

Кабина «И-16».

Чкалов с насупленным лицом вертит рукоятку шасси...

На доске приборов вспыхивает левая лампочка, правая не зажигается...

С ожесточением дергает трос.

На секунду самолет теряет управление, проваливается.

Чкалов хватает рукоятку управления, выравнивая ее.

Правительственная трибуна. Падающая машина выравнивается.

Сталин, тревожно оглядываясь на нее, спрашивает вытянувшегося перед ним Алешина:

— Почему Чкалов не садится? Что с машиной?

— Неполадки с правой ногой шасси. Сталин оглянулся вверх на самолет, решительно:

— Прикажите Чкалову бросить машину и выброситься на парашюте...

Алешин козырнул и быстро сбежал по лестнице.

Аэродром.

Самолет свечой поднимается в небо... Набирает высоту...

Вдруг, неожиданно, он беспомощно рухнул вниз...

Кабина «И-16».

Чкалов бросил управление, он видит соскочивший трос, закусил губы, пытается дотянуться до него. Его швырнуло начинающееся вращательное движение самолета. Упрямо тянется к тросу...

Аэродром.

Самолет, входящий в штопор.

Трибуны аэродрома.

Алешин и «хладнокровный летчик», окруженные другими летчиками. Глаза, устремленные в небо, окаменевшие лица.

Все новые и новые витки самолета, ввинчивающегося в штопор...

Кабина «И-16».

Скованное страшным напряжением лицо Чкалова.

Он не может дотянуться до троса.

Вращается и стремительно несется вверх земля, аэродром...

Кружится, кружится земля.

В том же ускоряющемся ритме вращается падающий самолет...

Зрители замерли.

Аэродром.

Вдруг истребитель взмывает вверх.

И тотчас рядом с ним появляется второй самолет... Крыло к крылу.

Егор кричит Чкалову, указывая на фюзеляж своей машины.

Крупными буквами выведено:

### «ВЫБРОСИТЬСЯ ИЗ САМОЛЕТА!»

Чкалов кричит что-то в ответ и сердито машет рукой.

Самолет Егора ложится в вираж и стваливает.

И сразу же истребитель Чкалова с визгом ринулся в непрерывный и ослепительный каскад невероятных фигур.

Они ошеломляют, потому что непрерывно следуют одна за другой... Перевороты через крыло, бочки, полет колесами вверх, и все это почти неузнаваемо, потому что он обрывал фигуру, резко переводя машину в новое положение.

Машину бросает вверх, вниз, в стороны. Эта страшная игра проносится таким захватывающим дух, веселым торжеством мастерства, что толпа зрителей взрывается раскатом неистовых аплодисментов. Вспыхнувшие восторгом, кричащие лица, улыбки, руки, размахивающие платками...

Гремит аплодисментами аэродром...

С сдержанным волнением смотрит Сталин, оглядывается, бросает:

— Повторите ему — немедленно бросить машину и выброситься на парашюте!

Поле аэродрома.

Летчики с запрокинутыми лицами застыли в ожидании.

Появляется Егор.

— Не бросит он машину... — не отрывая глаз от неба, с уверенностью качает головой Егор.

— А я бы прыгнул... — сказал «невозмутимый летчик».

Егор, сверкнув на него глазами:

— Ты бы... Ты бы...

— Ну? — вежливо прищурил глаза летчик.

— Ты бы?.. — с сердцем повторил

Егор. — Надо характер понимать... — И вдруг: — Смотрите... Смотрите...

Снова рядом с истребителем Чкалова появляется самолет с надписью: «Выброситься» и поспешно приписано: «Убью».

Из самолета высунулась голова Алешина, он грозит кулаком.

Кабина «И-16».

Чкалов, потный, с налитыми кровью глазами, видя бату, заорал:

— Уйди, протараню!

Аэродром.

Самолет Чкалова сделал петлю и угрожающе уходит в хвост самолету Алешина. Батя ловко вывернулся и пошел вниз.

Кабина «И-16».

Чкалов посмотрел на лампочку, снова с диким упорством дергает рукоятку механизма, с бессильным бешенством оглядывает кабину, ожесточенным движением отрывает кусок обшивки, торпливо выцарапал по лаку:

*«Разобьюсь, машина не виновата... Хорошая... заел трос правого шасси. Учтите в серийном выпуске, Чкалов...»*

Выбросил за борт... Затянул ремни крепления потуже и, как зверь, изготовившийся для последнего прыжка, схватил и двинул рукоятку управления...

И сразу в этот восторженный гул врывается рев мотора.

Лицо Чкалова в поту тяжелой работы, смертельной борьбы.

Вся фигура, собранная огромным напряжением, с обеими руками, впившимися в штурвал... На страшных сдвигах и встрясках машина. И все-таки некротимое яростное лицо.

Секундная пауза ровного полета, когда на одним движением ладони утирает лицо, жадно смотрит на контрольные лампы.

Вспыхивает только одна... дергает рукоятку механизма шасси и тотчас, снова вжавшись в сиденье, рванул машину...

Истребитель с ревом бросается в новый вихрь фигур.

Кульминация отчаянного мастерства пилотирования.

Поле аэродрома.

Гремит аплодисментами аэродром... Алешин, Егор, летчики понимающими глазами профессионалов и, все-таки охваченные невольным восторгом, потрясенные, смотрят.

Батя скомкал в кулак пышную свою бороду, сквозь напльвную слезу диким огнем горят его расширенные глаза...

— Он хотел вытряхнуть шасси...

И на едва уловимом ритме отраженных от взлетов машины конвульсивных движений зрителей эта пауза разряжается натянутым, как струна, голосом молодого летчика:

— Красиво умирает!

— Как жил... — сказал батя.

Трибуны.

Постепенно затихающие аплодисменты зрителей. Сквозь толпу летчиков идет встревоженный Пал Палыч, кого-то увидев.

Отдаленные звуковые фигуры мотора над его головой.

Подходит к стоящей Ольге.

Она с застывшей на лице, как бы позабытой, улыбкой смотрит, не отрываясь, вверх.

Пал Палыч останавливается у нее за спиной, боясь отвести глаза от неба.

Он трогает ее за руку и говорит весело:

— Пойдем-ка домой, Ольга Эразмовна... Десять лет кувыркается... Надоело...

Она не оборачивается, не отвечает, только последний след улыбки сползает с ее лица.

Бурный звуковой росчерк мотора. Дрогнуло лицо у Пал Палыча, он торпливо, обыкновенным тоном:

— Сынок домой просится... Ему чего-то надо... Пойдем...

Гнусавый вой сирены пронесется по аэродрому...

— Оставьте... Я все знаю... Я восемь лет знаю... — вырывается у Ольги отчаянно.

Самолет Чкалова внезапно входит в пике, с оглушительным ревом он камнем несется вниз.

— А ты что ж, забыла... — заорал Пал Палыч в отчаянии, — что обещалась не мешаться в нашу летную жизнь?

Ольга сжимает руки на груди, слезы бегут по охваченному отчаянием лицу.

— Так ведь в жизнь... Жизнь... А это...

Пал Палыч с страшным лицом обрывает ее:

— Ольга Эразмовна, не говори такого слова...

Подхватывает на руки мальчика, свободной рукой обхватывает Ольгу за талию:

— ...Пойдем!..

Он торопливо уводит ее под гнусавый нестерпимый вой сирены.

Мчится через аэродром санитарная машина.

Камнем падает вниз истребитель.

Кабина «И-16».

Придавленная огромной тяжестью падения откинутая фигура Чкалова. Голова Чкалова, как маска, глаза полуоткрыты, руки сжимают руль.

Аэродром.

Жадно несется навстречу земля.

В рев мотора вплетается усиливающийся вой сирены...

Кабина «И-16».

На безжизненном лице Чкалова внезапное и мучительное волевое усилие, сильным движением рук он выводит машину из пикирования...

Страшная встряска и скрежет выхода из пике...

Истребитель внезапно ломает линию падения...

Из-под брюха вылезает второе колесо шасси...

Чкалов, на секунду потерявший сознание.

Из ушей и носа течет кровь... Приоткрыв глаза, секунду смотрит, как слепой... Ореолят обе сигнальные лампочки от шасси на доске приборов.

Он смотрит... Потрогал рукой лампочку...

Крепко сморщив лицо, сжал глаза, встряхнул головой, посмотрел и усмехнулся по-чкаловски.

Аэродром.

Плавно снижается самолет.

Размахивая руками, шлемами, с криками «ура» со всех сторон бегут сотни летчиков разных частей и экипажей.

Над толпой, облепившей самолет, возникает поднятая на руки фигура Чкалова. Она смешно двигается, в слабых попытках сопротивляться плывет по рукам...

Дружное «ура», качают Чкалова. От трибун слышны крики приветствий, загремела музыка. Толпа летчиков растет вокруг Чкалова. Пал Палыч, размахивая крахмалами и шляпой Чкалова, с криком «ура» пытается пробраться к кругу... Качают Чкалова...

Неожиданно толпа летчиков затихает, молниеносно расступается. Чкалов летит вверх уже на руки одного, двух товарищей и шлепается на землю.

Разозлившись, поднял сердитое лицо и замер... К нему, протянув руку, наклоняется Сталин... Рядом с ним Ворошилов и Орджоникидзе.

Растерявшись, Чкалов остается сидеть...

— Оттуда не упал, так с высоты двух метров все-таки упал... — сказал смеющийся Сталин. — Какой упрямый...

Помогает встать ошалевшему Чкалову, аплодирует.

Дружный гром аплодисментов окружающих подержал Сталина... Он с улыбкой смотрит на смущенного, вытянувшегося Чкалова. Качнул головой с усмешкой:

— Это не вам, это мы самолету аплодируем...

Весь разговор проходит на фоне стоящих самолетов и большого количества летчиков.

— Хорошая машина, товарищ Сталин.

— Очень хорошая, — сказал Сталин. — Но почему вы не бросили ее и не выпрыгнули с парашютом?

Чкалов растерялся от неожиданно-сти:

— Оставить такую машину... Товарищ Сталин, это опытная машина, стоит она миллионы... И вы сказали — хорошая...

Сталин серьезно, негромко:

— Ваша жизнь, жизнь летчика, нам дороже любой самой замечательной машины. (Сердечно.) Огорчили вы нас, товарищ Чкалов...

Чкалов растерянно оглянулся:

— Моя жизнь?

Строй сверкающих на солнце великолепных машин.

Орджоникидзе разводит руками, с шутовой безнадежностью:

— Он и слова такого не понимает, товарищ Сталин, ему на жизнь наплевать!

— Как? — с живым недоумением подхватывает Сталин и Чкалову: — Сколько вам лет?

— Тридцать один...

— И уже не любите жизнь?

Чкалов в замешательстве, путаясь:

— Что делать... Испытателю приходится часто... играть жизнью...

— Играть? — усмехнулся Ворошилов. — Жизнь самое дорогое наше вооружение, а оружием играть... — покачал головой, — не рекомендуется.

Чкалов в испарине, бормочет:

— Я плохо сказал... — делает усилие поправиться, — но я истребитель и признаю такого бойца бойцом, который, несмотря на верную смерть, идет и без сожаления жертвует собой!

Сталин, любясь его мужественным пылом, с спокойной улыбкой:

— Теперь совсем плохо сказал...

Чкалов, окончательно смешавшийся, замолк виновато...

— ...Умереть тяжело, но не так трудно, товарищ Чкалов... Я за таких людей, которые хотят жить, жить как можно дольше, бороться, разить врага и побеждать... — Тотчас спросил живо: — Вы знаете, сколько лет живет орел?

— Орел... — тихо сказал Чкалов.

— Свыше ста лет! — Сталин обвел глазами летчиков вокруг и повторил: — Более сотни лет летает!

Вдруг тонкая усмешка скользнула по

его лицу, он дружески привлек к себе Чкалова и тихо на ухо сказал:

— Скажу вам по секрету, я сам хочу прожить побольше лет... — глаза Сталина смеются у самого лица Чкалова, — вот прожил я пятьдесят пять, а еще так мало успел сделать.

Чкалов изумленно дернул головой и заулыбался...

— Вы шутите, товарищ Сталин...

Засмеялся и Сталин., Качает головой:

— Нет, нехорошо, когда шутят с жизнью.

Нащупал в кармане френча и достал оттуда обломок, выброшенный Чкаловым из самолета, с его предсмертными каракулями... Протянул его...

— Возьмите и дайте слово больше не писать таких неуклюжих писем...

Чкалов молчит... Горячий поток волнения потрясает его душу...

С трудом находя слова:

— Обещаю, товарищ Сталин, летать долго... Летать, пока в руках моих есть сила держать штурвал, а глаза мои видят землю...

Сталин с мягкой пристальностью смотрит на Чкалова и вдруг с неожиданно вспыхнувшим огоньком в прищуренных глазах:

— А если уж рисковать, только когда ясно видишь перед собой большую, великую цель! Не правда ли?

Квартира Чкалова.

Тихая комната.

Ольга уткнулась лицом в подушку, пластом лежит на диване. Редкая дрожь проходит по ее плечам. Пятна низкого солнца на стене...

Сильный продолжительный звонок у входа.

Она вжимается вся в подушки, в диван, не шевелится...

Требовательный, длинными очередями звонок.

Она вдруг вскакивает с помертвевшим лицом, машинально трогает виски, потом медленно идет через комнату...

Из внутренней двери высунулась веселая мордочка Игоря:

— Это папа?



Тем же шагом, с неподвижным лицом она идет на него. Закрывает дверь... Запирает на ключ.

Непрерывный пронзительный звонок...

Проводит ладонью по сухим глазам и прижимает ее к щеке... И вдруг стремительно бросается к двери в коридор.

У входной двери, уже схватившись за ручку, бессильно кладет лоб на дверную планку и долго стоит так, не открывая.

Над ее головой дрожит диск электрического звонка.

Наконец, с лицом, полным ужаса, рывком распахивает дверь.

Стоит Чкалов.

— Жив! — вскрикивает она...

— Как никогда раньше! — кричит она с странным, будто бы оглушенным лицом.

Шагнув, схватил ее...

— Но ведь долго же, — цепляясь пальцами по его груди, лихорадочно вырывается у нее. — Ведь я же знаю... Что случилось? Я вижу, вижу... Что-то случилось?

— Случилось... — почти ее тоном сказал он. — Со мной говорил Сталин.

Она смотрит на него, с трудом понимая.

— Да, да, понимаю... — вспыхнуло лицо. — Что же он говорил?

И в порывистом возбуждении, хватая и отбрасывая беспомощные слова, мучительно помогая выразить жестами:

— Понимаешь... Про меня... И... Про главное... Ах, да разве могу я повторить, как он говорил!.. Сказал... что я мало тебя люблю!..

— Боже мой, Валерий, ну что ты такое выдумываешь...

— ...Что я мало тебя люблю... — с силой повторил он. — Детишек...

— Правда... — жалобно сказала она и тут только заплакала, прижавшись к его груди... жалобно улыбаясь и восклицая: — Он правду говорил...

— Правду... Правду...

И, словно страшно торопясь куда-то, он увлекает ее в комнаты.

— Валерия спит? Где Игорек? — Оставил ее, кричит:

— Игорь!..

Тотчас забыв об этом, взволнованно проходит по комнате.

Присел, как гость, на стул, оглянулся в удивленном смятении...

— Лелька, Лелька... — с грустным изумлением произносит он. — Как же мы жили! Значит, уходили дни, годы, а я ничего не видел... Коверкал, мучил, терял...

Вдруг вскакивает:

— Лелька! Надевай шляпку... В Летний сад пойдем! Ах, черт, это ж Москва... Все равно, в сад!

Бросается в коридор.

— Чтоб понимаешь, в точно такой же...

Она стоит растерянная...

Он вбегает с ее шляпкой в руках.

Сверкая глазами, упрямо:

— Не отдам... Я все сначала хочу пережить... — торопливо, неумело натягивает шляпку ей на голову, — ...что мы потеряли, что не успели...

Нетерпеливо тащит ее за локоть:

— Пойдем, пойдем...

Сад в городе.

Зapolдень. Полный листвою, птицами и солнцем сад... Сухая дорожка... Гуляют люди.

Растерянная Ольга и неистовый Чкалов...

— Понимаешь, чтоб лучше, полнее... — Отступает на шаг. — Вот ты подошла... Что ты тогда сказала?

— Сумасшедший... — произнесла она тихо и засмеялась.

Чкалов в восторге:

— Верно! — и весь просияв, как сладкую музыку, повторил: — ...Сумасшедший... (Бурно.) И я болван... Только не надо ругаться...

С порывистой тоской:

— Ольга, страшно подумать, ведь мы и объясниться в любви так и не успели... Не было у нас никаких слов про это... Но, погоди, погоди, надо все по порядку... Вот мы идем... Идем...

И, как когда-то, они медленно идут рядом.

Ясный солнечный день...

Она вдруг останавливается, смотрит под ноги, воскликнула огорченно:

— Где же лужа?

Сухая дорожка.

Он взглянул на секунду под ноги, на сухую дорожку.

— Все равно... — подхватывает ее на руку, горячо: — Я понесу тебя не так, как тогда, осторожно, душевно...

— Но дождь, где дождь?.. Тогда лил замечательный дождь...

— Да, да... — он оглядывает ясное небо и будто видит этот дождь, просяив: — Действительно, чертовский дождь хлестал... — волнуясь: — Но погоди... Лелька, какие слова в голову лезут...

И будто перед тем, чтобы лучше их выразить, всей грудью вдохнул воздух:

— Ах, Лелька, ударь же меня по морде!

Она обняла его за шею и крепко поцеловала.

Он опускает ее на землю, оглядывается в смятении:

— Что бы нам сделать еще? — хватая ее за руку, увлекает: — Пойдем!

—

Улица Москвы.

Они стремительно идут по людной улице.

Площадь Большого театра. Сумерки. Первые прозрачные огни. Проезжают машины, автобусы, трамваи. Проходят люди. Ольга растерянно смеется, едва поспевая за Чкаловым.

Он, увлекая ее за собой, озирается с неумным лицом блаженной тревоги.

Продащица цветов протягивает ему один из своих букетов...

— Ладно, я буду покупать все цветы по дороге!

На ходу загребает весь ее запас цветов, сует цветы в руки Ольге...

Ночь... Парк ЦПКО в Москве.

Чкалов и Ольга идут, нагруженные охапками цветов...

Разрозненные отрывки музыки, песни.

Аккорды гитары...

Группа гуляющих.

... Лицо Чкалова настороженно прислушивается.

...Хочущие лица какой-то компании. Парень с гитарой... Чкалов протягивает руку и вырывает гитару...

Парень вскакивает, кричит; в его разъяренное лицо ударился букет цветов и... огненные брызги разорвавшегося фейерверка...

Чкалов идет и поет... С гитарой...

С озорным задушевым лицом... Поет хриловато, почти без голоса, но душой поет, как русский, почти говорит...

К нему прижимается смеющаяся, немного испуганная Ольга.

— Отдай, Валерий, — смеется и шепчет она, оглядываясь через его плечо.

За ними шагает уже целая гирлянда гуляющих, весело подпевая припев.

—

Они несутся дальше по ночной улице... Она с охапками цветов на груди, смеется, задыхаясь. Частые прохожие. Он несет цветы, как сноп, подмышкой... Направляются в кино... Внезапно он увлекает ее за руку в первый попавшийся подъезд...

За дверь обхватывает рукой с цветами и сжимает ее в крепких объятиях, целует сильно и жадно, теряя цветы... Открывается дверь, мирный интеллигент, наткнувшись на них, остановился озадаченный... Валерий не выпустил Ольгу, а только, скосив глаза, сунул ему букет, коротким тычком вытолкнул обратно на улицу, ногой прихлопнул дверь.

Звякнула дверь.

Он, отстранив Ольгу, держит ее за плечи, смотрит на нее...

Не открывая глаз, она прислонилась затылком к двери...

Попрежнему сумасшедший, он снова с смутной тревогой оглядывается... Что-то еще... Еще...

Лицо вспыхивает внезапным открытием:

— Лелька... Я хочу есть...

—

Гастроном... Свет, отраженный в зеркалах... Колоссальный натюр-морт съедобного.

Перед ними на мраморной белизне прилавка уже гора свертков. Мечутся потные продавцы... Удивленно оглядываются покупатели.

Он, как прожорливое чудовище, тычет пальцем в горы снеди, лакомств, вин:

— Еще, еще это... И это еще...

— Куда столько, Валерий... — тянет его за руку сконфуженная Ольга. — Как на свадьбу!

Он быстро оглядывается, пораженный:

— А!

И, рассыпав на прилавок остаток цветов, бросается к автомату. Бурно кричит в телефонную трубку:

— Паша! Немедля сматывайся ко мне!.. Что? На свадьбу!

Ольга подходит к нему испуганная: — Валерий!

Он хватается за плечи, с взволнованным лицом, страстно:

— Молчи... У нас не было свадьбы...

Она будет сейчас... Сегодня!

—

Квартира Чкалова.

Открывает дверь Пал Палыч... Отступает озадаченно:

— Валерий Павлович!.. Какая свадьба?

Нагруженные свертками и цветами, вваливаются с хохотом Валерий и Ольга. Кричит Чкалов, сверкая глазами:

— Я, Паша, сегодня с жизнью обвенчался!

Рассыпая на ходу свертки, обхватывает Ольгу, увлекая ее в комнаты...

Музыка... Крутится диск патефона... Чкалов обнял Ольгу и, подняв ее, завертелся с нею по комнате. Медленно скользят вниз руки Ольги.

Она в изнеможении.

— Подожди минуточку... — блаженно закрывает глаза, беззвучно, счастливо смеется. — Как я уста-а-ла...

Он подхватывает ее, как ребенка, осторожно несет на диван. Гудит нежно:

— Мы сами... Сами... А ты пока полежи...

Выпрямляется озабоченно:

— Надо бате позвонить, Егору... Гармониста надо и всех звать!.. Пашка! Зови.

—

И вот два друга за роскошно накрытым столом, взбудораженные.

Шум вылетающей пробки шампанского.

Он наливает два бокала и несет их к Ольге, на ходу говоря:

— Ну, Ольга, наконец...

Застыл.

На диване, свернувшись калачиком, так и уснула с улыбкой уставшая Ольга...

Чкалов дает Пал Палычу ольгин бокал...

— Т-ссс... — грозят они друг другу пальцем. — Т-ссс...

Пал Палыч, подымая бокал:

— За ко-го? — нагибаясь, жужжит он.

— За жизнь! — кричит шопотом Чкалов.

И, широко раскрывая рот, натуживая лица... долгое неистовое и абсолютно беззвучное «ура-а-а!» Выпили... Чкалов вытер губы и повел беспокойными глазами... Помедлил, будто прислушиваясь к внутренней тревоге, вдруг встал, схватил две бутылки, стакан, огурец и многозначительно кивнул дружку на дверь... Пал Палыч также вооружается бутылками, необходимым прикладом, и они, осторожно балансируя, на дыпочках идут к двери...

—

На кухне лежат на обрывках газет надкусанные огурцы, стоят бутылки и начатые стаканы... Чкалов в крайнем возбуждении.

— А чем же мне эту жизнь оправдать? Чем отслужить, отблагодарить его? Что сделать, Паша? Что бы сделать такое?.. — напрягая мускулы, потирая сжатыми кулаками: — У-ух!..

Слегка охмелевший Пал Палыч опускает иголку на диск патефона, стоящего на плите. Вырвалась музыка, и он тотчас, тараща брови и усы, предлагает захватски:

— А вот что, Валерка... заправим мотор, взвейся свечкой над самым Кремлем и шарахни в боевой разворот, иммельманы, риверсманы, бочки, штопор, двести мертвых петель подряд, а потом парни, пронесись под окном и

крикни: спасибо, Иосиф Виссарионович!

Чкалов вспыхивает раздраженно:

— Я четыреста могу, ну и что ж!

— Четыреста еще лучше, — восклицает Пал Палыч, подымая стакан.

— Ну и что ж, кому это нужно по пустякам себя растрачивать? Я большего хочу! С «фортелями» кончено, понимаешь? Отыгрались... — крикнул он сердито, встал, прошелся по кухне.

Пал Палыч растерянно моргает глазами, испуганно смотрит на него, машинально хлопая губами, тянет из стакана...

Чкалов старается собраться с мыслями, беспокоится, вслух, сам с собой:

— Ну да... Надо по-новому жить... Это так... А как? — растерянно оглянулся на Пал Палыча. — А что я, Паша, другое могу? Что ж от меня без «фортелей» останется?

Растерянно повел глазами по полу... Пал Палыч качнул головой и, приглядываясь к нему, как бы взвешивая, соболезнующе сказал:

— Это верно, без «фортелей» что ж ты... жалкий человек...

Чкалов оперся всей рукой о стол и застыл так, в напряженной думе... Шипит патефонная иголка.

Пал Палыч молча смотрит на него... Спросил беспокояно:

— Так что ты думаешь?

Чкалов не пошевелился. Молчит...

Пал Палыч испуганно моргает глазами. Подождал и сказал жалобно:

— Да не молчи ты... Страшно... Что же ты думаешь?

Чкалов не шевелится, не отвечает... Только шарит глазами по полу... Зазвонил звонок...

Пал Палыч обрадованно взглянул на Чкалова (тот не двинулся) и побежал открывать...

Входит Алешин, веселый и чем-то по-особому преображенный...

— Здоров! ты что, как потерянный?..

Чкалов подымает голову, слабо улыбнулся...

— Потерял.

— Что ты еще потерял?

— Чкалова потерял...

— Что, выпил много? — засмеялся

Алешин и сразу же радостно: — Валька, знаешь, какой сегодня день? Мне утвердили большой перелет!

Чкалов смотрит на него еще погруженный в свою тревогу... Алешин хватается, встряхивает его за плечи:

— Да радуйся же, чорт, за меня радуйся! Я всю жизнь с вами возился, мораль разводил, на тебя облизывался — каким прямым ходом прет человек! А сам придерживался... Как что, — ложился в вираж, все своего дня дожидался... — Метнул рукой бороду кверху. — Вот какую метлу второй раз отстрил, а сегодня... Мой день!

Выпивает бокал вина.

Чкалов, заражаясь его подъемом, но думая о своем:

— Ну да... Вот если б война, собрать бы крутых молодцов, вроде тебя да Егора...

Захотел довольный.

Алешин:

— Да обожди, Валька... Понимаешь ты, лечу, пока бензина хватит, на Север, к полюсу, куда зверь не забегал и птица не залетала...

— Вот что мне нужно! — крикнул Чкалов, встал и умоляюще схватил Алешина за руку: — Да... Да... Батя! Возьми меня в полет... Мне своей силы девать некуда... Возьми!

Алешин сконфузился, торопливо:

— Прости, Валерий, рад бы, не могу... Экипаж уже подобран, я не могу же разогнать людей перед самым вылетом... И куда нам двоим, таким...

Чкалов схватил его за плечи, лихорадочно, страстно:

— Возьми меня, батя, возьми... Мне по-новому жить... Мне новая дорога нужна, мне от себя уйти надо... Возьми меня, батя, спаси... Я характера своего боюсь!

Алешин схватил его за руки, забормotal испуганно:

— Что ты, что ты... — Пытается успокоить. — Не могу же я, пойми, знаешь, как экипаж перебирали, с песочком... Чтоб без пятнышка... Валерий!

Чкалов внезапно с угрюмым спокойствием отмахнулся рукой, усмехнулся угрюмо и сказал спокойно и надменно:

— Ладно, ладно... Не это мне нуж-

но... — отошел к столу, взял бутылку, тем же ровным голосом: — Выходит, Паша, нету Чкалову другой дороги... Заправим горючего... — медленно наливает стакан и с каждой фразой все тише: — Взлечу над Кремлем... Пятисот петель подряд... Брякнусь под окном и скажу... (Совсем тихо, с тоской.) Прости, нету у меня больше ничего...

В дверях на кухню стоит проснувшаяся Ольга, испуганно протирает глаза...

Он оглянулся на нее и засмеялся хмуро. С новой холодной трезвостью сказал:

— Глупости все это... С игрушками кончено... баста... — секунду подумал, прибавил: — Я не знаю, что мне надо, но я знаю, надо что-то большое... Ладно, пока, видно, поедем, Лелька, на Волгу... думать будем...

—

Вокзал. Состав скорого поезда.

На вагонах дощечки: «Москва — Горький».

На перроне суетятся отъезжающие, носильщики.

Ольга с маленькой Валерией на руках, ведет за руку Игоря. Входят на площадку вагона.

Чкалов с ружьем в чехле за плечом, с чемоданами, замешкался на платформе, вытаскивая билеты.

Неожиданно подбегает к нему запыхавшийся Пал Палыч, тихо, задыхаясь: — Батя разбился...

Чкалов с расширенными глазами хватается его, трясет... потом, сбросив ружье, бежит по перрону...

Брошенные чемоданы... Удивленно оглядываются пассажиры.

Испуганная Ольга с детьми высаживается на перрон, смотрит ему вслед растерянно...

Медленно отходит поезд...

—

Госпиталь.

На койке Алешин.

В сознании, важный, спокойный, только лихорадочный блеск в глазах.

За изголовьем стоит Егор. Неподвижно, положив руки на колени, сидит Чкалов и смотрит на батю. Через койку сидит стройный, аккуратный летчик с красивым лицом и гладкой прической. Доктор в халате, сестры.

И происходит суровый и странный мужской разговор.

Батя говорит:

— Ты мне смотри, разбойник, как повезут меня, — полегче летай, ящика моего не сшиби... — Улыбнулся глазами посторонним, пояснил: — Любит он бреющим полетом... в последний раз... товарища проводить...

Чкалов смотрит на него с суровой тоской в глазах, тихо:

— Глупости все это, батя...

— Конечно, глупости...

Устало прикрыл глаза батя...

— Зря бороду отращивал... — сказал Чкалов.

Алешин шевельнул губами в улыбке, качнул головой:

— И не сгорела, холера...

— А ты сгорел...

— Да. Теперь не встану.

Молчание... Вдруг Алешин беспокойно шевельнулся, открыл глаза, приподнял голову:

— Уходите... Чужие... — попросил он.

Доктор (прошептав что-то на ухо красивому летчику) и сиделка отошли.

Чкалов вспыхнувшим взглядом встретился с спокойными, печальными глазами незнакомого летчика, но он не встал и остался сидеть у кровати.

Алешин заговорил лихорадочно, пытаясь привстать.

— Только машина не виновата... Хорошо шла... Потом обледенела...

— Ну, а ты что ж... Ты... — И буд-то можно еще помочь, торопится Чкалов... — Надо назад...

Алешин устало, почти равнодушно:

— Да... Саша штурман мне тоже сказал, надо вернуться, и я повернул назад...

Отдыхая, водит глазами по потолку и снова, начиная волноваться:

— Потом опять солнце... Оттаяло... И как подумал, — всю жизнь я своего полета ждал, и вот теряю... Тебя вспо-

мнил... (С тоской.) Ведь я ж тоже сокол!

Бессильно опустился на подушку, и закрыл глаза.

Незнакомый летчик сказал печально: — Нужно было твердо возвращаться...

Чкалов с тихим гневом:

— Замолчите... Это не следствие.

— И я опять повернул вперед... — с спокойствием безнадежности сказал батя: — Я знал, что поздно и летел... Летел...

— Уж лучше сразу вперед... — простонал Чкалов. — Что ж ты метался, батя...

— Да, — бесстрастно сказал Алешин. — Зря я тебя не взял... — метнулся головой по подушке. — Да не в этом дело... В характере у меня Чкалова не хватало...

Чкалов с дрожащими губами, пригнувшись к его лицу, с выражением страсти отчаяния, почти шопотом:

— К чортовой матери Чкалова... Нельзя на характер свой ногой наступать, он отомстил, батя...

— Да... — сказал Алешин.

Молчание.

Егор спросил.

— А парашют?

— Я приказал выброститься штурману и пилоту...

— А сам? — воскликнул Чкалов.

Алешин торопливо, волнуясь:

— Я бы прыгнул, обязательно прыгнул... Но ведь машина не виновата, это я... Я сам... И я не мог... Я должен был попытаться спасти ее.

Чкалов крикнул с болью:

— Да ведь так же я мог когда-то, но ты, ты... Нас учил, а сам, как мальчишка, как бывший Чкалов! — задохнулся в ярости отчаяния: — Нельзя умирать... побежденным!

— Товарищ Чкалов... — мягко окликнул его незнакомый красивый летчик. — Нельзя же так... Надо уважать... — Он остановился и кончил взглядом строгим и печальным.

Чкалов вскочил и, подойдя вплотную, kloкоча от гнева и горя, сдавленным голосом:

— Что уважать, говорите, что... смерть? — Исступленно: — Ненавижу, презираю, плюю на нее — поганку!

Летчик невозмутим, и Чкалов, теряя самообладание:

— Уходите отсюда... Потом будете церемониал разводить... Здесь товарищи прощаются!

Летчик смотрит ему в глаза, спокойно, грустно:

— Я уйду, только, пожалуйста... — просит он. — Тише!

— Факельщики... — весь трясется Чкалов, слеза ползет по его щеке.

Медленно, выгнутая костылем, уходит спина незнакомою летчика.

— Что ж это он! — бормочет Чкалов, и, в смутном сознании вины, отмахнулся рукой: — Морда у него какая-то обтекаемая... — Наклонился к Алешину, в лицо, глухо, сурово: — Умереть спокойно не дадут...

— Мне спокойно... — сказал Алешин, задыхаясь... — Открой окно.

Чкалов выпрямился, подошел к окну, распахнул его и так застыл на минуту, скрывая лицо... По щекам его бегут слезы...

Легкий ветер надул занавеску, как парус.

На еще голых ветках березы пучочки крошечных листьев...

— Не так жизни жалко... А жалко, что летать больше не буду... — едва слышно сказал Алешин.

Чкалов порывисто обернулся к койке.

— Слушай, батя! — сбивчиво и торопливо заговорил он, подходя к Алешину.

Непонятно, слышал тот или уже в бреду, проговорил хрипло:

— Только машина не виновата... Хорошая машина... Долетит...

Глаза его закрыты, он дышит порывисто и тяжело, кажется, что умирает.

Чкалов хватает его за руку, будто хочет удержаться...

— Погоди... погоди... — торопится он досказать, утешить. — Слышишь ты меня: и умереть можно так, что с тобой эта жизнь не кончилась... Не тоскуй, батя, я полечу... В твой полет полечу!

Алешин вдруг затих и открыл глаза...

— Может, я все испортил... Не разрешат теперь...

И лихорадочно быстрый обмен взволнованных реплик:

— Ты Сталина попроси... Он поможет...

— Добьюсь, батя, полечу.

Алешин молча посмотрел на него и закрыл глаза:

— Ну... Поцелуй... Я еще о себе думаю...

Чкалов наклоняется, целует его в губы.

— Вот еще что... Ты с собой Егора возьми и непременно штурманом — Сашу. Я его не послушал. Он тебе нужен... — Постарался улыбнуться, с трудом поднял руку и погрозил пальцем: — Смотри!

— Даю слово исполнить, батя... Прости.

Чкалов отошел к окну, к нему приблизился попрощавшийся с Алешиным Егор.

— Мне нужно сейчас же найти штурмана Сашу, ты знаешь его? — судорожно хватая Егора за руку Чкалов.

— Пойдем, он здесь.

Они выходят в коридор.

Летчик с костылем...

Чкалов растерянно оглянулся на Егора и, поняв, порывисто подошел к летчику с костылем:

— Простите меня... — тихо сказал он. — Я плохо говорил о вас... Ради бати простите...

Летчик берет его за руку, спокойно:

— И я ради бати... Лучше поговорим о полете...

Чкалов вспоминает:

— Да, да... — сжимает его руку и хватая за рукав Егора. — Лететь!

Квартира Чкалова.

Сидит Чкалов над чистым листом, с пером в руке. Пригнувшись, мучительно ерошит волосы. На лбу капельки пота, в огромном напряжении, словно неграмотный перед письмом, шевелит губами, перекладывает и сжимает в пальцах ручку.

По бокам от него стоят Беляков и

Байдуков. Хрустнула ручка и сломалась пополам.

— Не могу!.. — тяжело вздохнул Чкалов и повел на них беспомощными глазами.

— Нету у меня таких слов...

Подвигает бумагу Белякову.

— Пиши ты, Саша, ты профессор... Мозговат...

Беляков, подумав:

— Я думаю так...

Оглянулся на товарищей.

— Проработав детально материалы и план перелета через Северный полюс, мы обращаемся к вам, товарищ Сталин...

Чкалов с мучительно сжавшимся лицом замахал на него руками:

— Разве такие слова нужны... Ты не из чернильницы слова вытаскивай... Лучше ты, Егор, ты писатель... Попробуй!

Байдуков схватил бумагу и быстро присел к столу.

— Великий вождь и учитель народов...

— Сильнее, сильнее нужно... — не выдержал Чкалов, оглянулся в бессилии выразить, кричит: — Ольга...

Входит Ольга с маленькой Валерией на руках. Чкалов подбежал к ней, взял у нее девочку и подталкивает к столу.

— Садись, пиши... Ты баба... Сердцем пиши, поймаешь? Русским языком пиши.

Прижимая к себе девочку, помогает лицом, замирает от ожидания:

— Ну?

Ольга с пером в руке прокзнесла поженски сердечно:

— Дорогой товарищ Сталин!

— Погоди... Погоди... — замотал он головой и зажмурился...

И вдруг, открыв блеснувшие уверенным чувством глаза, словно схватывая найденное слово, ткнул рукой:

— Пиши... Отец!

И сразу бравурная музыка. Короткий и стремительный монтаж непрерывных напылов. На секунду появляется самолет с надписью: «Сталинский маршрут». Вдруг он застывает, превращаясь в газетное фото.

Тотчас смывается потоком крупных газетных заголовков о перелете, телеграмм, сообщений, статей.

Ротационные машины печатают с фотографиями героев газеты на всех языках СССР.

Самолет на острове Удд...

Большие портреты пилотов на домах Москвы и Ленинграда. Триумфальный проезд трех летчиков по Москве под бумажным и цветочным снегопадом (отдаленный, но мощный крик толпы вплетается в музыку).

И уже это газетное фото. И на этом потоке печатной славы вспыхивают буквы телеграммы:

«Чкалову, Байдукову, Белякову

Примите братский привет и горячие поздравления с успешным завершением замечательного перелета. Гордимся вашим мужеством, отвагой, выдержкой, хладнокровием, настойчивостью, мастерством. Вошли в Центральный Исполнительный Комитет Советов Союза с ходатайством о присвоении вам звания героев Советского Союза... Крепко жмем вам руки. Сталин, Молотов, Орджоникидзе, Ворошилов, Жданов...»

Гром толпы переходит в широкий разлив музыки (вальсовая тема), шумного гомона, выкриков, смеха многих веселых голосов...

Хохочущий Чкалов. Склонившись из-за спины деда Ермолая, он крепко обнимает и тормозит старика.

— Мы волжские, слышь, земляки мы! — побагровев, выкрикивает гордый Ермолай, вертит головой и во всю свою старческую силу:

— Василево на Волге, небось, слыхали?..

У Чкалова на квартире пир. Длинный, загруженный уже расстроенным изобилием стол.

В этом многоголосом шуме звуки вальсовой музыки.

В глубине, вокруг всего стола намечается плавное движение танцующих пар.

Чкалов, оставив деда Ермолая, медленно идет через толпу—счастливый и радостный.

Характерное для Чкалова пестрое разнообразие профессий и положений

сказывается среди собравшихся здесь людей: летчики, инженеры, артисты, дворник, писатели, земляки, орденосцы и просто обыкновенные люди... Среди них знакомые лица всех значительных и незначительных персонажей этой картины.

Чкалов идет среди гостей, наслаждаясь... Чокнулся на ходу протянутым ему стаканом.

Наклонившись, подмигнул и шепнул что-то задорно засмеявшемуся Байдукову.

В первый раз он, Чкалов, проходит перед нами в ничем невозмутимой и зрелой радости.

Остановился у стены, с довольной улыбкой.

Стремительное и плавное кружение танцующих пар...

Движение счастья... Ветром пронесется смеющаяся Ольга... Нарядная, помолодевшая, наконец счастливая и покойная Ольга...

Она увидела его... Смеется... Остановившись, легко и нетерпеливо пробирается сквозь несущийся круг танцующих...

Подбежала к нему, прижалась сияющая, шепнула:

— Как хорошо... Верно? Сегодня будто и вправду наша свадьба!..

Довольный, смеется Чкалов. И, переводя дыхание, тихо смеется она:

— Я даже боюсь... Я бы хотела, чтоб все вдруг вот так остановилось...

— Ну нет,— смеется Чкалов и шутиливо:— Попробуй самолет остановить в полете—он упадет...—обхватывает ее.— Двигаться, двигаться!

Увлекает ее в круг танцующих...

Кружатся Чкалов и Ольга.

И когда, приостановившись, плавно покачиваются они перед новым кругом, Ольга успевает шепнуть ему:

— Я рада... что все уже кончилось... Я так устала за эти дни, будто вместе с вами летала...

И снова поворот, они плывут...

Их закрывают несущиеся пары...

Дед Ермолай разошелся, придерживая за рукав сидящего рядом почтенного артиста-орденосца, и, не удов-



летворяясь одним слушателем, он старается всех перекричать:

— Это я же его на правильный путь поставил... Турнул его в Волгу — плыви, говорю, выбивайся к берегу!

— Ну да, ну да!..—слушает артист. Шумит на весь стол Ермолай:

— Он же мне тогда, подлец, всю рыбу упустил!—и заливается мелким старческим смехом.

Воспользовавшись этим, Пал Палыч передвигается на свободный стул и, потянув артиста за рукав, с вежливым достоинством:

— Вы послушайте, товарищ народный артист... — и увлекаясь и повышая голос:—Как было дело? Я ему говорю: Брось ты, Валерка, фортеля! Разве тебе для того жизнь дадена!

— Ну да, ну да...—кивает головой обернувшийся к нему артист.

И снова на постепенно возникающих сквозь застольный шум звуках музыки плывет панорама...

Улыбающийся Беляков играет на рояле... Несутся веселые пары...

Чкалов и Ольга танцуют. Он обнял ее за плечи, оба с улыбкой смотрят на танцующих... Она тихо засмеялась...

— Как смешно... Я прочла на карте, что залив, куда вы перелетели, называется заливом Счастья...

— Верно... — усмехается Чкалов. Задумчиво улыбаясь, смотрят...

— А помнишь, я говорила... Не унывай, когда-нибудь и мы заживем, как следует...

Чкалов оглянулся на нее, снова сжал ее плечи.

— Теперь-то я знаю, как следует!

Глаза ее задорно вспыхнули.

— Пойдем, выпьем за это!

Широко раскинув руки, увлекая Ольгу, Чкалов устремляется на танцующих.

Весело смешавшаяся толпа движется за ними... к столу...

Гости, толпясь, окружают стол, идут по рукам стаканы, бутылки.

— Наливай, Егор!—многозначительно кричит Чкалов.—...Завтра на нарзан переходим!

И так же многозначительно поднимая бокал, смеется Байдуков.

— За славное окончание Сталинского маршрута!..—опережая Байдукова, кричит из толпы гостей народный артист...

— Обожди... Обожди... Сталинский маршрут еще не окончен, — поднимает руки Чкалов.

И снова охваченный радостным одушевлением, Чкалов кончает тост:

— За бесконечное продолжение Сталинского маршрута! За будущий перелет!

Аплодисменты. Крики гостей.

— Куда? — несется из толпы.

Ольга прислушивается.

Группа заинтересованных гостей. Оживленное движение и разговоры... Некоторые, возбужденно перешептываясь, кивают головой на Пал Палыча. Он движется среди них гоголем.

Под любопытным взглядом окружающих, он отводит в сторону народного артиста.

— Только вам по секрету... скажу, подготовка идет на полный ход. В новый перелет летим.

Пронзительный звонок телефона в одной из соседних комнат. И тотчас, торопливо раздвигая встречных, с радостно возбужденным лицом проносится Чкалов...

Замирает Ольга.

Пал Палыч бросается вслед за Чкаловым.

Кабинет Чкалова... С тем же лицом радостного ожидания он слушает телефон:

— Да, да, я...

Вся комната заполнена бумагами, приборами и материалами подготовки к большому перелету. На полу большая карта Полярного бассейна, через Северный полюс к американскому материке прочерчена линия предполагаемой трассы перелета...

Внезапно лицо Чкалова меняется...

— Как, экспедиция на Северный полюс... А мы?

В кабинет тихонько протиснулся Пал Палыч, слушает...

— Как же разрешили?.. Но ведь нам звонили о разрешении из Совнарко-

ма! — кричит растерянный Чкалов в телефон и медленно, темнея лицом, все тише и тише: — Да, да... Ошибка...

Медленно вешает трубку. Стоит неподвижно, молча...

Молча смотрит на него и Пал Палыч.

Из-за стены глухо доносится шум, смех, музыка продолжающегося в других комнатах веселья...

— Значит, нам не доверили, Паша... — глухо сказал Чкалов.

И тотчас взрывается Пал Палыч:

— Нам не доверили? Обожди, мы все вверх дном перевернем, мы до Совнаркома дойдем... (Угрожающе.) Кто не доверил, говори, кто?

— Сталин, — тихо сказал Чкалов.

— А-а...

Пал Палыч притих на секунду. Поморгал глазами и тотчас с такой же убежденностью:

— Так чего ж ты шумишь? Правильно! Ты сам подумай, кто ты теперь? Герой Советского Союза! Твой портрет на улицах вешают?.. Ты для народа праздничный человек! Да теперь нам зря вздохнуть не дадут, не то что головой рисковать... Не-ет, теперь нам не дадут разрешения...

Чкалов взволнованно прошелся по кабинету, ероша волосы, с беспокойством, тоской:

— погоди, Паша, вот меня в партию приняли, значит, во сколько раз я лучше жить и работать должен... Должен! — с силой повторил он. А если нет у меня этого перелета, как мне жить, что же мне делать, Паша?

Пал Палыч неуверенно:

— Ну, значит, будет всякая партийная работа!

— Летать, вот моя партийная работа, — горячо вырвалось у Чкалова.

Пал Палыч помолчал, потом, меняя тон: — Слушай, Валерий Павлович, ну, скажи ты по совести, чего нам не хватает? Квартиру тебе новую дали... Слава у нас какая — ордена, звания...

С вспышкой прежнего Чкалова Валерий рванул крючки на воротнике гимнастерки:

— ...Все возьми, мне ничего не надо, только дай мне еще в этот полет слетать!

И вдруг Пал Павлович, дрожа от негодования:

— Ну, Валерий Павлович, так теперь и я тебе правду скажу... У тебя голова закружилась... Куда ты вздумал лететь?.. Невозможное это дело, все знают, а молчат, и я молчал. Один товарищ Сталин тебе правду сказать не побоялся... И еще я тебе скажу... (Голос его задрожал.) Пал Палыч заправил горячее, мотор работает и весь спрсс? А ты интересуешься, как Пал Палыча сердце работает, когда на такое дело тебя провожает?

Пал Палыч отвернулся и наткнулся глазами на Ольгу... Она стоит у двери, слушает.

— Вот она тебе это лучше скажет... — ткнул рукой Пал Палыч в ее сторону и вышел из комнаты.

Из открытой двери негромко доносится вальс...

Словно бы выдавая неудержимую радость, охватившую ее, Ольга прикрыла дверь.

— Значит, это не ты, а другие летят? — спросила она, сдерживаясь...

Он бросил отчаянный взгляд на карты, груды чертежей, будто на уже мертвые обломки кипучей работы, глухо выдал:

— Я просил тебя не входить пока в кабинет (с злым отчаянием)... и вообще... Не вмешиваться в мои летные дела!

— А при чем здесь ты? — спокойно и чуть насмешливо удивилась Ольга. — Я интересуюсь летными делами других...

Он растерянно бросил на нее беспомощно-жалобный взгляд... Ничего не сказал, тяжело зашагал по комнате...

Она спокойно прислонилась к стене, с сдержанным интересом оглядывает сметы, подготовки к перелету, смотрит на карту, на черную линию через Северный полюс к Американскому материку.

Чкалов, опустив голову, неподвижно стоит у стола, перед ним глобус.

Еле слышно из-за стен звучит музыка, веселые голоса...

Чкалов тронул рукой глобус.

— Хм... Действительно, остров Удд... залив Счастья...

Неопределенно усмехнулся он и покосился на Ольгу.

Она молчит...

Тогда он, взяв в обе руки глобус, присаживается в кресло, задумчиво поворачивает глобус...

— В самом деле, Валерий Павлович, ведь живешь ты хорошо... (По глобусу — линия его перелета через всю Европу.) Слетал ты в Париж...

Повернул глобус в другую сторону — жирная петля вокруг всей Азии...

— ...на Удд слетал...

— На остров Чкалова... — поправляет Ольга.

— Н-да... — Усмехается, задумчиво покачал головой. — Остров Чкалова, в заливе Счастья... В самом деле, Лелик, чего мне нехватает? Куда мне еще лететь? Можно ж и на земле хорошо жить?!

— Конечно, можно... — даже растерялась немножко Ольга.

Чкалов (несколько потише):

— Инструктором, что ли... Что ж... Это даже спокойнее!

— Конечно, спокойнее... — живо подхватывает Ольга, замирая в смутном и робком волнении. Подходит к нему: — И знаешь, Валерик, дети подрастают... Скоро учиться начнут... Игорек...

Смеется, еще робая, своей радости, притронулась к глобусу:

— Понимаешь, просто бредит: Азия, Америка!.. (Озабоченно.) Вот только глобус немного испортил...

За стеной, будто очень далеко, запел сильный мужской голос.

— Ну да... — еще потише рассуждает Чкалов: — Детишками, конечно, займись и вообще... — уныло поворачивает глобус, — могу географией...

Молча смотрит на чистое от линий западное полушарие, положив на него руку, тихо:

— Вот тут меня нет... — И тотчас с угрюмой решимостью: — Да и просто в отставку можно... На пенсию...

Ольга настороженно примолкнула, смотрит на него:

— Ну... Зачем же совсем бросать, можно и полетать немножко, — с лег-

ким беспокойством, неуверенно сказала она.

— Что уж там... немножко... — Уныло смотрит на глобус. — Уедем на Волгу... — И медленно опускаясь всем корпусом, он с тоской произносит нелепо:

— Капусту буду сажать...

И, наклонившись, засовывает глобус под стол... И так, опустившись всем телом, остался сидеть.

В то время, как постепенно потухает настроение у Чкалова, нарастает зовущая сила песни вдали.

Ольга секунду смотрит на него широко открытыми глазами.

— Валерий! — окликает. — Лучше летай... — тихо выговаривает она, порывисто нагибается, берет глобус и ставит его на место, на стол; в этом движении, овладев собой, продолжает решительно и твердо: — И я просто не понимаю, как можно так терять себя от первого же препятствия! Ты должен лететь в этот перелет!

Теперь уже Чкалов растерянно вскинул голову, смотрит на нее:

— Ты что? — и тотчас уныло усмехнулся: — Ну да, говоришь, а самой страшно...

Ольга:

— Я не боюсь... — звонко дрогнул ее голос. — Когда я знаю, что ты сильный, смелый, мне просто приятно немного похныкать. Я ведь женщина...

Он, удивленно глядя на нее, начинает смеяться, в глазах его вспыхивает веселая угроза:

— Не надо, Лелька... Ну, что ты говорила о счастье...

И вся натянувшись, как струна, с неожиданной нервной силой крикнула она:

— Я разлюблю тебя, если ты перестанешь летать! Я люблю орла, вот мое счастье, а ты думал, что я канарейка? Нет, всю жизнь я летала с тобой, я испытывала твои самолеты, падала и разбивалась с тобой, трое суток без сна, без отдыха, в туманах и бурях неслась я с тобой на Восток...

Пораженный Чкалов, глядя на нее:

— А что этот перелет труднее, ты

понимаешь? — с какой-то даже веселой жестокостью крикнул он ей.

— А если ты откажешься от него, если ты откажешься от себя, я брошу тебя, слышишь ты, брошу!

Чкалов с бурной нежностью обхватывает ее:

— Спасибо тебе, спасибо!

— Сейчас же садитесь и снова пишите ему, просите, добивайтесь... — Бежит к двери: — Я сейчас же позову Егора и Сашу... — Еще раз оглянувшись, смеется... — Разве ты можешь быть счастливым иначе?

В открытую дверь хлынул вальс... Она закрыла дверь, бессильно прислонилась к ней и заплакала...

В проходной комнате полутемно, в окна просачивается слабый свет уличных фонарей... Как бы фосфоресцирующая, прозрачная темнота...

И нестерпимо, будто всю комнату затопляет, растет вальс... так, что кружится голова, так, что сердце замирает от счастья.

Она медленно проходит через комнату.

—

Кремль.

Отдаленный звон курантов на Спаской башне Кремля.

Кабинет в Кремле.

Прикрытый абажуром свет настольной лампы... Остальная часть комнаты тонет в сумраке...

У открытого окна стоит Чкалов. За окном ночь. Силуэты башен.

Сталин в глубокой думе... По временам он ходит по комнате, уходя в сумрак... И в этом звуке ровных шагов, в паузах раздумья, в том, как негромко звучат их голоса, глубокая значительность этого разговора.

Чкалов страстно:

— Да, товарищ Сталин!.. Вы сказали мне — дольше жить, чтобы больше летать! Вы указали мне путь... Вы!.. Почему же теперь хотите отнять его у меня? Сто лет летать, сказали Вы мне. А жизнь коротка, а ведь летная жизнь еще короче.

Сталин с пристальной задумчивостью вглядывается в Чкалова:

— Оказывается, я виноват, что Чка-

лову не сидится на месте... что Чкалову в Америку хочется лететь? Разве жизнь измеряется годами? — тихо спрашивает он и медленно, словно бы думая вслух, говорит: — Можно совершить один такой перелет, который останется жить триста лет, он один будет стоять трехсот лет жизни...

Чкалов молчит взволнованный... И тем же ровным голосом прибавил Сталин:

— И потому, что ваш перелет именно такой перелет, мы хотим иметь твердую уверенность в его успехе... — Остановился перед Чкаловым, пытливо: — Есть ли у вас такая уверенность?

Чкалов выпрямился, почуяв надежду, сказал торжественно:

— Мы готовы к полету, товарищ Сталин, мы все продумали, все предусмотрели... Поверьте мне, как летчику, — здесь нет слепого риска.

— Я, конечно, не такой специалист в вопросах авиации, как вы, товарищ Чкалов, но я также не привык верить на слово...

Сталин отходит, повернув выключатель.

Свет нескольких ламп вырывает из сумрака другой длинный стол, стоящий в глубине комнаты, заваленный папками материалов, схем.

Большая карта Полярного бассейна с намеченной трассой перелета и схемами его обслуживания...

— И вот видите, — продолжает Сталин, перелистывая материалы, — из-за вас мне пришлось потревожить очень многих товарищей... — делает несколько отметок карандашом и после паузы подымает голову, смотрит на подошедшего Чкалова. — В общем, каждый из них в своей области подтверждает, что проект вашего перелета хорошо продуман и теоретически выполним... — с легкой усмешкой подчеркнул: — Теоретически... По той простой причине, что история не знает такого перелета...

Чкалов серьезно:

— Весь наш народ пошел дорогой, которой не знала история. Мы привыкли не бояться этого, товарищ Сталин.

Сталин усмехнулся:

— Зачем бояться, но учитывать надо, что даже такие технически передовые страны, как Америка, не отваживаются на такой перелет.

Чкалов порывисто:

— Товарищ Сталин, у нас есть машина, лучшая из всех, существующих для дальнего перелета... Зачем нам оглядываться на Америку?!

— Нет, товарищ Чкалов, надо оглядываться... И когда вы прилетите в Америку, хорошенько оглянитесь... Когда хочешь обогнать, обязательно надо оглядываться.

Опершись руками о край стола, Сталин склонился над картой перелета, задумался:

— Мало мы еще знаем о погоде, которая ждет нас в Арктике... — сказал он с тревогой... — Мало еще метеорологических станций...

Карта Советская Арктика в точках станций и зимовок. Северный полюс, отмеченный знаком папанинской группы.

Чкалов поспешно сказал, указывая на них:

— Их у нас больше, чем на всем остальном полушарии, и теперь, когда Папанин на полюсе... Мы так глубоко ворвались в Арктику...

Сталин оглянулся на Чкалова.

— Это облегчит перелет через полюс!..

— Еще бы, товарищ Сталин! — живо воскликнул Чкалов.

Сталин, лукаво прищурившись:

— Значит, все-таки мы не так плохо сделали, что не пустили вас сразу лететь, а сначала послали экспедицию на полюс.

Чкалов:

— Да, товарищ Сталин... — Замолк, потом смущенно и тихо произнес:— Мы не поняли сперва...

Сталин снова задумчиво пошел по комнате...

На минуту воцарилось молчание.

— Вот вы, товарищ Чкалов, работаете летчиком, испытателем, и вам доверяли драгоценные машины... А ведь это тоже испытательный полет... Весь мир будет следить за вашим самолетом — и

что способны большевики со своими пятилетками!

— Понимаю, товарищ Сталин, — тихо сказал Чкалов.

Сталин остановился у большой двери на балкон. Внизу под кремлевским холмом мерцает белоснежная панорама ночной Москвы. И задумчиво вглядываясь в нее, очень негромко говорит он:

— Люди и заводы, которые создали вашу машину и подготовили ее к полету... Вся наша техника, авиация, наука... — Порывисто указал на карту: — Жизнь и работа вот этих людей за этими бесчисленными огнями... И не только они... Кровь, пролитая в долгой борьбе, годы страданий и труда всего нашего народа сделали возможным такой перелет...

И не только Чкалову, а как бы взвешивая всю тяжесть решения:

— Вот что должны мы доверить вам пронести перед всем миром в этом перелете...

Потрясенный Чкалов опускает голову:

— Да, товарищ Сталин, — тихо говорит он... (Долгая пауза.)—К такому перелету мы не готовы...—еще тише произносит он, наконец.

Тогда Сталин сказал весело и решительно:

— Вот теперь, когда вы понимаете это, я уверен, что вы готовы к нему...

Чкалов поднимает вспыхнувшее лицо.

Сталин, улыбаясь, протягивает ему руку.

— Пусть будет по-вашему, товарищ Чкалов.

Чкалов обеими руками охватил, встряхнул руку Сталина и так, схватив ее крепко, не выпустил ее и замер.

Бьют куранты на Спасской башне.

Бой курантов переходит в шум мотора.

От Кремля на общий план Москвы отлетает самолет.

Проплывает Кремль, превращаясь в маленькую точку.

Самолет проплывает над Московским стадионом.

Виден уходящий канал Волга—Москва.

Самолет пролетает над индустриальным пейзажем. Дымящие трубы.

Пролетает дальше над большим строительством, над большими совхозами, над лесными массивами.

Клубятся внизу облака, тянется туман, закрывающий землю. Самолет то появляется, то исчезает.

Вырвался самолет из облаков. Виден все увеличивающийся морской берег. Скрывается земля, и самолет проплывает над морским простором.

Летит самолет, окруженный облаками. Через прорывы в облаках черная бугристая гладь Ледовитого океана. Видны белые пятна льдин. Огромный сектор однообразной бесконечной ледяной пустыни.

Самолет летит над Арктикой, окутанный белыми вихрями пурги.

Клубятся облака. Тянется туман.

Свист снежной метели. Струдом пробивается самолет вперед.

Пурга. В прорывах белой метели — лед, торосы. И, как формула полюса, сразу знакомая всем стоит черная палатка с буквами СССР, флашток с двойным стягом: герб страны, портрет Сталина.

Около палатки в сугробах бегут четыре маленькие фигурки, будто медвежьи, в полярной одежде.

Четверка папанинцев замерла, глядя в небо. В руках у каждого револьвер, стакан, кружка, чашка и у совсем круглого в мехах Папанина — бутылка шампанского.

Над ними нарастает гул самолета.

Папанин кричит в восторге и огорчении:

— Идут над нами братцы, и не видать!

Летит самолет, но пурга скрывает его.

— Братцы, милые! За них, за родину, за Сталина ура-а! — кричит Папанин.

— Ура-а! — дружно подхватили остальные и начали беспорядочную стрельбу в воздух.

Слышен удаляющийся рокот самолета.

Кабина самолета.

Рука Белякова записывает в журнал:

«19 июня 5 ч. 10 мин.»

Беляков, откладывая ручку, берется за приборы. Бурчит с досадой:

— Ну и местечко — ни севера, ни запада, ни востока, на все стороны — юг.

Чкалов спит. Тишина, почти проза полета. Только слышен далекий гул мотора. За штурвалом сидит Байдуков.

Чкалов открыл глаза, потянулся и вдруг вспомнил:

— Скоро полюс?

Беляков невозмутимо, как пассажиру, проспавшему станцию:

— Полюс уже проехали...

Чкалов вскакивает, как ужаленный орет:

— Что ж вы, сволочи, не разбудили?

— График! — спокойно отвечает Беляков.

— А ну вас с графиком!.. — хватается маузер, подбегает к окну и разряжает его в открытое окно кабины.

Сидящий за штурвалом Байдуков, оглянувшись на звук выстрела:

— Что ты палишь?

— Полюс! — кричит Чкалов:

— И попал? — смеется Байдуков.

— Ладно зубоскалить...

Бросается к Белякову:

— Сашка, записывай радиogramму — всем, всем!

Беляков записывает. Чкалов патетически размахивает руками:

— Вот полюс! Пул земли... Нет, пиши: неприступная точка, к которой страстно стремился Амундсен, Седов, Пири... Но что сделал ты с гордыми судами, которые держали путь прямо в твое сердце и не вернулись больше домой? Сколько лишений и страданий дарило ты человечеству, о, бесконечно белое пространство! Но зато ты узнало и тех (это я про папанинцев), что сумели поставить ногу на твою непокорную выю, нет пиши: шею, неприступ-

ный полюс остался позади. Точка. Чкалов, Байдуков, Беляков... Ну, прочти, как получилось?

Беляков читает:

«Москва, Кремль, Сталину. Прошли полюс. Все в порядке. Чкалов, Байдуков, Беляков».

Чкалов опешил. Смотрит на него:

— Ух, ты... — качнул головой, — здóрово!

Секунду переживает, затем охватил и трясет его любовно.

— Да ты не профессор, Саша, ты поэт! — И радостно хохочет.

— Подожди, подожди, серьезно говорит Беляков.—Посмотри...

Протягивая Чкалову бумажку с показателями погоды: «Погода — табак! Всюду туман, циклоны бродят...»

Чкалов читает, ворчит сердито:

— Тоже шляются!..

Беляков:

— В Канаде обещают грозовой фронт!

Чкалов совсем рассердился:

— Полюс неприступности! Грозовой фронт! Слова у тебя все красивые, а на самом деле — дрянь! (С сердцем.) Обходить! Еще расход бензина!

Отходя, сверкнул глазами на Белякова:

— Тоже мне поэт!

Идет к пилотскому месту. Егор уже встречает его тревожным лицом:

— Смотри... Начинается...

Окна кабины в коросте ледяных пятен.

Через окно видно крыло, покрывшееся коркой льда.

Торопливо протискиваясь на место пилота, Чкалов кричит сменившемуся Байдукову:

— Давай скорей давление на антиобледенитель! (Берется за управление.) Я пойду вверх. Буду бороться высотой!

Байдуков уже усиленно качает насос антиобледенителя.

С ровным гулом несется самолет. Странный и грозный небесный пейзаж вокруг.

Массивные, словно снежный хребет, облака по бокам.

И самолет проходит между ними, как в ущелье.

Черная масса циклона с огромной быстротой несется на самолет.

Самолет нырнул в нее, сразу темнеет... Свист вихря заглушает слабенький звук мотора.

Черную кашу клубящихся облаков прорезывает колоссальная молния, и крошечная рядом с ней точка самолета вдали, метнувшись к краю, летит вверх.

Запись в журнале:

«23 ч. 10 м. Приближаемся к Канаде. Обошли циклон. Машина выдержала. Уходя от обледенения, идем высоте 4000 м».

Кабина. У штурвала утомленный и хмурый Чкалов...

Байдуков спит на баке.

К Чкалову подходит Беляков с кислородной трубкой в зубах, протягивает ее Чкалову:

— Подыши...

Чкалов качает головой:

— Надо экономить кислород. Дальше может быть хуже... Нехватит... Один баллон выбыл (помолчал). Погода?

— Все то же...

Чкалов невесело:

— Прогуляйся, Саша, по станциям, послушай, что мир думает...

Беляков уходит.

Присев у радиоаппаратуры, медленно ведет регулятор репродуктора и вот, быстро сменяясь и наплывая друг на друга, проходит хаос разноязычных голосов, всплески оркестров и неожиданно знакомых и коротких звуковых портретов; сквозь непонятное английское, немецкое, шведское бормотание прорывается: «Чкалов, Байдуков, Беляков»; обрывки русской речи: «И мы обещаем, товарищ Чкалов...»

Вскрики скрипок, и вдруг далекая волжская песня, на ее фоне отчаянный старческий тенорок:

— Эй, Волька! Это мы, василевцы...

Чкалов прислушивается, сидя у штурвала:

— ...Наши опасаются, как что... Ты лети да поглядывай, слышь, Во-олька!

Чкалов смеется, слушает, тихим баском подтягивает песню, присоединился

задумчивый голос Белякова, и сразу за окриком Ермолая, на уплывающей песне, тихий голос интимно, как с глаза на глаз:

— Ты только, Валерий, о нас не думай, лети спокойно...

Беляков у приемника.

— ... Игорек покапризничал немного, не хотел умываться. Мы все тебя целуем и почти не думаем о тебе... Ты все-таки поберегись немножко...

Короткая печальная каденция скрипок откуда-то и снова чье-то непонятное бормотание: «Чкалов, Байдуков» на французском, шведском, английском... Отрывок джаза...

— Вернись назад, Саша, — крикнул Чкалов.

Громко вырвался гортанный кавказский голос: «Гайди марджос Чкаловс, Байдуковс, Беляковс...» И тотчас же по-русски: «Мы гордимся и крепко верим...» И вдруг снова женский голос тихо: «И если ты меня услышишь, Егор...»

Байдуков спит.

«...девочка давно спит... И мы все-таки не беспокоимся... До свидания!»

Голос Чкалова:

— Эй, Егор, проснись, жена зовет...

Байдуков вскочил:

— Жена? Где жена?..

И, вместо голоса жены, из приемника слышится гнусавый голос английской речи.

Наплывая, звучит волжская песня...

Байдуков, напевая, поднимается, идет сменять Чкалова.

Пробравшись на пилотское место, бросает:

— Надо бы масла подкачать...

Чкалов качает насос, пробует подтягивать песню, но ему тяжело, он вспотел.

Звучит далекая песня, ей подпевают товарищи в самолете.

Кончив качать, Чкалов в изнеможении прилег на бак, протянул руку к Байдукову за кислородной трубкой... Глотнул несколько раз с наслаждением...

— Чорт возьми! — говорит он тихо, улыбаясь. — Живешь и не замечаешь... как приятно дышать!

Ледяная пустыня. Летит маленький самолет, скрывается вдаль, но над диким безлюдьем продолжает звучать разноязычное бормотание. Отдаленные звуки музыки. Из толкучки этого странного радиофестиваля над Арктикой вдруг неожиданно проснулся знакомый голос: «Это я — Пал Палыч, за мотор я спокойный... А вот, что у вас с погодой, не понимаю... В Москве у нас жарница...»

Ледяная пустыня.

И еще раз тихий женский голос: «И, знаешь, Саша, за тебя мы, ну вот ни столечко не беспокоимся...»

Далекая и грустная каденция скрипок.

### Запись в журнале:

«20 июня, 0 часов 15 минут, летим над Канадой. Высота 5300, но облачность не уменьшается. Впереди горная цепь до 1800 метров, придется и дальше идти на пяти тысячах, а кислорода нехватает...»

Чкалов, увидя падающего со стула Белякова, с трудом держась на ногах, бросился к нему, поддерживает за плечи безжизненную фигуру Белякова у радиостанции. Тот тянет руку к кислородной трубке:

— Один глоток...

Чкалов качает головой:

— Нельзя, Саша, все, что осталось, — Егору...

Беляков делает усилие работать. Чкалов наклоняется к его лицу с ласковой шуткой:

— Э... Э... А ты не такой уж молодой, Саша...

Посиневшие губы, резко очерченные морщины на лице Белякова.

Он слабо улыбнулся:

— Очень скучно!

— Принимай, дорогой, принимай... Что там?

— Сан-Франциско — туман, Сиэтл — туман... Анкорджи — туман...

Чкалов:

— Двигайся медленней... Тяжело... Выматывает...

Беляков поднимает к нему глаза:

— Америка спрашивает, чем встречать... Что любит Чкалов?



Чкалов с гримасой упрямого напряжения:

— Отвечай: музыкой... Чайковского...

С пилотского места, тревожно обернувшись, кричит Байдуков. Его заглушает мотор через открытое окно. Он задвигает обледеневшее окно, пробует очистить рукавицей, кричит во все горло:

— Валерий!

Пытается финкой счистить лед с окна.

Через окно видно крыло, покрывшееся налетом бугристого льда.

Чкалов оглядывается встревоженно, отпускает плечо Беякова... Тот мешком опускается с сиденья...

Чкалов подбегает, торопливо качает насос антиобледенителя. Байдуков показывает на обледеневшие стекла.

— Полный газ! — кричит Чкалов. — Подымай выше!

— Вы не выдержите, — бросает Байдуков, — так итти. — Сашке амба, и тебе амба!

— Только выше!

Чкалов в поту качает, пошатываясь, едва не упал...

Байдуков сорвал с себя кислородную маску:

— На, подыши!

— Одень маску!

— Подохнешь!

Чкалов гневно:

— Приказываю дышать!

Весь белый, обледеневший самолет набирает высоту... Рев мотора... Несется обледеневший самолет...

Окно самолета. Ледяной узор. Медленно тает, превращается в капельки.

В кабине. Бледный Беяков лежит, закрыв глаза. Часто и тяжело дышит.

Чкалову плохо. Он прислонился к стенке фюзеляжа. Из носа течет кровь. Чкалов зажал нос, прикрыл лицо, прячась от товарищей.

Беяков открыл глаза, привстал:

— Валерий!

Чкалов испуганно:

— Молчи, молчи, Саша!

Опускается рядом с ним, стирает кровь с лица, молча, беспокойно поводит глазами. Глухой гул неумолимого мотора.

Чкалов говорит:

— Сашка, сто раз я мог разбить башку и было не страшно... Понимаешь, я всегда чувствовал, что я сильный... А сейчас сил нехватает... Неужели я... — Сморщился, встряхнул головой.

Беяков:

— Надо правильно силы рассчитывать, и сил станет вдвое больше... — и вдруг поникает, всем телом сползая вниз.

Чкалов:

— Сашка! — Ласково тербит его: — Саша!

Беяков в глубоком обмороке. Чкалов подхватил его под руки, с трудом подтаскивает его к Байдукову, снимает с него кислородную маску, натягивает на Беякова:

— Свалился Сашка... Без кислорода... — бросает он.

Байдуков, оглянувшись, молча ведет машину.

Беяков очнулся.

Позывные сигналы на радиоаппарате...

Тревожно оглядывается Чкалов, тормошит, приподнимая Беякова.

— Пойдем, Саша, зовут...

Помогаю ему добраться до аппарата, поддерживает, пока Беяков принимает радио.

«Чкалову, Байдукову, Беякову... Вся страна следит за вашим полетом, Ваша победа будет победой Советской Страны, желаем вам успеха. Как самочувствие экипажа? Крепко жмем ваши руки. Сталин, Молотов, Ворошилов, Жданов».

Чкалов секунду молчит, торопливо:

— Передавай... Спасибо... Самочувствие прекрасное... Все в порядке...

Беяков, собрав последние силы, передает.

— Есть!.. — кивнул он головой и сразу весь опустился к аппарату. Чкалов подхватил его рукой, обернулся с серьезным лицом, кричит Байдукову:

— Егор! Спустишь метров на тысячу!..

Окно кабины в капельках влаги... Они превращаются в кристаллики.

Окно снова медленно затягивается узорчатой корочкой льда...

Неподвижная фигура Байдукова за штурвалом, рядом Чкалов. Они смотрят на обледеневшее стекло.

Беляков, опираясь локтями о стол, с трудом держится на стуле.

Чкалов крепко задумался, резкие складки исполосовали лицо, говорит, медленно взвешивая:

— Так лететь — обледеем и разобьемся... Выше лететь — кислорода нехватит... Ниже лететь — туман, врежемся в горы! — К товарищам: — Что делать?

Байдуков с азартным лицом, горячо:

— Спустимся и рискнем пробиться... Туман? Чорт с ним... Я слепым полетом поведу...

Порывисто задернул занавески на окнах кабины, тушит свет, в темноте засветились фосфоресцирующие циферблаты приборов, их отблеск на лице Байдукова.

Дикая вспышка улыбки прежнего Чкалова:

— Люблю, Егор! — вырвалось у него от души.

И тотчас Беляков необычно резко:

— Мальчишество! Слепой полет — да! Слепой риск — нет! — И тотчас, сдерживаясь: — Иногда больше мужества нужно для того, чтобы вернуться...

— Умница, Саша... — сказал Чкалов.

Байдуков рванулся вперед, резко и страстно:

— А я не знаю слова «назад»... Идиотизм садиться и пропадать неизвестно где. Лететь до последней капли горячего, может, проскочим, а налетим, — так чорт с ним!

Чкалов вдруг сердито оборвал его:

— Тебе сколько лет?

— Тридцать.

— А что ты успел сделать? — гремит Чкалов: — Мальчишка! Мне тридцать два, а я почти ничего не успел! Этим полетом мы только начинаем платить свой долг народу, а ты — прилететь и в кусты? Умирать? Для этого триста лет жить мало!

Беляков повторяет с настойчивым мужеством:

— Надо твердо решаться — назад!

И с такой же убежденностью неожиданно покачал головой Чкалов:

— Нет... только не назад...

Беляков тревожно вскинул на него глаза. Стукнул кулаком по столу и крикнул:

— Так батя мотался! Вы что, батину историю хотите повторить?!

— Да, да, повторить! — с суровым упорством бросает Чкалов. — И довести до конца...

Беляков гневно:

— Ты слово дал... в случае опасности садиться в Канаде!

Чкалов с суровым спокойствием шагнул к столу:

— Дай карту!

Склонился над нею. На карте прямолинейная трасса перелета — горная цепь.

Неожиданно зазвучала патетическая мелодия Шестой симфонии Чайковского. Летчики замерли... Беляков медленно опустил голову на стол. Чкалов, подняв голову от карты, тихо произнес:

— Америка встречает...

Пауза. Звучит симфония... Вдруг Беляков откинул пылающее азартом лицо и крикнул страстно:

— Нельзя теперь назад! Мы должны долететь! Немедленно вверх... Для Егора кислорода хватит, он один доведет машину!

И, пораженный этой небывалой у Белякова вспышкой, оглянулся Байдуков:

— Но это конец тебе...

— Не в этом дело, — оборвал его пылко Беляков. — Живые или мертвые мы должны долететь!

Лицо Байдукова, дрогнувшее скупой мужской нежностью. Он оторвал от управления одну руку.

— Саша! — сказал ласково.

Звучит симфония... И с непонятным в это время железным спокойствием молча смотрит на Белякова Чкалов.

— Обязательно надо оглядеться... — медленно произносит он. Движением карандаша ломая линию полета, выпрямляется, говорит с решительным спокойствием:

— Повернуть вправо на 90°, держать на океан, так облетим горы, и лететь берегом...—Пододвигает карту опешившему Белякову: — Рассчитай!

— Но так мы потеряем тысячу километров! — неуверенно возразил слегка растерянный Байдуков.

Чкалов передвигается к нему, говорит негромко:

— А лучше потерять все девять и голову в придачу? Да что там голову, ты забыл, что мы несем на наших крыльях?!

И, взявшись из-за спины Байдукова за управление, чтобы дать ему возможность освободиться и встать:

— Отдохни, Егор, я поведу...

Осторожно, в тесноте кабины, они меняются местами.

Байдуков выбрался, сел на бак и посмотрел на Белякова. Они встретились глазами и засмеялись.

Чкалов смотрит перед собой в окно. Его затылок, могучая спина. Рука на штурвале.

Вдруг он оглядывается и окликает:

— Егор!

Байдуков подвигается к нему, наклоняется. Разговаривают вполголоса, как лучшие друзья:

— А ведь тысячу километров мы потеряли!—с сожалением сказал Чкалов.

— Потеряли!..

— Жалко ведь. А? — вздохнул Чкалов.

— Конечно, жалко, — несколько озадачен Байдуков.

— Наверстать бы... — задумался на минуту Чкалов, потом оживился: — Слушай, Егор, когда вернемся, полетим вокруг шарика?

— Какого шарика?

Чкалов нетерпеливо:

— Ну, какого! Нашего... земного...

Тянет его руку. Байдуков пожимает ее.

— А-а... Конечно, полетим!

И, уже загораясь этой новой идеей, Чкалов, обернувшись, кричит Белякову с веселым нетерпением:

— Саша, пиши заявление!

В окошко львается рассвет.

Окно. Впереди темнота раздвигается перед верхними лучами солнца, без-

облачное небо... Последние утихающие такты симфонии Чайковского...

Через окно кабины видна выпуклая, необозримая и ослепительно спокойная гладь океана.

Америка. Аэродром.

Вечер. Над гладким полем военного аэродрома моросит дождик, Поблескивает мокрая колючая проволока ограждений. Часовые американской армии, а за ними—сплошной стеной блестящие клеенчатые плащи и зонтики.

Как зеркало, сверкают шоссе и табуны автомобилей.

Краснокрылый «НО-25» плавно приземлился и побегал по мокрой траве.

Из самолета выскочили Чкалов и Байдуков в унтах, в кожаном обмундировании. Издали, в туманной дымке дождя, они кажутся фантастическими существами.

Выскочили и тотчас крепко обнялись и поцеловались.

Они выжидающе оглядываются.

К ним бегут официальные лица, военные и штатские. Высокий генерал, козырнув, по очереди крепко пожимает руки пилотам..

Толпа качнулась и нажала на колючую проволоку.

На секунду это похоже на фронт, на бешеную атаку.

Оглушительный рев толпы, свист, колючие шипы разрывают плащи передних, прижатых к проволоке; часовые смяты..

Ломаются и летят зонтики, листы газет; словно гранаты, вспыхивают магниевые лампы бесчисленных фотографов.

Как боевые слоны, облепленные людьми, с трубным ревом пробиваются в несущейся толпе автомобили.

В группе вокруг пилотов заканчиваются официальные рукопожатия.

Беляков стойчески удерживает на лице вежливую улыбку.

Байдуков порывисто оглядывается с живым интересом.

Чкалов поглядывает, недоверчиво хмурясь.

Уже суетятся какие-то штатские,

протягивая шнур микрофона к самолету. Хозяева тревожно оглядываются на приближающийся рев толпы, торопливо говорят по-английски, жестами приглашая подняться на машину.

Беляков переводит:

— Тебя просят сказать несколько слов о себе для американских граждан...

Чкалов оглянулся на товарищей:

— Ну, что ж... полезем...

Подымаются на крыло самолета.

Чкалов, встреченный оглушительным свистом, растерянно оглянулся и нахмурился:

— Это что они?

Беляков, смеясь, объясняет:

— Успокойся, в Америке свист — высшая форма проявления восторга...

Чкалов, поживаясь от этого чуждого триумфа, стоит, угрюмо оглядываясь, буркнул:

— Что-то не по душе мне эта форма...

Обернулся к Байдукову, тоскливо:

— Домой хочу...

Хозяева, потрясая руками, пробуют успокоить толпу.

Торопливо заканчивается установка микрофона на крыле самолета.

Чкалова вежливо выдвигают к нему. Буря свиста усиливается.

У самого самолета, с трудом сдерживаемая сцеплением полиции, бурлит толпа, потрясая сломанными зонтиками, шляпами, платками, портретами пилотов.

И с одной стороны красные знамена над толпой, девушки, повязанные платочками «по-русски», и как-раз тут особое усердие полисменов.

На крыле самолета хозяева потрясают руками, пытаются успокоить толпу.

Чкалов у микрофона нетерпеливо поднял руку.

Он опустил руку и упрямо, хмурясь с минуту, шарит глазами в толпе...

Вдруг неожиданно склоняется с крыла.

У самого фюзеляжа задранная вверх, черная, как клеенчатый плащ, голова восторженно кричащего «Ур-р-ей!» негра.

Чкалов протянул руку, одним силь-

ным движением втаскивает негра на крыло, обнимает и крепко целует.

Обомлевшие, растрепанные в давке, белые джентльмены.

Некоторые лица искажаются возмущением. Один, два разрывают портрет Чкалова.

И так, установив тишину, Чкалов звонко говорит:

— На крыльях вот этого самолета мы пронесли над холодом, разделяющим нас, привет от многомиллионного нашего народа — великому американскому народу!

— Урр-ей! — вдруг неистово закричал негр.

И тотчас дружно подхваченные в разных концах, постепенно захватывая и увлекая всю толпу, прокатились «ура», «уррей», «вива».

Чкалов покосился на Белякова, ухмыльнулся:

— Вот это по-нашему!

Салют батареей американской армии. Склоняются знамена.

Под гром криков и музыки пилоты спускаются с крыла самолета в бурлящую толпу.

Тотчас каждому из них одевают на шею большие венки цветов. Их окружает, теснясь, восторженная толпа охотников за автографами, фотографов, репортеров.

Один из них с книжечкой, с трудом удерживаясь возле Чкалова, поспешно, тоном бизнесмена:

— Вы богаты, господин Чкалов?

Чкалов, покосившись, решительно:

— Да... очень!

Со всех сторон к ним тянутся руки с фото, открытками, визитными карточками...

— В чем это выражается?

— 170 миллионов... — бросает Чкалов, подписывая автограф, как чек...

— О!.. о!..

И, на секунду потеряв равновесие, репортер оттеснен новым приливом толпы.

Какая-то девушка, прорвавшись, неожиданно обнимает и целует опешившего Чкалова.

И снова, вынырнув из толпы, выкрикивает помятый репортер:

— 170?!.. Чего? Рублей или долларов?

Чкалов, решительно пробираясь сквозь толпу:

— Нет, не рублей, а человек. 170 миллионов человек работают на меня так же, как и я на них...

Село Василево.

Музыка, гул толпы, вскрики автомобильных сирен переходят в мощный хор пароходных гудков.

Крутой откос волжского берега без проталинки укрыт массой народа. Плещут платки, шапки, руки...

Величавые просторы Волги.

Столпились у пристани разукрашенные флагами белые пароходы, катера, танкеры, баржи...

Они торжественно гудят.

К берегу пришвартовал пароход.

Полотница со словами приветствия кандидату в депутаты Верховного Совета СССР от Волги.

На самом высоком мостике, окруженный президиумом этого народного собрания, стоит у перил снявший шапку Чкалов...

Он взволнованно слушает этот гром гудков и криков, потом поднимает руку с шапкой.

Тишина.

— Я родился в тысяча девятьсот четвертом году, в семье котельщика... — просто, взвешивая слова, начинает он и потом, постепенно загораясь и повышая могучий голос, произносит вот эти подлинные, поразительные чкаловские слова:

— Детство мое прошло у великой русской реки... Волга издавна как бы символ Руси, символ русской души, от важной, широкой и могучей... И с этой рекой, волнующей, как песня, связаны мои первые впечатления о русском народе...

...Богатыри-грузчики, превосходящие любые рекорды выносливости... — крепнет и веселеет чкаловский голос, и плавная панорама плывет по береговому откосу, по фигурам и лицам многоголового, репинского, портрета приволжских русских людей.

...Бесстрашные и веселые матросы, крестьяне прибрежных деревень, одаренные замечательной практической сметкой и здравым смыслом, нижегородские, самарские, саратовские мастеровые, ловкие и искусные в своем ремесле, бунтари по природе, предпочитавшие лучше взять расчет, чем лопать шапку перед самодуром хозяином...

Характерные фигуры и лица, жадно слушающие эту речь, похожую на задушевный разговор.

— ...Так узнавал я русский народ, народ мужественный, трудолюбивый и великодушный, талантливый и неутомимый! Так узнавал я наш народ, крепко верящий в свое счастье, в свои силы и в свои способности завоевать это счастье. Эта вера вела и нас сквозь облака, туманы и циклоны, и она приводила нас всегда прямо к цели. Ибо, если весь советский народ, возглавляющий человечество на его пути к всемирному коммунизму, если весь наш народ желает одного и того же, — значит, это непременно будет осуществлено...

Пока говорят эти слова, панорама перешла к землечерпалке и на ней, столпившись или свесив ноги через борт, темнокожие и суровые грузчики и кочегары с детским самозабвением слушают речь о себе.

И тут же наостривший морщинистое лицо дед Ермолай, рядом с ним — какая-то пышущая здоровьем бабенка...

— Яркой голос стал у Валерия Павловича... — сказала она певуче и мечтательно. — По всей Волге разносится...

— Н-да... — одобрительно протянул дед Ермолай. — Ничего голос...

И, помолчав:

— А вот я ему, как он через полюс летел, в радио так гикнул, до самой Америки слышно было! — Внушительно поглядел по сторонам.

Кочегары засмеялись:

— Песок из тебя не посыпался? — прогудел один и тронул за широкую мотню его штанов.

Оглушительный хохот кочегаров, сверкают белки и зубы на темных лицах.

Дед Ермолай осерчал, блеснув глазами:

— Наш человек... — Сердечно дрогнувший его голос подчеркнул: «Человек».

И с умной усмешкой, с волжской степенной повадкой выпрямляется из поклона Чкалов и, расправив плечи, всей грудью, с новой веселой силой заговорил:

— Велик и могуч русский народ! Народ Ломоносова, Пушкина и Ленина, Горького и Сталина!

Мощный крик толпы, музыка и хор паровозных гудков затихают на медленном затемнении...

Аэродром.

Раннее утро. Предраассветный туман стелется по аэродрому.

Ровным шагом, как много раз прежде, идут рядом Чкалов и Пал Палыч...

Негромко, задумчиво напевают слаженным дуэтом...

Блеклый луч прожектора освещает мокрый асфальт стартовой дорожки, где стоит двухмоторный самолет, похожий на взлетающую чайку.

Подожли, остановились...

Секунду молча любуются металлическим красавцем.

— Хороша... — тихо, с улыбкой сказал Чкалов.

— Хороша! — качнул головой Пал Палыч.

— Вот проверим еще, а потом, Паша, хочу на нем вокруг шарика. А?

Пал Палыч усмехнулся, покачал головой:

— Вокруг всей Азии облетел — мало... Пролетел всю Европу — опять мало. До самой Америки добрался — и все ему мало! Теперь ему все сразу хочется, весь шар земной.

Чкалов, уже подымаясь в машину, приостановился и обернул орлиное свое лицо, — смеется добродушно, уверенно.

— Неугомонный человек! — прозвучал голос Пал Палыча.

По стартовой дорожке бежит самолет. Легко оторвался от земли, плавно подымается в воздух, кругами набирает высоту... Звук мотора переходит в широкое и величавое звучание симфонического оркестра.

Пал Палыч запрокинул голову. Лицо старика полно восторженного умиления. В его глазах блестят слезы.

— Эх, летчик... — с чувством произносит он.

— Да не летчик, художник! — И еще подумав, сильнее сказал: — Человечище!

Звучит оркестр, маленький самолет Чкалова, заблестев в ранних лучах солнца, исчезает в облаках.

# За Карпатами

Евг. ДОЛМАТОВСКИЙ

★

## ЛЮДИ ОТТУДА

Вон ведут их. Плывет над штыками  
И над шляпами горный закат.  
Перед ними шумят лепестками  
Наши южные склоны Карпат.  
Только насыпь железной дороги  
На два мира разрежала нас.  
Вот уж мальчик стоит на пороге —  
Переступит он рельсы сейчас.  
И рванулись. Домой, а не в гости.  
Спотыкаются. Снова пошли,  
Поднимая тяжелые горсти  
Нашей новой прохладной земли.  
Вся в июльских цветах, как невеста,  
Улыбаясь, встречает гора  
Этих беженцев из Бухареста,  
Недобитых в Галаце вчера.  
Мы молчим. Мы смешались со всеми.  
Слов немного у встречи такой.  
Плачет женщина в пробковом шлеме  
И старик с почерневшей рукой.  
Пусть набиты солдатские ранцы  
Их последним, их жалким добром,  
Пусть запишет агент сигуранцы  
Что-то в книжечку вечным пером, —  
Это все позади. А навстречу  
Волны плавной украинской речи,  
По-гуцульски расшитый закат,  
Наши южные склоны Карпат.  
Я не знаю прямее примера,  
Чтобы родину нашу понять.  
Я привел бы сюда маловеера  
И заставил бы долго стоять  
У границы, смотреть, как на чудо,  
На звезду на фуражке моей.

.....  
Переходят к нам люди оттуда,  
Завернув в одеяла детей.

★

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ВЕЧЕР  
В ТЕАТРЕ «СКАЛА»

Мы с дороги белы от пыли.  
Отдохнуть бы, поспать сейчас...  
Запахавшись, автомобили  
К театру «Скала» подвозят нас.  
Театр заполнен. На ярус ярус —  
Алых лозунгов торжество.  
Вдохновенье, как ветер парус,  
Наполняет меня всего.  
Мне сейчас предоставят слово.  
Буду первым — большая честь.  
Только сердце взлететь готово —  
Как сказать мне им? Что прочесть?  
Если б с нами был Маяковский,  
Он обнял бы движеньем руки  
Эти лаковые прически  
И нерусские пиджаки.  
И повел бы разноязычных,  
Незнакомых, своих, родных  
Громяхающий, грозный, зычный,  
На победу похожий стих.  
Мало мы у него жились.  
Растеряли его черты.  
Я придумать, припомнить силуюсь  
Слово яростной прямоты.  
И читаю стихи о танке,  
Как идет на врага танкист.  
Я писал их в сырой землянке  
Под холодный, смертельный свист.  
Только б поняли! Понемногу  
Проступают глаза во мгле.  
Забываю свою тревогу,  
Будто я не на той земле,  
Что вчера возвратилась.. Будто  
Вижу сотни знакомых глаз:  
Зал московского института  
Иль какой-нибудь клуб у нас.  
Нет, не знали ярус «Скала»,  
Что читать здесь придется нам,  
Что мотив «Интернационала»  
Возникает, как пламя, сам —  
На украинском, на еврейском,  
На молдавском. А мы поем  
На понятном, звенящем, веском,  
На родном языке своем.



## В ГУБЕРНАТОРСКОМ ЗАМКЕ

Заседают гуцулы всю ночь напролет.  
Губернаторский замок суров и тревожен.  
Не успел ты увидеть семнадцатый год, —  
Заходи, посмотри, это очень похоже.

Всюду мрамор и бронза. Стоит у дверей  
С бакенбардами белыми, в красной ливрее  
Позабывтый хозяином древний лакей, —  
Никогда ты не видел живого лакея.

Растянувщи в улыбку беззубый свой рот,  
Этот старого мира единственный житель  
К проходящим гуцулам всю ночь пристает,  
Как подачки, он просит у них: «Прикажите!»

А они отвечают: «Что бродишь опять,  
Или мы тебе, дедушка, не надоели?  
Снял бы лучше ливрею, улегся бы спать —  
В губернаторской спальне свободны постели».

Нет, он стар, он уже ничего не поймет!  
Незнакомы ему наши русские песни.  
Заседают гуцулы всю ночь напролет.  
Баба в свитке сидит в губернаторском кресле.

---

# Загорье

А. ТВАРДОВСКИЙ

★

## ПРИЕЗД

Сразу радугу вскинув,  
Сбавив солнечный жар,  
Дружный дождь за машиной  
Три версты пробежал.  
И скатился на запад,  
Лишь донес до лица  
Грустный памятный запах  
Молодого сенца.

И повеяло летом,  
Давней, давней порой,  
Детством, прожитым где-то,  
Где-то здесь, за горой.

Я смотрю, вспоминаю  
Близ родного угла,  
Где тут что: где какая  
В поле стежка была,  
Где дорожка...

А ныне  
Тут на каждой версте —  
И дороги иные,  
И приметы не те.  
Что земли перерыто,  
Что лесов полегло,  
Что границ позабыто,  
Что воды утекло...

Здравствуй, здравствуй, родная  
Сторона!

Столько раз  
Пережил я заране  
Этот день, этот час...

Не с нужды, как бывало, —  
Мир нам не был чужим,  
Не с котомкой по шпалам  
В отчий край мы спешим  
Издалика.

А все же —  
Вдруг — меняется речь,  
Голос твой, и — не можешь  
Папиросу зажечь.

Куры кинулись к тыну,  
Где-то дверь отперлась.  
Ребятишки машину  
Оцепляют тотчас.

Двор. Над липой кудлатой  
Гомон пчел и шмелей.  
— Что ж, присядем, ребята,  
Говорите, кто чей?..

Не имел на заметке  
И не брал я в расчет,  
Что мои однолетки —  
Нынче взрослый народ.  
И едва ль не впервые  
Ощутил я в душе,  
Что не мы — молодые,  
А другие уже.

Сколько белого цвета  
С липы смыло дождем.  
Лето, полное лето,  
Не весна под окном.

Тень от хаты косая  
Отмечает полдня,  
Слышу, крикнули:  
— Саня! —  
Вздрогнул, нет, — не меня.

И друзей моих дети  
Вряд ли знают о том,  
Что под именем этим  
Бегал я босиком.  
Все прошло, отступило,  
Даже кажется мне,  
Что не здесь это было,  
А в другой стороне...

Я окликнул не сразу  
Старика одного.  
Вижу, будто бы Лазарь.  
— Лазарь!  
— Я за него...

Присмотрелся — и верно:  
Сед, посыпан золой  
Лазарь, песенник первый,  
Шут и бабник былой.  
Грустен. — Что ж мое дело?  
Годы гнут, как медведь.  
Стар. А сколько успело  
Стариков помереть...

Но подходят, встречают  
На подворье меня,  
Окружают сельчане,  
Земляки и родня.

И знакомые лица,  
И забытые тут.

— Ну-ка, что там в столице,  
Как там наши живут?

Ни большого смущенья,  
Ни пустой суеты,  
Только вздох в заключенье:  
— Вот приехал и ты...  
Знают: пусть и покинул  
Не на шутку ты нас,  
А в родную краину,  
Врешь, заедешь хоть раз.  
Врешь, забудешь едва ли  
И друзей, и сельчан...

— Был на фронте, слышали,  
Наших, может, встречал?

Все Загорье готово  
Час и два простоять.  
Что ни речь, что ни слово, —  
То про наших опять.

За недолгие сроки  
Здесь прошли-пролегли  
Все большие дороги,  
Что лежали вдали.

И велик, да не страшен  
Белый свет никому.  
Всюду наши да наши,  
Как в родимом дому.

Наши вверх по науке,  
Наши в дело идут.  
Наших жителей внуки  
Только где не растут!

Подрастут ребятишки,  
Срок пришел — разбрелись.  
Будут знать понаслышке,  
Где отцы родились.

И, как возраст настанет,  
Вот такой же, как мой,  
Их, наверно, потянет  
Не в Загорье — домой.

Да, просторно на свете  
От крыльца до Москвы.  
Время, время, как ветер,  
Шапку рвет с головы...

— Что ж мы, добрые люди, —  
Ахнул Лазарь в конце, —  
Что ж мы — так-таки будем  
И сидеть на крыльце?

И к Петровне, соседке,  
В хату просят народ,  
И уже на загнетке  
Сковородка поет.  
Чайник звякает крышкой,  
Настежь хата сама.  
Две литровки подмышкой  
Молач вносит Кузьма.

Наш Кузьма неприметный,  
Тот, что из году в год,  
Хлебороб многодетный,  
Здесь, на месте, живет.

Вот он чашки расставил,  
 Налил прежде в одну,  
 Чуть подумал, добавил,  
 Поднял первую:  
 — Ну!  
 Пить — так пить без остатку,  
 Раз приходится пить...

И пошло по порядку,  
 Как должно оно быть.

Все тут присказки были  
 За столом хороши.  
 И за наших мы пили,  
 И за всех от души.  
 За народ, за погоду,  
 За уборку хлебов.  
 И, как в старые годы, —  
 Лазарь пел про любовь.

Пели женщины вместе  
 И Петровна — одна.  
 И была ее песня  
 Старина-старина.

И она ее пела,  
 Край платка теребя,  
 Словно чье-то хотела  
 Горе взять на себя...

Так вот было примерно.  
 И покинул я стол —  
 С легкой грустью, что первый  
 Праздник встречи прошел.  
 Что, пожив у соседа,  
 Встретив старых друзей,  
 Я отсюда уеду  
 Через несколько дней.  
 На прощанье помашут —  
 Кто платком, кто рукой.  
 И поклоны всем нашим  
 Увезу я с собой.  
 Скоро ль, нет ли, не знаю,  
 Вновь увижу свой край.

Здравствуй, здравствуй, родная  
 Сторона.  
 И — прощай.

★

## БРАТЬЯ

На хуторе Загорье  
 Росли мы у отца.  
 Зеленое подворье  
 У самого крыльца.  
 По грядкам — мак махровый,  
 Подсолнух, лук, морковь.  
 На полдень — сад плодовой,  
 Пять яблонь — пять сортов.

На хуторе Загорье  
 В былые времена  
 Леса, поля и взгорья  
 Имели имена.

На Белой горке солнце  
 Вставало поутру,  
 На Желтой горке елки  
 Темнели ввечеру.  
 А поле, что за баней  
 Легло левой гумна,  
 Мы Подем под дубами  
 Назвали издавна.

Свой клин, своя держава  
 Лежала у крыльца —

Налево и направо  
 До первого конца.  
 На том большом просторе —  
 Все, как один, с лица —  
 На хуторе Загорье  
 Росли мы у отца.

На хуторе корову  
 Пасли мы впятером,  
 Сад стерегли плодовой,  
 Смотрели за двором.  
 В овине хлеб сушили,  
 Брели за бороной.  
 Ходили, как большие, —  
 С руками за спиной.

Мы были хуторяне,  
 Никто нам не мешал  
 Делить еще заране  
 Свой хутор по душам.  
 В избе и в поле часто  
 Вели мы жаркий спор,  
 Кому какой участок,  
 Кому где ставить двор.

Согласно поговорке  
 Старались так решить,  
 Чтоб не тебе задворки,  
 А мне одни оборки,  
 А чтоб на Белой горке  
 И чтоб на Желтой горке  
 Всем братьям ровно жить.

Дворов, дворов — деревня.  
 Все батькины сыны.  
 На пятерых деревья  
 В саду разделены.  
 На пятерых коровка  
 И лошадь, и хомут,  
 На пятерых веревка  
 И наш ременный кнут.  
 На пятерых по силе  
 Лопата, плуг, коса,  
 На пятерых — четыре  
 Тележных колеса...

О, детство! Смех и горе.  
 Десятою травой  
 На хуторе Загорье  
 Порос участок мой.

Ни знака, ни приметы  
 Бывалой не найдешь.  
 Ни Белой горки нету,  
 Ни Желтой горки, —  
                                 рожь,  
 Высоко, гордо вскинув  
 Свой колос молодой,  
 Границы хуторские  
 Укрыла под собой.

На хутор свой Загорье, —  
 Второй у батьки сын, —  
 На старое подворье  
 Приехал я один.

А где ж вы, братья-братцы,  
 Моя родная кровь?  
 Вам съехаться б, собраться  
 На старом месте вновь.

Как в песне либо в сказке,  
 Слететься б вам, друзья,  
 Слететься б вам, подпаски  
 Загорьевской закваски, —  
 Да нет! Как-раз нельзя.

На юг от нашей бани,  
 Куда клонится хлеб, —  
 Наш старший на Кубани  
 Комбайны водит в степь.

А с кем участки брали  
 Бок о бок аккурат, —  
 Наш средний на Урале  
 В заводе мастер брат.

Еще один границу  
 Над Бугом бережет.  
 А младшему учиться  
 На летчика расчет.

Как в песне либо в сказке, —  
 Забѳт моей родне:  
 Великие участки  
 У всех в родной стране.

Тому — его станица,  
 Тому — завод, тому —  
 По службе отличиться  
 Охота самому.

Налево и направо  
 Лежит во все концы  
 Свой край, своя держава, —  
 Служите, молодцы.

По долгу и по праву,  
 Когда настанет час,  
 На смерть, на бой, на славу  
 За родину-державу  
 Идите, не страшась...

На хутор свой Загорье  
 Второй у батьки сын  
 На старое подворье  
 Пришел, стою один.

Стою во ржи молочной,  
 И как далек, далек  
 Глухой, чудной, нарочный  
 Наш хутор-хуторок.

Сошло, прошло, забыто,  
 Давно, как пыль дождем,  
 К земле сырой прибито,  
 Пластом земли покрыто,  
 И дымным цветом жито  
 Цветет на месте том.

## РОЖЬ

Рожь, рожь... Дорога полевая  
Ведет неведомо куда.  
Над полем низко провисая,  
Лениво стонут провода.

Рожь, рожь — до свода голубого.  
Чуть видишь где-нибудь вдали:  
Ныряет шапка верхового,  
Грузовичок плывет в пыли.

Рожь уходилась. Близки сроки.  
Отяжелела — и на край  
Всем полем подалась к дороге,  
Нависнула, хоть подпирай.

Знать, колос, туго начиненный,  
Четырехгранный, золотой,  
Устал держать пуды, вагоны,  
Составы хлеба над землей.

★

## ПРО ШОФЕРА

Все ровесники-ребята,  
Все товарищи женаты,  
Все женаты, а шофер  
Одинокий до сих пор.

И всему тому причина:  
За рулем шофер чуть свет.  
Не стоит ни дня машина,  
Рад жениться, — часу нет.

Дни и месяцы минуют,  
А шоферу жизнь — не жизнь.  
— Вот закончим посевную, —  
Мойся в бане — и женись.

За дорогою дорога,  
Перевозки день за днем.  
— Потерпи еще немного,  
Только сено уберем.

От поры к поре горячей.  
Скошен луг — поспела рожь.

— Погоди, брат, а иначе —  
Всю кампанию сорвешь.

Ждет да терпит малый честный:  
Отказаться — как же вдруг?  
Третью за лето невесту  
Упустил шофер из рук.

Видит сам: дела ни к чорту,  
Нет кампаниям конца.  
Подкатил к своей четвертой,  
Развернулся у крыльца,

Надавил рожок сигнальный, —  
Да — так да, а нет — так нет, —  
Заявил официально:  
— Точка. Едем в сельсовет...

Все ровесники-ребята,  
Все товарищи женаты.  
Все женаты, и шофер,  
Говорят, женат с тех пор.

★

## МАТЬ

Зашел я в дом, где жил герой,  
А нынче мать его осталась,  
Да с ней парнишка — сын второй,  
Что стал опорой под старость.

Большому горю скоро год,  
А мать — попрежнему — украдкой  
Нет-нет и снова перечтет  
Все те ж слова бумаги краткой.

Знать, с каждым разом в том письме  
Дороже буква ей любая.  
Сидит, забывшись, как во сне,  
Листок из рук не выпуская.

С пеленок сына никому  
Не уступали эти руки.  
Кроили курточки ему.  
Обнять спешили в час разлуки.

И вот молва идет о нем,  
 Все почести ему отдали,  
 А здесь его, в селе родном,  
 Еще по отчеству не звали, —

Так молод был. Кому бы знать,  
 Что многих славою богаче  
 Он станет вдруг. А мать? А мать —  
 И думать не могла иначе.

Что в самый кинется огонь,  
 Не струсит, — знала без проверки...  
 Стоит в углу его гармонь  
 И стопка книг на этажерке.

И на меньшого смотрит мать, —  
 Как видно, рук тут не подложишь:  
 Ему играть, ему читать  
 И быть на старшего похожим.

★

## ДЕД ДАНИЛА В ЛЕС ИДЕТ

Неизменная примета,  
 Что самой зиме черед, —  
 В шубу, в валенки одетый,  
 Дед Данила в лес идет.

Ходит по лесу тропюю,  
 Ищет понизу на-глаз:  
 Что ни самое кривое,  
 То ему и в самый раз.

Подыскать дубок с коленцем,  
 Почуднее что-нибудь,  
 Ловко вырубить поленце,  
 Прихватить — и дальше в путь.  
 Дело будто бы простое,  
 Но недаром говорят:  
 Как пойдешь искать прямое, —  
 То кривое все подряд,  
 А пойдешь искать кривое, —  
 Все прямое аккурат.

Нарубил дубья Данила —  
 Новый на зиму запас,  
 Чтобы чем заняться было  
 В долгий вечер, в поздний час.

Не прошел большой науки:  
 Плотник — все же не столяр,  
 Но от скуки — на все руки,  
 Чтоб верстак не зря стоял.

Чуть нужда, — к Даниле сразу —  
 Сторож, конюх, кладовщик.  
 Крюк ли, обруч — нет отказу,  
 Санки, грабли — рад старик.

Ничего не жаль Даниле,  
 И запаслив, и не скуп.

Только любит, чтоб спросили  
 У него про клен и дуб.

До того Даниле любо  
 Вновь подробно изложить,  
 Что нельзя прожить без дуба,  
 А без клена можно жить;  
 Что не может клен под срубом  
 Так, как дуб, столбом служить;  
 Что береза клену впору —  
 Тот же слой и тот же цвет,  
 Но не может быть и спору,  
 Что замены дубу нет.

Дуб — один. На то и слово —  
 Царь дерев. Про то и речь.  
 Правда, лист хорош кленовый —  
 Хлеб сажать хозяйке в печь.

И давно ли дело было, —  
 Год назад, не то вчера, —  
 Так, не так, а деду мило  
 Вспомнить эти вечера.

Ходит он, неутомимый,  
 И желательно ему,  
 Чтоб и в нынешнюю зиму  
 Разговор вести любимый  
 За работою в дому.

Крепок дуб, могуча сила,  
 Но и дубу есть свой век.  
 «Дубу! — думает Данила, —  
 А Данила — человек».

Ходит старый, гаснет трубка,  
 Остановка, что ни шаг.  
 Ходит, полы полушубка  
 Подоткнувши под кушак.

Лес притихнул. Редко-редко  
Белка поверху стрельнет.  
Да под ней качнется ветка,  
Лист последний упадет.

И как будто в сон склонило.  
День к концу. Пора назад.  
Вышел из лесу Данила —  
Мухи белые летят.

С рукава снежинку сдунул.  
Что-то ноша тяжела.

«Вот зима пришла, — подумал,  
Постоял. — За мной пришла...»

Будет день — и вот он ляжет.  
И помрет. Ну, что ж. Устал.  
И, наверно, кто-то скажет:  
Дед Данила дуба дал.

Шутка издавна известна,  
Шутка — шуткой. А дубьё, —  
Нарубил, — неси до места,  
Дослужи, Данила, честно  
Дальше — дело не твое.

★

## ОСЕНЬ

День пригреет — возле дома  
Пахнет свеклой кормовой,  
Яровой сухой соломой  
И картофельной ботвой.

И хотя земля устала,  
Все еще добра, тепла:  
Лен разостланный отава  
У краев приподняла.

Но уже темнеют реки,  
Тянетверху дым костра,

Отошли грибы, орехи,  
Смотришь — утром со двора

Скот не вышел. В поле пусто.  
Белый утренник зернист,  
И свежо, морозно, вкусно  
Заскрипел капустный лист.

И за криком журавлиным,  
Завершая хлебный год,  
На ремонт идут машины,  
В колеях ломая лед.

1939.—1940.



# Фацелия

Поэма

МИХАИЛ ПРИШВИН

★

## ПУСТЫНЯ

*В пустыне мысли могут быть только свои, вот почему и боятся пустыни: бояться остаться наедине с собой.*

### ПРИЗНАНИЕ

Я боролся еще в ранней молодости с этим одиночеством пустыни, обращаясь в дневниках своих с призывом к неведомому другу. Вначале наивные и чисто фактические записи с годами совершенствуются и становятся источником всех моих книг, привлекая в мою пустыню много друзей. В этом преодолении пустыни и состоит цель моего писательства и смысл того «оптимизма» (радости жизни), о котором столько раз говорили мои критики. Никогда соблазн сочинительства (беллетристика) не привлекал меня, и если отбросить несущественное, то во всех своих книгах я остаюсь автором записок о непосредственных своих переживаниях.

Вот пришел долгожданный друг мой. Мы разглядывали с ним эти пятна — записи, и в них, точно так же, как бывает в пятнышках на старых обоях или на замороженных окнах, мы увидели образ моей любви — Фацелию.

★

### ФАЦЕЛИЯ

Давным-давно это было, но будем еще не поросло, и я не дам порастать, пока сам буду жив. В то далекое «чеховское» время мы — два агронома, люди между собой почти незнакомые, —

ехали, в тележке в старый Волоколамский уезд по делам травосеяния. По пути нам было целое поле цветущей синей медоносной травы фацелии. В солнечный день, среди нашей нежной подмосковной природы это яркое поле цветов казалось чудесным явлением. Синие птицы как будто бы из далекой страны прилетели, ночевали тут и оставили после себя это синее поле. Сколько же там, мне думалось, в этой медоносной синей траве, теперь гудит насекомых. Но ничего не было слышно из-за тарыхтеня тележки по сухой дороге. Очарованный этой силой земли, я забыл о делах травосеяния и, только чтоб послушать гул жизни в цветах, попросил товарища остановить лошадь.

Сколько времени мы стояли, сколько я был там с синими птицами, — не могу сказать. Полетав душой вместе с пчелами, я обратился к агроному, чтобы он тронул лошадь, и тут только заметил, что этот тучный человек с круглым, заветренным, простонародным лицом, наблюдал меня и разглядывал с удивлением.

— Зачем мы останавливались? — спросил он.

— Да вот, — ответил я, — пчел мне захотелось послушать.

Агроном тронул лошадь. Теперь я в свою очередь взгляделся в него сбоку и что-то заметил. Еще раз глянул на него,

еще, и понял, что этот до крайности практический человек тоже о чем-то задумался, поняв через посредство, быть может, меня роскошную силу цветов этой фацелии.

Его молчанье мне становилось неловким. Я спросил его о чем-то незначительном, лишь бы не молчать, но он на вопрос мой не обратил ни малейшего внимания. Похоже было, что мое какое-то неделовое отношение к природе, быть может, просто даже молодость моя, почти юность, вызвали в нем свое собственное время, когда каждый почти бывает на время поэтом.

Чтобы окончательно вернуть этого тучного, красного человека с широким затылком к действительной жизни, я поставил ему по тому времени очень серьезный практический вопрос:

— По-моему, — сказал я, — без поддержки кооперации наша пропаганда травосеяния — пустая болтовня.

— А была ли у вас, — спросил он, — когда-нибудь своя Фацелия?

— Как так? — изумился я.

— Ну, да, — повторил он, — была ли она?

Я понял и ответил, как подобает мужчине, что, конечно, была, что как же иначе...

— И приходила? — продолжал он свой допрос.

— Да, приходила...

— Куда же делась-то?

Мне стало больно. Я ничего не сказал, но только слегка руками развел в смысле: нет ее, исчезла. Потом, подумав, сказал о фацелии:

— Как будто ночевали синие птицы и оставили свои синие перья.

Он помолчал, глубоко взгляделся в меня и заключил по-своему:

— Ну, значит, больше она уже не придет.

И, оглядев синее поле фацелии, сказал:

— От синей птицы это лежат только синие перышки.

Мне показалось, будто он силился, силился и наконец завалил над моей могилой плиту: я еще ждал до сих пор, а тут как будто навсегда кончилось, и она никогда не придет.

Сам же он вдруг зарыдал. Тогда для меня его широкий затылок, его плутватые, залитые жиром глазки, его мясистый подбородок исчезли, и стало жаль человека, всего человека, в его вспышках жизненной силы. Я хотел сказать ему что-то хорошее, взял вожжи в свои руки, подбехал к воде, намочил платок, освежил его. Вскоре он оправился, вытер глаза, взял вожжи опять в свои руки, и мы поехали попрежнему.

Через некоторое время я решил сказать, как мне казалось тогда, вполне самостоятельную мысль о травосеянии, что без поддержки кооперации мы никогда не убедим крестьян внести в севооборот клевер.

— А ночки-то были? — спросил он, не обращая никакого внимания на мои деловые слова.

— Конечно, были, — ответил я, как настоящий мужчина.

Он опять задумался и — такой мучитель! — опять спросил:

— Что же, одна только ночка была?

Мне надоело, я чуть-чуть рассердился, окончательно овладел собой и на вопрос, одна или две, ответил из Пушкина:

— Вся жизнь — одна ли, две ли ночи.

★

## СИНИЕ ПЕРЫШКИ

На иных березах, обращенных к солнцу, появились сережки, золотые, чудесные, нерукотворные. На других только наклюнулись почки, на третьих раскрылись и уселись, как удивленные всему на свете маленькие зеленые птички. Там, на тонких веточках, сидят, вот и там, и там... И все это нам, людям, не просто почки, а мгновенья: пропустим, — не вернутся, и только из множества множеств кто-то один счастливцев, стоящий на очереди, осмелеет, протянет руку и успеет схватить.

★

Лимонница, желтая бабочка, сидит на бруснике, сложив крылья в один листик: пока солнце не согреет ее, она не полетит и не может лететь, и вовсе

даже не хочет спастись от моих протянутых к ней пальцев.

★

**Ч**ерная бабочка с тонкой белой каймой, монашенка, обмерла в холодной росе и, не дождавшись утреннего луча, отчего-то упала вниз, как железная.

★

**В**идел ли кто-нибудь, как умирает лед на лугу в лучах солнца? Вчера еще это был богатый ручей: видно по мусору, оставленному им на лугу. Ночь была теплая, и он успел за ночь унести почти всю свою воду и присоединить ее к большой воде. Последние остатки под утро схватил мороз и сделал из них кружева на лугу. Скоро солнце изорвало все эти кружева, и каждая льдинка отдельно умирала, падая на землю золотыми каплями. Видел ли кто-нибудь эти капли? Соединял ли собственную жизнь свою с этими каплями, думал ли о том, что, не хватив мороз, тоже, может быть, и он достиг бы большого, как океан мира, человеческого творчества?

★

**В**чера зацвела черемуха, и весь город тащил себе из лесу ветки с белыми цветами. Я знаю в лесу одно дерево, сколько уж лет оно борется за свою жизнь, старается выше расти, уйти от рук ломающих. И удалось; теперь черемуха стоит вся голая, как пальма, без единого сучка, так что и залезть невозможно, а на самом верху расцвела. Другая же так и не справилась, захирела, и сейчас от нее торчат только палки.

★

**Б**ывает, человек до последнего доходит в госке по человеку, а вот жизнь не складывается, случая такого не выходит, чтобы завязались какие-нибудь глубокие личные отношения. При такой ос-

новной нехватке нельзя удовлетвориться каким-нибудь занятием, все равно, астрономия или химия, художество, музыка: тогда мир разделяется на внутренний и внешний так резко, что... Ну вот как бывает, от бесчеловечья вся сердечная жизнь вкладывается в какую-нибудь собачонку, и жизнь этой собачонки становится фактом, безмерно более значительным, чем какое-нибудь величайшее открытие в физике, обещающее в будущем человеку даровой хлеб. Виноват ли отдавший свое человеческое чувство собаке? Чем он виноват, если не было в нужный момент человека. Отчего же у меня от синей птицы моей юности — моей Фацелии — до сих пор в душе хранятся синие перышки?

★

## ВЕНИК

**Х**удожник, добрейший человек, был доведен в семье до того, что швырнул в жену веником. И этому человеку, отдавшему свою личную жизнь, свое искусство для семьи, жена, получив веник в лицо, сказала: «Вот какой ты настоящий!» Смущенный художник пошел к мудрецу, и тот ответил ему, что и доброту свою, и талант он не сам достал себе, а получил от предков своих, значит, действительно, он в этом «не сам». А вот, что он веником пустил, — это, действительно, уж он сам, и борьба с этим и есть настоящее его личное дело, и уйти от него никуда нельзя: от себя самого никуда не уйдешь.

Сколько в этой мудрости лжи! Ложь в том, что некто пользуется этим, как паутиной для ловли своей жертвы: от себя, мол, не уйдешь. И, конечно, в некоторых случаях человек до того истощается, что никуда не может уйти от такого «себя». Если же убрать эту старинную систему запугивания, если человек достаточно силен, то самое лучшее, бросив веником, подальше куда-нибудь уйти «от греха».

★

## РАЗЛУКА

Какое чудесное утро: и роса, и грибы, и птицы... Но только ведь это уже осень. Березки желтеют, трепетная осина шепчет: «Нет опоры в поэзии — роса высохнет, птицы улетят, тугие грибы все развалятся в прах... Нет опоры... И так надо мне эту разлуку принять и куда-то лететь вместе с листьями».

★

## ПОСЛЕДНЕЕ «КУ-КУ»

Кукушка непрерывно куковала, передыхая лишь в ритмически законных паузах, после того, как она загадавшему человеку прокуковала несколько десятков лет жизни. Не было мне никакой охоты загадывать, я доволен был, что это вообще еще не кончилось в этом году, что я еще могу писать под «ку-ку» свои мысли в лесу, и вдруг, как это бывает изредка, моя кукушка сказала одно только «кук» и не докончила.

И я забыл свою мысль.

Так будет когда-нибудь, прозвучит мое последнее «кук», и все кончится.

★

## ТЯГА

Все было прекрасно на этой тяге, но вальдшнеп не прилетел. Я погрузился в свои воспоминания, и вот тут — сейчас вальдшнеп не прилетел, а в далеком прошлом — она не пришла. Она любила меня, но ей казалось этого недостаточно, чтобы ответить вполне моему сильному чувству. И она не пришла. И так я ушел с этой «тяги» своей и больше не встречал ее никогда.

Такой сейчас чудесный вечер, все птицы поют, все есть, но вальдшнеп не прилетел. Столкнулись две струйки в ручье, послышался всплеск — и ничего: по-прежнему вода мягко катится по весеннему лугу.

А после оказалось, раздумывал я, из этого, что она не пришла, сложилось счастье моей жизни. Вышло так, что об-

раз ее мало-по-малу с годами исчезал, а чувство оставалось без лица<sup>1</sup> и жило в вечных поисках образа и не находило его, обращаясь с родственным вниманием к явлениям жизни всей нашей земли, всего мира. Так, на месте одного лица стало в се, как лицо, и я любовался всю жизнь свою чертами этого необъятного лица, каждую весну что-то прибавляя к своим наблюдениям. Я был счастлив, и единственно, чего мне еще не хватало, — это чтобы счастливы, как я, были все.

Так вот оно чем объясняется, что моя литература остается жить: потому что это моя собственная жизнь. И всякий, кажется мне, мог бы, как я: попробуйка, откажись от «копытца»<sup>1</sup> и перенеси это чувство в слово, и у тебя будут непременно читатели.

И я думаю теперь, что счастье вовсе не зависит от того, пришла она или не пришла, счастье зависит лишь от любви, была она или не была; самая любовь есть счастье, и эту любовь нельзя отделять от «таланта».

Так я думал, пока не стемнело, и я вдруг понял, что больше вальдшнеп не прилетит. Тогда резкая боль охватила меня, и я прошептал про себя: «Охотник, охотник, отчего ты тогда не схватил ее за копытце?» Так вот в 66 лет — боль, а было это 47 лет тому назад.

★

## АРИШИН ВОПРОС

Когда эта женщина ушла от меня, Ариша спросила:

— А кто у ней муж?

— Не знаю, — сказал я, — не спрашивал. И не все ли нам-то равно, кто у ней муж.

— Как же так «все равно», — сказала Ариша, — сколько сидели с ней, разговаривали, и не знаете, кто у ней муж, я бы спросила.

В следующий раз, когда она пришла ко мне, вспомнился аришин вопрос, но я опять не спросил, кто у ней муж. Я потому не спросил, что она мне чем-то

<sup>1</sup> М. Пришвин. — Корень жизни.

понравилась, и догадываюсь: именно тем, что-глаза ее напомнили мне возлюбленную моей юности — чудесную Фацелию. То или другое, но она мне нравилась именно тем же, чем некогда и Фацелия: она не возбуждала во мне помыслов о сближении, напротив, этот мой интерес к ней отталкивал всякое бытовое внимание. Никакого дела мне теперь не было до ее мужа, семьи, дома...

Когда она собралась уходить, мне вздумалось после трудной работы подышать воздухом, быть может, и проводить ее до дому. Мы вышли, было морозно. Черная река зябла, и струйки пара перебегали всюду, и от ледяных берегов слышался шорох. Такая была страшная вода, бездна такая, что, казалось, и самый несчастный, кто решился бы утонуть, взглянув в эту черную бездну, вернулся к себе домой, радостный, и прошептал, разводя самовар:

«Вздор-то какой топиться. Там же еще хуже нашего. Тут-то я хоть чаю попью».

— А у вас есть чувство природы? — спросил я свою новую Фацелию.

— А что это? — спросила она в свою очередь.

Она была образованная женщина и сотни раз читала и слышала о чувстве природы. Но вопрос ее был такой простой, искренний. Не оставалось никакого сомнения: она, действительно, не знала, что такое чувство природы.

«И как она могла знать, — подумалось мне, — если она-то, может быть, — эта моя Фацелия, — и есть сама «природа».

Эта мысль поразила меня.

Еще раз захотелось мне с этим новым пониманием заглянуть в милые глаза и через них внутрь той самой моей «природы», желанной и вечно девственной, и вечно рождающей.

Но было совсем темно, и взлет моего большого чувства попал в темноту и вернулся назад. Какая-то вторая моя

натура вновь поставила этот аришин вопрос.

В это время мы проходили по большому чугунному мосту, и как только я открыл рот, чтобы задать своей чудесной Фацелии аришин вопрос, сзади себя я услышал чугунные шаги. Я не хотел обернуться и посмотреть, какой великан шел сзади нас по чугунному мосту. Я знал, кто он был: он был командор — карающая сила за бесплодность мечты моей юности, поэтической мечты, вновь подменяющей мне подлинную любовь человеческую.

И когда я поровнялся с ним, он только тронул меня, и я полетел через барьер в черную бездну.

Я очнулся в постели и подумал: «Не так-то уж глуп, как я думал, этот бытовой аришин вопрос: если бы я в юности своей не подменил любовь свою мечтою, я не потерял бы свою Фацелию, и сейчас, через много лет, мне не приснилась бы черная бездна».

★

## БЕЗДНА

Если кто скажет, что бездна тянет его в нее броситься, то это значит, он, сильный, стоит у края ее и удерживается. Слабого бездна не тянет и отбрасывает на покойные, безопасные берега.

Бездна — испытание силы всему живому, той силы, которую нельзя ничем заменить.

Но, сильный, помни: может быть, придет такой час и такая бездна откроется, что скажет тебе: «Уйди прочь, ты не можешь». Нужно во-время отходить от бездн, сохраняя в себе последнюю силу на крайний, на последний случай, и жить до конца в постоянном сознании: хоть раз, да могу; и тогда может случиться, что человек победит даже смерть последним страстным желанием жизни.

★

## II. РОССТАНЬ

*Стоит столб, и от него идут три дороги; по одной, по другой, по третьей итти — везде беда разная, но погибель одна. К счастью, иду я не в ту сторону, где дороги расходятся, а отсюда назад,—для меня погибельные дороги у столба не расходятся, а сходятся. Я рад столбу, и верной, единой дорогой возвращаюсь к себе домой, вспоминая у росстани свои бедствия.*

### КАПЛЯ И ЛЕД

Лед крепкий под окном, но солнце прогревает, с крыш свесились сосульки — началась капель. «Я! я! я!» — звенит каждая капля, умирая; жизнь ее — доля секунды. «Я!» — боль о бессилии.

Но вот, во льду уже ямка, промоина, он тает, его уже нет, а с крыши все еще звенит светлая капель.

★

### КАПЛЯ И КАМЕНЬ

Капля, падая на камень, четко выговаривает: «Я!» Камень, большой и крепкий, сму, может быть, еще тысячу лет здесь лежать, а капля живет одно мгновенье. И все же «капля долбит камень», многие «я» сливаются в «Мы», такое могучее, что не только продлбит камень, а иной раз и унесет его в бурном потоке.

★

### ГРАММОФОН

До того тяжела была утрата друга, что внутреннее мое страданье стали замечать и посторонние. Немка, жена моего хозяина, это заметила и потихоньку спросила меня — чем это я так расстроен. Я встретил первого человека, проявившего живое участие, и все ей рассказал о Фацелии.

— Ну, я вас сейчас вылечу, — сказала добрая фрау Г. и велела мне отнести в сад ее граммофон. Там было много цветущей сирени, и везде пели соловьи. Еще там была посеяна фацелия, и яркосиняя цветущая поляна вся гудела пчелами. Фрау Г. принесла пла-

стинку, завела, и в граммофон знаменитый в то время певец Собинов запел арию Ленского. Фрау Г. восхищенно-добрыми глазами смотрела на меня, готовая помочь мне всем, чем могла. Каждое слово певца под звуки соловья процветало любовью, пропитывалось медом фацелии, веяло ароматом сирени.

С тех пор прошло множество лет. И когда мне случается слышать где-нибудь арию Ленского, то все непременно возвращается: пчелы, синяя фацелия, соловьи, сирень и моя добрая фрау Г. Тогда я не понял, но теперь знаю, что фрау Г., действительно, вылечила меня тогда от безысходной тоски, и, когда все вокруг меня начинают с презрением говорить о мещанстве граммофона, — я молчу.

★

### ГОРБ

Ходит с нами Николай — горбун. И всегда от нас хитренько что-нибудь получает. Не могу преодолеть в себе отвращения к этому человеку, хотя сам внутри себя чувствую преодоленный свой горб. И вот, если я сам содержу в себе калеку и огромнейшую часть своей жизни отдал на выпрямление своего горба, то какое же отвращение должен чувствовать к тем, кто привлекает к себе сострадание милостивых людей видом своего уродства и даже его симулирует. И, наверное, я думаю, Николай именно потому мне и неприятен, что напоминает мне скрытый в моем духовном мире мой собственный горб.

★

## АППЕТИТ К ЖИЗНИ

Приходил расстроенный человек, назвался «читателем» и просил у меня такого слова, которое могло бы ему спасти жизнь.

— Вы же, — говорит он, — слову служите, и видно по вашим писаниям, что слово такое знаете. Скажите мне такое слово.

Я сказал, что таких слов про себя для особого случая не держу, если бы знал их, то сказал. А может быть, я и сказал, и написал, да нужно иметь для этого слова глаза и уши.

Никаких оговорок слышать он не хотел: вынь да положь. До того расстроен, что плакал. И, когда уходил и в передней увидел свой узелок с сапогами, еще больше заплакал. Он объяснил, что, надевая дома валенки, вспомнил — возможна оттепель, — и захватил сапоги.

— Значит же, — сказал он, — сохраняется во мне такой аппетит к жизни, что подумал о возможности весенней оттепели.

Когда он это сказал, я вдруг вспомнил, как я сам свою беду — утрату — погасил некогда подобным ожиданием весны, сколько из этого родилось потом у меня слов утешения, и мне стало радостно на душе: я знаю слова утешения и написал их, но только читатель попался мне плохой.

И тогда я вспомнил кое-что и неизвестному человеку сказал, как сумел.

★

## КЛЮЧ К СЧАСТЬЮ

В мире нет ничего чужого, мы так устроены, что видим только свое; один видит больше, другой видит меньше, но все — только свое и ничего больше.

Приходишь в себя, обыкновенно разглядывая какую-нибудь подробность, сущую мелочь, через которую и входишь в тот мир, где «Я» делается душой всего. Много лет я думал над этой подробностью, мелочью, которая является воротами в желанный мир. Я храню множе-

ство памятных случаев, но отчего, при каких условиях является самое родственное внимание, на почве которого происходит встреча, разобрать до конца до сих пор не могу. Ключа тут, вероятно, быть и не может: ведь это был бы ключ к счастью. Знаю одно, что вертеть надо разными ключами, вертеть до тех пор, пока замок не откроется.

После, когда захочешь другой раз открыть этим ключом, — не откроется, и окажется, что тогда замок открылся сам. Но ты продолжай вертеть каким-нибудь ключом, в этом весь твой метод — вертеть, трудиться с верой, любовью, и замок тогда непременно откроется сам.

Сегодня в хаосе цветов и звуков роскошного луга синей фацелии один солнечный лучик попал на венчик крохотной гвоздики, и она вспыхнула рубиновым огнем и привлекла мое родственное внимание ко всему миру цветов и звуков. Венчик крохотной гвоздики в этот раз и стал ключом моего счастья.

★

## ГЕТЕ ОШИБСЯ

Первый раз обратил внимание, что иволги поют на разные лады, и вспомнил мысль Гете о том, что природа создает безличное, а только человек личен. Нет, я думаю, что только человек способен создавать совершенно безликие механизмы, а в природе именно все лично, вплоть до самых законов природы: даже и эти законы изменяются в живой природе. Так, не все верно говорил даже и Гете.

★

## БРАЧНЫЙ ДЕНЬ

Тихое солнечное утро. Предраассветный мороз все прибрал, подсушил, где причесал, где подстриг, но солнце очень скоро расстроило все его утреннее дело, все пустило в ход, и на припеке под лужами острия зеленой травы начали отделять свои пузырьки.

Не знаю и не хочу знать, как называется то дерево, на котором я увидел

родные хохлатые почки, и в этот миг все пережитые мною весны стали мне, как одна весна, одно чувство, и вся природа явилась мне, как брачный сон наяву.

Ранняя весна возвращает меня к тому дню, от которого начинаются все мои сны. Мне долго казалось, что это острое чувство природы мне осталось от первой встречи себя, как ребенка, с природой. Но теперь я хорошо понимаю, что само чувство природы начинается от встречи моей с человеком.

Это началось, когда впервые мелькнуло, что, может быть, необходимо расстаться с этой любовью, и когда на этой стороне стало так больно, что пальцем потрогай по телу, — и душа отзывается, то на другой стороне взамен встал великий мир моей радости. Казалось, так легко заменить свою боль от утраты Фацелии причастностью к благословенному человеческому труду, в котором живет красота и радость.

Тогда я и вспомнил, и узнал себя ребенком в природе. На чужбине родина моя, жалкая, нищая, показалась во всей своей пленительной силе, — и вот тогда встала ярко первая встреча с природой и родной человек в родной стороне показался прекрасным.

★

### СЧАСТЛИВЫЕ МГНОВЕНЬЯ

Ранней весной до того непостоянно в природе, что радоваться можно только мгновеньями. Для всех грязь, ветер, стужа и жидь, но для избранных есть такие мгновенья, каких не бывает во всем году.

Ранней весной никому нельзя к погоде приспособиться: лови мгновенье, как дитя, и будь счастлив. А вся-то беда людей и состоит в том, что они привкают ко всему и успокаиваются.

Ранней весной каждый раз мне кажется, что не я один, а и все могли бы быть счастливы и что счастье творческое могло бы сделаться религией человечества. Творческое... а какое еще бывает счастье? Я ошибся — не творче-

ское, а просто счастье, потому что не творческое счастье — это довольство человека, живущего за тремя замками.

★

### СКРЫТАЯ СИЛА

Скрытая сила (так я буду ее называть) определила мое писательство и мой оптимизм: моя радость похожа на сок хвойных деревьев, на эту ароматную смолу, закрывающую рану. Мы бы ничего не знали о лесной смоле, если бы у хвойных деревьев не было врагов, ранивших их древесину: при каждом поранении дерева выделяют наплывающий на рану ароматный бальзам.

Так и у людей, как у деревьев: иногда у сильного человека от боли душевной рождается поэзия, как у деревьев смола.

★

### МЫШЬ

Мышь в половодье плыла долго по воде в поисках земли. Измученная, наконец-то увидела торчащий из-под воды куст и забралась на его вершину. До сих пор мышь эта жила, как все мыши, смотрела на них, все делала, как они, и жила. А вот теперь сама подумай: как жить? И на вечерней заре солнечный луч красный так странно осветил лобик мышиный, как лоб человеческий, и эти обыкновенные мышинные глазки — бусинки черные — вспыхнули красным огнем, и в них вспыхнул смысл всеми покинутой мыши, той особенной, которая единственный раз пришла в мир, и если не найдет средства спасенья, то навсегда уйдет; и бесчисленные поколения новых мышей никогда больше не породят точно такую же мышь.

Со мной в юности было, как с этим мышонком: не вода, а любовь, тоже стихия, охватила меня. Я потерял тогда свою Фацелию, но в беде своей что-то понял, и когда спала любовная стихия, пришел к людям, как к спасительному берегу, со своим словом о любви.

★



## БЕРЕЗЫ

Сквозь прелые листья и соломины пробивается зелень: лист жил, трава жила, и теперь, пожив хорошо, как удобрение, переходят в новую зеленую жизнь. Страшно представить себя вместе с ними: понять ценность свою, как удобрения. Совершенный это вздор в отношении к человеку. Стоит однако мне что-нибудь выбрать, облюбовать,— будь это лист, трава или вот эти две небольшие сестры березки, — как все избранное мною, так же как и я сам, не совпадает вполне с удобрительной ценностью их предшественников. Но я не знаю верно, я ли, человек, вдохнул в них свою душу, или, напротив, рассмотрев и поняв их своим родственным вниманием, я поправил себя и открыл их собственную душу.

Избранные мною сестры березки небольшие еще, в рост человека, они растут рядом, как одно дерево. Пока не распустились еще листья и надутые почки, как бусинки,—на фоне неба видна вся тончайшая сеть веточек этих двух сплетенных берез. Несколько лет подряд во время движения березового сока я люблюсь этой изящной сетью живых веточек, замечая, сколько прибавилось новых, вникаю в историю жизни сложнейшего существа дерева, пожожего на целое государство, объединенное одной державой ствола. Много чудесного вижу я в этих березах и часто думаю о дереве, существующем независимо от меня и даже расширяющем мою собственную душу при сближении.

Сегодня вечер холодный, и я немного расстроен. Мне сегодня мои прежние догадки о «душе» березы представляются эстетическим бредом: это я, лично я, поэтизирую березки и открываю в них душу. На самом же деле нет ничего...

И вдруг при совершенно безоблачном небе на лицо мое сверху капнуло. Я подумал о пролетевшей птице какой-нибудь, поднял голову вверх: птицы нигде не было, а на лицо с безоблачного

неба снова капнуло. Тогда я увидел, что на березе, под которой стоял я, высоко надо мною, был поломан сучок, и с него капал на меня березовый сок.

Тогда я, опять оживленный, вернулся с мыслью к моим березкам, вспоминая друга, который в своей возлюбленной видел Мадонну; когда же с ней ближе сошелся, разочаровался и назвал свое чувство абстракцией половой любви. Много раз по-разному я думал об этом, и теперь березовый сок дал новое направление мысли о друге и его Мадонне.

«Бывает,—думал я,—человек, не как мой друг, поступает, бывает, человек, как я сам, вовсе не расстается со своей Фацелией и носит ее в себе, делая что-нибудь вместе со всеми, а любовь скрывая от всех. Но ведь, где любовь, там и «душа», везде «душа»; и у возлюбленной, и у березы».

И опять в этот вечер, под влиянием дождя березового сока, я видал, что у моих двух сестер березок есть своя «душа».

★

## ОСЕННИЕ ЛИСТИКИ

Перед самым восходом солнца на поляну ложится первый мороз. Притаиться, подождать у края, — что там делается на лесной поляне!

В полумраке рассвета приходят невидимые лесные существа и потом начинают по всей поляне расстилать белые холсты. Первые же лучи солнца, являясь, убирают холсты, и остается на белом зеленое место. Мало-по-малу белое все исчезает, и только в тени деревьев и кочек долго еще сохраняются белевские клинышки.

На голубом небе между золотыми деревьями, не поймешь, что творится. Уносит ветер листья или стайками собрались мелкие птички и несутся в теплые далекие края?

Ветер заботливый хозяин. За лето везде побывает, и у него даже в самых густых местах не остается ни одного незнакомого листика.

А вот осень пришла — и заботливый хозяин убирает свой урожай.

Листья, падая, шепчутся, прощаясь навек. У них ведь так всегда: раз ты оторвался от родимого царства, то и прощайся, погиб.

А у нас?

Я вспомнил опять Фацелию, и в осенний день сердце мое, как весной, наполнилось радостью, мне чудилось: я оторвался от нее, как лист, но я не лист, я человек: может быть, для меня так и надо было, с этого отрыва, от этой утраты ее, может быть, началась моя настоящая близость со всем человеческим миром.

★

### ДЕРЕВЬЯ В ПЛЕНУ

Дерево верхней своей мутовкой, как ладонью, забирало падающий снег, и такой от этого вырос ком, что вершина березы стала гнуться. И случилось, в оттепель падал опять снег и прилипал к тому кому, и ветка верхняя с комом согнула аркой все дерево, пока, наконец, вершина с тем огромным комом не погрузилась в снег на земле и этим не была закреплена до самой весны. Под этой аркой всю зиму проходили звери и люди изредка на лыжах. Рядом гордые ели смотрели сверху на согнутую березу, как смотрят люди, рожденные повелевать, на своих подчиненных.

Весной береза возвратилась к тем елям, и если бы в эту особенно снежную зиму она не согнулась, то потом и зимой, и летом она оставалась бы среди елей, но раз уж согнулась, то теперь при самом малом снеге она наклонялась и в конце-концов непременно каждый год аркой склонялась над тропинкой.

Страшно бывает в снежную зиму войти в молодой лес: да ведь и невозможно войти. Там, где летом шел по широкой дорожке, теперь через эту дорожку в ту и другую сторону лежат согнутые деревья, и так низко, что только зайцу под ними и пробежать. Но я знаю одно простое волшебное средство, чтобы идти по такой дорожке, самому не сгибая спины. Я выламываю себе хорошую, увесистую палочку, и стоит

мне только этой палочкой хорошенько стукнуть по склоненному дереву, как снег валится вниз со всеми своими фигурами, дерево прыгает вверх и уступает дорогу. Медленно так я иду и волшебным ударом освобождаю множество деревьев.

★

### ЖИВОЙ ДЫМОК

Вспомнилось, как вчера ночью в Москве я проснулся и по дыму в окне узнал время: был предрассветный час. Где-то, из какого-то дома, из чьей-то трубы, выходил дымок, едва различимый в темноте и прямой, как колонна, дрожащая в мареве. И никого живого не было, только этот живой дымок был, и сердце мое живое волновалось, как этот дымок, и вся душа была вверх, в полнейшей тишине. Так, некоторое время, припав лбом к стеклу, я и побыл наедине с дымом в этот предрассветный час.

★

### БОРЬБА ЗА ЖИЗНЬ

Время, когда березки последнее свое золото ссыпают на ели и на уснувшие муравейники. Теперь со своим горем я не чувствую больше себя горюном: не мне одному, а всем попадает, а на миру смерть красна. И перед концом особенно хочется жить и жизнь кажется так дорога. Я замечаю теперь даже блеск хвоинок на тропе в лучах заходящего солнца, и все иду, любясь, иду без конца по лесной тропе, и лес мне становится таким же, как море, и опушка его, как берег на море, а полянка в лесу, как остров. На этом острове стоит тесно несколько елок, под ними я сел отдохнуть. У этих елок, оказывается, вся жизнь вверху. Там, в богатстве шишек, хозяйствует белка, клесты и, наверное, еще много же известных мне существ. Внизу же, под елями, как на черном ходу, все мрачно, и только смотришь, как летит шелуха.

Если пользоваться умным вниманием к жизни и питать сочувствие ко всякой

твари, можно и здесь читать увлекательную книгу: вот хотя бы об этих семечках елей, падающих вниз при шедущении шишек клестами и белками. Когда-то одно такое семечко упало под березой, между ее обнаженными корнями. Елка, прикрытая от ожогов солнца и морозов березой, стала расти, продвигаясь между наружными корнями березы вниз, встретила там новые корни березы, и своих корней елке некуда девать. Тогда она подняла свои корешки вверх березовых, обогнула их и на той стороне впустила в землю. Теперь эта ель обогнала березу и стоит рядом с ней со сплетенными корнями.

★

### БОЛЬШАЯ ВОДА

Сказано у Гете, что, созерцая природу, человек все лучшее, о чем он говорит, берет из себя. Но почему же, бывает, подойдешь к большой воде с такой мелкой душонкой, раздробленной еще больше какой-нибудь домашней ссорой, а взглянул на большую воду, — и душа стала большой и все простил великодушно?

★

### ЗАМЕТКА НА СТАРОСТЬ

Начиная с момента посадки нашей в Вежах на лодку и кончая приездом в Загорск не было ни одного даже малейшего столкновения с людьми, и поездка прошла без сучка, без задоринки. К старости надо это твердо помнить, что всякая ссора с людьми, всякий «выход из себя» стоит чего-то себе, что это самое бесполезное растройство самого себя, и этого надо бояться больше всего на свете: работа над этим есть что-то вроде необходимости перехода к растительной пище.

★

### БЕДНАЯ МЫСЛЬ

Внезапно стало теплеть. Петя занялся рыбой, поставил в торфяном пруду сети на карасей и заметил место:

против сети на берегу стояло около десяти маленьких, в рост человека, березок. Солнце садилось пухлое. Лег спать: рев лягушек, соловьи и все, что дает бурная «тропическая ночь». Только бывает так, что, когда совсем хорошо, бедному человеку в голову приходит бедная мысль и не дает возможности воспользоваться счастьем тропической ночи. Петя пришло в голову, что кто-то, как в прошлом году, подсмотрел за ним и украл его сети. На рассвете он бежит к тому месту и, действительно, видит: там люди стоят, на том самом месте, где он поставил сети. В злобе, готовый биться за сети с десятком людей, он бежит туда и вдруг останавливается и улыбается: это не люди, — это за ночь те десять березок оделись и, будто люди, стоят.

★

### ПОЮЩИЕ ДВЕРИ

Глядя на ульи с пчелами, летающими туда и сюда в солнечном свете, — туда легкими, сюда обремененными цветочной пылью, — легко представляешь себе мир людей и вещей согласованных, вещей обжитых до того, что они, как двери в «Старосветских помещиках», поют.

На пасеке я всегда вспоминаю старосветских помещиков, как они были для Гоголя и как они людьми до сих пор еще не поняты: в смешных старичках с их поющими дверями Гоголю чудилась возможность гармонической и совершенной любви людей на земле.

★

### CIRCULUS VICIOSUS

Когда-то я дивился — как не стыдно жить лысым, откуда берут они охоту и на что рассчитывают, расправляя нижние последние длинные волосы по всей лысине, примазывая их чем-то даже довольно прочно. Лысые, пузатые люди во фраках, старые девы с желтыми щеками в бриллиантах и бархате. Как не стыдно всем им показываться при белом свете и ридиться в богатые

одежды? Прошло два, три десятка лет, и мне пришлось зачесывать волосы свои наперед, и кто-то открыл однажды их и сказал: «Зачем вы закрываете, у вас такой правильный лоб, превосходная лысина». И вот я мало-по-малу совершенно примирился с лысиной. Я со всеми примирился недостатками, выступающими по мере своего продвижения в «жизненном море»... Примирился даже с утратой своей юношеской Фацелии. Лысые, пузатые, желтые, больные не беспокоят моего воображения, и только не могу еще перешагнуть через бездарных. Но думаю, что и талант тоже, как лысина: может талант пройти, писать не захочется, — и с этим тоже помиришься. Ведь не ты же сам создал свой талант, у тебя это выросло, как густые волосы, и он тоже, если так оставить, вылезет, как волосы: писатель «испишется». Не в таланте дело, а в том, кто управляет талантом. Вот уж этого утратить нельзя, эта утрата незаменима: это уж не лысина, не брюхо, это я сам. И пока «я сам» существует, нечего плакать об утраченном, — ведь говорят: «Снявши голову, по волосам не плачут», значит, можно сказать и так: «Была бы голова, а волосы вырастут».

★

### РАССТАВАНИЕ И ВСТРЕЧА

Наблюдал я с восхищением начало потока. На одном холме стояло дерево — очень высокая елка. Капли дождя собирались с ветвей на ствол, укрупнялись, перескакивали на изгибах ствола и часто погасали в густых светлозеленых лишайниках, одевающих ствол. В самом низу дерево было изогнуто, и капли из-под лишайников тут брали прямую линию вниз, в спокойную лужу с пузырями. Кроме этого, и прямо с веток падали разные капли, по-разному звучали.

На моих глазах маленькое озеро под деревом прорвало, поток под снегом понесся к дороге, ставшей теперь плотиной. Новорожденный поток был такой силы, что дорогу-плотину прорвало, и вода помчалась вниз по сорочьему цар-

ству к речке. Олышаник у берега речки был затоплен, с каждой ветки в заводь падали капли и давали множество пузырей. И все эти пузыри, медленно двигаясь по заводи к потоку, вдруг там срывались и неслись по реке вместе с пенной.

В тумане то-и-дело показывались, пролетая, какие-то птички, но я не мог определить, какие это. Птички на лету пищали, но за гулом реки я не мог понять их писка. Они садились вдали у реки на группу стоявших возле деревьев. Туда я направился узнать, какие это к нам гости так рано пожаловали из теплых краев.

Под гул потока и музыку звонких капель я, как бывает это и при настоящей — человеческой — музыке, завертелся мыслью о себе, вокруг одного своего больного места, которое столько лет не может зажить... Это верченье мало-по-малу привело меня к отчетливой мысли о начале человека: что это еще не человек, когда он, отдаваясь влечению к счастью, живет вместе с этими потоками, пузырями, птицами. Человек начинается в тот момент, когда он со всем этим расстается: тут первая ступень сознания. Так со ступеньки на ступеньку я начал, забывая все, восходить через боль свою к отвлеченному человеку.

Я очнулся, услышав песнь зяблика. Ушам своим не поверил, но скоро понял, что те птички, летевшие из тумана, те ранние гости — были все зяблики. Тысячи зябликов все летели, все пели, садились на деревья и во множестве рассыпались по зяби, и я в первый раз понял, что слово «зяблик» происходит от зяби. Но самое главное при встрече с этими желанными птичками был страх, — что, будь их поменьше, я, думая о себе, счель возможно, и вовсе бы их пропустил.

«Так вот, — раздумывал я, — сегодня я пропущу зябликов, а завтра пропущу хорошего живого человека, и он погибнет без моего родственного внимания». Я понял, что в этой моей отвлеченности было начало какого-то основного большого греха. Однако верно было и то, что зяблики после расставания

мне были много милей: я чувствовал теперь их пронзительно, ликующе. Эта любовная встреча моя явилась от горя разлуки. «Значит, — думал я дальше, — расставаться можно, и эта разлука, действительно, есть первое начало человека, только непременно надо вернуться к исходной мысли: началось зябликом и должно кончиться зябликом. И вероятней всего это значит, что надо именно вернуться к себе самому, к собственной исходной мысли. И грех состоит не в том, что ты расстался, а в том, что ты потерялся в чужих мыслях и не вернулся к себе самому».

★

### ДОЧЬ ФАЦЕЛИИ

Я потерял ее вовсе из вида, и с тех пор много лет прошло. Я до того утратил ее черты, что не мог бы по лицу узнать ее. И только вот одни глаза, похожие на две северные звездочки, — это я бы, конечно, узнал.

И случилось однажды, я зашел в комиссионный магазин купить себе одну вещь. Мне удалось эту вещь найти и купить. С чеком в руке я стал в очередь. Рядом же была очередь вторая из тех, у кого были только крупные деньги: в кассе не было разменных денег. Одна молодая женщина из той очереди попросила у меня разменять пять рублей: ей нужно было всего только лишь два рубля. У меня было мелких только два рубля, и я охотно предложил взять от меня эти два рубля...

Вероятно, она не поняла меня, что я желаю просто отдать ей, подарить деньги. А может быть, она была такая милая, что победила в себе чувство ложного стыда, и хотела стать выше условных мелочей. К сожалению, протягивая деньги, я взглянул на нее и вдруг узнал те самые глаза, те самые две северные звездочки, как у Фацелии. В одно

мгновение это я успел через глаза взглянуть внутрь ее души, и мне успело мелькнуть, что, может быть, это дочь «ее»...

Но денег от меня после такого взглядывания взять оказалось невозможным. А может быть, она только тут успела сообразить, что деньги я хочу ей, незнакомой, подарить.

Подумаешь, деньги-то какие, всего два рубля! Я протянул руку с деньгами.

— Нет, — сказала она, — так взять я от вас не могу.

А я-то в ту минуту, узнавая те глаза, готов был отдать ей все, что у меня было, я готов был по одному ее слову побежать куда-то и принести ей еще и еще.

Умоляющим взглядом, как нищий из нищих, я поглядел и попросил:

— Возьмите же...

— Нет! — повторила она.

И когда у меня сделался вид совершенно несчастного, брошенного, измученного бездомьем человека, она что-то вдруг поняла, улыбнулась тою самой прежней своей улыбкой Фацелии и сказала:

— Мы сделаем так: вы у меня возьмете пять рублей и мне дадите два. Хотите?

С восторгом я взял у нее пять рублей и видел, что восторг мой она хорошо поняла и оценила.

★

### СТАРАЯ ЛИПА

Думал о старой липе с такой морщинистой корой. Сколько времени она утешала старого хозяина и утешает меня, вовсе и не думая ничего о нас. Я смотрю на ее бескорыстное служение людям, и у меня, как душистый липовый цвет, распускается надежда: может, когда-нибудь и я вместе с ней процвету.

★

### III. РАДОСТЬ

*Горе, скопясь в одной душе больше и больше, может в какой-то прекрасный день вспыхнуть, как сено, и все сгореть огнем необычайной радости.*

#### ПОСЛЕДНЯЯ ВЕСНА

Быть может, эта весна моя последняя. Да, конечно, каждый молодой и старый, встречая весну, должен думать, что, может быть, это его последняя весна, и больше он к ней никогда не вернется. От этой мысли радость весны усиливается в сто тысяч раз, и каждая мелочь, зяблик какой-нибудь, даже слово, откуда-то прилетевшее, являются со своими собственными лицами, со своим особенным заявлением на право существования и участия и для них тоже в последней весне.

★

#### БЛИЗКАЯ РАЗЛУКА

Осенью, конечно, все шепчет кругом о близкой разлуке, в радостный солнечный день к этому шопоту присоединяется задорно: «Хоть один, да мой!» И я думаю, что, может быть, и вся наша жизнь проходит, как день, и вся мудрость жизненная сводится к тому же самому: одна только жизнь, единственная, как осенью единственный солнечный день, один день, а мой!

★

#### ПОСЛЕДНЯЯ ВЕСНА

Кукушка во время моего отдыха на поваленной березе, не заметив меня, села где-то почти рядом и с каким-то придыханием, вроде того, как если бы нам сказать: «А ну-ка, попробуй, что будет?» — кукукнула.

— Раз! — сказал я, по старой привычке загадывая, сколько лет еще останется мне жить.

— Два!

И только она выговорила свое «ку» из третьего раза и только собрался я сказать свое «три»...

— Кук! — выговорила она и улетела.

Свое «три» я так и не сказал. Мало-мало вышло мне жить, но это не обидно, я достаточно жил, а вот обидно, что если эти два с чем-то года будешь все собираться для какого-нибудь большего дела, и вот соберешься, начнешь, а там вдруг «кук!»... И все кончится.

Так стоит ли собираться?

«Не стоит!» — подумал я.

Но, встав, бросил последний взгляд на березу, и сразу все расцвело в моей душе: эта чудесная упавшая береза для последней своей, для одной только нынешней весны раскрывает смолистые почки.

★

#### УЛЫБКА ЗЕМЛИ

В больших горах, как на Кавказе, всюду остались следы титанической борьбы и событий в жизни земной коры, похожие на страдания и гримасы ужаса на лице человеческого. Там, прямо на глазах, вода разрезает горы, и падают камни, и рассыпаются мало-помалу. Может быть, когда-то и у нас, в Московской области, тоже была такая борьба, только давно это прошло, и вода до того умерила стихии, что как будто здесь наконец-то земля улыбнулась зелеными лесистыми холмами.

Бродишь глазами по этим милым холмам и, вспоминая свое прошлое, иной раз подумаешь: «Нет, не хочу опять повторять, не хочу опять быть молодым». И улыбнешься вместе с землей и чему-то обрадуешься.

★

#### СОЛНЦЕ В ЛЕСУ

Такой лес, что солнце не сразу и увидишь, только по огненным пятнам и стрелам догадаешься, что вон там оно спряталось за большим деревом и бро-

сает оттуда в темный лес свои ранние утренние косые лучи...

С поляны сияющей входишь в темный лес, как в пещеру, но, когда осмотришься, до чего хорошо! Невозможно сказать, до чего прекрасно бывает в темном лесу в яркий солнечный день. Никто, я думаю, не удержится, чтобы не дать полную свободу своей привязанной разными злобами мысли. Тогда обрадованная мысль летает от одного солнечного пятна к другому, обнимет по пути своему на солнечной поляне елочку, стройную, как башенка, соблазнится, как девочка, ничего не понимающая, белизной березки, спрячет в ее зеленых кудрях вспыхнувшее личико и помчится, вспыхивая в лугах, от поляны к поляне.

★

### СТАРЫЙ СКВОРЕЦ

Скворцы вывелись и улетели, и давно уже их место в скворечнике занято воробьями. Но до сих пор на ту же яблоню прилетает в хорошее росистое утро старый скворец и поет.

Вот странно, казалось бы, все уже кончено, самка давно вывела, детеныши выросли и улетели... Для чего же старый скворец прилетает каждое утро на яблоню, где прошла его весна, и поет?

Удивляюсь скворцу и под песню его косноязычную и смешную сам в какой-то неясной надежде иногда тоже кое-что сочиняю.

★

### ПТИЧИК

Птичик, самый малый, сел на вершинный палец самой высокой ели, и, видно, он там не даром сел, — тоже славил зарю; клюв его маленький раскрывался, но песня не достигала земли, и по всему виду птички можно было понять: дело ее — славить, а не в том, чтобы песня достигала земли и славил птичку.

★

### ЦВЕТУЩИЕ ТРАВЫ

Как рожь на полях, так в лугах тоже зацвели все злаки, и когда злачнику покачивало насекомое, она окутывалась пылью, как золотым облаком. Все травы цветут, и даже подорожник, — какая трава подорожник, — а тоже весь в белых бусинках.

Раковые шейки, медуницы, всякие колоски, пуговки, циншечки на тонких стебельках приветствуют нас. Сколько их прошло, пока мы столько лет жили, а не узнать, кажется, все те же шейки, колоски, старые друзья, здравствуйте, еще раз здравствуйте, милые!

★

### РАСЦВЕТ ШИПОВНИКА

Шиповник, наверное, с весны еще пробрался внутрь по стволу к молодой осинке, и вот теперь, когда время пришло осинке справлять свои именины, вся она вспыхнула красными благоухающими дикими розами. Гудят пчелы и осы, бьют шмели, все летят поздравлять и на именинах меду попить и домой захватить.

★

### СЫТЫЕ ПУЗЫРИ

Весь день дождь и парит. Синица звенит не, как раньше, брачным голосом в теплом луче. Теперь, под дождем, она звенит непрерывно и даже как будто от этого похудела: такая тоненькая на ветке. Ворона не хочет даже подняться на дерево, токует прямо на дороге, кланяется, давится, хрипит, задыхается от желания.

Весна воды началась стремительно. Снег на полях и в лесу стал зернистым, можно ходить, продвигая ноги, как лыжи. Вокруг елей в лесу стоят маленькие спокойные озера. На открытых полянах торопливый дождь не дает на лужах вставать пузырькам. Но в озерках под елками капли с сучьев падают тяжелые, и каждая, падая в воду, дает сытый, довольный пузырь. Я

люблю эти пузыри, они мне напоминают маленьких детей, похожих одновременно и на отца, и на мать.

★

### РИТМ

Есть в моей природе постоянное стремление к ритму. Бывает, встанешь рано, выйдешь на росу, радость охватит, и тут решаешь, что надо каждое утро так выходить. Почему же каждое? Потому что волна идет за волной...

★

### ВОДА

Никто в природе так не затаивается, как вода, и только перед большой и радостной зарей бывает так на сердце человека: притаишься, соберешься и как будто сумел, достал из глубины того родства, зачерпнул там живой воды и вернулся в наш человеческий мир, — и тут навстречу тебе лучезарная тишь воды, широкой, цветистой, большой.

★

### МОЛОДЫЕ ЛИСТИКИ

Если цветут красными свечами и пылят желтой муцией. У старого, огромного пня я сел прямо на землю; пень этот внутри — совершенно труха и, наверное, рассыпался бы вовсе, если бы твердая крайняя древесина не расстрескалась дощечками, как в бочках, и каждая дощечка не прислонилась бы к трухе и не держала бы ее. А из трухи выросла березка и теперь распустилась. И множество разных трав, ягодных, цветущих, снизу поднимались к этому старому огромному пню.

Пень удержал меня, я сидел рядом с березкой, старался услышать шелест трепещущих листиков и не мог ничего услышать. Но ветер был довольно сильный, и по елям приходила сюда лесная музыка волнами, редкими и могучими. Вот убежит волна далеко и не при-

дет, и шумовая завеса упадет, откроется на короткую минуту полная тишина, и зяблик этим воспользуется: раскатится бойко, настойчиво. Радостно слушать его, — подумаешь, как жить хорошо на земле! Но мне хочется услышать, как шепчутся бледножелтые ароматно-блестящие и еще маленькие листья моей березы. Нет! Они такие нежные, что только трепещутся, блестят, пахнут, но не шумят.

★

### У СТАРОГО ПНЯ

Пусто никогда не бывает в лесу, и если кажется пусто, то сам виноват.

Старые, умершие деревья, их огромные старые пни окружаются в лесу полным покоем, сквозь ветви падают на их темноту горячие лучи, от темного пня вокруг все согревается, все растет, движется, пень прорастает всякой зеленью, покрывается всякими цветами. На одном только светлом солнечном пятнышке, на горячем месте, расположились десять кузнечиков, две ящерицы, шесть больших мух, две жуелицы. Вокруг высокие папоротники собрались, как гости, редко ворвется к ним самое нежное дыхание где-то шумящего ветра, и вот в гостиной у старого пня один папоротник наклонится к другому, шепнет что-то, и тот шепнет третьему, и все гости обменяются мыслями.

★

### У РУЧЬЯ

Березки теперь давно оделись и утпают в высокой траве, а когда я снимал их, то была первая весна, и в снегу под этой березкой, темнея на голубом, начинался первый ручеек. С тех пор, пока разоделась березка и выросли под ними разные травы с колосками и шишечками, и шейками разных цветов, много, много воды утекло из ручья, и сам ручей тот до того зарос в темнозеленой густоте непроницаемой осокой, что не знаю, есть ли еще в нем теперь хоть сколько-нибудь воды.



И так точно было со мной в это время,— сколько воды утекло с тех пор, как мы расстались, и по виду моему никому не узнать, что ручей души моей все еще жив.

★

### ПЕСНЯ ВОДЫ

Весна воды собирает родственные звуки: бывает, долго не можешь понять, что это—вода булькает или терева бормочут, или лягушки урчат. Все вместе сливается в одну песню воды, и над ней согласно всему блеет бекас божьим баранчиком, в согласии с водой вальдшнеп хрипит, и таинственно ухаёт выпь: все это странное пенье птиц вышло из песни весенней воды.

★

### ЗОЛОВА АРФА

Повислые под кручей частые длинные корни деревьев теперь под темными сводами берега превратились в сосульки и, нарастая больше и больше, достигли воды. И когда ветерок, даже самый ласковый, весенний, волновал воду и маленькие волны достигали под кручей концов сосулечек, то волновали их, они качались, стуча друг о друга, звенели, и этот звук был первый звук весны, золова арфа.

★

### ПЕРВЫЙ ЦВЕТОК

Думал, случайный ветерок шевельнул старым листом, а это вылетела первая бабочка. Думал, в глазах это порябило, а это оказался первый цветок.

★

### НЕВЕДОМОМУ ДРУГУ

Солнечно-росистое это утро, как неоткрытая земля, неизведанный слой небес, утро такое единственное, никто еще не вставал, ничего никто не видал, и ты сам видишь впервые. Допевают свои весенние песни соловьи, еще сохранились в затишных местах одуванчики, и, может быть, где-нибудь в

сырости черной тени белеет ландыш. Соловьям помогать взялись бойкие летние птички, подкрапивники, и особенно хороша флейта иволги. Всюду беспокойная трескотня дроздов, и дятел очень устал искать живой корм для своих маленьких, присел вдали от них на суку просто отдохнуть.

Вставай же, друг мой! собери в пучок лучи своего счастья, будь смелей! начинай борьбу, помогай солнцу! Вот, слушай, и кукушка взялась тебе помогать. Гляди, лунь плывет над водой: это же не простой лунь, в это утро он первый и единственный, и вот сороки, сверкая росой, вышли на дорожку, — завтра так точно сверкать они уже не будут, — и день-то будет не тот, и эти сороки выйдут где-нибудь в другом месте. Это утро единственное, ни один человек его еще не видел на всем земном шаре: только видишь ты и твой неведомый друг.

И десятки тысяч лет жили на земле люди, копили, передавая друг другу, радость, чтобы ты пришел, поднял ее, собрал в пучки ее стрелы и обрадовался. Смелей же, смелей!

Враг мой! ты вовсе не знаешь, и, если узнаешь, тебе никогда не понять, из чего я сплел радость людям. Но если ты не понимаешь моего лучшего, то чего же ты хватаешься за мои ошибки, и на основе таких мелких пустяков поднимаешь свое обвинение против меня? Проходи мимо и не мешай нам радоваться.

И опять расширится душа: елки, березки, и не могу оторвать своих глаз от зеленых свечей на соснах и от молодых красных шишек на елках. Елки, березки, до чего хорошо!

★

### ВЕРХНЯЯ МУТОВКА

Утром лежал вчерашний снег. Потом выглянуло солнце, и при северном холодном ветре весь день носились тяжелые облака, то открывая солнце, то опять закрывая и угрожая...

В лесу же, в заветрии, как ни в чем не бывало, продолжалась весен-

няя жизнь. Какая восхитительная сказка бывает в лесу, когда со всех этажей леса свешиваются, сходятся, переплетаются ветви, еще не одетые, но с цветами-сережками или с зелеными, длинными, напряженными почками. Жгутики зеленые черемухи, в бузине красная кашица с волосками, в ранней иве из-под ее прежнего волосатого вербного одеяльца выбиваются мельчайшие желтенькие цветочки, составляющие потом в целом как бы желтого только-что выбившегося из яичной скорлупки цыпленка.

Даже стволы нестарых елей покрылись, как шерстью, зелеными хвоинками, а на самом верхнем пальце самой верхней мутовки явно показывается новый узел новой будущей мутовки...

Не о том я говорю, чтобы мы, взрослые, сложные люди, возвращались бы к детству, а к тому, чтобы в себе самих хранили бы каждый своего младенца, не забывали бы о нем никогда и строили жизнь свою, как дерево: эта младенческая первая мутовка у дерева всегда наверху, на свету, а ствол — это его сила, это мы, взрослые.

Лети же, лети, майский снег! пусть все живое помнит Мороза и прячется, и там, в норке своей, в трещинке, в щелке, мечтает о зеленой мутовочке в лучах великого света: это не пустая мечта, она значит, что мы в ствол уходим, а деточки — в рост.

★

### ПШЕНИЧНОЕ ЗЕРНО

Теперь и шекспировская сила воображенья не подавляет меня, как писателя. Я хорошо знаю, что если б мне удалось без воображенья, а просто терпеливой раскопкой найти в себе крупинку такого, чем все люди живут, и об этом рассказать, то сам Шекспир, как брата, позвал бы меня в свой охотничий замок, и ему бы и в голову не пришло противопоставлять величайшую силу своего таланта пшеничному зерну моей веры в какого-то друга.

★

### ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ

Тут, на этой цветущей лесной поляне, давно когда-то жили, вон там видно: обрыто было, там вырыто, там, наверно, дом стоял, здесь погреб, и на лужайке по густозеленому цвету полоски травы можно догадаться, что это дорога была, по которой ходил давно умерший человек.

Я иду этой полоской и чувствую: от чего-нибудь чувства мои и понимание до того могут перемениться, такое во мне может произойти, что того давно умершего человека я могу узнать в себе самом, и как шел он тогда по своей дороге, и как теперь в виде «Я» идет по густозеленой траве.

И когда воскрес во мне самый тот человек под огромным дубом, я увидел по свежей зеленой траве темнозеленое изображение другого, тоже огромного дерева. Чуть подумав об этом, я догадался, что другой дуб, росший долго вместе с этим, давно упал, давно рассыпался в прах и стал удобрением, создавшим густую зелень на свежей траве.

★

### ВЕЧЕР ОСВЯЩЕНИЯ ПОЧЕК

Почки раскрываются, шоколадные с зелеными хвостиками, и на каждом зеленом клювике висит большая прозрачная светлая капля. Возьмешь одну почку, разотрешь между пальцами, и потом долго все пахнет тебе ароматной смолой березы, тополя или особенным воспоминательным запахом черемухи: вспоминаешь, как, бывало, забирался наверх по дереву за ягодками, блестящими, чернолаковыми, и ел их горстями, прямо с косточками, и почему-то от этого никогда ничего, кроме хорошего, не бывало.

Вечер теплый, и такая тишина, что ждешь чего-то напряженно: должно же что-нибудь случиться в такой тишине. И вот, кажется, пришло: кажется, начинают шептаться между собой деревья: береза белая с другой березой белой издали перекликаются, осинка молодая стала на поляне, как зеленая свеча, находит себе такую же свечу; черемуха

черемухе подает ветку с раскрытыми почками. И так если с нами сравнить, мы звуками перекликаемся, а у них аромат: сейчас каждая порода окружена своим ароматом.

Когда начало темнеть, стали в темноте исчезать почки, но капли на них светились, и даже, когда ничего нельзя было понять, в темной тесноте кустарников капли светились, одни только капли да небо: капли брали у неба свой свет и светили нам в темном лесу.

Мне казалось, будто я весь собрался в одну смолистую почку и хочу раскрыться навстречу единственному неведомому другу, такому прекрасному, что, при одном только ожидании его, все враги мои рассыпаются ничтожною пылью.

★

### ЛЕСНОЙ РУЧЕЙ

Если хочешь душу леса постигнуть, найди лесной ручей и отправляйся берегом его вверх или вниз. Я иду берегом своего любимого лесного ручья самой ранней весной. И вот что я тут вижу и слышу, и думаю.

Вижу я, как на мелком месте текущая вода встречает преграду в корнях елей и от этого журчит о корни и распускает пузыри. Рождаясь, эти пузыри быстро мчатся и тут же лопаются, а большая часть их сбивается дальше у нового препятствия в далеко видный белоснежный ком.

Новые и новые препятствия встречает вода, и ничего ей от этого не делается, только собирается в струйки, будто сжимает мускулы в неизбежной борьбе.

Водная дрожь от солнца бросается тенью на ствол ели, на травы, и тени бегут по стволам и по травам, и в дрожи этой рождается звук, и чудится, будто травы растут под музыку и видишь согласие теней.

С мелко-широкого плеса вода устремляется в узкую приглубь, и от этой бесшумной устремленности вот и кажется, будто вода мускулы сжала и солнце это подхватывает, и напряженные тени струй бегут по стволам и по травкам.

А то вот большой завал, и тут вода как бы ропщет, и далеко слышен этот ропот и переплеск. Но это не слабость и не отчаяние, и не жалоба: вода этих чувств не знает, каждый ручей уверен в том, что он добежит до свободной воды, и, если встретится даже гора, как Эльбрус, он разрежет пополам Эльбрус, а рано ли, поздно ли добежит...

Рябь же на воде, схваченная солнцем, и тень, как дымок, перебегает вечно по травам и деревьям, и под звуки ручья раскрываются смолистые почки берез, и травы поднимаются из-под воды и на берегах.

А вот тихий омут с поваленным внутрь его деревом, тут блестящие жучки-вертунки распускают рябь на тихой воде.

Под сдержанный ропот воды струи катятся уверенно и на радости не могут не перекликнуться; сходятся могучие струи в одну большую и, встречаясь, сливаются, говорят и перекликаются: это перекличка всех проходящих и уходящих струй.

Вода задевает бутоны новорожденных желтых цветов, и так рождается водная дрожь от цветов. Так жизнь проходит то пузырями и пеной, а то в радостной перекличке среди цветов и танцующих теней.

Дерево давно и плотно легло на ручей и позеленело от времени, а ручей нашел себе выход под деревом и быстриком, с трепетными тенями бьет и журчит.

Некоторые травы уже давно вышли из воды и теперь на струе постоянно кланяются и отвечают вместе и трепету теней, и ходу ручья.

Пусть завал на пути, пусть! Препятствия делают жизнь: не будь их, вода бы безжизненно сразу ушла в океан, как из безжизненного тела уходит непонятная жизнь.

На пути явилась широкая, приглубная низина. Ручей, не жалея воды, наполнил ее и дальше побежал, оставляя жить своей собственной жизнью эту заводь.

Куст широкий под напором зимних снегов согнулся и теперь опустил в ручей множество веток, как таук, и, еще

серый, насел на ручей и шевелит всеми своими длинными ножками.

Семена елей плывут и осин.

Весь проход ручья через лес — это путь длительной борьбы, и так создается тут время. И так длится борьба, и в этой длительности успевают зародиться жизнь и мое сознание.

Да, не будь этих препятствий на каждом шагу, вода бы сразу ушла, и не было бы жизни — времени...

В борьбе своей у ручья есть усилие струи, как мускулы скручиваются, но нет никакого сомнения, что рано ли, поздно ли он попадет в океан к свободной воде, и вот это «рано ли, поздно ли» и есть самое-самое время и самая-самая жизнь. И я про себя, глядя на этот бодрый ручей, тоже думаю: рано ли, поздно ли попаду в большую воду, и пусть я здесь даже буду последним, там примут меня непременно за первого. Там, в большой воде, в океане, ведь все первые, потому что нет конца жизни.

Перекликаются струи, напрягаясь у жватых берегов, выговаривают свое: «рано ли, поздно ли». И пока не убежит последняя капля, пока не пересохнет ручей, вода без-устали будет твердить: «рано ли, поздно ли мы попадем в океан».

По заберегам отрезана вода круглой лагункой, и в ней осталась щучка в плену.

А то вдруг придешь к такому тихому месту ручья, что слышно, как на весь-то лес урчит снегирь и как зяблик шуршит старой листвою.

А то мощные струи, весь ручей в две струи под косым углом сходятся и всей силой своей ударяется в кручь, укрепленную множеством могучих корней вековой ели.

Так хорошо, что я сел на корни и, отдыхая, слушал, как там, внизу, под кручей, перекликались уверенно могучие струи, они пе-ре-кли-ка-лись в своем «рано ли, поздно ли», а я за них доканчивал: «мы придем в океан, а могучее дерево с его кручей повергнем».

В осинової мелочи расплескалась вода, как целое озеро, и, собравшись в одном углу, стала падать с обрыва вы-

сотой в метр, и от этого стало бубнить далеко. Так Бубнило бубнит, а на озерке тихая дрожь, мелкая дрожь, и тесные осинки, опрокинутые там под водой, змейками убегают вниз непрерывно и не могут убежать от самих себя.

Привязал меня к себе ручей, и не могу отойти в сторону, скучно становится, теряю в себе уверенность в том, что рано ли, поздно ли доплыву в свободную воду.

Вышел на какую-то лесную дорожку, и тут теперь маленькая, самая низенькая трава на дороге, такая зеленая, сказать, почти ядовитая, и по бокам две колена, переполненные водой.

На самых молодых березках зеленеют и ярко сияют ароматной смолой почки, но лес еще не одет, и на этот еще голый лес в нынешнем году прилетела кукушка: кукушка на голый лес, — считается нехорошо.

Вот уже двенадцатый год, как я рано, не одетой весной, когда цветет только волчье лыко, анемоны, примулы, прокожу этой дикой вырубкой. Кусты, деревья, даже пни так хорошо мне знакомы, что дикая вырубка стала, как сад: я ведь каждый куст, каждую сосенку, елочку обласкал, и они стали моими, и это все равно, что я их посадил, — это мой собственный сад.

Из «своего сада» я вернулся к ручью и смотрел тут на большое лесное событие: огромная вековая ель, подточенная ручьем, свалилась со всеми своими старыми и новыми шишками, всем множеством веток своих легла на ручей, и о каждую ветку теперь билась струйка и, протекая, твердила, переключаясь с другими: «рано ли, поздно ли...»

Ручей выбежал из глухого леса на поляну и разлился в теплых, открытых лучах солнца широким плесом. Тут вышел из воды первый желтый цветок, и, как соты, лежала икра лягушек, такая спелая, что через прозрачные воздушные ячейки просвечивали черные головастики. Тут же, над самой водой, высились во множестве голубоватые мушки величиной почти-что в блоху, и тут же падали в воду, вылетали откуда-то и падали, и в этом была, кажется,

вся их короткая жизнь. Блестящий, как медный, завертелся по тихой воде жу-чок водяной, и наездник чертил во все стороны, не шевеля воду. Лимонница, большая и яркая, пролетела над тихой водой. Маленькие лужицы вокруг заводи все травой проросли и цветами, а пуховые вербочки на ранней иве процвели и стали похожи на маленьких цыплят в желтом пуху.

Что такое случилось с ручьем? Половина воды отдельным ручьем пошла в одну сторону, другая половина в другую. Может быть, в борьбе своей за веру в свое «рано ли, поздно ли» вода разделилась: одна вода говорила, что вот этот путь раньше приведет к цели, а другая в другой стороне увидела короткий путь, и так они разбежались, и обежали большой круг, и заключили большой остров между собой, и опять вместе радостно сошлись и поняли: нет разных дорог для воды, все пути рано ли, поздно ли приведут в океан.

И глаз мой обласкан, и ухо все время слышит: «рано ли, поздно ли», и аромат смолы и березовой почки — все сошлось в одно, и мне стало так, что лучше уж и быть не могло, и некуда мне больше стремиться. Я опустился между корнями дерева, прижался к стволу, лицо повернул к теплому солнцу, и тогда пришла моя желанная минута и остановилась, и последним человеком от земли я первым вошел в цветущий мир.

Ручей мой пришел в океан.

★

## РЕКИ ЦВЕТОВ

Там, где тогда мчались весенние потоки, теперь везде потоки цветов.

И мне так хорошо было пройтись по этому лугу, я думал: «Значит, не даром неслись весной мутные потоки».

И потом переходил к пережитому и думал: «Надо смириться до какой-нибудь раковой шейки, передающей в точности свою жизнь другой, до того похожей на нее раковой шейке, что, кажется нам, она жила от века веков и будет долго жить».

Но разве человеку так можно смириться? Нет! но и без этого как жить, не веря, что рано ли, поздно ли все мутные потоки человеческой жизни непременно станут реками цветов.

★

## ЖИВЫЕ НОЧИ

Дня три или четыре тому назад произошел огромный и последний уступ в движении весны. Тепло и дожди обратили нашу природу в парник, воздух насыщен ароматом молодых смолистых листов тополей, берез и цветущей ивы. Начались настоящие теплые живые ночи. Хорошо с высоты достижений такого дня оглянуться назад и ненастные дни вести как необходимые для создания этих чудесных, живых ночей.

★

## ЖИВИТЕЛЬНЫЙ ДОЖДИК

Солнышко на восходе показалось и мягко закрылось, пошел дождь, такой теплый и живительный для растения, как нам любовь.

Да, этот теплый дождь, падающий на смолистые почки оживающих растений, так нежно касается коры, прямо тут же, под каплями, изменяющей цвет, что чувствуешь: эта теплая небесная вода для растений то же самое, что для нас любовь. И та же самая любовь, как и у нас, та же самая их вода-любовь внизу обмывала, ласкала корни высокого дерева, и вот оно сейчас от этой любви-воды рухнуло и стало мостом с одного берега на другой, а небесный дождь-любовь продолжает падать и на поваленное дерево с обнаженными корнями, и от этой самой любви, от которой оно повалилось, теперь раскрываются почки и пахнут смолистыми ароматами, и будет оно цвести этой весной, как и все, цвести и давать жизнь другим...

★

## ЧЕРЕМУХА

Сочувствуя поваленной березе, я отдышал на ней и смотрел на большую черемуху, то забывая ее, то опять с изумлением к ней возвращаясь: мне казалось, будто черемуха тут же, на глазах, одевалась в свои прозрачные, сделанные, как будто из зеленого шума, одежды; да, среди серых, еще не одетых деревьев и частых кустов она была зеленая, и в то же время через эту зелень я видел сзади нее частые белые березки. Но когда я поднялся и захотел проститься с зеленой черемухой, мне показалось, будто сзади нее и не было видно березок. Что же это такое? Или это я сам выдумал, будто были березки, или... или черемуха оделась в то время, как я отдышал...

★

## ГЛОТОК МОЛОКА

Чашка с молоком стояла возле носа Лады, она отвертывалась. Позвали меня. «Лада, — сказал я, — надо поесть». Она подняла голову, забила прутком. Я погладил ее, — от ласки жизнь заиграла в ее глазах. «Кушай, Лада» — повторил я и подвинул блюдец поближе.

Она протянула нос к молоку и залакала. Значит, через мою ласку ей жизни прибавилось. И, может быть, именно эти несколько глотков молока решали борьбу в пользу жизни. Таким глотком молока и решается в мире дело любви.

★

## ЛЮБОВЬ-ДОЛГ

Читаю дневник Толстого за 1910 год. Толстовская «любовь» ничем не отличается от долга. Любовь же — это влюбленность, как сила первого взгляда, детского, это, когда кажется, что все люди хороши и мир — единственное целое в творчестве. Почему не поставить такую любовь в основу творчества жизни? Скажут — такая любовь проходит, и потому на этой люб-

ви нельзя основаться. Но вот тут именно я и спорю: любовь эта прошла потому, что ты этот дар погубил; ты виноват, а не эта любовь. Личный твой грех закрыт в любви-долге, через ошибку твою, через грех твой любовь творческая перешла в любовь-долг.

★

## ЗАПОЗДАЛАЯ ВЕСНА

Цветут сначала ландыши, потом шиповники, всему есть свое время цвести. Но, бывает, целый месяц пройдет, с тех пор как отцветут ландыши, а где-нибудь, в самой черной лесной глуши, найдешь — цветет один и благоухает. И так, очень редко, но бывает и с человеком. Бывает, где-то в затишье, в тени жизненной, незнаемый человек; о нем думают: «Отжил» — и мимо пройдут. А он вдруг неожиданно выйдет, засветится и зацветет...

★

## РОМАШКА

Радость какая! на лугу в лесу встретилась ромашка, самая обыкновенная: «любит, не любит». При этой радостной встрече я вернулся к мысли о том, что лес раскрывается только для тех, кто умеет чувствовать к его существам родственное внимание. Вот эта первая ромашка, завидев идущего, загадывает: «любит, не любит». Не заметил, проходит, не видя, — не любит, любит только себя... Или заметил?.. О, радость какая: он любит! Но если он любит, то как все хорошо: если он любит, то может даже сорвать.

★

## ЛЮБОВЬ

Никаких следов того, что люди называют любовью, не было в жизни этого старого художника. Вся любовь его, все, чем люди живут для себя, у него было отдано искусству. Обвеянный своими видениями, окутанный вальвою поэзии, он сохранился ребен-

ком, удовлетворяясь взрывами смертельной тоски и опьянением радостью от жизни природы. Прошло бы, может быть, немного времени, и он умер, уверенный, что такая и есть вся жизнь на земле...

Но вот однажды пришла к нему женщина, и он ей, а не мечте своей, пролепетал свое «люблю».

Так все говорят, и Фацелия, ожидая от художника особенного и необыкновенного выражения чувства, спросила:

— А что это значит «люблю»?

— Это значит, — сказал он, — что, если у меня останется последний кусок хлеба, я не стану его есть и отдам тебе; если ты будешь больна, я не отойду

от тебя; если для тебя надо будет работать, я впрягусь, как осел...

И он еще много наказывал ей такого что люди выносят из-за любви.

Фацелия напрасно ждала небывалого.

— Отдать последний кусок хлеба, ходить за больной, работать ослом, — повторила она, — да ведь это же у всех, так все делают...

— А мне этого и хочется, — ответил художник, — чтобы у меня было теперь, как у всех. Я же об этом именно и говорю, что наконец-то испытаю великое счастье не считать себя человеком особенным, одиноким и быть, как все хорошие люди.

# Небо

## МУРЗИДИ

★

Едва поднявшись в облака,  
Мы вниз бросаемся, отважась,  
Принять войны земную тяжесть  
И всю обрушить на врага.  
Едва на **землю мы ступили,**  
Опять нас тянет к небесам...  
Пусть не испытывал ты сам  
Всей горечи дорожной пыли,  
Но ты поймешь, как тяжело  
Брести усталому пилоту, —  
Когда помятое крыло  
Лежит негодное к полету,  
Когда гремучие винты  
О землю грянутся и стихнут.  
Вторично прежней высоты  
Они, быть может, не достигнут.  
Но знает летчик: дни пройдут,  
И закружится дым над кузней.  
Опять железо откуют  
И окрылят еще искусней.  
И даже этот пыльный шлях,  
Какому вверился он слепо,  
Уже теряется в горах  
И где-то там уходит в небо.  
Там сосны стройные стоят,  
И облака перед грозой  
Меж листьев тонкою сквозят  
Голубоватой полосой.

★



# Великий Моурави\*

РОМАН

А. АНТОНОВСКАЯ

★

## XIV

Серебряная луна обшарила все купола и крыши, когда Луарсаб на взмыленном коне влетел в ворота Метехи. «Точно вымер замок!» — промелькнуло в разгоряченной голове Луарсаба.

— Где моя жена? Где царица Картли Тэкле? — грозно кричал он, воровавшись к Мариам.

— Сын мой, сын мой, — простонала Мариам.

Луарсаб выбежал, бросился в покои Тэкле. Там все было тщательно прибрано после буйства Датико.

Луарсаб метался по комнатам... Вот-вот выпорхнет его розовая птичка. Но нет, затихшие покои говорили о потере лучшего украшения его жизни.

Луарсаба охватила ярость... Обнажив шашку, он кричал: «Всех зарублю!» Но замок опустел, даже цесаревич Кайхосро решил на время исчезнуть.

Луарсаб бросился в покои Амириндо. На распахнутом окне колебалась легкая занавеска. Посреди комнаты стоял отодвинутый от стола арабский табурет. Луарсаб яростно стал крошить его шашкой. Разлетелись черные щепки, подпрыгивал раздробленный перламутр инкрустаций, лязгнул и покатился серебряный круг.

Напрасно Шадиман уговаривал царя не показывать слабость духа перед

людьми замка, напрасно верный Баака тихо говорил о принятых им мерах к розыску царицы. Луарсаб, не слушая, бежал по замку — на самые верхние башни, в подвалы, в затаенные уголки, где в детстве, играя в войну, любил устраивать «засады противникам»...

Луарсаб внезапно остановился. «А что, если?!»

— Открыть подземелье!

Баака приказал страже нести фонари и, взяв ключи, пошел вперед. У входа в Высокую башню остались братья Херхеулидзе и верные дружинники.

Тошнотная затхлость ударила в лицо Луарсабу. Вдрагивали потускневшие огоньки фонарей. Гулко раздавались шаги в запутанных коридорах.

Страшная картина представилась Луарсабу. Он знал, только князя — важные политические противники Багратидов — содержатся здесь, в подземельях. Но люди ли это?!

На истлевшей соломе сидели живые скелеты. Грязные отрепья едва держались на костлявых плечах.

Зеленая плесень равнодушно стекала с потолка и стен на сидевших.

— Господи Иисусе!

Луарсаб перекрестился, руки его безжизненно упали. Он в изнеможении прислонился к мокрой стене, вмиг богатая одежда покрылась пятнами. Он ясно увидел себя среди мертвецов.

Баака с тревогой наблюдал за царем.

— Мой светлый царь, здесь воздух тяжелый, пора оставить подземелье...

\* Продолжение. См. «Новый мир», № 8 1940 г.

— Да, да, пора оставить... Выпустить всех! Одеть! Накормить!..

— Мой царь!..

— Или я больше не царь Картли? Открыть подземелье! Отныне у меня под ногами не устраивать живое кладбище!

Пленникам объявили «милость» царя, но они, не поняв, с ужасом смотрели на Баака, прижавшись к скользким стенам. В сознании их было: «Отсюда берут на пытку».

— Вытащить силой и навсегда законотить подземелье! — приказал Ауарсаб.

Вой, плач, стоны гулко отдавались под низкими сводами. Жалобно звенели цепи. Ауарсаб устало следил, как дружинники волокут на свободу обезумевших от страха людей.

Из подземелья Ауарсаб, шатаясь, вышел последним. Он поднял голову: какое странное небо! Точно выкрашено голубой краской. В молельне Тэкле он опустился перед иконой.

Прошел день, прошла ночь. На страже стоят Датико и три дружинника.

Утром в молельню робко вошла Мариам. Ауарсаб поднял на нее потухшие глаза.

Мариам задрожала: на нее смотрело постаревшее лицо, черные волосы поблекли, насмешливые губы опустились.

— Сын, клянусь, я...

Мариам зашаталась и упала без чувств на ковер.

Ауарсаб внимательно, словно впервые встретив, рассматривал мать: «Обманутая разбойниками или великая грешница?» Ему вспомнилась смерть отца. Ауарсаб осторожно, точно боясь запачкать цаги, обошел лежащую и вышел из молельни.

Медленно перезванивались колокола. По всей Картли шло молебствие о здравии царя Ауарсаба и царицы Тэкле. Никому не объявлялось об исчезновении царицы, но по всем монастырям разосланы верные люди: одни — от Шадимана, другие — от Баака.

стоятель Трифилий. Совещались. Увещевали.

Шадиман обрадовался: «Трифилий убеждает, — значит, Тэкле не у него».

Пристально вглядываясь в царя, Трифилий оборвал речь о «божьей воле», о «ниспослании небом испытаний» и заговорил о земном. Разве богопомазанный царь имеет право предаваться печали? Разве имеет право оставлять подданных без высокого внимания? Кто же позаботится о народных нуждах?

Эти ли увещевания повлияли, или слова Шадимана о пленении Зугзою царицы, но Ауарсаб стал прислушиваться и к советам Трифилия — ждать: вероятно, скоро Тэкле даст о себе знать, и к советам Шадимана — готовиться к войне с казахским ханом, братом Зугзы, и к тайным советам Баака — обыскать все женские монастыри и обещать большую награду нашедшему царицу или Зугзу.

Все лихорадочно стали искать Тэкле, соблазненные щедрыми обещаниями.

Но больше всех искали, тайно друг от друга, Шадиман и Баака. В женские монастыри беспрестанно стучались «странницы», «богатые княгини», дружинники, обещавшие награду монастырю. Стучались придворные и священники, угрожая страшной карой в случае сокрытия царицы. Умоляли. Грубо обыскивали. Сурово допрашивали.

Стучались и в ворота монастыря святой Нины.

Нино ужаснулась. Кто ищет? Царь? Шадиман? Амириндо? Багра? Нет, Нино не позволит удушить царицу. Пусть Георгий вернется, ему одному вернет Нино дорогое дитя. Если даже царь сам придет, — не отдаст. Разве Шадиман не властвует попрежнему в царском замке? Нет. Нино не погубит невинную душу. Пусть вернется Георгий.

Нино собрала в церкви всех инокинь и послушниц. Раскрыв евангелие, она сурово произнесла:

— Помните, у меня в келье лежит больная странница, но для посторонних — в монастыре чужих нет. Если кто проговорится, то пусть ее постигнет болезнь глаз, пусть ее тело покроеся

Встревоженный состоянием Ауарсаба, приезжал католикос, спешно прибыл на-

язвами и чесоткой, пусть коршун выклюет у нее сердце, пусть будет она предана анафеме, да примет она муку грешника, кипящего в меди и смоле, да источат ее голову черви земли и воды...

В ужасе слушали монахини проклятия. Дрожащими губами произнесли они потребованную игуменьей клятву молчания.

Чтобы не навлечь подозрения, ворота для всех «странниц» и других ищущих были попрежнему широко открыты. Никто не мог догадаться, что в глубокой нише кельи игуменьи лежит выздоравливающая Тэкле.

В Метехи жизнь замерла. Царь был ко всему равнодушен. Шадиман полновластно распоряжался Картли, Луарсаб попрежнему доверял царство своему везиру. Но духовная связь между царем и его воспитателем оборвалась. Удерживали их от окончательного разрыва личные интересы: Луарсаб боялся объединения Шадимана с Багратом и Амириндо, Шадиман понимал — хитрый Баграт никогда не даст ему положения, занимаемого при Луарсабе, а может, даже постарается избавиться от неудобного правителя.

Только Баака пользовался полным доверием Луарсаба, но царь ничем не обнаруживал своей окрепшей привязанности: «Всех близких мне постигает печальная участь».

С Мариам Луарсаб не изменял холодно-вежливого обращения. Не помогли ни слезы, ни клятвы. Не помогли и увещевания католикаса.

Луарсаб надел черную куладжу и снял все драгоценности. Несколько раз Мариам порывалась рассказать Луарсабу о бегстве Тэкле, но страх перед Шадиманом и уверенность, что время излечит Луарсаба, удерживали ее...

Придворные вернулись — только мужчины: женщин Луарсаб не приглашал. Тоскующая Мариам пробовала сама позвать некоторых княгинь, но никто ей не ответил, и даже Нино Магаладзе сослалась на нездоровье.

Луарсаб целые дни проводил в молитве Тэкле.

Мрачную тишину, воцарившуюся в Метехи, неожиданно нарушил прискакавший от шаха гонец. Луарсаб встрепнулся. Он приказал спешно, но тайно, готовиться к маленькой войне.

И Шадиман повеселел:

— Видишь, мой светлый царь, судьба советует тебе то же, что советовал я.

Действительно, шах Аббас просил «своего младшего брата», царя Луарсаба, немедленно напасть на Казакхию и убить Мамбет-хана, выразившего шаху непокорность.

Через несколько дней грузинские войска подошли к Казакхии.

В степных просторах Казакхии шли спешные военные приготовления. Это очень удивило Луарсаба.

Казахи ордой бросились на стройные ряды грузинского войска. Бой длился только один день. Луарсаб стремительно рвался в глубь Казакхии. Помня желание шаха, Луарсаб в конном бою догнал Мамбет-хана, ударом меча отсек ему голову, велел надеть на пику и немедленно отправить в Исфагань к шаху.

После гибели хана казахи, бросая все, бежали в горы.

Шадиман велел окружить становище хана и никого не выпускать. Он упросил Луарсаба не входить в шатер, а расположиться вблизи, пока он с дружинниками не обыщет ханский шатер и не пригонит всех обитателей к ногам царя.

Луарсаб посмотрел на Баака и согласился. Баака и Шадиман, сопровождаемые дружинниками, бросились в ханский шатер.

Они не удивились, увидев среди женщин Зугзу. Казахка стояла на тахте бледная, с обнаженным кинжалом. Перед ее глазами промелькнуло первое пленение, позорное шествие по тбилисскому майдану, унижительное рабство у царицы Мариам.

— Живой не дамся! — закричала Зугза, взмахнув кинжалом.

— Постой, Зугза, — мы никого не пленим, если ты выдашь нам царицу Тэкле.

— Ее здесь нет, клянусь прахом моего брата.

Шадиман облегченно вздохнул.

— Где царица Тэкле? Ведь ты вместе с ней скрылась? Или ты хочешь убедить нас, что не знаешь, где царица, а бежала ты из страха, как сделали все придворные?

Зугза слишком долго жила в Метехи, чтобы не догадаться, на каких условиях она может спасти себя и свою семью от плена и разорения. Она быстро посмотрела на бледного и молчаливого Баака... Нет, честный князь не может спасти ее.

— Ты прав, высокий князь, как только я узнала об исчезновении царицы, я в ужасе бежала, спрятавшись в арбе княгини Цицишвили.

— Пойдем, повтори царю сказанное мне и князю Баака. Вся твоя семья останется невредимой.

Зугза смело пошла за Шадиманом, провожаемая радостными и тревожными возгласами женщин. Царя Луарсаба она не боялась.

Как ни была Зугза ожесточена против Метехи, вид Луарсаба тронул ее сердце. Она упала к ногам царя и, рыдая, повторила то, что требовал Шадиман.

— Князь Баака сказал: «Если не убережешь царицу, обрею тебе голову». Зугза не могла остаться в Метехи с обритой головой, и пусть зубы шакала вонзятся в мое сердце, пусть летучая мышь запутается в моих волосах, пусть змея обовьется вокруг моего стана, пусть стрела врага застрянет в моей груди, пусть мое тело покроется язвами, если царица Тэкле находится в Казахии...

Зугза клялась для Шадимана и для Баака.

Луарсаб пристально смотрел в лицо казахки, словно хотел проникнуть в душу. Зугза заколебалась. Она вскинула на Шадимана глаза и, встретив жестокий, неумолимый взгляд и крепко лежащую на рукоятке шашки руку, поняла невозможность признания.

— Ты как будто хочешь мне что-то сказать, моя Зугза, не бойся, царь Луарсаб умеет быть благодарным.

Зугза еще сильнее разрыдалась. Вдруг она порывисто вскочила.

— Да, царь, ты прав, я хочу... — и,

увидя угрожающее движение руки Шадимана, поспешно добавила: — предупредить тебя.. Зачем твои дружинники убили моего бедного брата? Он не по своей воле собирался вторгнуться в Картли. Ему приказал шах Аббас обезглавить тебя и послать в Исфгань твою голову.

Пораженный Луарсаб быстро взглянул на растерянных Шадимана и Баака.

— Откуда узнала, добрая Зугза? — благодарно спросил Баака.

— О, мой князь, брат любил меня, советовался обо всем, я выкрала у него послание шаха, хотела тайно переслать любимому царю Луарсабу.

Зугза, вынув из кармана широкой кофты свиток, протянула Луарсабу.

Луарсаб прочел послание, совершенно схожее с полученным им от шаха. Он понял: шах решил натравить друг на друга Казахию и Картли.

— Прости мне, Зугза, и проси, что хочешь, за кровь брата.

— Если шах пойдет на тебя войной, мой светлый царь, обещай мне поймать Георгия Саакадзе и живым отдать мне. Он мой!

«Бедная Зугза до сих пор не разлюбила Георгия!» — подумал Луарсаб.

— Дорогая Зугза, я обещаю, но не хочу обманывать. Георгий Саакадзе не из тех, кого можно пленить.

— Знай, мой царь, один Георгий может найти царицу Тэкле. Я видела сон, мой царь, она жива...

Луарсаб взволнованно смотрел на Зугзу: «Неужели, если бы знала, не сказала, какая ей польза скрывать?»

— Возьми, Зугза, на память. — Луарсаб снял с мизинца кольцо с голубым бриллиантом — предмет зависти князей Картли — и отдал Зугзе. — Я прикажу войску сегодня же уйти и ничего не трогать в твоей Казахии.

И Луарсаб, вскочив на коня, медленно поехал вперед.

За ним двигалась свита, братья Херхеулидзе и дружинники.

Шадиман и Баака медлили садиться на коней. Они выразительно смотрели друг другу в глаза. Шадиман понял: Баака не даст ему остаться наедине с Зугзой.

— Скажи нам, Зугза, где царица Тэкле, ты получишь большой выкуп.

— О, аллах! Если бы я знала, где царица, поспешила бы сказать об этом измученному царю. Нет, высокий князь Шадиман, можешь на куски изрубить, но Зугза больше ничего не знает.

— Значит, только Георгий получит Тэкле? — насмешливо спросил Шадиман.

— Только Георгий, клянусь головой моего последнего брата.

— Пойдем, Баака.

— Проклятый шайтан, — прошептала Зугза вслед удаляющемуся Шадиману, — ты думаешь, я испугалась тебя? Нет! Я хочу Георгию, моему Георгию, отдать Тэкле. Я спасла царицу, сестру, разве за это не полюбит меня Георгий?.. Жена?.. Мужчине старая жена, обремененная детьми, нужна только для виду, а для любви он всегда хочет горячих объятий.

Зугза сдержала клятву, данную Нино. Напрасно Шадиман тайно подсылал чубукки к Зугзе, обещая земли, драгоценности, стада, табуны коней, обещая все, что она потребует за выдачу Тэкле.

Напрасно Датико тайно прокрался к Зугзе в эйлаг, умоляя ради страдающего царя, ради ее любви к царице открыть Баака, где спрятана Тэкле.

Зугза была неумолима. Только Георгий Саакадзе узнает, где его сестра.

— Значит, царица жива? — спросил Датико.

— Для Баака скажу: наверно не знаю, но думаю—жива...

## XV

Усталым вернулся Луарсаб в Тбилиси. Он жаждал сражений, он любил поле битвы, но бессмысленное истребление казахов не дало ему ни славы, ни успокоения. Напротив, открылась бездна, куда шах Аббас старается столкнуть его царство. Надо быть сильным, надо отрешиться от своего сердца.

Луарсаб в последний раз обошел покой Тэкле и велел заколотить двери, а ключ от главного входа спрягал в ларец с драгоценностями. Выйдя из своего за-

творничества, он самозабвенно принял-ся за дела царства.

Шадиман поспешил воспользоваться благоприятным настроением Луарсаба. Он, наконец, прямо сказал царю о посланных им в Стамбул князьях Цицишвили и Джавахишвили для тайной разведки положения Оттоманской Порты. Князья вернулись. Сейчас подходящее время войти в союз с султаном. Турки могут оказать мощную военную помощь. Им необходимо оттянуть персидские войска из Анатолии.

Луарсаб и сам понимал выгодность союза с Турцией, но решил принять вернувшихся князей в присутствии Трифилия и на малом совете обсудить дела Картли.

Запершись в своих покоях с Трифилием, Шадиманом и лично им приглашенным Баака, Луарсаб долго совещался с умными советниками. Выяснилась необходимость приезда Абдул-бека для окончательного обсуждения фирмана о военном союзе Картли и Стамбула.

Шадиман торжествовал: его игра в «сто забот» принесла ему успех.

Потом перешли к обсуждению предложения Шадимана — созвать княжеский совет.

— Да, мой царь, необходимо объединить вокруг трона князей Нижней, Верхней и Средней Картли. Надо всем на время забыть личную вражду, надо придвинуть все войска к границам Ирана.

Баака хорошо понял, что значит «на время забыть личную вражду». Значит, Шадиман опять хочет водворить в Метехи Амириндо и Гульшаря. Этого нельзя допустить. И он настойчиво взглянул в глаза Трифилию.

— Думаю, Шадиман, не время всех князей сзывать, очень заметно для шахских лазутчиков,—медленно начал Трифилий, разглаживая бороду.— Опять же один князь с женой приедет, всех с семьями надо приглашать. Приедут с княжнами, пиры для молодежи надо устраивать. Не время сейчас ради пиров налогами обременять народ.

— Что предлагаешь, отец Трифилий? Может, пригласить только Арагвских Эристави? — прищурился Шадиман.

— Думаю, и Арагвских Эристави непременно надо пригласить, пока царю никакого зла не сделали, — укоризненно глядя на Шадимана, протянул Трифилий.

Шадиман досадливо нахмурился.

— Пригласить надо старейших князей, главу каждой фамилии, тогда никто в обиде не будет, а главное, поменьше шума и суматохи, — добавил Луарсаб и невольно стал присматриваться к неприятной морщинке у глаз Шадимана.

После долгого обсуждения Трифилий выехал в Самухрано.

Баака разослал приглашения во все княжеские замки. Амириндо тоже было послано письмом:

«Славящий трицу, я, князь Баака Херхеулидзе, сообщаю тебе, высокочтимому князю, хранителю знамени Амилахвари:

Жаль, князь, что твоя болезнь не позволяет тебе покинуть замок Арши. Присутствие опытного начальника и бесстрашного рыцаря было бы очень полезно на совете князей. Также сожалеем о невозможности приезда прекрасной княгини Гульшари, неотлучно находящейся при больном муже. Царица Мариам, наверно, порадовалась бы близкому другу, тем более, многие из княгинь забыли расположение к ним царицы Мариам и воздерживаются от встречи с ней.

Пребываю в вечной мысли о благе трона Багратидов

зоркий начальник охраны Метехского замка князь Баака Херхеулидзе».

Амириндо заскрежетал зубами: Баака все знает, ехать в замок невозможно.

Гульшари неистовствовала. Она уже рисовала соблазнительную картину возвращения в Метехи, уже подготовила слова притворного сочувствия, уже видела, как войдет в доверие к Луарсабу и снова станет первой в Метехском замке... Дала пощечину подвернувшейся служанке, изодрала тонкие кружева на своей шали и, наконец, набросилась на Амириндо:

— Это Баака приказывает нам, могущественным князьям Амилахвари, сидеть покорно в замке Арши? Что же молчит Шадиман? Неужели так трудно

справиться с надоевшей всем сторожевой собакой?

Угрожали, спорили, но поехать в Метехи побоялись.

На семейном совете решили — поедет один Баграт с пышной внушительной свитой.

Трифилий, сопровождаемый монастырскими азнаурами и двумя монахами-писцами, подъезжал к Самухрано.

Настоятель важно восседал на черном коне. Чепрак из черного сукна, вышитый тамбурным швом, придавал суровую торжественность, всаднику и коню.

Проехали Мухранскую долину. По отлогам холмов тянулись виноградные сады. Лозы сгибались под золотистыми, розовыми и черными, покрытыми дымкой, гроздьями. В каждой виноградине притаилась частица солнечного луча, частица веселья и радости.

От Ксани, шумящей по ложине, разветвлялись оросительные каналы. В полях пестрели яркие платки на головах работающих княжеских крестьян. На изломах гор сторожевые башни охраняли родовое владение Мухран-Батони... Дорога круто повернула к замку.

Трифилий застал старика Мухран-Батони за важным делом: князь вписывал в фамильную хронику новый приплод своих охотничьих собак. На лице князя светилась гордость:

— Вот, святой отец, пятьдесят пятое поколение выращиваю, еще мой отец начал запись. Изволь взглянуть: тут идет рассказ, как мой отец, — да живет о нем славная память в земле Иверской, — обменял у князя Абхазети светлейшего Отара Шервашидзе двух щенков мужского и женского пола, отдав за них целое семейство месепе. Собаки не обманули ожиданий отца.

Старый князь пустился в длительное описание достоинств собачьих бабушек и прадедушек.

Трифилий вежливо слушал биографию благородных собак. Мелькали десятки, сотни каких-то белых с черными пятнами, черных с золотистой отметиной, золотистых с коричневыми ногами, серых с черными хвостами... Перед отцом Трифилием мчались огромные стаи лающих собак, затравленные зайцы,

медведи, многогогие олени, золотистые лисицы...

Только после обеденного отдыха, гуляя с князем по аллее тенистых чинар и любясь заходом солнца, Трифилий заговорил о цели своего приезда.

Мухран-Батони внимательно выслушал Трифилия. Польщенный и обрадованный приглашением царя занять на съезде князей главенствующее место и вести совещание в соответствии с его, князя Мухран-Батони, пониманием дел и обстоятельств, он обещал обдумать предложение.

Наутро Трифилий выехал в Тбилиси.

За неделю до съезда приехал суровый Мухран-Батони с княгиней. Свита князя состояла из шести азнауров и двух слуг; с княгиней приехала только одна прислужница. На Мухран-Батони был боевой панцырь, латы, шлем и кольчуга, за левым плечом торчали стрелы, на поясе висел фамильный меч. Свита — также в воинственных одеяниях. Княгиня в темном платье.

Луарсаба глубоко тронул скромный приезд, означавший сочувствие его горю. Царь обнял старого князя и с волнением сказал:

— Дорогой мой князь, в это тяжелое и ответственное время будь мне отцом, распорядись в замке, словно я у тебя в гостях.

Князья, узнав, как приехал к царю старейший князь Картли, тоже отказались от намерения блеснуть, и никто не осмелился прибыть со свитой более, чем в пять человек.

Княгини отложили богатые наряды, тем более, что Мухран-Батони, властью княжеского совета, отменил не только пиры и празднества, но даже встречи с княгинями за яствами. Царь посетит два раза княгинь: для приветствия, когда съедутся, и пожелать счастливого пути и поблагодарить за внимание, когда будут уезжать.

Шадиман, осмотрев приехавших княжен, с досадой подумал: «Козы и ни одной газели».

К воротам замка Арши, резиденции

Баграта, подъехал всадник, одетый гурйцем, в сопровождении двух слуг.

Азнаур пригласил всадника подождать в охотничьем зале и побежал наверх. На площадке его догнал оруженосец Симона «Черный башлык» и что-то торопливо зашептал на ухо. Азнаур вошел в комнату Амириндо в разгар спора о свите для сопровождения Баграта в Метехи. Амириндо, жестикулируя, настаивал на шестнадцати в свиту и четырех слугах. Гульшари, стуча по столу, кричала:

— Нет, не меньше тридцати двух в свиту и восьми слуг.

Осторожный Симон находил достаточным двенадцать в свиту и трех слуг:

— Этого довольно, чтобы показать силу и превосходство царевича Баграта.

Трусливый Баграт настаивал:

— Девять в свиту и трех слуг.

Азнаур неожиданно для себя посоветовал:

— Восемь в свиту и трех слуг.

Гульшари, изумленная дерзостью, откинулась на мутаку. Амириндо остановился перед азнауром.

Смущенный азнаур, кашлянув, поспешил доложить:

— Светлейший мой господин, приехал из Стамбула посол Али-паша от великого везира Азам-паши.

— Что ж у тебя — курдюк во рту застрял? Почему заставляешь ждать высокого гостя?

И Амириндо повернулся к двери.

— Господин, не торопись... Этот Али-паша — переодетый Али-Баиндурхан, опасный лазутчик шаха Аббаса. Его узнал «Черный башлык». Он видел хана вместе с Сандро у амкара Сиуша.

Князья тревожно переглянулись.

— Возьми палку и гони его из замка, — крикнул Симон.

— Постой! — заволновалась Гульшари. — Приведи хана-пашу со всеми почестями и уважением.

Али-Баиндура ввели в покои Баграта. Осведомившись, может ли он говорить свободно, и получив утвердительный ответ, Али-Баиндур искусно повел речь о несговорчивом царе Луарсабе, о политике Стамбула, желавшего союза с

Картли для совместной борьбы с общим врагом — шахом Аббасом. Али-Баиндур так подробно обрисовал положение дел в Турции и Картли, что zakралось сомнение: не ошибся ли «Черный башлык»? Князей так и подмывало начать расхваливать султана и блестящую Турцию. И только легкость, с которой Али-Баиндур предложил Баграту престол Картли взамен союза со Стамбулом, убедила опытных князей. Не дослушав до конца, Баграт резко оборвал Али-Баиндура:

— Как осмелился Азам-паша послать ко мне посла с коварным предложением? Разве светлейший Баграт не выгонял уже непрошенных турецких гостей из своего замка? Разве первый раз предлагает султан законному Багратиду занять трон его предков за измену великому из великих, любимому из любимых шах-ин-шаху, «льву Ирана»?!

— Но, светлейший Баграт, теперь другое дело! Теперь тебе представляется возможность занять престол... Подумай, связь с блистательной Оттоманской Портой...

— Передай своему султану: светлейший Баграт жизнь готов отдать за один благосклонный взгляд шах-ин-шаха. И советую тебе поскорее убраться в свою мерзкую Турцию, иначе мне придется обнажить шашку. Впрочем, Али-паша, поспеши к царю Луарсабу... В Метехи сейчас княжеский съезд выслушивает князей Цицишвили и Джавахишвили; они были посланы, как тебе известно, Луарсабом к султану с предложением союза против великого шаха Аббаса.

— Ты можешь по дороге захватить и к Магаладзе, и к Эристави Ксанскому, за верни и к Нугзару Арагвскому, который, не успев приехать от великого шаха Аббаса, уже замышляет измену, сговариваясь с турецкими собаками. Именно там тебя раньше угостят, а потом выслушают, а выспаться ты сможешь у собачника Мухран-Батони, — добавил Амириндо и, выкрикнув отборную брань по адресу султана, схватился за шашку.

Али-Баиндур пристально посмотрел на Амириндо и стремительно выбежал. Вслед ему летела золотая шашка и при-

казание Баграта как следует отхлестать коня «Али-паши».

После отъезда Али-Баиндур-хана Баграт, Симон, Гульшари и Амириндо долго хохотали.

Потом они решили: Баграт совсем не должен ехать на совещание князей в Метехи. Лазутчик Ирана, конечно, проследит, кто был на съезде, собранном против шаха. Надо играть на двух пандури, пока у одного не лопнет струна.

И Баграт спешно отправил в Метехи гонца, с известием о своей внезапной болезни, а другого, тайного, к Шадиману, с предупреждением о лазутчике шаха и советом не впускать Али-Баиндура в Метехи. Третий гонец, тоже тайный, был отправлен к Баака, якобы от устабаши Сиуша, с предупреждением, что под видом Али-паши скрывается лазутчик шаха Аббаса хан Али-Баиндур.

Ворота Метехи не открылись для мнимого Али-паши.

Уже несколько дней совещались в Метехи князья и высшее духовенство. Все пришли к единодушному выводу: шах, занятый Турцией, а может быть, и Русией, не рискнет раньше весны двинуться на Грузию. За это время можно возвести новую линию восточных укреплений и устроить завалы и западни на подступах к Картли.

Подробно расспрашивали князей Цицишвили и Джавахишвили о Стамбуле и решили с большой осторожностью вести переговоры с султаном. Только получив помощь войском, которое должно, не переходя Картлийского царства, стать на границе с Ираном, Луарсаб подпишет соглашение с Турцией.

Мухран-Батони опросил князей, сколько каждый может выставить дружинников, коней запасных, запасного оружия, сколько продовольствия. Князьям не очень хотелось многим жертвовать, но желание похвастать своим богатством делало их щедрыми. «Потом уменьшить можно!» — думал каждый.

Но Мухран-Батони сам был князь и умел читать мысли своих друзей. Он



тут же велел писцам утвердить подписью княжеское слово.

Духовенство охотно поддерживало решения съезда. Неожиданно одно предложение вызвало бурные протесты князей.

— Нет, — вспыхнул Эристави Ксанский, — незачем нам тратить время на просьбу, Русия не поможет! Сколько раз Кахети обращалась за помощью, сколько раз целованием креста скрепляла верность, а что получила взамен? Угощают одними обещаниями.

— Разве только обещаниями? Еще преподносят требование стать в зависимость от Русии, — с досадой сказал Газнели.

Но духовенство не сдавалось, напоминая о силе единоверного государства. Только Русия защитит от мусульманского неистовства церковь и христианское царство.

Настаивая на отправлении послов в Русию, духовенство умолчало о своей договоренности с Константинопольским патриархом действовать в Грузии в пользу единоверной Русии.

Князья решительно отвергали доводы духовенства, повторяя некогда сказанное Георгием X: «Сто восемьдесят раз солнце обойдет небо, пока Русия до Картли дотянется, а шаху восемнадцать караванных дней довольно».

Под шум споров Шадиман шепнул Цицишвили:

— Лучше полумесяц в руках, чем крест в небе.

Мухран-Батони вежливо, но настойчиво попросил духовенство и князей выслушать мнение царя, всегда принимающего мудрое решение.

Луарсаб, видя бесполезность спора, примирительно сказал:

— С единоверной Русией дружить будем, в этом мое слово. Но князья правы, сейчас нельзя терять время на посольства, шах на пороге Картли... Если богу будет угодно, ты, отец Феодосий, и ты, отец Трифилий, поедете от меня первыми послами в Московию.

Успокоившись, вспомнили о странной болезни Баграта, не давшего никаким обещаний помочь войском и монетами. На съезд также не прибыл Нугзар

Эристави. Отсутствие могущественных князей в такой тяжелый для Картли момент смущало и тревожило и Луарсаба, и Мухран-Батони.

Луарсаб, укрепляя решения съезда, напомнил о военном союзе с грузинскими царями, уже приславшими гонцов с извещением о нерушимости данного слова.

Князья, довольные съездом и собой, разъехались по своим замкам, обещая по первому зову царя явиться с дружинами.

## XVI

Пятница для Папуна — самый торжественный и самый тяжелый день. Он начинал к нему готовиться накануне. Перекинув через седло хурджины, Папуна, Эрасти и Арчил, ведущий в поводу коня, бродили по майдану, скупая дешевые сладости, пеструю ткань для девочек, грубую матерю для мальчиков и разные мелочи, так радующие персидских «ящерид». Это любимое прозвище, как и привязанность к детям, Папуна перенес в Исфагань из Носте.

Папуна не любил майдана и базара не только из-за суеты и шума.

Особенно чувствовалось на майдане различие между истоптанным чувяком и бархатной обувью, вышитой бисером и жемчугом.

— Персидские мастера и подмастерья, — негодовал Папуна, — вынуждены в своих изделиях отражать не жизнь персидского народа, полную тяжелого труда и нищеты, а, угождая шахам и ханам, — вымышленную жизнь, ласкающую взор роскошью.

И вот на серебре, на фарфоре, на кашемире, на керманшахских шалах, на калемкаре<sup>1</sup>, на ярком сукне, на дереве, бронзе и изразцах изображены жизнь и подвиги шахов и ханов: рыцарские поединки, пленение грифонов, удушение тигров, любовные сцены, пышные пиры и кейфы.

Папуна подолгу простаивал у ковровщиков, медников, чувячников, калемкар-

<sup>1</sup> Калемкар (перс.) — рисунчатые занавеси, скатерти.

щиков, ковачей, где работали дети начинающая с четырех лет.

Сокрушенно поглядывая на тощих «ящериц», Папуна ругал хозяина. Хозяин не смел отвечать дерзостью грузину, удостоенному внимания шаха, но ничего не изменял, стремясь как можно больше выжать прибыли из труда детей.

В пятницу, в полдень, Папуна, в сопровождении Эрасти и Арчила, появлялся на пыльных, грязных улочках Ашхерабата, и тотчас из-за низеньких глухих стен, словно из щелей, высыпал на улицу рой детворы в грязных ломотях. С глинобитных стен смотрели, словно мумии, закутанные в чадры женщины. В калитках появлялись изнуренные голодом и работой мужчины.

Крики «ага приехал!», «ага приехал!» оглашали мрачную улицу. И Папуна, как когда-то в Носте, раздавал подарки, шутил и ласкал детей.

Папуна почти всех знал по имени, помнил, кто когда родился, болел. Кричал на родителей, почему не моют детей, давал мазь от парши, примочку для глаз, по очереди каждую пятницу отдавал семействам жареного барашка и лаваш и втайне сокрушался, что личные средства ограничивают его желания.

Домой возвращался Папуна с опустошенным хурджином, опустошенным карманом и опустошенной душой. Он понимал: его благоденствия — капля в море. Папуна угнетала многочисленность нищих. Это было огромное войско, полчища в грязных эрепьях, ютившиеся в темных лачужках Ашхерабата, Гебрабата и других предместий Исфагани.

Однажды Папуна сказал:

— Эрасти, я хочу хоть одну пятницу провести в свое удовольствие. Спрячь мои цаги, отправь купить коня, седлай все, чтобы я остался дома.

И, когда Эрасти охотно выполнил приказание, Папуна впервые обругал его. Поспешно натягивая цаги, Папуна продолжал сердиться:

— Безмозглый хан! Жадный купец!.. Послал за конем?.. А если бы я велел тебе поджечь шахский гарем, ты бы тоже выполнил?

Грузины знали: в пятницу Папуна

нельзя беспокоить ни веселым, ни скучным разговором. Пятница — день страданий и размышлений.

Женщины, желая порадовать Папуна, давали ему недоношенные платья, — доношенные он давно роздал, — мелкие монеты и остатки яств. Все это исчезало в необъятном море нищеты.

Али-Баиндур, под чьим тайным надзором находились все грузины, не упустил случая донести шаху обо всем, и, конечно, рассказал о похождениях Папуна, ибо никто, кроме шах-ин-шаха, не смеет благодетельствовать народу.

Шах, внимательно выслушав Али-Баиндура, приказал хранителю казны прибавить два золотых тумана к ежемесячному содержанию Папуна и спросил Али-Баиндура:

— Кто донес тебе об этом?

— Мой верный слуга, готовый умереть у порога шах-ин-шаха.

— Вели дать ему сто палочных ударов, чтобы в другой раз он не разорял шахскую казну.

Сегодня пятница. Папуна только-что вернулся и хотел было растянуться на тахте и в сотый раз предаться размышлениям, как вдруг в комнату ворвался Паата:

— Дядя Папуна, скорей! Отец зовет. Керим приехал!

— Если Керим приехал, пусть с дороги ляжет отдохнуть, — сумрачно произнес Папуна.

— Дядя Папуна, царица Тёкле исчезла!

Папуна вскочил и бросился к дверям, не надев даже цаги. Но опомнился и, стараясь быть спокойным, вошел в комнату.

Георгий оглянулся.

— Что, Папуна, сейчас тоже будем говорить о мирном возвращении? Тёкле погубили, с Турцией в договоре, азнауров совсем уничтожили... Кливидзе бежал в Имерети.

— На что мне твой Кливидзе, — вспыхнул Папуна, — я за Тёкле голову Шадиману оторву... Когда, наконец, этот проклятый перс шах...

Саакадзе быстрым движением зажал рот Папуна.

— Сколько раз с тобой на этот разговор время тратил?

— Где Керим?

Папуна оглядывал сумрачных, потрясенных известием «барсов». Элизбар сидел, согнувшись, обхватив голову руками. Посмотрел на заплаканную Нестан, на молчащую Хорешани и ясно понял: последняя надежда была у всех на Тэкле.

Наконец, Даутбек прервал тяжелое молчание. И Папуна узнал о всех событиях и о воздвигнутых Луарсабом неприступных укреплениях на границе.

— Нарочно Луарсаба увезли или сам уехал, не желая мешать разбойникам, неизвестно, — мрачно закончил Даутбек.

Папуна опустил на тахту. Из глаз его на расстегнутую рубашку обильно лились слезы, он не чувствовал их. Мысли Папуна витали в Носте, у бедного дома Шио, и вновь представилась ему расшалившаяся маленькая Тэкле, со звонким смехом прыгающая на тахте, и он ощутил тонкие ручонки, обвивающие его шею.

Никто не заметил, как прошла ночь и наступил день. Георгий молча оделся в дорогие одежды, приколот к груди желтую розу — знак траура — и, ни слова не сказав, вышел. Все знали: к шаху едет.

Шах Аббас отдыхал после удачной охоты. Но из Картли прибыл Али-Биндур и шах внимательно слушал хана.

Особенно обеспокоила весть о военном соглашении Картли с Турцией и о намерении грузинских царей снова связаться с Москвией. Шах зло усмехнулся. Он твердо решил вторгнуться в Грузию до прибытия турецкой помощи. Его только смущало приближение зимы. Но медлить еще опаснее. Необходимо окончательно присоединить Грузию к Ирану, выйти через Дарьяльское ущелье на Северный Кавказ и, утвердившись на выгодных рубежах, помочь атаману Зарудкому передать Ирану Астраханские земли.

— Послы атамана — Хохлов и Накрачев — последуют за мной в Ганджу! — решил шах.

Шах сразу принял Саакадзе, пролив ему даже отсутствие на охоте.

Долго совещались в большой тайне шах Аббас, Караджугай-хан, Эреб-хан, Карчи-хан и Саакадзе. Шах скрыл от Саакадзе получение сведений от Али-Биндура и особенно о преданности ему, «льву Ирана», Баграта и Амириндо. Но и Саакадзе, конечно, не все сказал шаху.

Когда поздно ночью Георгий вернулся, он застал всех грузин в сборе.

— Через четырнадцать дней наши кони повернут на картлийскую дорогу.

Радостные восклицания «барсов» смешались с криками восторга Паата.

— Отец, наконец, я увижу родину, любить которую ты меня учил... Увижу дорогую мать, прекрасную Русудан, братьев, сестер.

— Смотри, Георгий, — покачал головой Папуна, — не обманул ли тебя перс. Может, он не только царю и князьям хочет хвосты отрубить? Может, народ ему тоже мешает?

— Шах хочет проучить Луарсаба и князей за переход к Турции. Еще сегодня шах повторил при ханах: «Не на грузинский народ иду войной, — пусть спокойно ожидает прихода «льва Ирана», повелителя земель и народов».

— Как можешь ты, Георгий, доверять персу? — рассердился Папуна.

— Кто сказал — доверяю? Но разве у нас есть выбор? Я все предусмотрел. Шах сказал — в Картли сам не войдет, а с ханами я всегда сговорюсь. Разгромим замки, пусть берут княжеские богатства.

— О князьях я с тобой не спорю, Георгий, народ береги.

— Э, Папуна, если б о народе не думал, зачем «барсы» больше пяти лет одерживали бы победы Ирану? Конечно, прольется много крови, пока князья совсем успокоятся. Но иначе нельзя. Без конца еще ждать? Азнауров разгромили, Тэкле или держат в подземелье, или... Знали, рану в самое сердце нанесли. Да, теперь Шадиман торжествует: Луарсаб совсем у него в руках, кстати и Картли... Спор разрешим на поле брани...

— Правильно Георгий сказал. Пусть

Шадиман вспомнит: мышь рыла, рыла и дорылась до кошки!.. — И Матарс обнял Папуна.

— Мирно не можем вернуться, уничтожат поодиночке. Ты прав, Георгий, только война вернет нам родину.

— Молодец Даутбек! Хорошо сказал. А за Тэкле я Шадиману вместе с головой полторы ноги оторву, — Димитрий порывисто отбросил со лба белую прядь.

— Дело «барсов» побеждать, а не смиряться, — решительно произнес Пануш.

— А, может, друзья, вам лучше сейчас от меня отойти? Помните, в Носте я один раз это предлагал. Кто знает, что еще предстоит? Может, тогда я прав был?

— Нет, Георгий, неправ, знай, за тобой я хоть в ад пойду... Мы с тобой кровно связаны.

Георгий посмотрел на друга и снова, как тогда, в Носте, подметил сходство между собой и Даутбеком: как будто совсем не похожи, но чем-то совсем одинаковы.

И все «барсы», любящие родину, радовались, что идут на нее войной. Решено было тайно послать вперед десять дружинников. Они должны были рассеяться по Тбилиси и деревням и потихоньку сообщить намеченным азнаурам и выборным от крестьян, что Георгий Саакадзе идет не против Картли, а против князей. Пусть народ спокойно сидит в своих домах, пусть не разоряет хозяйств, пусть не уходит в горы — народу никакого зла от нашествия шаха Аббаса не будет.

Наутро десять преданных Саакадзе дружинников тайно покинули Исфагань.

Хосро-мирза, восседая на шелковых подушках, кейфовал после обеда.

Это уже не был бедный, неизвестный царевич, живший на пыльной улочке Гебрарабата. Благодаря Саакадзе он блаженствовал сейчас в новом просторном доме, окруженном пышным садом. В его конюшне ржали породистые кони. На стенах поблескивало редкое оружие, в нишах красовались дорогие одежды.

Толпы слуг угождали царевичу, удостоенному внимания шаха Аббаса и частых посещений Георгия Саакадзе. А жулеп ему подавал африканец в белом тюрбане.

Только одному не изменил Хосро-мирза: попрежнему Гассан был его первым слугою, попрежнему рассказывал «приятные» сны и нередко убегал, а вслед летели брошенные цаги, подушки и даже фаянсовые тарелки и вазы. Друг Гассана, старый Измаил, сам к нему приходил кушать люля-кебаб, мазандаранскую дыню и запивать еду легким шербетом. И вместе с приятной сытостью уносил домой все новости дома Хосро-мирзы. Этими новостями он охотно делился с любопытным Керимом.

Гассан гордился возможностью щедро принимать друга. Вот почему старый Гассан никому не уступал права встречать ага Саакадзе, которого сам аллах поставил на дороге жизни Хосро-мирзы. И сейчас, заслышав стук копыт, Гассан скатился вниз, оттолкнул молодого слугу и широко распахнул калитку.

Спрыгнув с коня, Саакадзе бросил поводья слуге и, слегка пригнувшись, вошел в калитку. За ним вошли Эрасти и два телохранителя.

Долго мучившая Хосро загадка стала понемногу проясняться. Хосро с большим напряжением слушал Саакадзе.

— Настал час возмездия! Царевич, для тебя стараюсь... Думаю, шах-ин-шах и Хосро-мирзу тоже пригласит в свиту. Будешь сопровождать шаха, старайся войти к нему в доверие. «Лев Ирана» одним словом может осчастливить картлийский народ. А я с первой встречи с тобой, а может быть, потому и встретился, — решил очистить дорогу к месту, предназначенному тебе высоким рождением.

— Мой знатный гость, да будет усеян твой путь благоухающими розами, только тебя держат моя память и мое сердце. И если аллаху будет угодно, я окажу тебе услугу, равноценную твоей... И скромно прошу: не оставляй меня без сильных взмахов твоих могучих крыльев.

Саакадзе внимательно разглядывал прямое лицо Хосро. Он давно догадал-

ся, что это не простодушный грузин-перс, каким хотелось бы его видеть, а хитрый, скрытный Багратид. Тем более надо сейчас договориться, потом будет поздно... И, не обращая внимания на витиеватую речь Хосро, Саакадзе спросил:

— Мой отважный царевич, неужели ты никогда не думал о почетном возвращении домой?

— Мой дом там, где живет шах-ин-шах... но от почета никто не отказывается, и, если аллаху будет угодно, я покорно приму другое помещение.

— А если, кроме аллаха, это будет угодно шах-ин-шаху?

— Я не вижу желающих уступить мне свое место.

— Иногда можно обойтись и без желания... Скажи, ты совсем забыл грузинский народ?

— Если народ обо мне вспомнит, я не буду скуп на внимание.

— Значит, мой царевич, ты ждешь пригласения народа?

— У каждого человека судьба висит на его шее...

— А если народ тебя пригласит, ты будешь считать себя гостем народа?

— Нет, я буду считать себя хозяином народа! — Взглянув на приподнятую бровь Саакадзе, поспешно добавил: — Багратид, кем бы он ни был приглашен, должен чувствовать себя хозяином: от гостя слишком легко можно избавиться. Но, мой всесильный друг, я уже сказал: я не собираюсь менять дом и, благодаря заботам твоим и «Льва Ирана», живу в полном благополучии.

Георгий встал. Гнев и разочарование охватили его, но он скупно сказал:

— «Лев Ирана» не любит праздных людей. Очевидно, оказывая тебе внимание, он рассчитывал, что Хосро-мирза будет служить делу, прославляющему шах-ин-шаха!

Хосро испуганно рванулся, он понял, что слишком далеко зашел в откровенности.

— «Лев Ирана» не ошибся, я буду просить шах-ин-шаха уделить и мне место в шах-севене. Также прошу тебя помнить: как бы аллах ни повернул мою

судьбу, ты — властелин моих поступков. Только не бросай на полдороге путника, которого ты посадил на своего коня.

— Тогда прошу, царевич, покорно следовать за мной, мой конь приведет тебя к славе и почету. Но запомни: Саакадзе не из мелких чувств посадил царевича Хосро на боевого коня. Дальнейшее обсудим, когда время придет. И от тебя будет зависеть, чтобы оно пришло.

Долго сидел Хосро, обдумывая разговор. И он принял два решения: храбростью, преданностью и другими мерами расположить к себе шаха Аббаса и больше никогда не быть откровенным с Георгием Саакадзе, а при первом счастливом повороте судьбы отделаться от его тяжелой опеки.

В глубокой задумчивости направился Георгий домой, конь шел ровным шагом.

Эрасти, хорошо изучивший Саакадзе, не нарушал молчания до самого дворца.

Впервые Саакадзе усомнился, правильно ли он поступил, подняв из нищеты и неизвестности двуличного Хосро. Но тогда кого же? Да, теперь поздно сожалеть, надо только крепко держать этого петуха в кулаке. Если не таким окажется, какой нужен Картли, можно опять выгнать на черный двор к благоухающему рву.

Хриплый лай оборвал мысли Георгия. Огромная овчарка прыгала вокруг Джамбаза. Саакадзе усмехнулся: может, это Душа Хосро уже бросается на всадника, везущего его на картлийский престол?

Через две пятницы после утреннего намаза, шах Аббас властно ударил по золотому гонгу, и мгновенно все пришло в движение: на угловой башне заиграла флейта, взвились оранжевые знамена, зарокотали трубы, рассыпали дробь барабаны, четыре мортиры грянули салют, взметнулся пороховой дым. Замерли ряды шах-севена. Блеснули копыя.

Дверь распахнулась, шах Аббас, окруженный ханами, величественно вышел из Давлет-хане.

Через северные ворота Исфгани по

дороге в Ганджу двинулось огромное иранское войско.

Впереди, придерживая меч Сефевидов, ехал на арабском коне шах Аббас. Его окружали Карчи-хан, Эреб-хан, Караджугай-хан, Эмир-Гюне-хан, Георгий Саакадзе, красавец Паата и огромная свита из молодых и старых ханов. За ними, скрывая волнение, сплоченной дружиной следовали «барсы».

Позади войска под большой охраной двигался гарем шаха. Среди жен шаха были и жены ханов. Хорешани сидела в позолоченном паланкине вместе с Тинатин. Они тайно огорчались, что шах оставил в Исфагани Нестан. О, сколько слез пролила золотоволосая Нестан, прощаясь с грузинами. Сколько сдавленных проклятий посылала шаху Аббасу взволнованная «дружина барсов».

## XVII

Послав в Тушети азнауров за военной помощью, Теймураз спешно отправил гонцов к царям Картли и Имерети, а также ко всем владетельным князьям Грузии.

Столица Кахетинского царства Грими возвышалась у подножия гора, отделяющих Кахети от Шамхалата, на берегу реки Грими, впадающей в Алазань.

Тени фруктовых садов и виноградников зыбкими пятнами ложились на Грими.

Один из древнейших городов Грузии, возникший до новой эры, Грими уже в IV веке был окружен мощной крепостью с башнями и рвами.

Недалеко от Грими притаился в горах монастырь Алаверди, резиденция митрополита—главы кахетинской церкви.

Еще в древности в Грими была основана школа высших наук, откуда грузинские юноши отправлялись в Афины приобщаться к источникам мудрости.

Теймураз, поглощенный заботами о сохранении царства, на досуге навещал монастырь святого Архангела, где у гробницы царя Леона<sup>1</sup> любил углубляться в размышления.

Здесь, пользуясь временным затишьем, он с увлечением предавался сложению стихов, записывая на лощеной бумаге руставелевскими размерами шаири и чахрухаули—страстный спор свечи и мотылька, соловья и розы и дифирамбы в честь красного вина и алых губ.

Еще в Исфагани, приобщаясь к иранской культуре, Теймураз пленился возвышенными переживаниями «Лейлы и Меджнун», и нередко под сенью старых чинар он перекладывал в грузинские созвучия «Лейла-Меджнуниани», поэму любовной тоски.

Вблизи монастыря высился каменный царский дворец с башенками, резными балкончиками, украшенными древними грузинскими орнаментами. Тенистые орехи и каштаны, обвитые плющом и диким виноградом, бросали прохладную тень, слева мраморные ступени спускались к реке, а перед покоями Теймураза фонтан вздымал высокую струю, и серебристая пена рассыпалась на каменном крылатом коне.

Но сейчас царь Теймураз сменил перо на меч и нетерпеливо ждал Луарсаба. Сегодня на военном совете он, Теймураз, в присутствии царя Картли объявит князьям и высшему духовенству Кахети свой план войны, навязанный шахом Аббасом.

Напряжение нарастало давно: шах Аббас, отпустив Теймураза из Ирана, рассчитывал на полное подчинение царя Кахети шаху. Но властный Теймураз не думал о мусульманить Кахети, не думал выполнять волю шаха.

Теймураз не сомневался: шах Аббас будет мстить за непокорство.

В одно осеннее утро в Грими из пограничного монастыря прискакали на верблюдах монахи и сообщили о движении войск шаха Аббаса на Ганджу. Один из монахов клялся, что идут несметные полчища персов, от рева верблюдов дрожит земля и от пыли караванов не видно солнца. Другой монах, бледный, безмолвствовал и только осеял себя крестом.

С этого часа Теймураз забыл покой. Он не сомневался, что раньше всего коварный шах присвоит богатства Кахети.

<sup>1</sup> Царь Леон Кахетинский скончался в 1554 году.

Теймураз собрал кахетинские дружины, собрал все, кто умел сидеть на коне и держать в руках оружие.

Амкары, каменщики, крестьяне и даже женщины спешно воздвигали непроходимые завалы в Упадари — ущелье при слиянии рек кахетинской Алазани и Иоры, единственном проходе из Ганджи.

Беспрестанный колокольный звон тревожил города и деревни. Из домов и саклей выбегали вооруженные кахетинцы и на конях спешили под боевые знамена своих дружин.

Вокруг дворца Теймураза толпился народ. Присутствие митрополита, монахов, священников, князей, опытных полководцев усиливало воинственный подъем, а укрепленные завалы Упадари успокаивали Теймураза.

Но царь Кахети помнил, что его два сына и мать, Кетеван, хитростью выманены у него шахом и сейчас находятся в полной власти жестокого «льва Ирана».

Сначала шах потребовал от Теймураза в аманаты сыновей крупных феодалов, приближенных царя Кахети. Теймураз послал сыновей князя Челокашвили, сардара кахетинских войск, и князя Андроникашвили, начальника царского дворца. Но не успели молодые князья доехать до Исфагани, как к Теймуразу снова приехал гонец от шаха с посланием: «...иду я против турок, выдай мне в залог верности твоего сына. Так сделал и дед твой. Этим докажется преданность твоя мне».

Теймураз бросил в ларец перечитанное много раз послание и нервно зашагал по мягкому ковру опочивальни. Перед его глазами мелькнул совет, собранный тогда из знатных князей. И... в Исфагань уехал его младший сын Александр со старой царицей Кетеван. Отличаясь умом и красноречием, она надеялась умиловить коварного шаха. Предсказание князей, что это будет спасительным для царства, — не оправдалось. Не помогли и богатые дары, переданные шаху Аббасу князем Нодаром Джорджадзе.

Шах в гневе снова отправил гонца с посланием и требованием прислать к

нему наследника престола Леона: «...не я ли воспитатель твоего сына? Ты найдешь дружбу во мне, окажу должную честь матери твоей и возвращу ее тебе».

Теймураз до боли сжал руками голову. Он вспомнил бурный совет князей, его, царя, протест. Не помогло и тайное послание Кетеван, прочитанное князьям, где старая царица предупредила сына о коварном замысле шаха истребить все царское семейство.

Князья настояли на отправке в Исфагань Леона.

«Разве ты не был два раза у шаха, — уговаривали они царя Кахети, — и все же он отпустил тебя. То же будет с царевичами».

И вот Теймураз остался с молодой женой Натиа и дочерью. «Но разве шах успокоится? Он уверяет, будто идет на турок и войска ждут его в Гандже, но кто не знает коварного шаха?»

Теймураз поднялся на террасу, вздыхая.

Предстоит борьба на жизнь или смерть.

Теймураз смотрел на движение войск по улицам Гречи. Его лицо просветлело. Перед дворцом в суровом безмолвии проходил передовой отряд конницы тушин. Закованные в кольчуги витязи твердо держали копья и щиты.

Впереди на горячем жеребце ехал предводитель Датвиа, с белой бородой, спадающей на чешуйчатую кольчугу, рядом его внук в воинских доспехах, шестнадцатилетний Чуа, с прямым, тонким носом и сверкающими глазами. Впереди колыхалось Алами — боевое знамя.

Теймураз залюбовался стройными всадниками. Он знал тушин, за этим отрядом скоро спустится с гор многочисленная тушинская конница.

Любуясь, Теймураз не слышал, как вошел азнаур Заал и почтительно доложил о прибытии из Ганджи гонца шаха Аббаса.

Вошедший гонец, молодой Измаилхан, с подчеркнутой вежливостью передал свиток...

В оленьих рогах уже пылали светильники, а Теймураз снова и снова в бешенстве перечитывал коварное послание.

И когда наутро в опочивальню вошли князя Челокашвили и Андроникашвили, они застали Теймураза хмуро шагающим по узорчатым паласам.

Князя осторожно напомнили о скором прибытии Луарсаба.

Теймураз, овладев собой, отстранил слуг и сам быстро надел желтую шелковую рубашку, поверх атласный азия—кафтан, вышитый золотыми узорами,—затянул кожаный пояс с золотой чеканкой, ожерелье из крупных гранатов, саблю персидской работы в ножнах из узорчатой стали, высокую черную бархатную шапку, отороченную собольим мехом, с изумрудной застежкой посредине и с тремя вышитыми клиньями по бокам—изумрудом и жемчугом, а сзади—крупной бирюзой.

Слуги поспешно накинули на Теймураза парчевую шубу, отороченную собольями.

Тронный зал, богато украшенный в персидском вкусе, прилегающие к нему большие и малые покои и галереи были переполнены духовенством, кахетинскими князьями, сидящими на узких ковровых тахтах и стоящими вдоль стен. В простенках шептались полководцы, мдиванбеги и придворные.

Особенным вниманием пользовались рыцари тушины, наполнявшие тронный зал, малые покои и галереи. Начальник цовских тушин Датвиа и его внук Чуа вызвали всеобщее восхищение. Их окружали плотным кольцом молодые и старые князья.

Из окон был виден двор, на котором толпились джилавдари—конюхи, джабодари—оруженосцы, чубукчи, телохранители, нукери. Слышался нетерпеливый цокот, ржание, гул смешанных голосов и отдаленное раскатистое приветствие.

Затрубил рог. Бухнул барабан. Заиграли длинные трубы.

В тронный зал вошел с позолоченным жезлом Челокашвили и объявил о приезде царя Картли Луарсаба.

Под приветственные возгласы вошли Теймураз и Луарсаб, окруженные кахетинской и картлийской знатью.

Поздним вечером, после приема в тронном зале полководцев и начальни-

ков дружин и совместного обеда с воинами, в покоях Теймураза совещались цари Картли и Кахети, Шадиман, Челокашвили, Андроникашвили, Эристави Ксанский, кахетинские князья и духовенство.

У дверей стояли азнауры Заал и Лома.

Теймураз сочувственно поглядывал на похудевшего и бледного царя Картли, но его радовала решимость Луарсаба.

Больше всего царей беспокоило, как будет действовать Шамхалат?

Беспрерывные столкновения с шамхалом происходили из-за лезгин, постоянно вторгавшихся в Кахети.

Теймураз напомнил: в борьбе с Шамхалатом Кахети давно стремилась заключить союз с Черкесией и Кабардинией, уже признавшими над собою власть Руси, особенно с некоторыми горскими князьями, враждебно настроенными к Крыму и Турции, следовательно, и к Шамхалату, тайно тяготевшему к Стамбулу.

Луарсаб, осведомленный Шадиманом, напомнил совету: Шамхалат давно чувствует угрозу Руси и хотя внешне поддерживает посольские отношения, но все больше тянется к Турции.

— Русия тоже неплохо действует, забирает шамхала подарками и обещаниями и совсем не ради выгод Кахети думает проглотить шахмала вместе с его царством,—сказал Шадиман.

— Русия несет сияние святого креста в царство неверных, а против Шамхалата замышляет, дабы ослабить врага всего христианства—Турцию,—строго произнес митрополит.

Теймураз погладил круглую черную бородку и упрямо повторил:

— В Русию нужно послать. Отцы церкви и доблестные князья, настал час—все христианские цари должны объединиться в великий христианский союз. Только такой союз может утратить шаха и султана, и неверные псы не посмеют больше вторгаться в пределы христианских царств. Как могли столько времени терпеть? Разве древние цари нам не пример? Не раздоры ли и гордость погубили многие христианские царства? Разве греческие цари



не уверяли горделиво — мы никого не боимся? А османы взяли Константинополь, надругались над монастырями и обратили церкви в мечети. Не печальна ли участь разоренных греческих царей? Так почему медлят все христианские царства? Спасение от мусульман — в великом христианском союзе.

— Кто может оспаривать твою мудрость, царь Теймураз, но, когда на охоту спешишь, не время чистить цаги. Надо воспользоваться помощью, предлагаемой Оттоманской Портой, — сказал мягко Шадиман, со скрытой неприязнью поглядывая на полурусийский народ Теймураза.

Кахетинские князья поддержали Шадимана и осторожно советовали Теймуразу попытаться предотвратить столкновение с шахом Аббасом, предложив ежегодную дань.

Теймураз поднялся, от возмущения белое лицо его покрылось красными пятнами:

— Разве мои сыновья и мать, царица Кетеван, плохая дань?! Но шах опять требует дани, и не шелком и золотом, а... — и Теймураз прочел последнее послание шаха.

В наступившей тишине, точно раскаленные стрелы, падали слова:

«...в преданности твоей не сомневаюсь. Ты пожертвовал своими детьми, приди и ты, почтись дарами и возвращайся на мирное царство...»

Покои Теймураза огласились возмущенными криками и угрозами. Вспошлись князья и духовенство: «Что если за истреблением царской семьи последует истребление всех кахетинских князей?» Перебивая друг друга, кричали о мести, об изгнании из Кахети всех мусульман, о беспощадном истреблении кызыл-башей, и еще о многом кричали охваченные тревогой за существование своих замков князья.

Луарсаб поднял руку. В его молодом лице отражалось столько внутренней силы, что невольно и молодые, и старые смолкли.

Луарсаб коротко сказал:

— В подлости шаха не следовало сомневаться, и сейчас время меча, а не слов.

На другой день Луарсаб и Теймураз двинули войска к границе. Луарсаб расположил картлийские дружины по левому берегу реки Иоры, у поселения Мукузани. Здесь быстро росли завалы и укрепления, делающие непроходимой лесную дорогу, ведущую к Упадари.

## XVIII

Против «Зеленой мечети», украшенной изразцами и арабскими надписями, на бугре, заросшем кустарником, стояли двое юношей в богатых одеждах: Сефимирза и Паата Саакадзе. Они целились в пролетающих птиц и громко радовались меткостью своих стрел.

На почтительном расстоянии у плетней, за которыми тянулись виноградники, гранатовые деревья и айва, стояли телохранители Сефи и Паата, среди них верный Арчил. Телохранители сдержанно, но с расчетом на хороший слух юношей, восхищались ловкостью Сефимирзы, наследника иранского престола, и князя Паата, сына сардара Саакадзе.

С некоторых пор между Сефи и Паата возникла тесная дружба, поощряемая шахом Аббасом. Юноши еще не были тверды в политике и предавались своим чувствам открыто и искренно.

— Думаешь ли ты, мой друг Паата, что если мы простоим здесь до вечера, то все бугры будут покрыты птицами, пронзенными твоими стрелами?

— Я думаю, мой высокий мирза, что если я сейчас уйду, то все равно ганджинские бугры будут покрыты птицами, пронзенными стрелами Сефимирзы, прекрасного, как луна в четырнадцатый день ее рождения.

— Дозволь заметить тебе, мой друг Паата, у Сефимирзы никогда не загорятся глаза при виде плодов чужой доблести, ибо сказано: умеи гарцовать на своем коне.

— Разреши и мне сказать, благородный Сефи-мирза: есть всадники, которым принадлежат все кони. А будущее — льву Ирана...

Сефи-мирза поспешно обнял Паата и испуганно обернулся на слуг.

— Да живет мой всеильный повелитель, «лев Ирана», пока не исчезнут во

вселенной луна и солнце... Но...—Сефи близко склонился к Паата, будто показывая ему стрелу, и шопотом произнес:—Я всегда буду помнить, что моя мать грузинка... В тихие ночи, когда нас слушали только ветерок и мерцающие звезды, моя мать Тинатин, прекрасная из прекрасных, нашептывала мне сказание о Турджистане... Мой Паата, я люблю твою страну, так хочет мое сердце, так хочет моя мать.

— Повелитель моих дум и чувств, благороднейший из благородных Сефи-мирза, мысли и рука Паата крепи в твоей изумительной стране. Пусть аллах и мой бог Иисус помогут мне дожить до времени, когда ты скажешь: самый преданный мне слуга—князь Паата Саакадзе.

— Мудрый из мудрейших Паата, здесь, на границе наших земель, тебе говорит Сефи-мирза: самый преданный друг у князя Саакадзе — смиренный Сефи-мирза.

— Дозволь мне не словами, а жизнью ответить тебе, как глубоко мне в сердце проникли возвышенные чувства прекрасного Сефи-мирзы. Я пойду сражаться с врагами твоей и моей родины, и если, иншаллах, вернусь...

— Увы, мой храбрый витязь, ты не пойдешь сражаться так же, как и я. Мой грозный повелитель, шах Аббас, оставляет нас в Гандже вместе с Хосро-мирзой охранять границы от возможных вторжений турок.

Сефи посмотрел на вздрагивающие ноздри Паата.

«Бедный мой друг, — подумал Сейфи, — твоя судьба, как и моя, — на мече грозного повелителя», — но вслух он сказал:

— Не печалься, мой отважный друг, может, и лучше тебе не участвовать в этой войне... Моя мать говорит...—Сефи-мирза поспешно оборвал речь. — Слышишь, флейта играет. Пойдем, повелитель Ирана проснулся, и мы сможем присутствовать на приеме русских послов.

«Странно, — думал Паата, спускаясь к шатрам, — никогда не замечал, чтобы у Сефи дрожали руки и глаза покрывались блестящей влагой... Неуже-

ли я не увижу Картли? Не увижу мою мать Русудан, прекрасную из прекрасных?»

На спуске юноши остановились. Сефи-мирза чуть отошел и скромно опустил глаза. К ним приближалась Хорешани.

Мохамметанин не должен смотреть на чужую жену. И хотя Сефи-мирза был проникнут чувством высокой любви к Хорешани за дружбу ее с Тинатин, за веселый смех и еще за Паата, которому она сейчас заменяет мать, — он стоял, опустив глаза, в почтительном молчании.

— Я видела, мои мальчики, сколь ловко вы истребляли птиц, и пожелала вам с такой же ловкостью попадать в ваших врагов.

И Хорешани нежно потрепала по щеке Паата. Она с удовольствием приласкала бы и Сефи-мирзу, сына любимой Тинатин, но это может навлечь на него неудовольствие правоверных, а царевичу предстоит царствовать в Иране. О, скорей бы такое случилось.

— Наши враги—твой враги, дорогая Хорешани... Да, знаешь, я не поеду с отцом в Картли. Увидишь мою мать, расскажи о любви Паата к ней.

— Расскажу, мой Паата, только думаю, и ты скоро увидишь прекрасную Русудан.

Хорешани уже знала об оставлении Паата заложником, но она не считала нужным выдавать переживаемое ею волнение.

И Хорешани, вероятно, желая скорее освободить Сефи-мирзу от стесненного положения, стала подыматься по тропинке. Она оглянулась на юношей, и сердце ее сжалось от предчувствия: «Обоих ждет одинаковая судьба. Участь всего прекрасного—гибель. Вот и Луарсаб. Сколько Дато ни сердится, все равно мое сердце не изменило Луарсабу. Если богу будет угодно, я об этом скажу царю Картли. Картли! Дорогое слово, но что ждет нас всех, как вернемся?»

В последнее время Хорешани все чаще задумывалась. Ее открытое сердце не терпело двойственности. Она твердо знала: на родину нельзя возвращаться в присутствии врагов. Дато говорит,

только воспользуемся силами персов. Но разве можно уберечь палец, когда обжигаешь руку? Кого умный Георгий хочет перехитрить?

Хорешани была здесь единственной женщиной, разгуливающей в сопровождении только двух слуг грузин.

Да и кто бы посмел не уступить ей дорогу? Или посмотреть более смело, чем на закутанную в чадру жену шаха? Разве кто-нибудь захочет смертельной встречи с Дато?

Нет, Хорешани гуляла свободно, откинув от лица тонкую вуаль. И, гуляя, она думала тревожную думу. Вдруг она остановилась. Уже несколько раз Хосро-мирза попадаетея ей навстречу, как бы случайно. Но разве женщину можно обмануть? Что надо этому мулу от нее? «Хосро ненавидят «барсы», а Георгий оказывает ему царские почести. Почему? Мне он тоже неприятен, но судьба его достойна жалости» — подумала Хорешани, небрежно ответив на слишком почтительный поклон Хосро-мирзы. Она уже хотела пройти, но Хосро поспешно заговорил:

— Глубокочтимая княгиня, ты славилась мудростью, но только глупцы могут, наслаждаясь мудростью, не плениться красотой.

— Значит, царевич, ты за всех глупцов поспешил догнать меня, дабы сообщить о своем превосходстве над ними.

— Княгиня, я всегда спешу к источнику рая, ибо там могу встретить прекрасную из прекрасных, мудрую из...

— Понимаю, царевич, ты хочешь к моей славе пристегнуть еще одну застежку с именем Хосро-мирзы.

— Прекрасная княгиня, застежка оказывает нам двойную услугу, ибо она застегивается и расстегивается.

— Скажу прямо, царевич, на застежки тебе не везет. До меня дошло, что застежки с золочеными львами не принесли тебе удовольствия. Смотри, мой Дато не нуждается ни в чьей помощи, чтобы расстегивать мои одежды.

— Прекрасная княгиня, разве я неучтиво убеждал тебя в обратном? И разве корона царицы не значительнее вуали княгини?

— Э, щедрый Хосро-мирза, царица

без трона все равно, что шашлык без перца.

— А разве я неучтиво предлагал тебе перец без шашлыка?

— Понимаю, царевич, ты думаешь — шах Аббас в награду за муки, связанные с принятием мохамметанства, назначит тебя наследником иранского трона?

Хосро-мирза отскочил, беспокойно оглядываясь.

— Да хранит твою смелость аллах...

— Не беспокой аллаха, мой Дато не хуже охраняет мою смелость.

— Когда я займу подобающее мне место...

— А когда произойдет твое вознесение?

Глаза Хосро заискрились, и он, не спуска жадного взора с застежки на груди Хорешани, наклонившись, шепнул:

— Скоро... В этом мне помогут аллах, шах Аббас и Георгий Саакадзе.

Хорешани побледнела. Она поняла все. И страх за Луарсаба кольнул ей сердце. Она молча, внимательно смотрела на Хосро: «Неужели?! Нет, только не он!»

— У тебя, царевич, крепкие помощники, но иногда на породистом коне опаснее путешествовать, чем на ишаке. Ты, кажется, это тоже испытал?

— Высокочтимая княгиня, опаснее всего путешествовать на раскаленном языке женщины, ибо женщина подобна тени. Когда преследуешь ее, она убегает, когда бежишь от нее, она гонится за тобой.

— Хорошо напомнил: сумрак уже сошел с небес, и, поскольку Хосро-мирза мало похож на тень, прошу не бежать за сокровищницей чужих услад.

И Хорешани, подозвав верного Омара и молодого слугу, стала спускаться с пригорка, слегка покачивая пышными бедрами.

Она с тревогой обдумывала слышанное. Сказать Дато или подождать? Может, этот петух, желая ее прельстить, похвастал троном, но тогда почему Георгий оказывает ему почести? Почему шах с почетом за собой возит? Сказать? Нет, лучше подождать, зачем

причинять любимому Дато лишнее огорчение, Любимых «барсов» тоже не следует обременять плохими вестями. Сказать не трудно, но слово, как буйвол арбу, тянет за собой последствия. —

И Хорешани повернула к большому шатру гарема, где ее ждала Тинатин.

Отворот полосатого шелкового шатра открывал вид на Ганджу, утопающую в пышных виноградниках.

Но шах Аббас, равнодушно поглядывая на далекие очертания лиловых гор, продолжал диктовать Караджугай-хану послание шамхалу с грозным повелением вторгнуться в горную Тушети.

Вердибег, сын Карчи-хана, почтительно застыл на пороге.

Шах Аббас наложил на послание золотую печать и обернулся к Вердибегу: — Пусть русские послы придут к большому шатру и ждут моего внимания.

Вердибег низко поклонился шаху и вышел из шатра. Кивнув головой начальнику сарбазов хану Булату, он вскочил на подведенного коня, и всадники, взмахнув нагайками, повернули в конец стана.

Они проскакали мимо вытянувшихся в ряд персидских военных шатров. С пиками у плеч, в строгом порядке, застыли часовые. На знойном песке черными полосами лежали тени шатров.

Справа высилась старинная крепость с красивыми башнями. Высоко над цитаделью, в синем неподвижном воздухе свисало иранское знамя. В трещинах каменных стен зелеными змейками извивался мох, собираясь пушистыми комьями на широких выступках.

На всем скаку осадив коня у стоянки русских послов, Вердибег быстро охватил взглядом тяжелое богатство северных одежд. Он подошел к Михайлу Никитичу Тихонову. Добродушные голубые глаза посла, похожие на стеклянные четки, спокойно глядели на него.

Тихонов, степенно поглаживая широкую рыжую бороду, слушал посольского толмача Семена Герасимова, шустро переводившего витиеватые персидские фразы Вердибега.

Одобрительно кивнув головой в ответ

на приглашение молодого хана следовать за ним, Михайло Никитич тяжело вложил ногу в узорчатое стремя и грузно опустился в седло.

Посольский стан пришел в движение. Тридцать самарских стрельцов вскочили на коней, украшенных яркокрасными чепраками с черными двуглавыми орлами на сукне.

Подьячий Алексей Бухаров, в плотно надвинутой меховой шапке и в алтабовой ферязи, сжав упругие бока рослого жеребца, поровнялся с Михайлом Никитичем:

— Подарки шаху казачий сотник Ивановского приказа Лукин везет.

Тихонов одобрил и заговорил с Бухаровым о тяжелом пути, пройденном посольством.

Вышли они из Самары на благовещенье и шли степью до Яика две недели, а от Яика до Енбы-реки четыре недели.

Пошли дальше на Хорасан степью на верблюдах, напали на них не то калмыки, не то туркмены. Пищальным огнем отогнали татар.

Много дней и ночей провели на травах и в песках. Кони изнурились и люди почернели. Весна прошла, лето минуло и только к концу августа добрались до шахского города Мешхеда. «Правили посольство», но хан Арап в те поры был пьян и начал их прерывать. И—вопреки наказу, не договорив речей государевых,—послы махнули рукой и сели есть овощи.

Пошли в баню, плюнули—ни венков, ни пара. Только из каменного фонтана теплая водичка капает. Так и не вымылись. Пригласил их хан к столу, давились сладким рисом, а вспоминали стерляжьей уху с перцем.

Услышали прелесть: шах-де пошел с войсками на турок.

Вспомнили приказ молодого царя Михайла Федоровича вручить шаху объявительную грамоту о восшествии на великий престол Московских земель нового царя царского рода бояр Романовых.

Дорогой поразмыслили: смута в Московском государстве еще не унята, и польских и литовских людей не всех

выгнали. Не следует у Аббас шахова величества большой задор являть.

Пошли в догон за шахом степями да горами, насили у города Гнджи догнали.

Размышления послов прервал окрик Вердибега:

— Стой! И в знак уважения к шахин-шаху слезьте с коней!

Тихонов и Бухаров удивленно оглянулись. Их посольский поезд остановили в степи, вдалеке от шахских шатров.

Михайло Никитич плотнее осел на седле:

— Мы сами знаем, как нам царское величество почитать, а тут нам далече, с лошадей сседати непригоже.

Молодой хан нетерпеливо прогортанил:

— Не упрямятесь, слезайте с коней!

Долго спорили. Но ни доводы, ни увещевания не помогли, и послы все же слезли с коней и стояли у шаховых шатров с обеда до вечера.

Тихонов, прогуливаясь, стал поглядывать на своих стрельцов. Он удивился: в Москве из-за царских дел в боярской думе он не замечал красивых, стройных стрельцов.

«Красота наша сильна да складна» — подумал Тихонов и тут же решил после приема у шаха раздать стрельцам по холщевой рубашке.

Потом мысли боярина перекинулись на посольские заботы. «Великие дела предстоят Московскому государству, — думал боярин, — дорогу пробиваем к двум морям: Каспийскому — на выход к землям азиатским, да к Балтийскому — на выход к аглицким, франкским и гишпанским землям».

Наконец, когда солнце уже садилось и потемнели Ганджинские горы, снова приехал сын Гарчи-хана. Тихонов, едва сдерживая гнев, проговорил:

— Нам на поле стоять непригоже: то нам бесчестие чинят, про то скажи шаховым ближним людям.

Вердибег вежливо ответил:

— От шаха тотчас указ будет.

Шах Аббас хитро улыбался, выслушивая донесения молодого хана о русийских послах.

Он успел пообедать в шатре Тинатин

с законными женами, подремать в кейфе, насладиться тихим лением красивых гандинок, принять крымского царевича хана Гирея, пообещать ему за верность новый город Тарки, а московские послы все стояли в степи на почтительном расстоянии от шахских шатров.

Наконец, шах Аббас, решив, что послам достаточно дано понять могущество Ирана, приказал провести их в большой шахский шатер.

Ничем не выдавая свою усталость и неудовольствие, Тихонов и Бухаров в сопровождении стрельцов двинулись за молодым ханом.

В шахском стане посольство свернуло на главную дорожку, усеянную мелким красноватым песком и обильно политую. Начальник дежурных сарбазов подвел их к большому полосатому шатру с пологом, подхваченным кистями. Над входом развевалось иранское знамя — колыхался золотой лев, зажав в мощной лапе обнаженный меч.

Когда послы вошли в шатер, они невольно остановились. На резном возвышении, покрытом голубым ковром, под балдахинном из пурпура и бархата, словно изваяние, восседал иранский шах.

Шах Аббас острым взором измерил русийских послов, стремясь за богатством наряда и степенностью разговора угадать устойчивость Московского государства.

Встав против шаха, Тихонов степенно начал «править посольство».

«Божиею милостию великий государь царь и великий князь Михайло Федорович всея Руси великому государю, в чести величества изящному, и многим мусульманским родом повелителю, Персидские и Ширванские земли начальнику вам, брату своему, Аббас шахову величеству велел поклониться и свое царское здоровье велел сказати, а ваше, брата своего, здоровье велел видети».

Тихонов почтительно посмотрел на шаха, точно радуясь, что видит «льва Ирана» в полном здоровье, но про себя решил: хитрый лев.

Он медленно взял у подъячего Алексея Бухарова объявительную грамоту о

вступлении царя Михаила Федоровича на всероссийский престол и торжественно развернул:

«Бога единого безначального и безконечного, и невидимого, страшного и неприступного»,—и Тихонов перечислил титулы царя Михаила, шаха Аббаса и перешел к делам Московии: — «божьим праведным гневом, при царе Борисе учинилась вражья прелесть и смута: в Московском государстве явился вор богоотступник, еретик, чернец рострига Гришка, сына боярского галиченина Богданов сын Отрепьева заворовав, збежал от смертныя казни из Московского государства в Литву, и в Литве розстригся, и своим ведовством и бесовским учением назвал себя деда нашего великого государя царя и великого князя Ивана Васильевича всея Руси самодержца, сыном, царевичем Дмитрием Углетцким. И литовской Жигимонт король, хотючи в Московском государстве смуту учините, не сыскав, тому вору поверил, и преступив свою правду и нарушив мирное постановенье, послал с тем воров радных панов, и тот вор своим злым ведовством и чернокнижством оболестя и устрашав злыми своими коварствы многих людей, был на Московском государстве и хотел Московское государство разорити. И милосердный бог над нами милость свою показал, того богоотступника вора и его советников их вражий совет всем людем объявил: съехався изо всех государств Росийского царствия всякие ратные люди и облича, того вора убили; и на великих Росийских государствах учинился царем от роду суздательских Шуйских князей царь и великий князь Василий Иванович всея Руси. И при царе Василье польской же Жигимонт король, преступив к царю Василью послов своих и посланников крестное ж целованье, наслал на Московское государство другого вора своими с польскими и литовскими людьми и хотел нашим Московским государством к Польше и Литве завладети...

И наших великих росийских государств бояре и воеводы, видя польского Жигимонта короля и панов радную неправду и от него бесчисленное

кроворазлитье, прося у бога милости, против его стали крепко и неподвижно. И всещедрого в троице славимого бога нашего милостию, нашего царьского величества бояре и воеводы, и всякие ратные люди наш царствующий град Москву от польских и от литовских людей очистили, и из Московского государства всех польских и литовских людей выбили, и города все от них, злодеев, очистили, которые были поимали в смутное время за крестным целованьем.

А на великих государствах на Владимирском и на Московском и Новгородском и на царствах Казанском и Астраханском, и на Сибирском, и на всех великих преславных государствах учинилися Росийского царствия по божьей милости и по племяни великих государей Росийских, и по избранью и по челобитью всех людей Московского государства, мы, великий государь царь и великий князь Михайло Федорович всея Руси самодержец, и венчались царским венцом и диадимом по древнему нашему царьскому чину и достоинию. И послали есмь к тебе государство наше обестити посланника своего Михайла Никитича Тиханова да подьячего Олексея Бухарова, и что б меж наших государств торговым людем дорога отворена была по прежнему обычаю...

Писано в государства нашего дворе в царствующем граде Москве».

Шах Аббас взял грамоту и передал низко склонившемуся Караджугайхану, который в свою очередь передал грамоту низко склонившемуся толмачу.

После преподношения подарков царя Михаила Романова шаху Аббасу — соболей мехов, внесенных в шатер стрельцким сотником, — Тихонов ждал дипломатического вопроса шаха о здоровье Михаила Федоровича. Но шах Аббас, равнодушно приняв подарки, о здоровье не спросил и выжидающе смотрел на посла.

Тихонов и бровью не шевельнул, а повел речь от Михаила Федоровича.

Тяжелыми словами посол обрисовал устойчивое положение Руси, особенно подробно остановился на изгнании поляков. «... И божиею милостью, и Пречистые богородицы молитвами Москов-

ского государства воеводы сошлись с королем под Волоком Ламским, от Москвы за девяносто верст, и польского короля побили, и многих живых поймали, и наряд взяли. И король с того бою побежал с великим страхом и бесчестьем».

Шах, не изменяя выражения лица, внимательно слушал персидскую речь толмача Герасимова и уже пожалел, что не спросил о здоровье Михаила Федоровича.

Он, как бы невзначай, положил на колено левую руку. На среднем пальце сверкал «царь царей» — голубой бриллиант, величиною с орех, фамильная драгоценность Сефевидов, известная странам европейским и даже Поднебесной империи.

Послы с трудом отвели глаза, боясь выдать неуместное в посольском деле восхищение.

Как бы в ответ на бриллиант, Тихонов, осведомленный о присылке шахом в Астрахань к атаману Заруцкому купца Муртазы, подробно описал взятие воеводой князем Иваном Никитичем Одоевским Астрахани, пленение «Ивашки Заруцкого и Маринки с сыном воровенком» и позорный пригон их на московский двор государя.

«И ныне Божиею милостию, а нашим царьским счастьем, Астраханское государство под нашу царскую высокою рукою по прежнему и хотим с вами, братом нашим, Аббас шаховым величеством, в братственной крепкой дружбе и в любви быти мимо всех великих государей» — закончил Тихонов.

Шах Аббас, не давая заметить впечатления от удара, нанесенного его планам, уже пожалел, что заставил ждать послов не четыре часа, а шесть.

Как искусно шах ни скрывал свои мысли, Тихонов с удовольствием заметил тень на лице шаха и решил, не откладывая, отплатить за «бесчестье», нанесенное послам долгим ожиданием перед шахскими шатрами.

Он упрямо повторил просьбу царя Михаила Романова возвратить московскую казну, задержанную дедом Аббаса, шахом Ходабенде.

Шах усмехнулся.

— Очевидно, — сказал он, — казна утонула в богатствах Ирана, ибо его уши впервые отягощаются древними воспоминаниями. Но это не будет причиной неудовольствия высокого брата, — добавил шах, и, тут же обдумав, сколько сил может оттянуть от Руси война ее со Швецией, спросил: — Дружен ли государь их, послов, а его, шаха, брат, царь Михаил Федорович со шведским королем, и обмениваются ли Русия и Швеция послами?

Тихонов обрадовался случаю лишний раз подчеркнуть устойчивость Московского царства и по наказу без запинки ответил:

— Густав-Адольф король присылал к государю нашему гонца, чтоб «...стояти бы им на польского короля за один, а с польским королем у него ныне недружба и война за Лифляндскую землю».

Шах Аббас искоса поглядывал, как вечерняя заря переливается на собольих мехах. Опершись на коверную мутанку, он небрежно спросил: как сейчас царь Михаил Федорович с Грузинской землей и есть ли меж ними посольские дела?

Тихонов, помня наказ, осторожно сказал:

— «Шахову величеству о том по длинно ведомо, что Иверская земля послушна великим государям русийским... Грузинские цари изначала православные христианские веры греческого закона... и при царе Борисе крест целовали, что им быть под Московским государством на веки неотступным, и грамоты утвержденные с великим укреплением за руками и за печатями царей ныне у государя».

Шах больше ни о чем не спрашивал и, милостиво пригласив послов на совместную вечернюю еду, отпустил их, пообещав вновь удостоить приемом после перевода грамоты на персидский язык.

Но, едва за послами закрылся полог шатра, шах гневно отшвырнул ногой соболя и приказал ханам после вечернего пира с послами тайно собрать военный совет и с рассветом выступить на Кахетинское царство.

Шах повелел Караджугай-хану немедленно отправить к шамхалу второго гонца с грозным наказом выполнять волю «льва Ирана» и вторгнуться в горную Тушети, если шамхал не хочет осыпать себя пылью<sup>1</sup>.

В этот час Пьетро делла Валле в своем шатре беседовал с Саакадзе. Что-то притягивало странного итальянца к загадочному «Моуро», как делла Валле называл Георгия. Они изъяснялись на персидском языке без толмача, это делало их беседу приятной и безопасной.

Георгий, зная о доверии папы римского к делла Валле и о внимании шаха к итальянцу, искал у него, кроме расположения и дружеских чувств, поддержки своим планам и идеям.

— Обогати, Петре, мои мысли и укрепь чувства рассказом о себе. Ты многому учился и многому можешь научить.

— Да, мой синьор, в отечестве моем живя в роскоши, мире и благоденствии, я приобрел высшие знания, мог заняться книгописанием, по снисходительству божьему прославился стихосложением, а преданность науке поставила меня в ряды членов Римской академии... Это дом собрания ученых и философов, — пояснил делла Валле. — Но мирное созерцание величия господня не было свойственно моей натуре. И, когда Венеция угрожала престолу святого отца, я стал в ряды воинов папы римского. Но воображение пиита влекло меня к более сильным страстям и опасным приключениям.

Пьетро встал, открыл крышку походного сундука, достал серебряный кувшинчик и поставил перед Георгием.

Видя его сосредоточенное внимание, делла Валле продолжал:

— В лето 1611 я становлюсь моряком на испанском корабле. Ни бедствия, ни испытания не пугают меня, и я ради славы и подвига сражаюсь за Испанию на красочных берегах Африки. Когда же надоело обжигающее дыхание горячих ветров, я вернулся в Рим. Но... выпьем, друг Георгий, это вино мне прислал Эреб-хан, фанатический

поклонник Бахуса... Если бы я вздумал торговать вином, непременно нанял бы Эреб-хана скупщиком драгоценной влаги.—И, чокнувшись с Георгием, делла Валле нетвердо поставил чашу на стол. — Да, мой друг, открываю тебе всю глубину пережитых мною чувств. Мне изменила любимая женщина, и Рим, изобилующий величием цезарей, показался мне пустыней. Увы, я скоро забыл ее, но понял это, путешествуя по святым местам. В неаполитанском монастыре я благочестиво отслужил молебен и торжественно принял от священнослужителей одежду пилигрима. Венецианский корабль увез меня в Сирию. Тут открылось поле, обильное для сеяния и жатвы. Но, синьор, не утраждаю ли я вас повестью о неспокойной жизни пилигрима?

— Мой благородный друг, я душою слушаю тебя... И если бы обладал второй жизнью, хотел бы прожить, подобно тебе.

— Не торопитесь, снисходительный друг, есть в моей жизни и темные пятна.

— Даже на луне не существуют пятна только в четырнадцатый день ее рождения. Мой Петре, удостой меня доверием.

— Так вот, почти одиннадцать лет путешествовал я по Азии, не страшась бедствий и испытаний. Я объехал весь южный берег, все страны и все моря. Я пережил бурю восторгов, страстей и огорчений. Но беспокойное сердце все больше жаждало сильных ощущений. Дивная милость небесная ниспослана была в Багдаде. Я полюбил прекрасную ассирийку Сетти Маани. Она была христианка, и я женился на ней. Я был очень счастлив, мой друг, но много слез она извлекла из моих очей. Посмотри на мою Сетти Маани.

Делла Валле откинул лиловую парчозатканную золотыми розами, и Георгий увидел в стеклянном гробу прекрасное смуглое лицо ассирийки с опущенными ресницами, обрамленное черными косами. Набальзамированная, она казалась спящей, в драгоценном одеянии, закиданная белыми восковыми лилиями.

Приложив руку ко лбу и сердцу, Ге-

<sup>1</sup> В знак горя или траура.



Оргий рыцарски поклонился мертвой красавице, и подняв глаза, увидел бледнолицую мадонну, склонившуюся над гробом.

Перед католической иконой мерцала синяя лампада.

Делла Валле осторожно закрыл парчой стеклянный гроб и, поправив кружево на манжетах, вернулся к складному столику.

Георгий последовал за ним, стараясь ступать бесшумно, опустился рядом с делла Валле и мягко положил свою огромную руку на его колено.

Итальянца поразила необычайная теплота в глазах Георгия, всегда пылающих неукротимыми страстями.

— Друг Петре, ты благородный из благороднейших. Два чувства никогда не умирают в человеке — ненависть и любовь. Пока эти чувства живут, не умирают и другие желания. Но, может, твоей святине будет спокойнее в тени кипарисов и мрамора?

— Синьор, за годы живых и мертвых странствий Сетти Маани привыкла к покачиванию кораблей и кибиток верблюдов. Она дала мне много радости, и я отвезу ее в Рим, ибо в Риме думаю закончить свое земное странствие. Я уже написал пышную речь, которую произнесу над гробницей моей любви. Вот, мой терпеливый собеседник, я сказал вам почти все.

Пьетро делла Валле наполнил доверху чаши, и оба, молча, выпили.

— Друг Петре, у меня тоже умерла одна, а, может, я сам ее убил. Она находится в каменном гробу, называемом людьми монастырем. Я тоже в своих странствиях вожу воспоминание о ней и ее золотой локон. Петре, ты тоже любил двоих, но ты никогда не был причиной печали любимых.

— Я любил многих, Георгий, и это не вызывает у меня раскаяния. Ненависть менее угодна господу богу.

— У тебя удобные мысли, мой высокий друг. — И, точно желая рассеять тяжелое впечатление, Георгий резко изменил разговор: — А что толкнуло тебя на путешествие в Исфагань?

— Многое, мой синьор... Я узнал о войне шаха с турками и пожелал про-

верить — не затупилась ли моя шпага. И потом пламенное желание способствовать христианскому делу: выпросить для грузинских царств великий дар — апостольское благословение святого отца, папы римского Урбана VIII.

— И ты здесь останешься, уважаемый Петре, или пойдешь с нами в Кахети? — спросил Саакадзе.

— Пойду с вами. Хочу все видеть и записать свои впечатления.

— Зачем ты все записываешь?

— Хочу ознакомить Запад, христианский мир, с положением Ирана и Грузии. И еще писать надо для потомства.

— Для потомства? Да, у нас тоже немало книг, написанных предками. Есть одна, называется «Картлис цховреба» — «Жизнь Грузии». С VIII века пишут ее предки и продолжают потомки... Вот мы многое осуждаем, многое хвалим, но иногда мы не видим или не хотим понять, что волнует искателей правды.

— Меня давно занимает, почему вы, грузинский князь и полководец, идете вместе с неверными?

— Мой повелитель, шах Аббас..

— Синьор, здесь нас никто не подслушивает. Мои слуги не понимают персидского языка, и я стараюсь, чтобы они никогда его не поняли. Охраняя мой шатер, при приближении кого-либо из персиян слуги сразу обнажают шпаги и начинают неистово ругаться по-итальянски. Этот своеобразный сигнал вполне нас предохраняет.

— Уважаемый Петре, мне скрывать нечего, моя жизнь принадлежит солнцу Ирана, ибо лучи его согреют мою страну.

— Неужели вы, такой мудрый муж, верите, что шах Аббас идет бескорыстно в вашу страну?

— Мною все обдуманно... Прошу тебя, Петре, как брата по вере, опиши мою прекрасную страну его святейшему, наместнику Христа, папе римскому, пусть он заступится за мою родину.

— Это моя святая задача... Но неужели вы обнажите меч против грузин?

— Я обнажу меч против князей.

— Может быть, князь Саакадзе сам думает захватить престол?

— Я был бы слишком мелким человеком, если бы боролся ради царского престола. Мои желания шире, дорога длиннее, мысли выше...

— Католическая вера поддерживает такие желания. Она дает душе покой и проясняет мысль.

— Друг, мои мысли ясны. Бог небом занят, а человек землей.

— Еретик вы! После войны католические монахи направят вас на путь истины...

Брань слуг-итальянцев прервала беседу.

Пьетро дела Валле встал, вышел из шатра и скоро вернулся с молодым ханом.

Хан приложил руку ко лбу и сердцу и поклонился Саакадзе:

— Непобедимый сардар! Солнце Ирана, великий шах Аббас удостоивает тебя приглашением на военную беседу с ханами. А тебя, уважаемый ага Валле, — на вечернюю еду с прибывшими русийскими послами.

## XIX

Уже несколько дней стоят грузинские войска около Мукузани, но враг медлит: он осторожно подкрадывается, прощупывая каждый шаг.

Правый край главных кахетино-картлийских сил опирается в отлоги Хунанийского хребта, левый — в Упадарийские горы, пересеченные глубокими оврагами и ущельями.

Единственная лесная дорога в Кахети вдоль Иоры завалена столетними деревьями, скрепленными цепями, глыбами, землей, перерезана глубокими канавами. А на выступах в огромных котлах кипит смола, груды камней и бревна, нависшие над крутизной, готовы обрушиться на иранцев. На заснеженных высотах грозно высится сторожевая башня. Облака, видимые снизу, опоясывают башню зыбким туманом, но зоркий глаз с башенной площадки достает извилистую Иору, впадающую в Алазань.

Но спокойна Алазань. Не видно бе-

га тушинских коней. И только синеют вдали притаившиеся у рек и лесов города и деревни Кахети.

Шадиман третий день не слезает с коня. Он лично руководит картлийским войском и марабдинской дружиной. Он осматривает завалы, скачет с азнаурами вдоль Иоры, проверяя укрепления, отдает приказанья тысячникам и сотникам и ни на миг не забывает: за этим неприступным завалом стоит Георгий Саакадзе.

От Ганджи вниз по течению Кюракчая густой массой, как саранча, двигалось на Мовакани иранское полчище. Хриплые крики верблюдов, ржание коней и скрип кибиток день и ночь тревожили замерзшее предстепье. Белое снежное небо нависло над черным потоком сарбазов.

За шахом Аббасом тянулись колонны шах-севена. На левом краю скакала курдская конница. Оранжевое знамя с иранским львом угрожающе колыхалось над степью. По холодному песку, покрытому инеем, скрипя ползли персидские пушки. Сарбазы на верблюдах переправлялись через обмелевшую Куру.

Вскоре на моваканской степи раскинулся иранский стан. Зимние шатры из козих шкур хмуρο вырисовываются в сером утре. Усталые верблюды, подогнув ноги, лежат на холодной соломе. Беспокойно ржут нерасседланные кони. Вокруг дымящихся костров видны сгорбленные спины сарбазов. Зябко ежатся курды в своих коротких суконных куртках с откидными рукавами, плотнее надвигают красные, завязанные чалмой башлыки.

Так сидят иранцы долгие часы, а над ними кружатся огромные хищные степные птицы.

Сумрачный день тихо сменяется ночью.

Скачет тысяча сарбазов с он-башами, осматривая скалистые горы и лесные массивы.

Скачет Булат-хан, опытный в войнах Измаил-хан, храбрый Эреб-хан, неустрашимый Карчи-хан, непобедимый Караджугай-хан.

Скачут дозоры вдоль кахетинских укреплений, но неприступны теснины Упадари. Неприступны балки, завалы, рвы.

Мрачно сидит шах в своем шатре, обитом теплыми коврами. Мрачны ханы. Мрачно в своих шатрах молят аллаха муллы. По замерзшим звездам читают желание аллаха желтолицыцы маги.

Неделя. Другая. Крепко стоят горы.

Смотрят Луарсаб и Теймураз с высоты башни на затихший стан шаха Аббаса, смотрят, и у них пробуждается надежда.

Мечется на упадарийском завале Шадиман Бараташвили, снова и снова укрепляя теснины. Мечется и ни на миг не забывает: за этим неприступным завалом стоит Георгий Саакадзе.

Всю ночь идет пушистый крупный снег. Сарбазы с трудом расчищают входы в шатры. Они тесно сидят вокруг мангала с тлеющими углями. Они закутались в полосатые халаты, одеяла, войлок. В ногах глиняные горшки с горячей золой, покрытые тюфячками. Коченеющие пальцы тянутся к раскаленному мангалу.

Так они сидят часами с застывшими лицами, застывшими мыслями. Ни окрики юз-башей, ни рев удивленных верблюдов, ни вой водкоподобных овчарок не пробуждают сарбазов. Не привыкшие к службе, они, покорявшие афганцев и Багдад, ждут конца земных испытаний. И в часы намаза, обратив лица к Мекке, сарбазы молят аллаха ниспослать им битву или легкую смерть.

Стан гарема раскинут недалеко от шатра шаха Аббаса. Шатры наложниц стоят отдельно, шатры законных жен соединены узкими войлочными коридорчиками.

Просторный шатер Тинатин разгорожен. Большая половина — «зал приветствий» — обита стегаными шелковыми одеялами бледнорозового цвета. На земле поверх войлока лежат пушистые ковры. Кругом тянутся полукруглые широкие тахты, заваленные атласными и бархатными подушками и мутаками. Вокруг на бронзовых подставках жа-

рвни с красными углями. Прислужницы беспрестанно вносят раскаленные жаровни и уносят покрывшиеся пеплом. Из курильниц вьется фимиам.

На пуховниках в неге возлежат жены «льва Ирана». Здесь и Хорешани. Облокотившись о мутаку, она задумчиво смотрит на фиолетовый дымок курильницы. После разговора с Хосро-мирзой ее не покидало беспокойство, возрасставшее в тревогу.

И Тинатин не покидало волнение. Она догадывалась о замыслах шаха. Ее Картли в опасности. Ее любимый брат Луарсаб в опасности. Но чем может помочь она, невольница шаха? Она даже не смеет предаваться печали, ибо это может навлечь гнев шаха не только на нее, но и на Сефи-мирзу. А разве наложницы не подстерегают опалу наследника? Разве они не стремятся придвинуть к трону Ирана своих сыновей? Нет, Тинатин свято оберегает Сефи-мирзу, ибо его воцарение принесет Картли долгожданный покой. Этому она посвятила всю свою жизнь. И пусть бог простит ее невольное отступничество от креста святой Нины. Пусть примет ее жизнь, как жертву, во имя Картли. И смутно зарождается решение.

Тинатин провела рукой по струнам лютни. Она привыкла жить двойной жизнью: петь, наслаждаться поэзией, искусством танцовщиц и... думать печальные думы, проливая невидимые слезы.

До Тинатин долетали отрывки газелей Гафиза и Саади: «Зефир повеял на него ароматом ее роскошных черных локонов...», «...неутешный соловей напевает сладостные песни любви благоухающей розе».

Томным голосом вторая жена шаха воспевала картины вольной жизни и призывала к свободной любви.

Тихо перебирает струны лютни Тинатин. Бесшумно разносят прислужницы на золотых подносах засахаренные фрукты, виноградный сок, ширини — конфеты, розатон — напиток из засахаренных лепестков роз.

И тихо вьется из курильниц фиолетовый дымок фимиама.

Старший евнух, Мусаиб приподнял полу «зала приветствий», оглядел жен и снова опустил тяжелую парчу.

«Барсы» на конях мечутся перед укреплением Упадари. Чувство гордости приливает к их горячим сердцам. Грузины умеют защищать свою землю. Пусть год простоят проклятый шах, — он не сломит сопротивления гор.

Но... «барсы» знают: или они перейдут с проклятым шахом непроходимые горы, или навек распрощаются с дорогой Картли, с надеждой на победу азнауров.

Тогда как жить? Этот страшный вопрос тревожит, не дает сна, не дает покоя.

Точно магнит, притягивают «барсов» укрепления Упадари. И они часами кружат перед наглухо закрытыми воротами в Грузию.

Саакадзе первый сказал шаху: этот проход взять нельзя ни приступом, ни отвагой. Но он ничего не предлагал.

Целый день молча едет Саакадзе по воющему полю. Снежный вихрь кружится вокруг. Горный ветер вздымает гриву верного Джамбаза. Толстый слой снега лег на могучие плечи Саакадзе.

Ничего не замечает Георгий. Он стоит у порога, который надо переступить. Переступить через трупы народа, ради которого он, Саакадзе, пренебрег личными благами, семьей, жизнью людей, — и каких людей! Саакадзе не чувствует тяжести снега. Камень на сердце давит тяжелее. Но Георгий Саакадзе не уйдет. Не дрогнет рука, не дрогнет сердце. Так надо. Так надо для лучшей жизни грузин.

Саакадзе очнулся.

— Батоно, — шепчет посиневшими губами Эрасти, — батоно, шах-ин-шах целый день ищет тебя. Во все стороны посланы гонцы.

В шахском шатре шумно. Наконец, ханы решились сказать грозному повелителю Ирана о странной сонной болезни сарбазов.

Встревоженный шах пытливо посмотрел на своих советников. Но никто не смел высказать давно созревшее мнение.

— Значит, ханы считают, лучше отступить в Ганджу?

Ханы молчали.

Полы шатра откинулись. Саакадзе поспешно вошел и склонился перед шахом:

— Ты звал меня, повелитель?

— Мой сардар, ханы советуют отступить до весны в Ганджу. Они страшатся: не погибнет ли здесь войско «льва Ирана».

— Шах-ин-шах, весной будет еще хуже. Дороги превратятся в липкую грязь, маленькие потоки — в шумные реки, кустарник — в колючие заросли. Весной обвалы ломают леса, и целые скалы с деревьями и землей падают с гор. Весной весь народ скроется в лесах и горах, успеют спрятать скот, коней и богатство, что же тогда завоевывать? Кроме камней, ничего не найдем.

— Тогда, пока не поздно, надо отойти в Иран, — дрогнувшим голосом, едва слышно произнес шах Аббас.

С удовольствием отметил Георгий бледность шаха. В первый раз «лев Ирана» выдал овладевший им страх.

— В Иран?!

Георгий оглядел ханов: «Да, они тоже за возвращение в Иран».

— В Иран? — повторил Георгий. — Но разве у великого из великих шахин-шаха нет верного слуги Георгия Саакадзе?

Шах быстро поднял глаза и пристально оглядел Саакадзе:

— Ты думаешь пробить брешь в неприступном завале?

— Нет, мой повелитель, я думаю использовать другое средство. Отпусти меня с моими исфаганскими сарбазами и мин-башей «барсов» с их войском, и я тебе открою ворота Грузии.

Шах Аббас уже не сомневался: Саакадзе нашел средство проникнуть в Кахети. «Но не соблазнится ли грузин, — размышлял шах, — закрыть еще крепче ворота, которые он так широко предлагает сейчас открыть для повелителя Ирана?»

И шах Аббас как бы в раздумье сказал:

— Хорошо, мой сардар, ты поведешь иранское войско. И если исполнишь обещание, проси, что хочешь.

— Великодушный из великодушных, великий «лев Ирана», мои желания тебе известны, как и преданность солнцу Ирана. Прошу об одном: возьми под свое покровительство грузинский народ, уничтожь продавшихся Турции князей и слабого в своих чувствах к тебе царя Луарсаба. Ибо, пока жив Луарсаб, не покорятся картлийцы.

— Пока жив Теймураз, не покорятся кахетинцы... Тебе, Георгий, сын Саакадзе, доверяю войско. Я иду наказать изменников царей, предавшихся слабому султану. А грузинский народ мне — как сын от любимой жены. Повелеваю тебе выступить в четырнадцатый день рождения луны.

— Прошу разрешить завтра, мой повелитель.

— Ханы, — грозно повысил голос шах Аббас, — разбудить плеткой сарбазов! Мой сардар, через сколько дней откроешь моему коню ворота Упадари?

Ни одна морщинка не дрогнула на лице Саакадзе, хотя в это мгновение рухнула последняя надежда на возвращение шаха в Ганджу. Но он твердо сказал:

— Великий шах-ин-шах, ручаюсь жизнью, выведу тебя отсюда в три дня.

— Говоришь, в три дня? — проницательно посмотрел шах на Георгия. — Да, надо спешить, в Гандже остались твой ставленник Хосро-мирза, половина гарема, мой наследник и твой сын Паата, они с нетерпением ждут нашего возвращения. Поспеши, мой сардар, я буду ожидать от тебя вестей...

Саакадзе отлично понял намек, но спокойно поблагодарил шаха за память о Паата.

Саакадзе поспешил расположить против завалов Упадари отдельные группы сарбазов, приказав тревожить кахетинское войско и этим обмануть зоркость сторожевых башен, а сам ночью в полной тишине двинулся с исфаганскими сарбазами в обход Упадари через Аретх.

У подножья Аджиганских гор Саакадзе приказал оставить коней и верблюдов с вьюками. Отсюда иранское войско во главе с Караджугай-ханом Георгий Саакадзе повел лесом на Базар-дюв, через Ахтынские горы, только одному ему известной дорогой.

Еще будучи картлийским полководцем, Георгий Саакадзе хорошо изучил важные на случай войны горные тропы кахетинских хребтов.

И сейчас он выслал вперед курдов, и они под руководством Ростома расчищали путь от льда, снега и обвалившихся камней.

Перед горой Гудур Саакадзе остановил войско, отделил небольшой отряд сарбазов, одел их в белые бурки и белые папахи. Так же оделись «барсы» и Караджугай-хан. Только Саакадзе остался в своей бурке. Он повел сарбазов к вершине Гудур, и они увидели раскинувшееся внизу Кахетинское царство. Белые бурки, слившиеся со снежными склонами гор, не обратили на себя внимания кахетинцев, и войско стремительно начало спускаться к Алазанской долине. За белыми бурками лавиной бросились с гор остальные сарбазы. К полдню сигнахцы с ужасом увидели вторгнувшееся иранское войско.

Поскакали к Мукузани гонцы, по всей Кахети пронесся крик, зазвенело оружие.

Когда сигнахские гонцы прыгнули с коней у сторожевой башни Упадари, они застали там прискакавших раньше их гонцов из Тушети. Угрюмый дружинник прогуливал взмыленных коней.

В башне Луарсаб, Теймураз и князя слушали тушин: уже тушины — гомецарцы, чигминцы, прикительцы и цовцы — по сигналу седлали коней для спуска с гор в Алазанскую долину, как вдруг на всех сторожевых башнях вспыхнули огни. Совсем неожиданно со стороны Богосского хребта в Тушети вторгся шамхал с табесаранским полчищем, а со стороны Ведено — орды аварцев. И сейчас на всех подступах к Тушети идут кровавые бои.

Нетрудно было догадаться о подстрекательстве шаха.

Цари сильно встревожились. Орды

шамхала и аварцев могут прорваться в северную Кахети.

И в этот момент вбежали сигнахские гонцы...

Страшное смятение охватило не только кахетинское войско. Князья намеревались укрыться в свои замки, но Луарсаб и Теймураз строго повелели всем садиться на коней.

Собрав марабдинскую дружину, Шадиман, под предлогом подготовить помощь, ускакал к Ломта-горе. Луарсаб посмотрел вслед мчавшемуся Шадиману и облегченно вздохнул, словно какая-то тяжесть свалилась с его плеч.

Оставив небольшую дружину у завалов Упадари, Луарсаб и Теймураз повернули войско навстречу вторгнувшимся кизыл-башам.

Широко развернулась Алазанская долина, окруженная кольцом пламенеющих в закате гор. Луарсаб и Теймураз круто повернули влево и повели галопом кахетинскую конницу и картлийскую дружину к Желети.

У стен Желети царские войска столкнулись с Караджугай-ханом. До поздней ночи длилась неравная сеча. Наутро бледное солнце осветило камыши, сухие кустарники и рвы. Всюду лежали трупы. Стонали раненые и умирающие.

На измятом снегу скорчилось разрубленное знамя с изображением пречистой богородицы и рядом, в кровавой луже, — иранское знамя с изрубленным золотым львом.

По пустынной горной дороге Луарсаб и Теймураз отступали к Ломта-горе. За ними в безмолвии следовали девять братьев Херхеулидзе и часть уцелевшей конницы.

Кахети притаилась. Все города наглухо закрыли свои ворота. На холмах и утесах небольшого поселения Сигнахи приготовились к защите сигнахская дружина и народное ополчение.

Но Георгий Саакадзе прошел мимо Сигнахи. У Караагача он расположил войско на отдых.

Караджугай-хан настаивал на стремительном походе к Упадари, но Саа-

кадзе, поддерживаемый «барсами», убедил хана раньше проверить кахетинский тыл.

— Необходимо знать, сколько врагов у тебя за спиной, — сказал Георгий.

Караджугай-хан согласился, и они, разделив войско, двинулись — Саакадзе к Алванскому полю, Караджугай-хан к Алазанской долине.

Саакадзе обходил города. Но в деревнях устраивал привалы, строго приказав сарбазам не трогать жителей и ничего не брать.

И крестьяне Кизисхеви доверчиво сказали Саакадзе:

— Тушины не придут, у них война с шамхалом, а цари на завале Упадари.

На рассвете Саакадзе повернул на юг и двинулся через Муганло к Упадари.

Но Караджугай-хан, после неожиданной битвы с Луарсабом и Теймуразом, где он потерял половину войска и сам был ранен в руку, решил немедленно пробить брешь в завале Упадари и влупить шахские войска. Безостановочно, всю ночь, с зажженными факелами, Караджугай-хан вел сарбазов в тыл кахетинской дружине, еще охраняющей Упадари.

Через два дня, на рассвете, этой же дорогой спешил Георгий Саакадзе. У сарылярского леса Саакадзе встретил передовой отряд шаха Аббаса и догадался о трагедии кахетинских дружинников на упадарийском завале.

Эмир-Гюне-хан осадил коня и радостно приветствовал знаменитого сардара Ирана Георгия Саакадзе.

Персидские барабанщики и флейтисты играли торжественную встречу.

На далеких холмах мелькали черные точки.

— Это шах-ин-шах спешит на соединение с тобой. Ты счастливый, наверное, родился в созвездие девятого неба, ибо шах решил подарить тебе лучший город Кахети.

Саакадзе ничего не ответил и галопом поскакал навстречу шаху Аббасу.

К Упадари тайно проникли гонцы из Греми, Телави, Загеми, и кахетинцы узнали — царь Теймураз ушел из Кахети.

Ранним утром в Гречи, столицу Кахети, прибежали пастухи и, захлебываясь от радости, рассказали, как на Карагагинском поле их поймали сарбазы и потащили к грозному шаху. Но шах Аббас дал им подарки — вот этот кисет с монетами, вот этот шелковый платок, вот эту новую одежду, папаху и, отпустив, сказал:

— Идите с миром домой, занимайтесь своим делом — я не против народа иду, а против изменников князей.

Рассказ пастухов, как дым лесных пожаров, разнесся по Кахети. Тайные посланники от Георгия Саакадзе совсем успокоили народ. Кахетинцы заколебались: зачем нам драться? Сопротивлением только озлобишь доброго шаха. Пусть наказывает князей, — они тоже не всегда хорошее сердце к народу держат.

Когда шах Аббас с войском подошел к Гречи, ворота крепости широко открылись, и иранское войско с криками «алла!», «алла!» неожиданно хлынуло в город. Началась кровавая расправа. Опомившись, кахетинцы пытались защищать свои дома. Их беспощадно истребляли. Воздух сотрясая от грохота, звона, воплей, проклятий женщин, лязга шашек, плача детей и визга стрел.

Немногим кахетинцам удалось бежать из Гречи к низовьям Алазани, к Белокани, к подножью Борбало, они оповещали народ о коварстве шаха, о предательстве Саакадзе.

Над страной навис ужас. Холод и глубокий снег, небывалый в Кахети, отрезал пути спасения в горы и леса.

Тушины — конники Датвиа — не переставали поглядывать на горы Тушети. С вершин, нависших над Алванским полем, дул ледяной ветер. Тушины знали: за этими горами их братья дерутся с исконным врагом. Они мысленно считали, сколько отрезанных кистей вражеских рук они могли бы просолить и прибить к дверям своих саклей. Но, верные данному слову, тушины оставались на сторожевом посту у подножья Борбало.

И сам седой Датвиа молча сидел у тлеющего костра.

Услышав о предательском избиении в Гречи, глубоко потрясенные оскорблением женщин, тушины ринулись галопом вниз по течению Дурича, и, проскакав Кварели, они, размахивая обнаженными шашками, ворвались в Гречи.

Карчи-хан поспешно выстроил сарбазов в густую колонну, преграждая путь тушинской коннице. Но тушины, сойдясь вплотную с сарбазами, искусно повернули коней влево, стремительно обскакали колонну и, не дав опомниться сарбазам, бросились рубить шашками.

Седой Датвиа и Чуа, юный внук его, первые врзались в колонну сарбазов.

Изумленно смотрел Карчи-хан, как редели ряды сарбазов. Тушинские шашки прорубали кровавые улицы. Отрубленные головы отбрасывались копытами коней. Сарбазы были стоптаны. Смятение охватило иранцев.

Разъяренный Карчи-хан вводил в битву новых и новых сарбазов. С тушинами теперь дрались рослые мазандаранцы.

С балкона дворца, наблюдая за невиданным конным боем, — сто против тысячи, — шах Аббас радовался своей прозорливости. Если бы шамхал не держал тушин в горах, то...

Шах Аббас приказал изловить дерзких тушин живыми. Но ни один не дался в руки врага, дорого продавая свою жизнь. В смертельной схватке падали тушины и их боевые друзья — кони.

Последние тринадцать могли бы прорваться и ускакать, но тушины знают одну почетную смерть — в схватке с врагом, и ни один тушин не покинет поля битвы, обогрелного кровью его братьев.

Датвиа взмахнул мечеподобным кинжалом.

— Э, эй, тушины!!

И последние тринадцать стали у древнего дуба тесным кругом, плечом к плечу, вскинув круглые щиты, окованные железом.

Они приседали на корточки и, приняв удар на щит, стремительно выпрямлялись, нанося сокрушительные ответные удары. Их шашки разлетелись осколками, точно серебряные птицы. Они обнажили мечеподобные кинжалы.

По кольчуге Датвиа стекала кровь. Лавина сарбазов бросилась на приступ.

Лица тушин потемнели.

Датвиа, победно подняв щит, снова грозно выкрикнул:

— Э, эй, тушины!!

И сновой яростью мечеподобные кинжалы рассекали головы сарбазов, вонзали острие в сердце врага.

Но один за другим падали тушинские витязи... Вот упал Мгела... Вот Важика... Вот Бахала... Вот еще...

Остались двое — Датвиа и Чуа. Они взялись за руки — обряд братства перед смертью — и дрались, пока не упали вместе, не выпуская из крепко сжатых рук залитые кровью кинжалы.

В бешенстве ударил Карчи-хан ногой в изрубленное лицо Датвиа и велел тут же на дубе повесить тринадцать мертвых тушин.

Храбрецы остались жить в песнях тушинского народа.

Расположившись на кейф в тронном зале, шах высказал Караджугай-хану свое сожаление, что Саакадзе с «барсами» и отрядом исфаганских сарбазов вынужден был уйти на усмирение Белокани. И вот он, «лев Ирана», лишился увлекательного зрелища битвы искусного полководца Саакадзе и неустрашимых мин-башей «барсов» с тушинскими шайтанами. И, следя за кругами голубоватого дыма, добродушно добавил:

— Аллах знает, кто бы раньше выронил щиты.

Караджугай-хан понимающе посмотрел на шаха и, медленно погладив сизый шрам на левой щеке, ответил:

— Шах-ин-шах, ты можешь усладиться таким зрелищем после покорения всей Грузии.

Когда к вечеру Саакадзе с «барсами» подъезжал к Греми, город дымился в развалинах, из которых ему больше не суждено было подняться.

Проскакав вперед с «барсами», Саакадзе тихо сказал по-грузински:

— Помните, никакого неудовольствия! Лица ваши должны сиять счасть-

ем. От этого зависят не только ваши жизни, но и жизни тысяч грузин...

И, не оборачиваясь, помчался вперед. В надвигающейся мгле странно торпорщилась черная мохнатая бурка.

За Саакадзе скакали Эрасти, Папуна и исфаганские сарбазы. Пропустив свои отряды вперед, «барсы» долго стояли, безмолвствуя.

— Что же нам делать, друзья? — спросил Ростом.

— То, что велел Георгий, — холодно ответил Даутбек.

— И еще надо помнить: кто пошел по высокой дороге, не должен бояться обрывов... Будем же веселы, бедные «барсы», — сказал Дато.

— Не знаю, кто куда подымается, а я и одним глазом отсюда вижу: грузинский город от персов в обломках лежит, — Матарс нервно сорвал с глаза черную повязку и выбросил на дорогу.

— А я с этого дня плюю на свои руки! — с ожесточением выкрикнул Пануш.

— Или я чорту башку сломаю, или чорт мою башку сломает, но я ничего не понимаю... Глубоко в сердце смотреть не хочу, но, раз Георгий сказал, чтобы терпели, значит, он что-то замышляет.

— Конечно, Димитрий, замышляет... Мне сегодня этот сухой Петре сказал: на Картли персы идут.

Гиви вскрикнул и схватился за сердце.

— Тише, ишак! А ты думал отсюда шадимановские замки достать?

Ночью бледная луна освещала развалины Греми. Одинок бродил по пустынным улицам Георгий Саакадзе. Где-то сквозь заглушенное рыдание слышалась оплакивающая воина тушинская песня:

Зеленое поле веселий тушин  
В тумане поблекло, в снегу побледнело.  
Разорваны нити сказаний долин  
И сердце тушинское оледенело.  
Цветы нашей юности — смех наших струн —  
Кериго<sup>1</sup> обжег своим ветром холодным,

<sup>1</sup> Кериго — хребет, разделяющий земли обществ пирикительских кистей.



И игры тушин смыл вспененный Аргун<sup>1</sup>,  
И песню умчал он с припевом народным.

Георгий остановился. Прислушиваясь к песне, опустил на камень. Мохнатая старая собака, жалобно визжа, подползла к Георгию. Он погладил мокрую шерсть. «Тартун» — прошептал Георгий, вспомнив, как в Носте, в далеком детстве, его преданный Тартун так же повизгивал, не находя себе места после опустошительного набега казахов. Георгий безотчетно стал шарить по карманам и вытащил горсть золотых персидских монет. Он разжал руку и отшвырнул монеты. Золото звонко ударилось о разбитый кувшин. Он поднялся и снова побрел. Луна, осторожно раздвинув тучи, выглянула на пустынную улицу.

Вдруг Георгий остановился.

Перед ним на ветвях древнего дуба качались тринадцать повешенных тушин. Мутные пятна луны скользнули по кольчугам. Вокруг дуба валялись сломанные стрелы, щиты, сабли, мечеподобные кинжалы. Прямо на Георгия открытыми мертвыми глазами смотрел Чуа.

Георгий вздрогнул: ему привиделось лицо Паата... Он подошел, отбросил черную прядь с глаз мальчика. На груди седобородого витязя он увидел кусок черной кожи. На ней белели грузинские буквы:

*«Не потому, что собаки, а потому, что грузины».*

Точно боясь потревожить сон мертвых, Георгий осторожно поправил доску и твердым, слишком твердым шагом отошел...

## XX

От высот Саганлухи к Ломта-горе, преграждающей подступы к Картли, и от Ломта-горы далее к Самшвилде<sup>2</sup> протянулись новые укрепления, возведенные Луарсабом.

Скованным кольцом защищают подступы к Картли боевые башни на высотах, крепостные стены с зубчатыми площадками, волчьи ямы, завалы, пересекающие горные пути, огромные глыбы скал на цепях, — вот-вот обрушатся на врага, — мешки с песком и землей, готовые засыпать дерзкого.

Но не только на железо и камень надеется Луарсаб. Царское войско и все княжеские дружины стянуты к этим укреплениям. На вершине Ломта-горы, в самом центре, расположено царское войско: тбилисская, мцхетская, горийская и тваладская дружины. Во главе царского войска стоит сам Луарсаб, а с левого края — Теймураз с малочисленной кахетинской конницей.

От правых отлогих Ломта-горы вниз по ущелью расположены конные и пешие дружины светлейших Баграта и Симона, и рядом — конная дружина копьеметателей Амириндо Амилахвари. К верховьям речки Алгети растянул дружины своего знамени и регулярную дружину царских стрельцов Заза Цицишвили. В долине между четырьмя горами скрыты легкоконные дружины Эристави Ксанских. Царевичи Вахтанг и Кайхосро прикрывают нахидурской дружиной южный проход Сарванского ущелья. Марабдинская дружина придвинута Шадиманом к переправе через Алгети.

Легкая конница Леона, Мераба и Тамаза Магаладзе притаилась в засаде в узком ущелье Куры между Ломта-горой и Карадхунанисским хребтом. Севернее, в подкрепление Магаладзе, придвинуты конные лучники Джавахишвили. В глубоких расщелинах держат наготове самострелы сабаратинские стрельцы.

На всех выступах, укрепленных башнями, откуда видны дальние ущелья и долины, расположены дружины князей Липарит, Газнели, Амирэджиби, Квели Церетели, Пешанга Палавандишвили и других князей Верхней, Средней и Нижней Картли.

Не пришли только Нугзар и Зураб Эристави Арагские.

А старый князь Мухран-Батони, по просьбе Луарсаба, занял с войском Са-

<sup>1</sup> Аргун — река, вытекающая с Хевсурских гор.

<sup>2</sup> Самшвилде — древний укрепленный город в 60 километрах юго-западнее Тбилиси.

мухрано — тбилисскую цитадель для защиты Тбилиси и прохода в Среднюю Картли.

Баака Херхеулидзе с цавкисской дружиной и своими копейщиками остался защищать Метехский замок.

Церковное войско католикоса заняло укрепления Мцхета и Джварис-сакдари для защиты узкой долины Куры и подступов к Мцхета.

Католикос выбрал своей стоянкой крепость Нацихари.

Луарсаб учел причины поражения в Кахети, и, сменяя друг друга, зоркие азнауры Гуния и Асламаз с тваладскими сотнями на белых и черных конях день и ночь объезжали высоты, следя за всеми горными тропами, дабы во-время предотвратить неожиданный обход.

Луарсаб в плотно надвинутой высокой белой шапке и белой бурке, неотступно сопровождаемый девятью Херхеулидзе, то объезжал позиции, то на передовых укреплениях подбадривал дружинников, — орел узнается по полету, а грузин по битве на Ломта-горе, — то в глубокой задумчивости часами сидел на верхнем выступе Львиной горы, вспоминая Тэкле, промелькнувшую в его жизни, как розовое виденье.

С Ломта-горы Луарсабу была видна Джоджохета — равнина, прозванная адом в память страшных опустошений и нашествий завоевателей. Обломки башен, монастырей и крепостных стен остались немymi свидетелями страданий народа и варварского разрушения.

Кто из грузин не знает Ломта-гору — «гору львов»? На ней с древних веков, со времен, давно забытых, грузинские богатыри выходили на бой против варваров. Звенели мечи, гнулись кольгучи, падали кони, и скалы обгалялись кровью победителей и побежденных.

Древние персиане<sup>1</sup> фалангами врезались в Ломта-гору. На утесы Ломта-

горы за Абиб-Ибн-Масламом<sup>1</sup> и Мирван-Абдул-Казимом<sup>2</sup> кидались арабы. Хозары<sup>3</sup> с гиканьем и посвистом неслись на Ломта-гору. Сельджуки с ревом мчались за Арпасланом<sup>4</sup> на Ломта-гору, размахивая бунчуками. Хорезмцы, потрясая копьями, стремительно бросались за Желаледдином<sup>5</sup> на Ломта-гору. Монгольские полчища Чингиз-хана взлетали на Ломта-гору с хвостатыми «оронги» за Багадуром<sup>6</sup>. Самаркандские орды Тимурленга<sup>7</sup> с криками «сергюн» осыпали стрелами Ломта-гору.

Побежденные усеивали трупами Ломта-гору, оставались пленными и обогащали трофеями грузин богатырей.

Победители беспощадно истребляли города и деревни. Угоняли десятки тысяч людей в далекие монгольские, персидские и тюркские земли. А деревни и города заселяли монголами, тюрками, персианами и татарами, стремясь омусульманить Грузию.

И вот сейчас опять грозовые тучи легли на умолкнувшую округу.

Отсюда, с Ломта-горы, конечного пункта Картлийского царства, виднелись прижатые к скалам и распластанные на равнине жилища потомков завоевателей. Тяжелыми тенями нависли туркмено-монгольские поселения Сарван, Муганло, Гяур-Арх, Лачбадик.

А дальше к востоку татары сунниты, потомки завоевателей османов, бросали Ягуplo, Имир-Ассан, Агбалао и Оромашен. Они поспешно нагружали алачухи — войлочные татарские кибитки, стогнали скот и через холодный лес устремлялись на Карс, в глубь Турции, спасаясь от шиита шаха Аббаса.

А на берегах Куры и Храми притаились поселения потомков завоевателей персиан — Караджали, Сарачли, Ка-

<sup>1</sup> Абиб-Ибн-Маслама — знаменитый арабский полководец — вторгся в Грузию в 643 г.

<sup>2</sup> Мирван-Абдул-Казим — вождь арабов, прозванный грузинами «Кру» — грузин. 743 г.

<sup>3</sup> Хозары вторглись в Грузию в 764 г.

<sup>4</sup> Арпаслан — султан сельджуков — вторгся в Грузию в 1064 г.

<sup>5</sup> Желаледдин — султан Хорезма (Хивы и Бухары) — вторгся в Грузию в 1226 г.

<sup>6</sup> Багадур — полководец Чингиз-хана — вторгся в Грузию в 1230 г.

<sup>7</sup> Тимурленг — Тамерлан «Железный хромец» — вторгся в Грузию в 1386 г.

<sup>1</sup> Древние персиане вторглись в Грузию в 368 г. н. э.

панакчи. Они сейчас, надеясь на расширение пастбищ, радостно поджидали иранское войско.

И на эту Ломта-гору сейчас рвался Георгий Саакадзе. Он знал ее, эту гору славы. Каждая лошинка, каждая тропа, каждый ров, каждое ущелье и каждый изгиб на Ломта-горе были знакомы Георгию, как свои руки.

Он знал: Луарсаб и могущественные князья Картли сейчас на Ломта-горе. Он даже определил, где расположены дружины царя и князей.

И вот теперь можно одним ударом расправиться с ненужным царем и владетельными князьями.

Теперь можно без лишних жертв, сохраняя в целости Картли, здесь, в одном кулаке, раздавить власть князей. А потом мчаться, мчаться от замка к замку, крошить и разрушать ястребиные гнезда.

И Саакадзе, едва владея собой, вескими доводами убеждал шаха поручить ему взятие Ломта-горы.

Он клялся — ни один не уйдет от его тяжелого меча. Он клялся — склонить к стопам шах-ин-шаха величие царя и князей. Он клялся — все богатство замков бросить к стопам шах-ин-шаха. Он клялся... а шах Аббас пристально смотрел на Саакадзе, и глубокое подозрение все больше охватывало повелителя Ирана.

«О, аллах, — размышлял шах Аббас, — не хочет ли великодушный Саакадзе, отправив царя и князей в невольное путешествие на седьмое небо, захватить картлийский трон? Недаром пронзительный сардар заблаговременно увез семью из Исфагани. Не отягощает ли грузин мои уши лживыми уверениями? Отпустить? Дать сарбазов? А может, у него остались в Картли приверженцы? Может, моя благосклонность укрепила их в желании видеть Саакадзе на престоле? Но мудрость, подсказывающая мне осторожность, не затемняет моей памяти. Не я ли его оживил? Не я ли дал ему вкусить сладость неувядаемых побед? Нет, клянусь Неджефом! Это частые измены высококоротенных ханов навели меня на подозрительные размышления. Ибо сколько

побед через Георгия Саакадзе ниспослал мне аллах. Сколько караванов с золотом пригнал в Исфагань мой неустрашимый в битвах сардар. Но предосторожность — лучший щит от глупости, да не оставит меня милость аллаха. Пусть грузин продолжает одерживать для меня неувядаемые победы, пусть продолжает следовать за моим конем...

И шах Аббас послал на Ломта-гору Карчи-хана.

Хорешани облегченно вздохнула: «барсы» не пойдут на Ломта-гору, не будут драться с картлийцами.

И хотя она знала о неизбежности столкновения, но оттяжка всегда приносит радость.

Целый день Хорешани обдумывала твердо принятое решение. Впервые за совместную счастливую жизнь она скрыла от Дато волнение души, скрыла свой опасный замысел.

Она вынула из арабского ларца чернильницу в обкладке тамбурного вязания цветным бисером, обмакнула тростниковую палочку в чернила из растительных красок и решительно развернула вошеную бумагу:

«Светлейший, богом возлюбленный и боговенчанный царь Картли, Луарсаб!

Во имя бога, я, княгиня Хорешани, обращаю к тебе мольбу. Выслушай без горечи и насмешки верную Хорешани, не изменяющую во веки вечные своему сердцу.

Что может женщина сказать мудрому царю! Но посылаю тебе, царь мой, вести, по воле божией и пресвятой богородицы дошедшие до моего слуха в Гандже.

Русийские послы, прибывшие к шаху Аббасу с грамотой от нового царя Московии, много говорили шаху о заступничестве русского царя Михаила за Иверские земли и напоминали шаху о единоверии и о давнишнем покровительстве Руси всем землям грузинских царств.

Царь мой, светлый Луарсаб, не медля, шли гонцов в Терки, проси воеводу русского на помощь. Пусть пришлет христианскому войску стрельцов с огненным боем.

Знай, мой царь, незаконнорожденный царевич мохамметанин Хосро открыл свои хищные глаза на картлийский трон. Да не будет царю царствующих, Луарсабу, страшна битва с коршуном.

Царь мой, пошли со своими людьми в Терки и моего гонца, верного Омара. Он по желанию азнаура Дато находился при русийских послах и учился толмачить у русийских людей.

Умоляю во имя пречистой богородицы, не пренебрегай советом верной тебе Хорешани. Уповаю на милосердного бога — он снизошлет благословение на царя Луарсаба, снизошлет прозрение, дабы ты, как в волшебном кристалле, мог разглядеть твоих ближних князей.

Да восстановится страна наша, Иверская земля и христианство, да не погибнет вера Христова и твой царский род.

Приложила руку княгиня Хорешани».

Хорешани позвала своего верного слугу Омара, сопутствующего ей с детства. Омар не раз клялся — он за княгиню Хорешани с удовольствием проглотит раскаленный кинжал.

Выслушав Хорешани, Омар сказал — или он сегодня увидит Луарсаба, или чорт увидит сегодня его, Омара, на своем вонючем обеде. В Терки он тоже проберется, если даже царю Луарсабу неугодно будет его послать. Он давно дал обет пожить в русийской стране, дабы очиститься от мусульманского поганства. (Это слово он выучил у русийских послов.)

Омар смущенно провел рукой по опущенным густым усам, когда Хорешани велела ему снять чоку, и тут же зашила послание под левый рукав. Она сунула тугой кисет в карман чохи, перекрестила Омара и дала «на счастье» поцеловать свою руку.

С наступлением темноты Омар незаметно выскользнул на своем коне из стана.

нутый на краю равнины Джоджохета, еще спал. Только бродили караульные сарбазы. Вдали, над полосатым шелковым шатром шаха Аббаса, развевалось знамя с золотым львом.

Внезапно на сторожевом холме персидский набат<sup>1</sup> рассыпал тревожную дробь. На окровавленном коне в стан ворвался раненный в голзву чапар. Несмотря на ранний час, чапара сразу пропустили к шахскому шатру, и он, соскочив с коня, распростерся ниц перед закрытым пологом.

Стан пришел в движение. Полусонные сарбазы, хватая оружие, выбегали из шатров. Проснулись ханы. Но никто не решался нарушить сон повелителя Ирана. На ходу набрасывая бурку, крупными шагами приближался Саакадзе.

Посмотрев на распростертого чапара, Караджугай-хан перешагнул через него, отстранил дежурного молодого хана и осторожно вошел в шатер.

— Говори! — слышался грозный голос шаха Аббаса.

Телохранители шаха втащили чапара в шатер. Заплетающимся от страха языком чапар поведал об ужасном поражении Карчи-хана.

Сначала все предвещало победу. Высланные Луарсабом с правого края Ломта-горы дружинники на черных конях и с левого края на белых, увидя тучу сарбазов, повернули коней за своими начальниками и позорно ускакали обратно, не приняв боя. Их преследовали до самой лощины, где они мгновенно исчезли. На стрелы и на раскаты пушек грузины не отвечали, на всех выступах зоркие сарбазы видели смятение.

Сам Карчи-хан с высокой горы наблюдал, как грузинские дружины вскакивали на коней и бежали со всех укреплений.

Но осторожный Карчи-хан только ночью повелел начать общий приступ.

Сарбазы плотными рядами, сливаясь с ночным мраком, подползали к укреплениям. Курды первыми вскарабкались

Мутный рассвет едва осветил шатры из козьих шкур. Иранский стан, раски-

<sup>1</sup> Набат — ударный музыкальный инструмент вроде барабана.

на средние утесы и сбрасывали вниз плетеные лестницы и канаты. Когда весь склон был облеплен сарбазами и курдами, стали втаскивать метательное оружие. В корзинах подымали пищали, зажигательные снаряды, стеклянные шары, наполненные зловонным ядом и порохом. Курды начали взбираться выше, таща за собой крючки и плетеные лестницы. И когда они уже закидывали веревочные петли за зубцы крепостных стен, на боевых башнях внезапно запылали тысячи огромных факелов.

Напрасно сарбазы и курды прижались к скалистым бокам. Пламя осветило все выступы и склоны. И словно рухнула Ломта-гора. С громopodobным грохотом обрушились глыбы камней, бревна, лилась горячая смола, известь, обвалом сыпались песок, мелкая соль, угольная пыль.

Лопались стеклянные шары, воспламенялись зажигательные снаряды, зловонный яд и пылающий порох довершили поражение сарбазов. Тысячи зажженных стрел догоняли спавшихся.

Сарбазы, стоявшие у Ломта-горы, бросились на равнину, но из темных расщелин выскочили всадники на черных и белых конях и, преследуя, рубили бегущих. Карчи-хан с мазандаранцами спешил укрыться в узком ущелье Куры, но легкая грузинская конница, перерезав дорогу, обрушилась на Карчи-хана. И только благодаря храбрости и ловкости хану удалось прорвать смертельное кольцо и ускакать с горсточкой мазандаранцев.

Спасшиеся сарбазы видели, как всю ночь на высоком выступе Ломта-горы стоял воин в белой бурке и высокой шапке.

Вечером прискакал Карчи-хан. На коране хан поклялся вернуть себе в беспощадном покорении Гурджистана славу непобедимого полководца.

До первой звезды совещался встревоженный шах Аббас с ханами. А когда остался один, погрузился в невеселые думы. Он рассчитывал на беспрепятственное шествие по Грузии, но, еще не переступив порога Картли, потерял большое войско. Сильно тревожила Турция: «Необходимо захватить Гори, дабы отре-

зать османам путь на соединение с Луарсабом. Султан Ахмет глуп. Но Азампаша двух султанов проглотит. Надо спешить, ибо сказано: опоздавшего всегда ждет неудача. Ханы клянутся: «лев Ирана» непобедим!.. А разве однажды лев не погиб от укуса комара? Надо спешить в Гори. Тревожит и Ганджа, где оставлены русийские послы. А что, если их не удержит Хосро-мирза? Не пленники. А что, если русийский царь веру выше торговой дружбы поставит? Говорят, отец молодого царя—патриарх. Нет, опасно медлить, как с Астраханью. Необходимо покорить Грузию и Шамхалат. Но как?»

Затруднительное положение шаха Аббаса разрешили грузинские князья...

На верхней башне Ломта-горы реет знамя Багратидов. Но в грузинском стане не празднуют победу, в стане тихо.

В белом шатре, переполненном дружинниками, слышится проникновенный голос архиепископа Феодосия. Раскачивается кадильница и стелет синий дым перед потускневшей иконой Кватахевской божией матери.

В шатрах князей шумно. Каждый заносчиво старается приписать победу себе. Каждый думает о выгоде своего замка. Шадиман усиленно разжигает воображение князей обещанием богатых трофеев в случае поражения шаха, а главное, избавлением от азнаурской опасности.

Только в шатре Баграта тихо. Говорят шопотом.

— Уж не думаешь ли, мой светлейший Баграт, стоять, как верный дружинник, в долине, укрепляя трон Луарсаба?

— Нет, мой Амириндо, думаю другое. Надо уйти не слишком поздно, но и не слишком рано. Бог знает, как может повернуться война. А вдруг Зураб и Нугзар устыдятся и придут на помощь Луарсабу? Вдруг собачник Мухран-Батони притащится сюда со своей бесчисленной сворой? Вдруг Трифилий пригонит монастырских чертей? Вдруг Георгий Имеретинский, как дурак, вме-

шается не в свое дело? А разве Леван Дадияни или Мамия Гуриэли не чувствуют, где пахнет золотом? А когда ты видел Манучара Мегрельского сидящим дома, если у соседей праздник? Только убедившись, что перечисленное не сбудется, можно уйти. Иначе навек потеряешь Картли и картлийский трон Багратидов. И тогда можно очутиться в Исфгани и, поселившись против дворца Саакадзе, созерцать его величие, обглядывая кости с шахского стола.

Не раз велись такие беседы. Багрat выжидал. Первый бой встревожил его. Луарсаб может победить, и тогда он, Багрat, навсегда распротится с картлийским тронem. Но зачем ждать? Если притти сейчас, после победы Луарсаба, шах особенно оценит такую покорность... Если притти после победы шаха, то не посмеется ли персидский лев над запоздалой преданностью? И не отдаст ли проклятому Саакадзе замки его и Амириндо? Конечно, посмеется и, конечно, отдаст. Нет, надо притти во-время, не слишком рано, но и не слишком поздно. Тем более, цари Имерети, Гурии и Мегрелии медлят.

Багрat, Симон и Амириндо ночью тайно стянули свои дружины и вывели их из ущелья, оголив правые отлоги Ломта-горы.

Когда Луарсабу утром донесли о бегстве трёх князей, он задумчиво сказал: — Это только начало.

Князья, узнав о бегстве светлейшего Баграта и Амириндо, переполошились: не опоздать бы им, ведь шах обещал всем явившимся к нему с покорностью фирманы на сохранение замков и награду владениями князей, оставшихся верными Луарсабу.

Через день Луарсаб узнал о новой измене. С верховьев речки Алгети увел свои дружины Цицишвили.

Обнажив Карадхунанисское ущелье, скрылся с конными лучниками Джавашишвили.

Тихонько ночью за ним ускакали князья Магаладзе с легкоконными дружинами.

Кахетинские князья Нодар Джорджадзе и Давид Асланишвили сняли с позиций и увели конницу Теймураза.

И тотчас же из ложины четырех гор вывели дружины Эристави Ксанские. За ними, снявшись с высот, исчез со своей дружиной Пешанга Палавандишвили.

Эта неслыханная измена князей Картли в момент напряжения всех народных сил, в момент победы, сильно подорвала дух народа. Города и деревни не знали, на что решиться:

— Князья все изменили, а если Шадиман победит нашими руками, еще тяжелее на шею ярмо наденет.

— А шах, если победит, что наденет?

— Шах не победит, Георгий Саакадзе не пустит.

— Из Кахети старый Роин пришел. Клянется: Георгий в Кизисхеви к народу доброе сердце держал.

— Георгий на народ не может сердиться, против князей идет.

— С народом Георгий дружен.

— И теперь Георгию надо верить...

Такие разговоры не прибавляли дружинников Луарсабу.

И с вершины Ломта-горы Луарсаб видел, как на равнину «ада» — Джорджохета — лавиной хлынуло иранское войско, стремясь к обнаженным позициям.

В этот час Асламаз привел к Луарсабу гонца от Хорешани. На гонце клоунами висела бурка и из рваных цаги торчали посиневшие пальцы. Видно, не легкий путь проделал Омар.

Прочитав послание, Луарсаб посветлел: отрадно знать о душевной чистоте грузинской женщины.

Луарсаб призвал в свой шатер Гуния и Асламаза. Он поблагодарил начальников тваладской конницы за верность Багратидам и спросил, хотят ли они оказать большую услугу Картли?

Гуния и Асламаз вынули шашки и на скрещенных лезвиях поклялись в верности царю.

Луарсаб сказал о своем тайном намерении послать их, опытных в боях и в красноречии, за помощью к русийскому воеводе.

Ночью, воспользовавшись вьюгой, Асламаз и Гуния, выбрав верных дружинников, — двадцать на черных конях и двадцать на белых, — в сопровождении Омара выехали тайно от всех, осо-

бенно от Шадимана, через горы в Терки.

Утром Шадиман язвительно докладывал Ауарсабу о позорной измене азнауров Гуния и Асламаза, бежавших ночью с сорока дружинниками.

Ауарсаб выразил сожаление, что позорный пример князей заразил и азнауров, и, словно не замечая неудовольствия Шадимана, повелел младшему Херхеулидзе пригласить царя Теймураза.

На быстром совете Ауарсаб, Теймураз и Шадиман решили не жертвовать бесцельно последним войском, вырваться из окружения и отступить к Тбилиси.

Медленно спустилось с высокой башни Ломта-горы знамя Багратидов.

«Барсы» рвались в Картли. Георгий поспешил к шаху Аббасу с предложением нового плана взятия Ломта-горы.

Как бы в знак смирения перед шахом, Георгий был одет в скромную грузинскую чоху, на простом кожаном ремне висела шашка, некогда подаренная Нугзаром.

Еще издали Георгий увидел у шатра шаха оживленную толпу ханов и начальников сарбазов. Шахская стража проводила трех берберийских коней в дорогом уборе.

Перед Георгием почтительно расступились молодые ханы. Георгий откинул полог шатра и ужаснулся. Слово раскаленное железо обожгло лицо. Он с усилием разжал руку, сжимавшую эфес меча. Овладев собой, Георгий вытер на лбу холодный пот и с непроницаемым лицом вошел в шатер.

В приемной шатра, переполненной ханами, Баграт, Симон и Амириндо в персидских одеяниях и в чалмах ждали выхода шаха. Георгий увидел, как вышел шах и князья бросились перед ним на колени с выражением полной покорности и просьбой принять их в число воюющих с Ауарсабом. Георгий заметил, как шах едва скрывал счастливое изумление.

Шах несказанно обрадовался и кстати вспомнил, как эти Баграт и Амириндо чуть не изрубили Али-Баиндура, приняв его за турка.

Весь следующий день прошел в приеме гостей. Прибыли Магаладзе, Джавахишвили, прибыли и другие князья,—все враги Саакадзе, с которыми он жаждал встречи в бою, которых мечтал раз навсегда убрать со своей дороги.

Князья один за другим изъявили готовность принять мохамметанство.

Шах повелел ханам приказать иранскому войску не приближаться на расстояние агаджа к владениям прибывших князей и не щадить непокорных, оставшихся верными Ауарсабу.

На вечернем пиру шах торжественно вручил князьям фирманы на неприкосновенность их жизни и замков. Вместе с фирманами были преподнесены драгоценные дары.

Потрясенный Саакадзе с презрением отвергал все попытки князей сблизиться с ним. Князья, скрывая бешенство, вынуждены были выражать Саакадзе, приближенному шаха Аббаса, уважение и даже восхищение...

«Лев Ирана», узнав об оставлении картлийцами Ломта-горы, снял стан. Он оставил правителями Кахети князей Нодара Джорджадзе и Давида Асланишвили. Он повелел Саакадзе пройти юго-западные земли Картли. А сам пересек с войском Куру и Иору, обошел Тбилиси с севера, переправился через Арагву, победоносно прошел Мцхета и стремительно направился в Гори.

Теперь шах Аббас был спокоен: все попытки османов притти на помощь Ауарсабу со стороны Ахалцихе разобьются о грозные стены горийской цитадели.

## XXI

Безмолвны долины и предгорья Картли. Не тянутся по аробным путям арбы. Не слышно аробелы. Не вздымаются веселые дымки из очагов. Не звенят песни девушек за вышиванием. Не сзывают пандури на игру в лэло и малаки. Не сбивают наездники шашками чашу. Не спускаются женщины с кувшинами к горному роднику. Не танцуют вокруг храмов праздничную лекури. Не резвятся на лугах табуны молодых коней.

Через сердце Картли идет шах Аббас, идет враг грузин. Но не покорится народ врагу.

... Собираются крестьяне. Упрямо вглядываются в даль, шепчутся:

— Люди, люди! Князья спокойствие Картли обещают.

— Напрасно думают! Такое не поможет, уже многие не верят.

— Люди, люди! Гонцы князей грозят отнять скот у бежавших.

— Напрасно думают. Такое не поможет, уже многие бежали.

— Люди, люди! Гонцы князей угрожают сжечь наши жилища.

— Напрасно думают. Такое не поможет, уже многие бежали.

— Люди, люди! Гонцы шаха угрожают непокорным рубить головы.

— Напрасно думают! Такое не поможет, уже многие бежали.

— Люди, люди! Гонцы шаха обещают милость повелителя Ирана.

— Напрасно думают! Такое не поможет, уже многие бежали.

В зимнюю стужу, в холодные леса и за ледяные скалы уходил народ, проклинал князей-изменников.

И шах Аббас сумрачно проходил опустевшие долины Арагвы, Куры и Ксани. Гнев все больше охватывал властелина Ирана. Шах был уверен, что Кахетинское и Картлийское царства, как страны с незапамятных времен находившиеся под персидским влиянием, долго признают над собой власть персиан.

Охваченный жаждой мщения, шах приказал предавать все огню и мечу. На всем пути шаха Аббаса пылали деревни.

Кливидзе, утром прискакавший из Имерети по просьбе гонцов из Дзегви, Ничбиси, Хидистави и Ахалкалаки.

Около него собралось несколько азнауров.

Выборные от деревень раздавали сружии. Старые и мальчики жадно хватали шашки, щиты и самострелы.

— Не слушая друг друга, они требовали немедленно двигаться навстречу собаке шаха, другие уговаривали ждать Саакадзе.

— Что ждать! — кричал высокий ничбисец, и огненная борода его развевалась, как пламя. — Может, перс решил из наших шкур седла для сарбазов делать?!

— Почему не видим гонцов от Саакадзе?!

— Может, его гонец еще не родился, а мы ждать здесь будем?!

— Зачем Саакадзе народ. Саакадзе сейчас золотые цаги носит!

— Кто такое сказал?! Разве эту шашку не Саакадзе прислал?! — кричал молодой дружинник из Хидистави.

Выборный от Дзегви сурово крикнул:

— Почему слова, как солому, крошите? Пусть скажет азнаур Кливидзе: как решит, так будем делать. — И добавил упрямо: — Медвежью пещеру кто обогатил?

Обрадованно подхватили:

— Говори, азнаур Кливидзе! Как скажешь, батону, так поступим!

Кливидзе, пошептавшись с азнаурами, громко крикнул:

— В чем дело, люди?! Саакадзе оружие вам прислал? Очень хорошо! Саакадзе персов к вам привел? Очень хорошо! Берите его оружие и бейте его персов.

Одобрительный смех гулко раскатился по Ничбисскому лесу.

Выполняя повеление шаха покорить ему юго-западные земли Картли, Саакадзе шел к верховьям Алгети мимо Синдхаро.

На Саакадзе переливали синевой рыцарские доспехи: мессир — стальная сетка, ниспадающая с шишака, пластинчатое забрало, налокотники, наколенники и щит.

Молчит дремучий Ничбисский лес. Зимний ветер воеет в оголенных ветвях. Серебряный иней качается на мохнатых лапах сосен. Далеко в берлогу забрался медведь, изредка промелькнет олень или шустрая белка качнется на колючей ветке, осыпая сухие иглы.

Суровое безмолвие леса нарушили топчущие шаги. К Медвежьей пещере спешили старые, спешили молодые. Здесь, на поваленном дереве, подкрутив ус и нагайкой ударяя по цагам, стоял



Так же были закованы в броню и «барсы». Они страшились быть пронзенными грузинской стрелой.

На всем пути Саакадзе разорял владения князей, еще не успевших добраться до шаха.

Точно огромные факелы, вонзенные исполином в скалистые расщелины, пылали на вершинах замки. Грохотал камень. Звенело стекло. Обуреваемый гневом, Георгий Саакадзе брал приступом замки, беспощадно истреблял дружинников, защищавших князей, и зачислял в личное войско перебежавших к нему.

К восторгу сарбазов и грузин дружинников Саакадзе разрешил им все, отобранное у князей, разделить между собой. И за войском потянулся длинный вьючный караван, табуны коней и рогатый скот.

Переправившись через Алгети, Саакадзе повел войско через Биртвиси на Манглиси. Перейдя перевал, он спустился к Кавтисхеви и двинулся через Ахалкалаки в Гори на соединение с шахом Аббасом.

На всем пути следования Саакадзе пылали замки.

Победоносно подходят к Гори сплоченные колонны шах-севена. Мерно рассыпается дробь думбеков<sup>1</sup>. Тяжелый топот гулко отдается в ложине. Отсвечивают наконечники копий. На турбанах мин-башей колышутся перья. Позади последних рядов сарбазов на верблюдах в раззолоченных закрытых кибитках передвигается гарем шаха, окруженный ханами, евнухами и телохранителями. Впереди на позолоченном шесте взметнулось иранское знамя.

Небо над Гори сумрачно и непроницаемо.

Уже большая часть шах-севена прошла в широко раскрытые ворота горной крепости, оставленной картлийским войском.

Внезапно справа и слева, точно горный град, застучали копыта. Грузин-

ская конница левой ринулась на шах-севен.

Кливидзе с азнаурским отрядом, увлекая за собой народное ополчение, врзался в гущу сарбазов. Два азнаура со своими дружинами подскакали к крепостным воротам, стремительным ударом разорвали колонну и загородили проход. Неожиданность нападения внесла замешательство.

Направляя на грузин копьё, пицаль или лук, сарбазы получали удар сзади. Завязался ожесточенный бой.

Народное ополчение прижало сарбазов к первой линии крепостных стен, засыпая их стрелами, камнями, ударами топоров, шашек, кос и кинжалов.

Шах Аббас, остановленный битвой, спокойно оглядывался на свой гарем.

Караджугай с главными силами следовал по правому берегу Куры, а Эребхан сражался с войском католикоса, прикрывавшим отступление Луарсаба.

На лице Кливидзе сияла радость. Он, засучив рукава чохи, вертелся, точно ужаленный, на своем коне, и его шашка с визгом рассекала воздух. Он подбадривал шутками своих и бесил сарбазов презрительными кличками на персидском языке.

— Люблю веселую битву! — воскликнул ничбисец с огненной бородой, спуская тетиву.

Стрела со свистом пронеслась над головой шаха Аббаса.

Шах не шелохнулся.

Саакадзе еще издали услышал шум боя и, пришпорив Джамбаза, промчался по долине.

— Э-эхе! Саакадзе пришел! Победа, дорогой! — насмешливо встретило Георгия народное ополчение.

С поднятыми шашками картлийцы бросились на Саакадзе, Георгий, встав на стременах, высоко поднял меч. От него шарахнулись. Но азнауры, подбадриваемые Кливидзе, наседали на Georgiya.

«Барсы» с обнаженными шашками вломились в середину.

— Георгий, — шепнул Дато, — что делать?

— Что делаете всегда в бою!

<sup>1</sup> Думбеки (перс.) — род барабана, обтянутого с одной стороны сырой оленьей кожей, с другой стороны имеющего отверстие, вдвое меньшее в диаметре. Носили их на ремне через плечо.

И Саакадзе ударил в грудь налетевшего азнаура.

Возмущенные азнауры и ополченцы осыпали «барсов» отборной бранью.

— Эй, «барсы», почему продали шкуру персам?

— Смотрите, люди, как «барсы» окрепли на люля-кебабе!

— О-о, ностевцы, где потеряли грузинские шашки?!

Азнауры бросились на «барсов». Скреживаясь, заскрежетали клинки. Кружились кони, залитые кровью.

Азнаур в белой чохе, вертя клинком, подскакал к Дато.

Глаза Даутбека потемнели. Он тяжело дышал. Еще миг, и смертельный клинок опустился на голову Дато.

Даутбек вскинул саблю, рука его дрогнула, он отвернулся и наотмашь ударил по белой чохе. Бледный, он смотрел на несущегося без всадника коня.

«Барсы» отчаянно отбивались.

Сарбазы, защищая своих мин-башей, рубили ополченцев. Из-под копыт летела снежная пыль. Расползались красные пятна.

Азнауры, не обращая внимания на сарбазов, старались достать «барсов».

— Ростом, рубись! На нас благосклонно смотрит шах-ин-шах! — крикнул Саакадзе.

Высокий азнаур, круто повернувшись на копе, ударил шашкой. Пануш схватился за плечо и припал к гриве. Элизбар подхватил Пануша и поскакал с ним в сторону шаха.

Боль и ярость охватили Димитрия. Этого высокого азнаура он помнил по Сурамской битве. И Димитрий рассек плечо азнаура.

Кливидзе, выровняв коня, подскакал к Георгию, наискось замахнувшись шашкой, обгаренной кровью.

Саакадзе вздыбил Джамбаза и боковым ударом меча выбил из рук Кливидзе клинок. Перегнувшись, он сдавленно сказал:

— С кем деретесь? Всех перерубим! Спасайтесь в Уплис-цихе!

Кливидзе свесился с седла и подхватил свою шашку.

Дато наскочил на Кливидзе, клинком

плашмя ударил по кольчуге и почти на ухо шепнул:

— Спасай народ, Караджугай подходит!

Кливидзе, точно раненный, припал к седлу и вынесся на бугор. Подскакавшему к нему азнауру он крикнул:

— В Уплис-цихе! Все за мной!

— Уплис-цихе! Уплис-цихе! — прокатилось по рядам грузин.

Шах Аббас, наблюдая битву, любовался «барсами» и Георгием Саакадзе.

Элизбар скакал, придерживая Пануша. Охраняя их, сзади мчался Арчил, сверкая каской и панцырем.

Вдруг Арчил круто осадил коня. Он увидел, как притаившийся за камнем огнебородый целится в шаха.

Арчил резко повернул коня и загородил собой повелителя Ирана. Стрела врезалась в его поднятый щит.

Исполняя приказание Саакадзе, шахсеен расчищал путь к воротам Гори для въезда шаха.

«Барсы» и конные сарбазы бросились в погоню за азнаурами, отступающими к Уплис-цихе.

Азнауры и ополченцы, отстреливаясь из луков, обогнули лошину. И когда первые сарбазы подскакали к трем холмам, они не увидели ни одного грузина. Только ветер взлохматил легкий снег, и высоко взметнулся встревоженный коршун.

В эту неспокойную ночь в монастыре «Гори-Джвари» — «Крест Гори» — высящемся на вершине утеса, в сводчатой келье при мерцании светильника седой монах записал:

«...присутствие шаха Аббаса только разожгло храбрость картлийцев, истребивших в час времени до двух тысяч персов...»

Эрасти предсказал Арчилу большую награду.

Наутро, торжественно принимая на площади ключи от Горис-цихе, шах Аббас вспомнил высокого грузина.

Призванный Арчил раболепно распростерся у ног повелителя Ирана.

Шах спокойно произнес:

— Подымись! Раб, как ты дерзнул

стать впереди меня во вчерашней битве?

— Для спасения твоей жизни, великий шах, — ответил Арчил, упав на колени.

— Так ты считаешь меня трусом?! — Шах погладил золотой эфес ятагана. — Отсечь дерзкому голову!

Подбежали сабазы шах-севена, сверкнуло лезвие, и голова Арчила покати-лась по замерзшей площади.

«Барсы» взглянули на Саакадзе. Арчил — верный телохранитель Георгия, выросший у него в доме. Лицо Саакадзе осталось неподвижным. Только Папуна заметил легкую бледность и чуть дрогнувшую морщинку у глаз.

Эрасти с ужасом смотрел на обезглавленного Арчила, не в силах отвести взгляда от застезки на окровавленной шее. Он вспомнил, как когда-то давно в Ананури Саакадзе спас этого Арчила от продажи туркам...

— Видно, нам всем суждено погибнуть от руки проклятых мусульман, — сдавленно проговорил Дато, отойдя подальше с Ростомом.

— Но Георгию, как видно, никого не жаль, все готов отдать разбойнику.

— Ростом, если сомневаешься в Георгии, лучше сейчас от него уходи... Нарочно с нами холоден, не хочет мешать нашим решениям.

— Дорогой Дато, я не такой крепкий, как ты и Даутбек, и не такой слепой, как Димитрий, но я никуда не уйду. Разве мы можем сейчас жить друг без друга? Я оставил молодую жену, двух детей, я связал с детства мою жизнь с «дружиной барсов»... Но я хочу знать, не волками ли мы вернулись на родину? Слышал, как народ проклинает Георгия?

— Слышал... Думаю, народ скоро сменит проклятие на благословение. Но ты хорошо знаешь, не Георгия в том вина, что так вышло. Перс обманул Георгия, обманул нас всех. А ты думаешь, легко Георгию это пережить? Мы вместе страдаем, Георгий один...

— Что же теперь будет, Дато?

— Только Георгий знает, что будет. Это он кует по ночам крепкую подкову, он не спит, обдумывая месть шаху и

князьям. Не будем отягощать его душу нашими сомнениями. В вождя надо верить, закрыв глаза, не сомневаясь, иначе ты не помощник ему.

— Смотри, Дато, на гребнях гор сторожевые башни все еще посылают огненные предупреждения... Думали ли мы когда-нибудь, что эти огни зажгутся против нас? А снег, как саван, горы окутал.

— Успокойся, Ростом, скоро мы сами зажжем огни призыва...

Папуна и Эрасти неотступно, словно тень, следовали за Саакадзе. Папуна тревожно поглядывал на застывшие глаза Георгия.

«Уже принял решение» — думал Папуна.

Эрасти тоже думал о горячо любимом господине и друге. Он также не обманывался и чувствовал — не остановится Георгий Саакадзе, пойдет до конца. Но сколько ни ломал себе голову, не мог додуматься: где же этот конец? И какой он будет? Все равно, лишь бы от себя не прогнал, лишь бы с ним не расставаться до последнего часа... Без него не надо ни жизни, ни радости.

До поздней ночи бродили «барсы» по отдаленным улицам Гори... Вот она, родная земля. Там, за этой синеющей полосой, — Носте, но они уже не мечтали увидеть ее. Не рвались туда. Стыд сжимал сердце, огонь жег глаза. Они бродили по Гори, боясь остаться одни, боясь мягких постелей и жестких мыслей.

Раненым шакалом выл горный ветер. На холодном небе, точно брошенный обледенелый щит, бледнела луна. Густые предраассветные туманы клубились над вершинами.

Луарсаб, чтобы не подвергать Тбилиси разгрому, вывел последние дружины тваладцев и отступил с ними в Самухрано, наскоро укрепив подступы к Мухрани. Луарсаб избегал сражений с Георгием Саакадзе. Не от недостатка храбрости, но во имя Тэкле. Он думал: «Если она жива, то пусть ужас не наполнит ее нежное сердце, — я не погибну от руки ее брата, и ее брат не погибнет от моей руки. А если встретим-

ся, один из нас живым с поля брани не уйдет. Пусть бог его покарает за измену своей стране, а моей Тэкле и без того много горя».

Узнав от лазутчиков о месте нахождения Луарсаба и о малочисленности его дружин, Эреб-хан бросился на расвете к укреплениям Мухрани.

Старик Мухран-Батони, по приказу Луарсаба, заперся в своем замке с крестьянами и дружиной.

Шадиман, взволнованно глядя на Луарсаба, дрогнувшим голосом заявил, что он решился на рискованный шаг. Он сумеет убедить проклятого «льва Ирана» в желании Луарсаба быть в вассальной зависимости, и пусть шах обложит какой угодно данью народ Картли.

— Потом, когда уйдет в Иран, с помощью турок избавимся от персидского удовольствия,—уверенно закончил Шадиман и ускакал с усиленной охраной в Гори.

Он, еще отступая с Ломта-горы, отправил свою дружину в Марабду для защиты своего владения от Саакадзе.

На второй день Луарсаб и Эреб-хан сошлись слишком близко, чтобы можно было разойтись. Луарсаб взглянул на Эреб-хана. Он вспомнил, как этот хан когда-то приезжал в Метехи с предложением шаха жениться на бедной Тинатин.

«О, где она теперь, моя бедная сестра? Где близкие мне люди? Одни погибли, другие изменили. Стоит ли беречь свою жизнь? Конечно, стоит — мой народ остался мне верен».

— Царь, осторожней! — вскрикнул один из Херхеулидзе.

Луарсаб обнажил меч и ринулся, пришпорив коня, на Эреб-хана, за ним девять братьев Херхеулидзе и вся твалладская конница. Началась сеча.

Эреб-хан рванулся к Луарсабу. Шашки братьев Херхеулидзе подстерегали смельчаков.

Валились сарбазы и дружинники. Здесь не было пощады и сожаления. Каждый, падая, старался нанести последний удар врагу.

К Эреб-хану подскочил юз-баши:

— Скорей, хан, сарбазы погибли в

этих проклятых лощинах, скорее, во имя аллаха, пока не поздно, мы уже в плену.

Эреб-хан оглянулся: только небольшой отряд конницы защищал его, все ближе надвигался Луарсаб. Эреб-хан повернул коня, и, вздымая снежную пыль, мгновенно скрылся. Его бегство прикрывали конные сарбазы.

Луарсаб, в иступлении размахивая мечом, продолжал крошить оставшуюся горсточку. К нему подскакал бледный Баака.

— Осмелюсь сказать, мой доблестный царь, больше некого убивать, все персы погибли от твоей сильной руки, но и все твалладцы...

Луарсаб посмотрел вокруг, и его дрожащие колени жали бока хрипящего коня. Страшные груды тел покрывали лощину.

Глаза Луарсаба расширились. Он беспомощно развел руками. Выпал тяжелый меч Багратидов и гулко стукнулся о колычугу младшего Херхеулидзе. Все девять братьев, изрубленные, лежали вблизи царского коня. Только теперь Луарсаб понял, какую ценой он остался цел. Луарсаб прикрыл ладонями лицо. Когда он поднял голову, глаза его встретились с глазами Баака.

— Мой Баака...—мог только выговорить Луарсаб.

Баака поднял меч и подал его Луарсабу.

Луарсаб обнял Баака, горячая слеза упала на щеку князя.

Только выбравшись из лощины смерти, Баака поведал Луарсабу, почему он, Баака, оставил Метехи:

— Всю ночь тбилисцы не спали: кто прятал богатство, кто, наоборот, украл дома. Запестрели ковры, шкали. Особенно старались амкары — их лавки настезь открыты и тоже разукрашены. Во всех духанах готовятся кушанья, везде зурначи и лучшие танцоры. Что за причина для веселья? Готовятся к встрече Георгия Саакадзе и Караджугай-хана... Один, не захотевший назваться, прислал ко мне амкара Сиуша с настоятельным советом покинуть Метехи... Царица Мариам? Конечно, мой светлый царь, я ее умолял уехать со

мной, — не соглашалась. От Гульшари известие получила, княгиня советует остаться, говорит, ничего не изменится.

Луарсаб слушал рассеянно.

К полудню подъехал Теймураз с семейством. Два царя без царства и без войска смотрели, как оставшиеся в живых с почетом и воинственными песнями хоронили грузинских дружинников в общей могиле. Братьев Херхеулидзе Луарсаб повелел хоронить отдельно. Когда положили их в вырытую яму, Луарсаб, оторвав от своей кудаджи драгоценную застежку, бросил ее в могилу и сказал:

— Если я еще буду царем Картли, на этом месте воздвигну храм из белого мрамора на девяти колоннах... Спите, мои храбрецы, вашу кровь родина не забудет.

Луарсаб отвернулся. Метехские копьеносцы посмотрели на вздрагивающие плечи Луарсаба, и вдруг неистовство охватило их: обнажив шашки, они ожесточенно набросились на трупы врагов, отсекая головы. Вскоре на могилах выросли пирамиды голов персиян.

— Это лучший памятник для храброго воина, — сказал Луарсаб, с трудом сядя на коня. Он подъехал с Теймуразом к крестьянской лачуге, где их ждала семья Теймураза.

Через час оба царя и Баака с метехскими телохранителями двинулись в Имерети.

Луарсаб обвел взором родные горы и медленно повернул коня.

Глубокое молчание нарушал только стук копыт...

## XXII

Уже виднелись очертания тбилисских стен, когда войска Георгия Саакадзе и Караджугай-хана сошлись у Синего монастыря. Наступали сумерки, и Георгий Саакадзе предложил расположить стан в Сабуртало<sup>1</sup>.

С волнением смотрел на Тбилиси Георгий. Он вспомнил свой первый приезд в этот город, полный очарования. Как доверчиво тогда смотрел он на бу-

<sup>1</sup> Сабуртало — сейчас городской район Тбилиси.

дущее! Как жаждал подвигов! Здесь он вкусил отраву славы. Здесь встретил свою Русудан. «С большой радостью принимаю тебя, Георгий, в число друзей» — эти слова, сказанные ему Русудан, и сейчас звучат могучей музыкой. Здесь его Тэкле познала вершину счастья и бездну злодейства. Здесь на амкарских выборах открылось ему значение объединенной силы.

Союз азнауров! Он еще тогда понял амкар, оценил их сплоченность, их мастерство, их гордость от сознания своей власти над камнем, кожей и металлом. Он знает, что такое гордость, он умеет ценить это чувство и все может простить, кроме раболепия. Вот почему он любит гордую Русудан. Вот почему ему так дороги «барсы», эта дружина воплощенной гордости. А разве его идолопоклонство перед шахом не есть гордое сознание своей силы? Разве не он, Георгий Саакадзе из Носте, держал в закованной руке славу и позор шаха Аббаса у ворот Упадари? Позор и слава тесно связаны друг с другом. Но пусть не думает шах, что обманом обезоружил Георгия Саакадзе. Нет, Георгий Саакадзе знает, какой ценой окупается гордость. Вот почему сейчас он ни Караджугай-хану, ни шаху Аббасу не даст разрушить Тбилиси. Тбилиси — сердце Картли. Пока цело сердце страны, — страна жива...

Когда совсем стемнело, Георгий приказал Эрасти:

— Позови ко мне Дато, но только помни — даже звезды не должны его видеть.

Эрасти, взглянув на Саакадзе, повеселел и бросился к выходу. Вскоре в прорезе шатра мелькнула и скрылась тень.

Более часа шептал Саакадзе на ухо Дато едва внятные слова... Дато также отвечал шопотом. Спрятав туго набитый золотыми монетами кисет, Дато незаметно выскользнул.

Раннее утро едва вырисовывало очертания Мцхетских гор.

Саакадзе шел большим, торопливым шагом. Почти у самого шатра его встретил Караджугай-хан:

— Шайтан помог Луарсабу бежать

из Тбилиси и укрепиться в Мухрани. Твои дружинники уловили крики и звон сабель, Эреб-хан, посланный в обход, иншаллах, поймает царя. Надо храброму хану отправить на помощь войско.

Караджугай-хан, конечно, не подозревал о запоздалости сведений: Луарсаб в это время находился уже в пределах Имерети, а из Тбилиси ушло все царское войско. Тем более, хан не подозревал о ночной поездке Дато, Даутбека и Ростомы в Тбилиси, где они, тайно совещаясь с амкарами, предложили общими усилиями спасти город от разрушения. Ностевцы не упоминали имени Саакадзе, но амкары знали: такое большое дело мог решить только он.

Уста-баши пообещали «барсам» сообщить о радостной возможности оставшимся: князю Газнели, мдиванбегам, мелику и нацвали. Дато постарался, чтобы Баака как можно скорее оставил Метехский замок. Потом тбилисцы подробно рассказали «барсам» о сражении Луарсаба с Эреб-ханом, и сообщение амкар хорошо заучили трое разведчиков, спрятанные на ночь в расщелине скалы.

Караджугай-хан и не подозревал, как ловко Саакадзе провел его, но, если бы кто-либо и решился донести на могущественного сардара, хан все равно бы не поверил.

Саакадзе, в душе торжествуя, сурово сказал:

— Думаю, доблестный Эреб-хан сам уничтожит дерзких, не стоит наше войско уменьшать.

— Глубокоchimый сардар, неизвестно, сколько войск у царя Луарсаба.

И Караджугай-хан, никогда не доверявший Саакадзе, погладил сизый шрам на щеке и твердо решил послать треть войска на помощь Эреб-хану.

Саакадзе нахмурился, мысленно радуясь. «Барсам» удалось провести умного и прозорливого хана.

Обернувшись к дружинникам, Саакадзе резко спросил:

— Откуда узнали, что царь Луарсаб напал на Эреб-хана? Может быть, кто-нибудь другой?

— Нет, батано, непременно царь, мы

с уступа вниз смотрели: на белом коне скакал, шашкой размахивал...

— А царь Теймураз не с ним? — хмурился Саакадзе.

— Царь непременно с ним, батано, тоже на коне видели, только не на белом...

— Войска тоже много, батано, — подался вперед третий, — тваладское знамя по полю развеивается... Только Эреб-хан на другой стороне тоже знамя развернул. Потом все смешалось. Слышим, кто-то по выступу ползет, — скорей сбежали, вскочили на спрятанных коней и, как сумасшедшие, сюда понеслись.

Когда вошли в просторный шатер, там уже совещались все начальники колонн, пожилые и молодые ханы. По расстроенным лицам Саакадзе понял: персы боятся итти на приступ тбилисских стен.

Война с Картли оказалась тяжелее, чем думали самые искусные полководцы. Жестокий разгром на Ломта-горе, бой у ворот Горис-цихе, упорное сопротивление народа подсказывали осторожность. Предлагали разные меры, но обходили молчанием необходимость итти на Тбилиси.

— Храбрый Георгий, сын Саакадзе, ты лучше нас знаешь грузин, знаешь Тбилиси, что посоветует твоя мудрость? — спросил Измаил-хан, не раз водивший иранские войска на турецкие крепости.

— Я предлагаю взять Тбилиси, иначе наша победа над царем Картли не будет полной... Потом, для шах-ин-шаха нет неприступных стен.

— Твои уста изрекают истину аллаха, но не ты ли сам вчера напомнил, каким опасностям подвергаются сарбазы?

Георгий задумчиво потерял вьющийся ус.

— На веселую встречу нам нечего рассчитывать: картлийцы любят Луарсаба. Потом, знаю, запасы тбилисцы надолго заготавливают... Но пусть мудрый из мудрейших Караджугай-хан скажет, как он решил?

Вопросительно смотрели на Караджугая. Хан был в замешательстве. Всегда было готовое решение сделать наоборот

все, что ни предложил бы Саакадзе. Но Саакадзе сейчас ничего не предлагает, видно, положение серьезное. «А может, я напрасно так ему не доверяю? Может, не следовало посылать войско к Эреб-хану?»

Уже несколько минут молчали в шатре. Никто не смел нарушить думы первого светника шаха.

— Благороднейший сардар Саакадзе, Исмаил-хан изрек истину, ты знаешь Тбилиси и жителей, как свою саблю, удостой нас высокими мыслями.

Георгий оглядел ханов:

— Глубокочтимые ханы, мудрые тени «льва Ирана», необходимость вынуждает нас отправить в Тбилиси двух персиан и двух грузин. Выехать надо после второго намаза, ибо к утру посланные или вернутся, или не вернутся, но это будет все равно ответ... Кто подымет свой голос первый?

— За Иран, приютивший нас, гонимых князьями и судьбой, за благосклонное внимание шах-ин-шаха, за солнце Персии я поеду, Георгий!

— Ты, Дато?!

Голос Саакадзе слегка дрогнул.

— Не беспокойся, друг Георгий, в Тбилиси у меня много друзей, и потом я привык... Не раз в Турции выполнял опасные поручения... Иншаллах, к утру вернусь.

Ханы с невольным сожалением посмотрели на статного, красивого, всегда остроумного Дато, ухитрившегося в Исфгани не нажать себе ни одного врага.

— Тогда и я поеду, — не совсем решительно заявил Ростом.

— Ну, что ж, — Саакадзе будто старался скрыть вздох, — теперь остаются два коня для благородных ханов.

Ханы в замешательстве смотрели друг на друга. О, аллах! Скакать в Тбилиси? Лучше к шайтану на хвост. Если грузин могут просто убить, то, кто знает, какие муки ожидают персиан? Могут выкупать в кипящей смоле, могут серой залить глаза, могут отрубить ноги, могут по-турецки отблагодарить — сделать евнухами.

Сын Исмаила, молодой хан, славившийся неустрашимостью в боях, начал

было цветистую речь, но Исмаил-хан запальчиво перебил:

— Почему нигде не сказано о глупцах, желающих на персидском языке убеждать грузин?

— Дозвольте, мудрейшие ханы, скромному мин-баши высказать скудные мысли, — угрюмо начал Даутбек. — Благородный Исмаил-хан прав: сейчас грузины распалены ненавистью. Опасно раздражать их красивой персидской речью, тем более по невежеству им не знакомой. Я с молодым ханом, сыном Исмаила, дружен, его отвага да приносится мне в сладком сне... Я за него поеду.

Саакадзе сделал движение, но быстро, как показалось ханам, овладел собою и на мгновение сгорбился:

— В мое сердце вкралось сомнение, — может, не очень хорошо одним грузинам ехать? Тбилисцы могут не поверить. Тогда и жизни пропадут, и время.

— Благородный Георгий, сын Саакадзе, аллах подсказал тебе верную мысль... Да будет на мне благословение всевышнего, я дам послание и приложу мою подпись и печать шаха. Если тбилисцы сдадутся на милость шах-ин-шаха, даю слово Караджугай-хана: ни один дом не будет тронут сарбазами, и все тбилисцы получат льготы и счастье принять с почетом шах-ин-шаха, «льва Ирана», «средоточие вселенной», великого из великих шаха Аббаса.

— Полторы бирюзы в словах Караджугай-хана! Я один к тбилисцам поеду? — вскипел Димитрий.

Едва сдерживая смех, Георгий отмахнулся:

— Нет, ты слишком горяч для такого тонкого дела.

— С спасительной грамотой благородного Караджугай-хана я четвертым поеду, — оживился Элизбар.

— Ты прав, Элизбар, слово благороднейшего из благородных Караджугай-хана — лучший щит в таком опасном посольстве. Ну, раз мои «барсы» решили ехать, то... Эй, Эрасти, прикажи оседлать четырех коней...

И Георгий, словно сбросив с плеч тяжесть, глубоко вздохнул. Вздохнули с

облегчением и ханы. Они с невольным сочувствием проследили за нетвердой походкой Георгия.

Караджугай-хан изящным почерком и с ханским достоинством написал обращение к тбилисцам. Но Саакадзе предложил перевести послание на грузинский язык. Ханы одобрили. Они радовались за себя и за своих сыновей и готовы были сейчас во всем поддерживать сильного грузина.

Вскоре послание на персидском и грузинском языках, подписанное Караджугай-ханом, с приложением печати шаха: «Клянусь солнцем и его блеском», означающей нерушимость данного слова, очутилось в руках Даутбека.

Саакадзе тут же сурово дал «барсам» наставление и, обняв каждого, сказал:

— Если вы не даром оценены великим шахом Аббасом, то завтра на рассвете в этом благородном шатре расскажете о решении тбилисцев.

Дато, Даутбек, Элизбар и Ростом молча, торжественно попрощались с ханами, горячо обнялись с остающимися друзьями и поспешно вышли из шатра.

Остальные «барсы» переглянулись, и Димитрий вдруг взволнованно предложил проводить друзей. За Димитрием высочили из шатра Матарс, Пануш и Гиви.

— Гиви! — свирепо крикнул Димитрий, когда они, вскочив на коней, выехали за четверкой на дигомскую дорогу, — если ты будешь смеяться глазами, когда друзей на верную смерть посылают...

— Я не над верною смертью смеялся, а над кизылголовыми ханами.

По обыкновению простодушие Гиви привело «барсов» в веселое настроение, и Пануш, Матарс, Димитрий и Гиви долго кружили по Дигомскому полю, пока им удалось приобрести соответствующее случаю выражение лица, а голод и ветер помогли им вернуться в стан злыми и неразговорчивыми.

Саакадзе остался в шатре Караджугай-хана и властно предложил спешно выработать два плана наступления на Тбилиси — один в случае удачи послов, другой, если они не вернуться. Саакадзе

умышленно до вечера затянул беседу. Наконец, придя к единому решению, все разошлись по своим шатрам.

В то время, как «барсы» скакали в Тбилиси, а Караджугай-хан совершал вечерний намаз, Эреб-хан, расположившись в деревне Курта, вблизи Ксанского ущелья, осушал кувшин вина за кувшином, не зная, что предпринять.

Получив неожиданно подкрепление от Караджугая, Эреб-хан, пожалев о запоздалой помощи, решил не отсылать сарбазов обратно, ибо шах не любит, когда полководцы возвращаются после боя без войска, а мудрый Караджугай вонзил на этот раз саблю в тыкву. Верблюд подсказал ему отправить тысячи сарбазов в Мухрани как-раз перед наступлением на сильно укрепленную крепость Тбилиси. Поэтому не очень будет хвастать своею помощью.

И, повеселев, несмотря на страшный разгром, хан отправился в Гори сообщить шаху, что царю Луарсабу удалось бежать благодаря помощи мухранцев, поэтому он, Эреб-хан, разорил и сжег Мухрани, а жителей, которые не успели скрыться, взял в плен.

Эреб-хан, вероятно, и выместил бы с особенным удовольствием неудачу на мухранцах, но они преподнесли ему прекрасное вино. Напившись до потери сознания, Эреб-хан, забыв о своем намерении, заботливо приказал нагрузить десять верблюдов вином. Покачиваясь в носилках в сладком сновидении, хан прибыл к вечеру в Гори.

Проснувшись утром, он первым делом осведомился, благополучно ли прибыло вино, не разбилось ли, упаси аллах, кувшины, за что будет мало казнить погонщиков верблюдов.

Узнав о полном благополучии чудесной добычи, Эреб-хан возликовал, и поражение в битве с Луарсабом ему не казалось уже столь важным: иншаллах, Гурджистан будет наш, а если картлийский царь ускакал и, наверное, потерял царство, стоит ли с ним возиться? Даже лучше, что ускакал. Принятый немедленно, он так и сказал шаху:

— Великий из великих шах-ин-шах,



мне удалось изгнать Ауарсаба, ибо взять его в плен было нельзя. Теперь Гурджистан освобожден от своего царя и войска.

Шах пристально посмотрел на своего любимца, веселого хана, и спросил:

— Достаточно ли ты, мой верный полководец, запасся вином? Ибо сказано: если не удалось поймать рыбу, напейся хоть воды.

— Да, великий «лев Ирана», благодаря аллаху, я сделал хороший запас, разорив и уничтожив в Мухрани винный подвал.

— Ты напрасно поспешил, хан, за Мухрани просил Саакадзе. Старик князь болен, а молодой в Абхазети, скоро должен ко мне с покорностью явиться. Ему написал Саакадзе.

Эреб-хана так и подмывало похвастать своим благоразумием. Разве он мог разрушить царство прекрасных вин? Но, взглянув на шаха, Эреб осторожно сказал: из-за желания поскорей явиться к «льву Ирана» он разорил только одну деревню и то, кажется, не целиком.

Дато и Элизбар вернулись невредимыми. Даутбек и Ростом остались заложниками в Тбилиси. В стане волнение. К шатру Караджугая бежали ханы и сарбазы. Но Дато объявил — раньше ханы выслушают его, потом остальные.

Ханы с большим интересом переспрашивали Дато и Элизбара. Дато повторял, расцветчивая уже сказанное: сначала «барсов» хотели забросать стрелами, но они, размахивая посланием мудрейшего Караджугай-хана, потребовали впустить их в Тбилиси и представить начальнику царского войска. «Барсы» устыдили тбилисцев, испугавшихся четырех всадников.

Удивленный спокойствием Даутбека, начальник крепостной стражи повел «барсов» к сардару, князю Газнели. Прочитав грамоту, князь очень обрадовался. «Я лично знаю благородного, не способного на коварство Караджугай-хана, ворота Тбилиси будут широко открыты для ханов и войска шаха Аббаса». Но не совсем доверяя Георгию Саа-

кадзе, князья оставили заложниками Даутбека и Ростом.

По дигомской дороге к Тбилиси, сердцу Картли, подходило иранское войско, но, кажется, впервые ничто не угрожало картлийцам.

Навстречу Караджугай-хану широко раскрылись Высокие ворота. Под копыта коня полетели бледные фиалки. Быстро разматывались ковры. Кони осторожно наступали на яркие узоры. С бурными руладами выскочили зурначи. Заколыхались знамена с изображением покровителей ремесел. Из ворот, как из пасти, высыпали амкарские цехи.

Впереди на конях, как всегда в торжественных случаях, выехали оружейники, обвешанные оружием собственного изделия. Развевалось знамя, украшенное серебряными лентами и расшитое мечами, щитами и стрелами.

За оружейниками гарцовали кузнецы. Конские уборы сверкали маленькими позолоченными подковами. Зурначи кузнецов, стоя на конях, нещадно били в конусообразные барабаны, и их дудки пронзительно визжали. Высоко колыхалось широкое знамя с изображением покровителя амкарства кузнецов — Амირани, прикованного к скале тяжелой цепью.

Выступали сплоченные ряды амкар золотых и серебряных дел. Праздничные чохи горели серебряными и золотыми галунами. На белом знамени, украшенном кистями, высилась пирамидальная золотая гора и серебряная кирка, вонзившаяся в руду.

Шумно высыпали амкары-кожевники. На высоких шестах развевались разноцветные кожаные лоскуты. Впереди, на жеребце каштанового цвета, в белом уборе и сафьяновом бирюзовом седле, ехал рослый амкар. На нем блестели оранжевые цаги, и щит за плечами отливал синевой крепчайшей кожи. На высоком позолоченном древке развевалось знамя из фиолетового сафьяна с вытисненным изображением всадника, затянутого в кожу.

За кожевниками шумно тянулись амкарские цехи: чувячники, шорники, меховщики, ковровщики, медники, ковачи, суконщики, шапочники, красильщики.

Все они потрясали своими знаменами и цеховыми значками, украшенными лентами, стеклянными бусами и кистями.

Во главе амкарств важно следовали уста-баши — старосты цехов, за ними «белые бороды» — их помощники — несли богатые подарки для ханов.

Шумные песни, летящие вверх папахи, радостные приветствия, пляски, оглушительная зурна сопровождали шествие, вызывая у ханов тщеславные мысли.

У самых ворот амкары-птичники выпустили навстречу ханам стаю дымчатых голубей.

От Высоких ворот до цитадели на правой стороне выстроились амкарства: ткачи с гирляндами из пестрых тканей, котельщики, тулухчи — водовозы — с мехами на конях, наполненными водой, коки — водоносы — с большими кувшинами за плечами, каменщики с молотками.

За амкарами теснились подмастерья и ученики, празднично разодетые, с цеховыми значками на шестах.

Все эти труженики были цветом и благополучием города. Они пышной встречей, по плану Саакадзе, окончательно вырывали у ханов оружие разрушения.

Ближе к цитадели, на левой стороне, выстроились цехи мелких торговцев со своими знаменами и зурной: зеленщики, духанщики, ватники. Винорядцы с гордостью вздымали знамя: на голубом поле золотистые гроздья винограда грелись под лучами солнца. На крепостном подъеме красовались в атласных чохлах широкоплечие скуластые мясники. На плотном тяжеловесном знамени Авраама — покровитель мясников — совершал жертвоприношение.

У крепостных ворот князь Газнели отдал Караджугай-хану воинскую почесть. Уста-баши преподнесли Караджугаю усыпанный драгоценными камнями ятаган, щедро оплаченный Дато и Ростомом еще при первом свидании с амкарами. Другим ханам тоже были преподнесены дорогие подарки, только Саакадзе, по плану Дато, ничего не получил.

«Барсы» тихо, но достаточно громко

для слуха ханов, возмущались таким невниманием к Саакадзе. Сам Георгий холодно смотрел на торжество и, въезжая в Тбилиси рядом с Караджугаем, пытливо поглядывавшим на него, старался скрыть волнение.

Ханы с приятным удивлением проезжали по улицам Тбилиси. Все дома разукрашены коврами, все плоские крыши, сбегавшие амфитеатром к Куре, полны разодетых женщин и детей, везде расставлены столы с винами и закусками, не смолкают зурна и пение. Везде раздаются песни в честь грозного покровителя картлийского народа блистательного «льва Ирана».

Это ликование и пышная встреча окончательно убедили Караджугай-хана в правильности его решения, и он немедленно послал к шаху Аббасу под охраной мазандаранцев пожилого хана с посланием. Тбилисцы, говорилось в послании, помня благодеяния и покровительство шаха-ин-шаха, восторженно встретили приход персиан.

Хан не преминул сообщить шаху, что это он решил взять Тбилиси голыми руками и привести в покорность «льву Ирана» столицу Картли. Также передал мольбу тбилисцев оказать им честь увидеть «средоточие вселенной» в Тбилиси.

Отпраздновав два дня и оставив в Тбилиси отряд сарбазов под началом Матарса и Пануша, а у стен Тбилиси Измаил-хана с войском, Караджугай-хан и Саакадзе, нагруженные подарками шаху и тысячами пожеланий, выступили в Гори.

### XXIII

Даже прадед Матарса не помнит такой ранней весны. Тепло наступило внезапно.

Еще ночью луну опоясал красный круг. Старики Носте наблюдали, как круг слегка расширился и вскоре исчез. Дед Дмитрия, приложив руку к глазам, пристально всматривался в опаловый цвет луны и предсказал ясную, теплую погоду. Дед не ошибся. Ранним утром угод, встряхивая красивыми пестрыми перьями, прокричал призыв весны. В прозрачном воздухе почернели от-

логи гор. Дымчатые гуси радостно устремились к воде. На плетне хлопотливо забил крыльями петух. Настойчиво заблеяли овцы. Из стойла выскочил буйволенок, любопытными глазами оглядывая двор, наполненный необычным оживлением.

Распахнулись ворота, и первым выехал на запашку почетный ностевец — дед Димитрия. Запряженные в арбу три пары буйволов, чисто вымытые, словно в черных бурках, медленно переступали мохнатыми ногами.

За дедом потянулись арбы ностевцев с сохами и связками свечей. Кто-то затянул оровелу — песню грузин землешацев. И сразу на всех арбах подхватили молодые и старые голоса. Слевая, ностевцы въехали на пахотное поле, чернеющее за речкой Ностури.

Степенно сойдя с арбы, дед перекрестился и низко поклонился солнцу. Внуки и сыновья выпрягли буйволов и вынесли соху в поле. Наступило торжественное молчание.

У края поля стояли три пары буйволов, впряженные в соху. Самый младший прикрепил к каждому рогу буйволов по свече зеленого цвета. Дед взял с поднесенной ему плоской глиняной тарелки два яйца, подошел к передним буйволам, перекрестил и каждого ударил яйцом в лоб. На черных лбах зажелтели пятна.

— Пусть так будет разбит наш враг! — приговаривал дед Димитрия.

Застучали кремни, и сразу на всех рогах буйволов загорелись свечи.

Дед, погнав буйволов, провел первую борозду. За ним погнажи буйволов и остальные ностевцы. По полю замелькали язычки горящих на рогах свечей. Поплыла дружная оровела:

За тебя, мой друг старинный, я пожертвую собою.  
Дорог труд твой трудный в поле. Друг!  
Твою люблю я шею.  
Шли одной дорогой долгой, мы одной близки судьбою.  
Летом ты меня жалеешь, — я зимой тебя жалею.

Ты даешь и хлеб, и песню, и вино даешь народу,  
Ты нужна, как солнце, в жизни, и, как радость, путь твой нужен!

Я в тебе храню обычай, славлю я в тебе природу!  
Человек, нуждой гонимый, век с сохою будет дружен.

Странно было, что за несколько агаджа от Носте шла разрушительная война, что вся Картли пылала в огне, что где-то люди бежали, спасаясь от плена и смерти.

Здесь, как тихая река, текла обычная жизнь. Ни один сарбаз, не проникал сюда, ни одна вражеская стрела не пронзила бьющееся сердце. Так же привычно звонил колокол Кватахевского монастыря, так же привычно шли дни деревень вокруг Носте и в наделах «барсов».

Когда же долетали тревожные вести, ностевцы сурово говорили: «Разве Георгий позволит народ трогать?»

Ностевцы не догадывались о строгом приказании шаха Аббаса не приближаться к владениям Саакадзе и дружины «барсов». Кватахевский монастырь тоже был запретной зоной. Настоятель Трифилий — друг Саакадзе. Трифилий не замедлил явиться к шаху с богатыми подарками. Его свидание с Саакадзе, а также письмо Русудан вполне обеспечили монастырю неприкосновенность.

В Носте беспокойное оживление. В воскресенье, после запашки, съехались родные всех «барсов». Дом деда Димитрия переполнен гостями. Тут Гогоршвили, Иванэ Кавтарадзе, отец Ростом. Большой дом Горгосала заняли родители Элизбара, Гиви, Матарса, Пануша.

Готовились к встрече с близкими сердцу и мыслям. Ностевцы чинили плетни, чистили улочки, подготавливали конюшни. Извлекали из тайников паласы, медную посуду, кувшины, чаши, светильники, сделанные из оленьих рогов. Кое-кто стал очищать замок Саакадзе от камней, обгорелых бревен и мусора.

Ностевцы взбирались на самый высокий выступ, подолгу всматривались в змеившуюся дорогу, посылали молодежь, но не скакали «барсы», не взлетали ли-

хо их высокие папахи, не отзывалось эхо раскатистыми голосами. В безмолвии застыли горы. По ночам лили слезы матери, жены, сестры. Подавляя вздохи, притворно похрапывали отцы, братья, деды.

В одно ясное утро неожиданно приехали от Саакадзе три ананурца из дружины Арчила. За ними тянулись амкары — каменщики и плотники. Жадно набросились на дружинников ностевцы.

Но нехотя роняют отрывочные слова ананурцы: «Заняты «барсы», шах от себя не отпускает. Что ж, что близко, не сидят в Гори. Около Тбилиси сейчас. Конечно, приедут, иначе зачем Саакадзе велел привести в порядок замок. Да, Русудан с детьми тоже собирается... Конечно, все «барсы» здоровы. Только нас батона Саакадзе спешно послал в Носте, никого из «барсов» в стане не было, поэтому подарков не привезли, и слова тоже...»

Все эти скупые ответы строго подсказали дружинникам «барсы», и даже Пануна и Эрасти.

Ни слезы женщин, ни обильное угощение, ни полные чаши вина не развязали язык дружинникам.

Вот почему сегодня так шумно в доме деда Димитрия. Говорят, спорят, шумят, не слушая друг друга.

— Разве мой Дато поднимет руку на грузин? — кипятился Иванэ. — Кто видел у Ломта-горы вместе с проклятыми персами Дато с обнаженной шашкой?

— А мой тихий Пануш разве против веры нашей пойдет?

— Может, тихий Пануш сам не пойдет, а только кто знает, чем заставил грозный шах наших сыновей махать шашками?

Замолчав, покосились на отца Эрасти. Хотя давно примирились с его глехством, но в подобных спорах всегда досаждали, почему он, как равный, обсуждает положение и вдобавок говорит умнее даже Иванэ Кавтарадзе.

— Думаю, Горгосал прав, — серьезно начал отец Даутбека, — Керим говорил, каждый день наши храбрецы о нас вспоминали, какие подарки и горячие слова присылали, а теперь сидят за че-

тыре агаджа, на хорошем коне птицу могут перегнать, а не едут. Я много думал... Может, бояться? Может, стыдно? Может, мы первые должны голос подать?

— Не стоит уподобляться навязчивому воробью. Хоть сыновья, а все же больше пяти лет у персов сидели, — сказал отец Гиви, сердито откинув длинный рукав чохи.

— Сидели?! — вспыхнул дед Димитрия. — Можно и двадцать лет сидеть, если царь слепой, а князья разбойники.

Иванэ вскочил. На деда испуганно зашикали. Отец Элизбара невольно бросился к дверям посмотреть, не подслушивают ли лазутчики гзире.

— Э, э, напрасно беспокоитесь! Ни нацвали, ни гзире, ни даже надсмотрщиков не имеем... Разбежались, как зайцы, лишь только наш Георгий переступил порог Каргли.

— Ты, Горгосал, напрасно над зайцами смеешься, — зайца бог дал.

— Бог дал, бог взял, почему скучаете? Бог тоже много лишнего дал.

— Страшное говоришь! Как можешь на бога голос подымать? Хорошо, священник не слышит.

— Тоже убежал, — насмешливо бросил Горгосал, — священник, служитель бога, а от человека убежал... Я, когда месепе был, хорошо справедливость видел. Сколько молился, сколько жена слезами иконы мыла, а польза? Как от волка сала. Дочь от голода ходить не могла, Эрасти у себя все ребра пересчитывал... Пришел большой человек, я его не умолял, он сам новую жизнь мне дал. Сына около себя держит. Керим говорит, все исфаганцы Эрасти знают, заискивают, даже ханы с ним дружбу ищут.

— Не радуйся заранее, может, лучше было бы твоему Эрасти остаться месепе, — зло бросил отец Ростом.

— Лучше в почете умереть, чем червяком жить. Пусть мой Эрасти около Георгия Саакадзе умрет, кто может не позавидовать?!

— Когда человек сыт, ему опасные мысли в голову лезут, — недовольно сказал Иванэ. — Ты, говорят, на сто лет запасы и монеты имеешь...

— Напрасно беспокоишься, не отсвященника имею,—спокойно ответил Горгосал, разглаживая полу новой чохи из дорогого сукна.

— Я давно слушаю... Мы зачем собралась? Против священника замыслить или подумать о нашем печальном деле? — возвысил голос отец Даутбека.

Стариков охватила грусть и растерянность. В наступившей тишине дед Дмитрия высказал давно желанное слово:

— Кто захочет винограда, поцелует и плетень... Я с Горгосалом в Гори поеду... мне Дмитрий все скажет, всегда любил...

— Непременно поедem; мне Эрасти ничего не скажет, хотя тоже всегда любил; — улыбнулся Горгосал, поправив кинжал в серебряном чекане.

— Для себя поедете или для нас всех? — спросил Иванэ, косясь на Горгосала.

— Для всех непременно, для себя тоже, — уклончиво ответил дед Дмитрия.

— Думаешь, дорогой, персы тебя пустят в стан? — спросил отец Элизбара, в душе давно мечтавший о посылке стариков в Гори.

— Я и Горгосал волшебное слово от ангела птиц знаем, — дед лукаво подмигнул, — конечно, пустят... Варите гозинаки для «барсов».

Старики оживились, суетливо готовились к отъезду. Они не без важности говорили со всеми, особенно были польщены просьбой не оставаться надолго.

— Около большого человека всегда дела много, а без хлопот скучно, назойливые годы о старости напоминают, — говорил дед, любовно укладывая в хурджины желтые цаги для Дмитрия.

Когда дед и Горгосал, удобно устроившись на арбе, выехали на горийскую дорогу, сквозь оголенные ветви орехов и молодого дубняка мерцали большие звезды. Мягкая тишина стелилась на неровной дороге. За крутым поворотом блеснуло озеро, в темной воде плескалась поздняя луна. Обгорелые пни, словно чудовища, загадочно гляделись в глубь озера. Черными гигантскими чрепахами надвигались горы.

Кливидзе сидел на почетном месте в духане «Веселая рыба». Рядом с ним восседал Нодар, его старший сын. Еще в детстве толумбаш азнаур Асламаз предсказал Нодару великую будущность застольника и воина. Нодар хорошо запомнил это предсказание, ибо в тот день впервые увидел Саакадзе, ставшего для Нодара предметом восхищения и поклонения.

Предсказание Асламаза исполнилось с избытком. Молодой Кливидзе уже не уступал своему отцу в застольном искусстве. Статный, с усиками, оканчивающимися в шелковинку, в щегольской чохе с ухарски закинутыми за плечи рукавами, в высокой папахе, слышном заломленной набекрень, и в цагах с носками, слишком загнутыми крючком, — Нодар радовал взор застольников, внушал доверие молодым кутилам и подавал надежду на звание «пирвели дардымани» — первого кутилы.

Сейчас Нодар старался оправдать и другое предсказание Асламаза. Ему, собственно говоря, было почти безразлично, с кем сражаться, лишь бы поскорей получить боевое крещение. Это заставило старшего Кливидзе ускорить опасную поездку в Носте. Но как бы Кливидзе ни спешил, «Веселую рыбу» он не мог объехать.

И сейчас, восседая на почетном месте между чучелом обезьяны, высунувшей красный язык, и сорокой, прикованной цепочкой к шесту и беспрестанно кричавшей «пей, толумбаш!», — Кливидзе острым взглядом осматривал духан, подбирая себе застольников.

Нодар был занят не менее важным делом. Он глубококомысленно заказывал духанщику еду:

— ...вина сразу ставь десять тунг и средний бурдюк под стол брось. Раньше приготвь ганзили<sup>1</sup>, потом свинтри<sup>2</sup>, не забудь побольше джонджоли<sup>3</sup>..

<sup>1</sup> Ганзили (груз.) — черемша — род дикого чеснока. Отваривают и готовят с маслом и уксусом. Вкусное блюдо и лучшее средство от цинги.

<sup>2</sup> Свинтри (груз.) — «Соломонова печать» — растение; в отваренном виде — лакомство и лекарство от золотухи.

<sup>3</sup> Джонджоли (груз.) — особая зелень, остро замаринованная.

Кливидзе вдруг обрушился на Нодара:

— Ты что только траву на стол тащишь? Свинтри! Что у тебя, золотуха?! Ганзили! Что у меня, цынга?! А ты раньше молодого барашка на вертеле целиком зажарь, потом суп бозбаш, потом саживи, курицу пожирней — поймай, долма и шоршору сделай, дорогой, покислее десять уток заправь, как я люблю. Зелень, заказанную молодым азнауром, тоже подай. Подожди, кацо, куда бежишь? Еще один средний бурдюк под стол брось. Потом убери эти чашки, курицу из них напой, сюда поставь азарпешу, турий рог, оправленный в серебро, и праздничные чаши.

Духанщик, беспрестанно кланяясь и повторяя: «Хорошо, батано», — не особейно смело спросил:

— Может, кулу<sup>1</sup> тоже дать?

— Кулу?! Спрячь для скучного гостя, из кулы меньше выпьешь, скорее опьянеешь.

Постепенно вокруг Кливидзе становилось все теснее. Раньше были приглашены ближние соседи, потом дальние, потом настойчиво — из отдельных комнат и, наконец, силком — проезжающие мимо духана.

Сидели старые с длинными усами и молодые в нахлобученных папахах и без папах, богато одетые и в скромных чохлах.

Сидел какой-то толстый купец, сумрачный монах, стройный щеголь с завитыми усиками и с пучком волос на макушке бритой головы. Он кичился, что недавно вернулся из Ирана и обрит по персидской моде. Его насильно сняли с коня и втащили в духан.

Средние бурдюки, опустев, скорченные валялись у ног Кливидзе. На деревянном блюде уже вносился третий жареный баран.

Сорока шумно хлопала крыльями.

Кливидзе упрашивал гостей, грозил, взывал к совести, и снова наполнялась азарпеша. Вдруг он остановил удивленный взгляд на монахе, сосредоточенно жуящем зелень.

— Святой отец, разве мясо грузинам не бог дал?! Если только травой можно спастись, то ишаки первые вбегут в рай!

И снова провозглашались тосты по поводу и без всякого повода. В самом разгаре, когда роги и чаши, поднятые над головой, застыли в воздухе и не подвернулся подходящий тост, Нодар предложил выпить за упокой бывшей обезьяны. Тост шумно поддержали, и Кливидзе под восхищенные возгласы влил рог вина в разинутую пасть чучела. Послышалось бульканье. По красному языку обезьяны струйками полилось вино.

— Пьет! — крикнул Нодар, восторженно вскочив верхом на бурдюк.

— У меня и мертвый запьет! — обрадованно размахивал пустым рогом Кливидзе.

Духанщик, конечно, знал нравы кутящих и, оберегая украшение духана, поставил внутри чучела кувшин. Потом за умеренную цену он поил из этого кувшина неприхотливых посетителей.

— Нет азарпеши, кроме азарпеши, и алла-верды ее пророк! — гремел Кливидзе, протянув очередную азарпешу щеголю с пучком волос на бритой голове.

Нодар вскочил, ястребиные глаза налились кровью, он, потрясая бараньей ногой, завопил:

— Отец! Этот гнусный лицемер не пьет, только погружает усы а азарпешу.

— Что?! — Кливидзе поднялся, — почему только нюхаешь вино?! Думаешь, я тебя укусом угощаю? Нодар?! Пусть чем ушибся, тем и лечится.

Нодар поспешил наполнить огромный рог и протянул щеголю.

— Что?! — перегнулся через стол Кливидзе, не спуская с щеголя пытливых глаз: — не можешь пить?! Ты что, не грузин? К невесте спешешь? Почему сразу не сказал? Эй, Нодар, наполни все роги и чаши. Ну-ка, тащи еще бурдюк! Выпьем за красавицу невесту. Пусть жизнь твоя будет, как полная азарпеша! Пусть у тебя родится столько детей, сколько глотков я сделаю из этого рога! Посты, что говоришь? Сегодня твоя свадьба?! А-а, на свадьбу спе-

<sup>1</sup> Кула (груз.) — шарообразный сосуд из кокосового ореха или корня грушевого дерева с тонким, длинным горлышком.

шил?! Почему раньше не сказал? Нодар, наполни еще все чаши. Что? Не можешь больше пить?! Нодар, слышишь?

Нодар легкой походкой подошел к щеголю:

— Грузины, опустошайте роги, пусть, счастливых жених увидит, как лучшие силы Картли умеют пить за счастье молодой невесты. Э, э, все выпили, а ты что ждешь? Не можешь?! Тогда за свое здоровье пей! Тоже не можешь? Тогда за мое прошу! Еще раз не можешь?! Тогда приедешь к невесте с волосами!

И под дружный хохот Нодар опрокинул на голову щеголя рог вина. Щеголь вскопил, мокрый пучок волос распластался на бритой макушке. Отряхиваясь, он задержал руку на кинжале.

Но Нодар легко схватил щеголя за плечи и, дружески выталкивая из духана, приговаривал:

— Какое время хвататься за оружие? Поезжай, дорогой, неудобно, невеста ждет!

Не успела закрыться дверь, как в духан, приплясывая, вошел мествире. На нем были колпак и короткая бурка.

Кливидзе шумно обрадовался приходу мествире и потребовал немедленного восстановления чести опозоренного рога.

Рог снова был наполнен. Мествире, не переводя дыхания, осушил рог и, опрокинув, показал ловкость застольника: ни одна капля не упала из рога. Репутация рога была восстановлена.

Мествире сел рядом с Нодаром и, раздув гуда-ствири, запел любимую песенку посетителей придорожных духанов:

Я вчера красавицу увидел в саду,  
Дремлет Дареджан у роз алых на виду,  
Всем она мне нравится, — к яблоне иду,  
Сколько в сердце ран! Вздохнул и надул  
гуду.

Я молил жестокою, а в ответ одно:  
«Любят черноокою без тебя давно».  
Поспешил в духан скорей позабыть беду...  
Век с таким бы чувством ей продремать  
в саду.

Изошряясь в шутках, посоветовали мествире одно средство, способное отогнать сон от любой красавицы.

Кливидзе рывкнул:

— Дай нам еще один бурдюк! тащи самый крепкий!

Сгибаясь под тяжестью, двое мальчишек внесли на палке прожаренную на вертеле кабанью тушу. Проперченное мясо издавало приятный аромат, на пол стекали капли жирного сока.

Нодар откинул рукава чохи, обнажив кинжал, ловкими ударами отрезал от туши сочные куски и преподносил на острие кинжала каждому.

Кливидзе острым взором обвел гостей и, подбоченясь, обратился к монаху:

— Почему опять не кушаешь, святой отец?

— Перцу мало, сын мой, — с христианским смирением ответил монах.

— А ты почему не кушаешь? — обругался Кливидзе на купца.

— Немножко кислоты нехватает, батоно.

Кливидзе отвел в сторону духанщика и заказал два блюда: «индоэтский пилав» из ханского риса, приправленный двадцатью различными тропическими пряностями и фруктовыми кислотами, и «сатану» — каплунов, нашпигованных красным стручковым перцем, душистой смолой и различными острыми специями.

С новой силой запыхал огонь, в котлах что-то зашипело, заклокотало. Чихал повар, чихали мальчишки, чихал духанщик, вытирая слезы.

В ожидании новых яств Кливидзе стал просить мествире рассказать о свойствах зверей. Но мествире, осушив вторую чашу вина, предложил послушать о свойствах орла и змеи.

Застольники плотнее обступили мествире, и только в углу покачивался на табурете клевавший носом монах. Мествире вытер широким рукавом губы и шумно поставил чашу:

— В Арани страшный старик жил, и вот один раз такое видел: за Тушети есть большие белые горы, посередине каменная река, ущелье и долины внизу лежат. Кто оступится на каменной реке, потеряет память и выйдет на другую землю к народу с красной кожей. На кругой вершине высокий народ жил, с гордыми глазами и большим сердцем

ходил. На скользкой вершине маленький народ жил. Глаза за пазухой держал, сердце узкое имел, больше хитростью жил.

Очень долго друг о друге они ничего не знали, раз встретились на охоте, сразу драться начали. Высокий народ шел открыто, маленький туда-сюда вертелся. Шашек не имели, кинжалов тоже не было, — что делать? Луки хорошие держали, охотились на летающих рыб. Много стрел о камни затупили, не попадали друг в друга. Что делать? Долго думали. Потом вышли вперед самый рослый и самый маленький, натянули луки. Сердито запели стрелы, и сразу самый высокий и самый маленький на каменную реку упали, больше никто их не видел...

Вдруг зашумел ветер, закружилась холодная пыль, закрыла всем глаза. Тихо стало. Только когда пыль на место легла, высокий народ белыми орлами над вершиной кружил, маленький ядовитыми змеями внизу полз.

Все забыли, только помнят злость друг на друга, войну сейчас тоже не кончили. Змеи любят сердце орлиное, потому что оно алмазным стало. Кто им овладеет, страх теряет.

Орлов змеиный глаз манит, потому что изумрудным стал, силу предвиденья имеет. Бросаются орлы на змей, выклеивают змеиные глаза, впиваются змеи в сердце орлиное.

Наверху изумруды рассыпаны, внизу алмазы горят...

Много народу ходило, никогда орлов не видели, змей не нашли, — каменная река не пускает. Похвастал в Арани храбрец, ушел, сто лет ходил. Когда вернулся его никто не узнал. Один алмаз принес, один изумруд, только свои глаза потерял. Больше не ходят люди, боятся. Правда, зачем на камни глаза менять?..

Зачем за князей свои права отдавать? Шах Абасс народ ищет. Куда в Карли ни придет, народ от него, как орел от змеи, к горным вершинам уносится. Что делать? Не жаляет народ змею покориться. Кто орлами хочет парить над вершиной, пусть помнит — змеиные князья ищут орлиное сердце. Кто завла-

деет народным сердцем, теряет страх перед врагом, сильным становится. Люди, верьте Георгию Саакадзе, верьте, но пока молчите.

Кливидзе нахмурился. Хмель слетел с него, словно камень, отломившийся от скалы. Он вспомнил, зачем спешил в Носте. Там он думал узнать планы Саакадзе, намерения «барсов». Кливидзе встал и хотел, расплатившись с духанщиком, выехать в Носте, но мествире шепнул ему на ухо: «Жди здесь Даутбека, от Саакадзе приедет».

Кливидзе удивленно приподнял брови, оглядел своих шумных многочисленных гостей, из которых он не знал ни одного даже по имени.

За стойкой со скрипом распахнулась дверь, и вошли мальчишки, держа на голове плоские деревянные блюда с «индо-этским пилавом» и глубокие деревянные чаши, где в ароматном соусе плавал «сатана».

Вскоре гости Кливидзе сидели с выпученными глазами и разинутыми ртами. Никакое количество вина не в состоянии было «погасить пожар». Никакие тосты Нодара не вызывали ни смеха, ни восклицаний. Купец стонал на длинной скамье. Кто-то вцепился в косяк и никак не мог оторваться от двери. На полу лежали вповалку, не разбирая места и соседа. Монах прислонился к стене, тшкетно пытаюсь поддержать достоинство сана.

Кливидзе, оглядев духан, приказал духанщику положить купца на палас и откачивать, затем разместить пострадавших в саду на свежем воздухе: пусть неделю помнят, как Кливидзе угощает!

Монах Нодар сам усадил на осла и, сунув ему в руку сухую ветвь, просил не свалиться в канаву.

Монах раскачивался на осле. Нодар с сомнением покачал головой, дал мальчику монету и велел проводить монаха в монастырь.

— Пусть в рай вместе с ишаком въедет! — добавил, выглянув из духана, Кливидзе.

Когда духан опустел, Кливидзе, подтянув цаги, приказал духанщику закрыть дверь на засов и никого не впускать. Он, Кливидзе, ждет одного дру-



га, с кем, наконец, хочет спокойно проглотить чашу вина и откусать кабана.

Только в полночь, когда духанщик и прислужники, утомленные, крепко спали, на всякий случай забрав с собою обезьяну и сороку, кто-то отрывисто ударил два раза молотком.

Мествире приоткрыл зашелку и сразу распахнул дверь. В духан вошли двое, закутаные в простые бурки и башлыки. Кливидзе пристально смотрел на исполнина в башлыке и, пораженный, вскрикнул:

— Георгий, ты?!

Саакадзе скинул бурку, и воины, забыв кровавую сечу у стен Горис-цихе, бросились друг другу в объятия и трижды облобызались.

Кливидзе восхищен: вот сидит как простой друг большой сардар, о ком поют песни далеко за пределами Грузии и Ирана, кто славой затмил Нугзара Эристави, чьи богатства превышают все желания.

Восторженно смотрел Нодар на Саакадзе и мысленно дал клятву в вечной верности полководцу азнауров.

Внезапно Кливидзе нахмурился. Неужели это Георгий Саакадзе поднял меч у Горис-цихе на азнауров, на ополченцев, собранных по его слову. Почему сейчас снова тянется к азнаурству?! Может затевает измену? И Кливидзе сердито выкрикнул:

— Князь Саакадзе, зачем пожаловал к нам?!

— Для тебя, Кливидзе, я азнаур!

— Нет, князь! Почему называешь себя азнауром?

— Я стал князем, но не это важно. Мои мысли и желания связаны с азнаурами.

Саакадзе говорил властно, убедительно. Он говорил о временной необходимости подчиниться обстоятельствам, использовать создавшееся положение и снова восстановить союз азнауров, разгромленный Шадиманом.

— Зачем?! — резко спросил Кливидзе.

— Для будущих битв и побед, — ответил Саакадзе, невольно остановив взор на серебряных нитях в черных усах испытанного воина, — неужели ты рассчи-

тываешь, азнаур Кливидзе, без борьбы отнять обратно землю от надменных владельцев?

— Царя потеряли. Картли перс топчет, время ли беспокоиться об азнаурских землях?

Чуть приоткрыв покров над своими планами, Георгий пытался внушить Кливидзе мысль о необходимости выдвинуть азнаурское сословие на политическую арену. Это единственная сила, способная сейчас спасти Картли.

— О царе тоже не следует беспокоиться. Будет царство, найдется и царь. Больше надо думать, как бороться с князьями, надевшими чалмы не только на себя, но и на свои замки.

Кливидзе порывисто пододвинул скамью:

— Прямо скажи, Георгий, если жалешь грузин, почему в бою у Горис-цихе обнажил шашку? Почему с персами пилав кушаешь? Если стараешься для персов, почему Уплис-цихе не окружил? Ты мне большими делами укроти, я о них сам позабочусь. Открыто скажи, с чем пришел? Враг? Друг? Всех запутал! Тебя уже никто не может понять!

— Очень жаль, что ты, азнаур Кливидзе, меня не понял, — сухо сказал Саакадзе, — сейчас идем по скользкой тропе, неверный шаг — и все свалится в пропасть. Необходимо обезоружить князей их же оружием. Чалмы можете не надевать, но все азнауры, молодые и старые, Верхней, Средней и Нижней Картли должны явиться с покорностью к шаху Аббасу.

Едва дослушав, Кливидзе вскочил:

— Если азнауры меня спросят, скажу: кто раз грузинское достоинство потерял, на уважение народа рассчитывать не смеет. Народ беднее князей, а какую встречу оказал шаху собаке? Одни босые ноги унес народ в снежные горы, а ниц перед персом не пал.

Наступило молчание. Неясные тени расплывались под сводами духана. Буйный ветер, скатившийся с гор, настойчиво дергал ставень, сляясь вломиться в притихший духан, но старый дуб, верный страж у окна, защищал его могучей грудью. Старый дуб гудел и стонал

и все настойчивей стучал веткой в ставень, словно звал на помощь.

В очаге потрескивали сухие обрезки виноградных лоз.

«Вот смесь благородства и ограниченности ума, — думал Саакадзе, пристально вглядываясь в отважного азнаура. — Кливидзе убедить ни в чем нельзя, от своих наследственных устоев он никогда не отступит, спор бесполезен, но он единственный, кого сейчас слушаются азнауры, а что еще важнее, — ему верит народ. Придется искать другой путь, а Кливидзе надо сохранить».

— Вот что, друг, тебе здесь оставаться опасно. Князя хорошо осведом-

лены, кто обнажил шашку у стен Гори. Скройся с семьей на время в Имерети и жди моего сигнала.

Георгий поднялся, накинул бурку, положил перед Кливидзе тяжелый кисет с золотыми монетами, подал руку мести-ре и быстро вышел.

Эрасти выбежал следом. За окном уныло звякнул конский убор и послышался торопливый цокот.

Долго сидел в глубокой задумчивости Кливидзе и вдруг с посветлевшим лицом сказал:

— Э, э, Нодар, он снова наш! Скоро будем вместе охотиться на крупного зверя.



# Наташа

Рассказ

Вас. КУДАШЕВ

★

I

Лет пять назад, будучи еще студентом, я гостил в Приазовье у моего родственника — директора совхоза Ивана Назарыча. В этом крае я был впервые. Шла стремительная южная весна. Недавно организованный совхоз был еще неблагоустроен; Ивана Назарыча я редко видел в квартире: и днем, и ночью он пропадал на далеких участках.

Я не раз с досадой подумывал: скоро надо уезжать из совхоза, а Иван Назарыч, видать, так и не соберется, не найдет времени свезти меня на обещанную охоту.

Однажды Иван Назарыч вернулся домой раньше обычного. Сапоги его до колен были забрызганы грязью, лицо с розовым шрамом на правой щеке загорело, и от этого голубовато-серые глаза его светились ярче.

Несмотря на свои сорок пять лет и тучность, Иван Назарыч был горяч, очень подвижен и всегда куда-то спешил. Он бодро шагал из угла в угол просторной комнаты, половицы скрипели под ним. Он теребил пальцами слезялые, опрыснутые сединой волосы и торопил жену, чтобы та скорее собирала обедать.

— Успеешь, хоть часок посидел бы в семье, — заметила Марина Акимовна. — Степь, небось, не сгорит.

— Сережа, собирайся живее! — крикнул мне Иван Назарыч. — Сейчас отправимся... знаешь, куда? Счастливый сон! На лиман, к морю!

У дома нас ожидала пара рыжих лошадей, запряженных в зеленую тавричанку. Марина Акимовна вышла на крыльцо проводить нас.

— Вы что же, нынче не вернетесь? На лиман?

— Да, — ответил Иван Назарыч.

— Тогда подождите минутку, — и Марина Акимовна торопливо убежала в дом. Вернулась она с небольшим свертком. — Наташе передай... И скажи, как только весна обглядится лучше, — заеду. Афанасу поклон... И не забудь, пригласи, может, Наташа вместе с вами придет к нам погостить.

— Нет, не забуду, — сказал Иван Назарыч и, тронув лошадей, вскочил в тавричанку по-кавалерийски, на ходу.

Было около полудня, когда мы выехали в широкую степь, сверкающую и поющую под ярким весенним солнцем. Над нами заливались жаворонки, а вдаль, на склоне холмика, поблескивая на поворотах крыльями, ползали два трактора, воркуя, как тетерева на току.

Иван Назарыч был весел, оживлен, но, по мере того, как мы ехали дальше и дальше, он становился все молчаливее и задумчивее. Пошевеливая вожжами, он поглядывал во все стороны, прислушиваясь. Вдруг он обернулся, по-

щупал рукой, цел ли в задке тавричанки, под сеном, сверток, и спросил:

— Сережа, ты Андрея Чубукова помнишь? Андрюшка, кузнец...

В моем представлении сразу и ярко всплыл сын угрюмого старика Тихона, плечистый и курчавый парень. В девятнадцатом году я, вместе с оравой ребятишек-ровесников, провожал далеко за деревню Ивана Назарыча и Андрея Чубукова. Молодой кузнец шел впереди полукруга молодежи, сопровождавшей его, навстречу ледяному и порывистому ноябрьскому ветру. В руках Андрея заливалась, зияя розовыми мехами, гармонь, а сам он, слегка подвыпивший, задумчиво и прочувствованно пел:

Прощай, деревня и дуброва,  
Прощай ты, девка чернوبرова.

Я поправлял надвигавшуюся на глаза отцовскую шапку, топырил плечи, — хотелось стать как-то больше, — и мне было до слез грустно и неудержимо потянуло идти дальше вместе с Иваном Назарычем и особенно с Андреем, долго потом махавшим односельчанам фуражкой. Иван Назарыч скрылся за бугром следом за подводой, а Чубуков Андрей все еще стоял на фоне жарко багряного заката, волосы на его голове трепал ветер.

На выгоне толпилось все население нашей деревни, и многие, особенно девушки, глядя за бугор, где страшным пожаром полыхала сама земля, утирали слезы.

Всех дольше смотрел туда дед Тихон, сутулоплечий, с темносизыми окалинами на морщинистом лице, опершийся узловатыми и черствыми руками на посох. Затем он вошел в кузню, развел горн, взял в руку молот и остановился перед ним, словно видел впервые. Больше двух лет старик почти не подходил к горну, и видно, и не думал о том, что ему вновь придется стать у наковальни вместо сына. Мы, ребятишки, охотно вызвались помогать старику. Я первый успел схватиться за конец висячей палки и начал качать ее, чтоб шибче пылал горн, упругое и шестининое пламя которого всегда манило к себе нас, ребятишек. «Ровнее дуй,

ровнее!» — учил меня старик и, поворачивая клещами раскаленные добела куски железа, сосредоточенно глядел то на гудящую сине-алую кипень горна, то вдруг оборачивался к открытой настежь двери и, щурясь, раздумчиво поглядывал вдаль.

Андрей не вернулся в родную деревню. От Ивана Назарыча, когда он заглядывал потом на родину, я не раз слышал, что Андрей Чубуков погиб где-то в далеких степях.

— Я провожал тебя и Андрея, когда вы уходили в Красную армию, — напомнил я сейчас Ивану Назарычу.

— Разве? — удивился Иван Назарыч, хлестнув вожжами лошадей. — Да, пожалуй, верно, провожал. Подожди, а сколько же тебе в то время было лет?

— Утки, утки! — вскрикнул я, указывая на высоко летящую стайку.

— Нет, это не утки, — сказал Иван Назарыч, весело и азартно глядя на птиц с вытянутыми по-утиному шеями. — Да, теперь, значит, и в степи можно охотиться. Есть стрепеты, есть...

Миновав балку, мы вновь поехали ровной нескончаемой степью. Лошади бежали охотно, ладно постукивали колеса тавричанки.

— Слышишь? — спросил вдруг Иван Назарыч, зорко глядя в сторону.

Я напрягал все внимание, но ничего не видел в пустой буро-зеленой степи и ничего не слышал, кроме журчания жаворонков и разговора колес тавричанки.

Иван Назарыч остановил лошадей.

— Ну, а теперь слышишь?

— Да.

Но я сказал неправду — я и теперь ничего не слышал. Лишь издали доносились до меня неясные звуки, — точно под течением ветра сухая былинка терлась о другую.

— Стрепет токует, — сказал Иван Назарыч, и шрам на его щеке покраснел. — Приготовь ружье.

Иван Назарыч повернул лошадей в сторону от дороги, в целинную степь, полную пряных запахов земли, молодых трав и солнца. Мы ехали долго, а впереди ничего не было видно и не стало вдруг слышно стрепета.

Свесив ноги с тавричанки, я держал

тулку на коленях, каждую секунду ожидая слов Ивана Назарыча: «Ну, стреляй!»

— Придержи лошадей! Стой!—завопил я, вскидывая ружье.

Но Иван Назарыч не дал мне выстрелить в распластавшуюся почти подле самого колеса тавричанки птицу, оперение которой сливалось с цветом травы; выпуклые коричневые глаза ее следили за нашими движениями немигающе, затаенно.

— Самка, — сказал Иван Назарыч.

А крупный, почти с курицу, с темносизой головой, стрепет не подпустил нас близко; он сорвался неожиданно и, тонко свирястя крыльями, скрылся за холмом.

Мы погнали лошадей, спешили на вершину холма и напрасно: стрепета и отсюда не было видно. На южном склоне холма, где травы были гуще, паслась отара белых овец, а дальше снова лежала долгая и однообразная степь, и над ней, в высоком небе, как темные листья в синей воде, плавали коршуны.

Под изволок лошади побежали быстро, а мне долго казалось, что тавричанка стоит на одном месте.

Пространства степи и синь неба настолько были величественны, что мне, непривычному к таким видам, хотелось кричать от восторга, и я не утерпел:

— Какой тут простор!

— Да, простор большой,—согласился Иван Назарыч, — но мне вот, когда еду по этим местам, часто делается тяжело и больно. Память сердца, Сережа... Да, чорт ее возьми, память сердца! Уехать, что ли, мне куда-нибудь отсюда? — И, помолчав, добавил: — Нет, уехать, видно, я не смогу,—кровью породнился с этими местами.

Я не понял Ивана Назарыча; лицо его стало тревожным. Лошадей он вдруг повернул с дороги вправо, в целинную степь. Вновь, что ли, он услышал где-то токующего стрепета? Но Иван Назарыч не прислушивался, — он напряженно думал о чем-то другом. Миновали небольшую балку, затем ехали рядом с железной дорогой, поблескивающей аспидными полосами рельсов. На телеграфной проволоке сидели зеле-

но-радужные и равнодушные ко всему сизоворонки.

В отлогой балке виднелся хутор. Белые домики утопали в сквозных весенних садах с дымчато-зелеными султанами тополей.

Навстречу нам показался всадник в казачьей фуражке набекрень. Гнедая лошадь бежала бодро, высоко задрав голову, а молодой казак, пошевеливая ногами в стремях, сидел так ладно и фасонисто, как будто был готов к тому, чтоб на всем пути его фотографировали. И мне издали казалось, что казак едет знатный,—на новой, защитного цвета гимнастерке рдели и сверкали ордена. Когда всадник поровнялся с нами, я отчетливо увидел на груди молодого казака значки: «Осоавиахим», «ГТО» и еще какие-то.

— Службистый народ, — заметил Иван Назарыч, когда всадник миновал нас.

Хутор скрылся, и опять — степь, степь...

— До моря, видать, еще далеко? — спросил я.

— Да, порядочно.

Иван Назарыч пристально поглядывал по сторонам, и я понимал его так, что он, решив заменить поездку к морю охотой в степи, высматривает дичь. Но вокруг ничего не было видно, даже жарворонков, — день угасал.

У отлогого ската холма, густо заросшего низкой, густой полынью, словно подернутого дымом, Иван Назарыч остановил лошадей, слез с тавричанки и подошел к серо-коричневой гранитной глыбе, лежащей на кирпичном, с окрошившимися углами постаменте.

— Ну, вот,—тихо, точно боясь кого-то потревожить, сказал Иван Назарыч и снял вылинявшую защитного цвета фуражку. Седин на его голове, как мне показалось, стало вдруг больше, чем всегда.—Скоро минует семнадцать годов, как бойцы моего эскадрона... — Скашлянув, Иван Назарыч добавил: — И самый лихой из них, Андрей Чубуков, лежит здесь.

Для меня все это было неожиданным, и я с опозданием, но тоже обнажил голову.

## II

Громоздившиеся на западе оранжевые облака погасли. Стало сумрачно, глухо, повеяло прохладой.

— Ну, вот и море, — сказал Иван Назарыч.

Я смотрел вперед и ничего не видел, кроме сплошного тумана и кое-где робко мигающих в тумане огней. Оказывается, мы ехали уже берегом, но море, укутавшись в седой сумрак, спало, — слышно было только порывистое и шумное его дыхание, пахнущее солоноватым ароматом.

Затем мы круто повернули в сторону от моря, миновали белую хату, низкие сараи с плоскими крышами. Песок шипел под колесами. Горкло пахло дымом, копченой рыбой. Переехав мрачный овраг, мы очутились в еще более темном и узком проулке, среди густых деревьев. Иван Назарыч, понукая осторожно шедших лошадей, вглядывался вперед зорко, точно мы заехали не туда, куда нужно.

Мне стало вдруг слегка тревожно и грустно, как всегда бывает, когда подъезжаешь поздним вечером к незнакомому жилищу.

— Это кто? — слышался хриловатый и строгий голос.

— А ты кто? — тем же тоном спросил Иван Назарыч и прыгнул с тавричанки.

Растопырив руки, он кинулся в потемках на кого-то, началась борьба... Я не знал, что делать. Взялся было за ружье, но вот слышались тяжелые шлепки ладоней по спинам, здоровый смех и вновь незнакомый голос:

— Ну, а теперь здравствуй, Иван Назарыч! Вот не ожидал!

— Здорово, Афанас, здорово! — так же приветливо сказал Иван Назарыч. — Крепок ты еще, старина!

— А как же Афанасу не быть крепким? Зараз мог тебя опрокинуть! — И, отойдя в сумрак деревьев, за которыми белела хата, Афанас гаркнул: — Лукерья, встречай гостей! Наташа! Наташа!

Пока мы ставили в сарае лошадей, задавали им корм и затем в сумрачной,

слабо освещенной прихожей, сложив ружья и патронташи, приводили себя после длинного пути в порядок, в доме непрерывно слышались торопливые шаги, хлопанье дверей и озабоченный разговор. Казалось, что мы подняли на ноги очень большую семью. Но когда мы вошли с Иваном Назарычем в яркобелую, опрятную хату, сразу стало неожиданно тихо, только одна пожилая женщина, должно быть, хозяйка, сутилась около стола. Крашенный пол был чист; пахло сушеными яблоками, травами и еще какими-то запахами, присутствия приморскому казачьему жилью. Между окон, в простенке, висели: портрет — Ворошилов на рыжем коне — и много каких-то фотографий, но я не успел рассмотреть их, вошел сам Афанас, огромный, сутуловатый, ноги полудугой, точно он всю жизнь сидел на бочке. Он был в чириках, широкие штаны с красными лампасами забраны в белые шерстяные чулки, рубашка без пояса, через открытый ворот видна лохматая грудь... Афанас показался мне очень суровым и некрасивым — лицо широкое, нос аляповатый, а под мохнатыми бровями глаза были слишком быстры, упрямы и малы. И только в голосе его звучали добродушие и простота.

— Ну, рад! Вот рад, что есть еще у тебя память о дружках! Год минул, как не видались, а? — обратился он к Ивану Назарычу, поглаживая густые, обвисшие усы и седую щетину бороды. — Лукерья, рыбцов приготовь! И возьми там, что висят в углу...

— Птица есть, охота будет? — спросил Иван Назарыч.

— А как же не быть птице, коль приехали такие гости!

— Мы что же, может, направимся к гирлам?

— Это далеко, да и зачем туда, воду глядеть? У нас за хатой свое море. Вся птица зараз держится на лиманах, в зарослях.

Лукерья подала на стол закуски: сало и несколько тарелок разной рыбы. За стол вместе с нами хозяйка не села, сказала, что недавно ужинала, и ушла в прихожую, где шумел самовар.

— Присаживайтесь, молодой человек, к столу, — пригласил меня Афанас.

— Это мой племянник, Сережа, — отрекомендовал меня Иван Назарыч.

— А это совсем добро, — сказал Афанас, наливая из графина в стопки водку. — Ну, за свидание...

Я отпил из стопки глоток и отставил ее.

— Это что такое?! — вскрикнул Афанас. — В доме казака не пить нельзя!

Он начал настойчиво потчевать меня, и я увидел, что Афанас держал стаканчик в правой руке указательным и большим пальцами, а остальных у него не было... Он упрямо смотрел мне в глаза. Иван Назарыч вырубил меня:

— Нет, Сережа не пьет.

Иван Назарыч и Афанас опрокидывали стаканчики охотно, разговор у них пошел оживленный. Я хорошо закусил. Особенно вкусны были рыбки, сочившиеся янтарным жиром, приготовленные, как сказал Афанас, по особому, только ему известному, способу.

— А-а! Вот и наша Наташа! — воскликнул Иван Назарыч.

Подскочив со стула, он высоко взметнул руки навстречу вошедшей в хату рослой девушке, в простом полотняном платье и светлоалом платке, свободно и аккуратно повязанном концами на затылке. Кланяясь, она поздоровалась за руку с Иваном Назарычем, а затем и со мной, быстро взглянула мне в лицо большими, торопливо блеснувшими глазами и отошла на середину хаты.

Раскрасневшийся от водки Иван Назарыч приговаривал:

— Гляжу я на тебя, Наташа, и не нагляжусь! Ты все лучше и лучше!

— Добрая, добрая казачка, — сказал Афанас.

— Подожди, какая же она казачка? — возразил Иван Назарыч. — Она, я гляжу, больше наша, мужичка!

— Вы всегда спорите, а я разницы в этом не вижу, — заметила Наташа, улыбаясь.

— А это и совсем верно! — подхватил Иван Назарыч.

Наташа спросила:

— А чего же тетя Марина не приехала?

— Приедет как-нибудь обязательно, а сейчас прислала тебе подарок и очень просила гостить к нам... Сколько ты уже не была у нас, а? Окончила свой техникум, стала ученой рыбачкой и зналась. Завтра едем к нам! Едем!..

— Спасибо, — ответила Наташа. — Пока не окончится путина, не могу...

— Путина... Ах ты... Да, да... Какая ты!..

Иван Назарыч перевел свой взгляд с Наташи на меня, но я сразу опустил глаза, испугавшись, что вдруг он спросит: «Сережа, замечаешь, какая девушка? Видишь, а?» «Да, вижу, чувствую...» — неслышно хотелось мне ответить Ивану Назарычу. Но он оказался тактичным: не спросил меня и, выпив с Афанасом водки, начал закусь.

Я был увлечен Наташей с первого появления ее и первого ее взгляда. Я не смог бы сразу ответить, чем же она очень хороша и красива, но я понимал, вернее, чувствовал ее красоту и был взволнован, как от песни, простой и задушевной.

И мне даже казалось, что я видел когда-то девушку, похожую на Наташу ладной и сильной фигурой, приятным лицом, и особенно были знакомы густые, темные ее брови и глаза, большие, светлые... Где же я видел ее? Может быть, мне чудилась она во сне или же я мечтал о такой девушке наяву? И я робко, почти украдкой, заглядывал на Наташу и все больше находил в ней знакомые черты, особенно в выражении лица. А Наташа легкой походкой пошла в прихожую, принесла самовар, затем разливала чай и, казалось, не замечала меня.

— Вам налить чаю покрепче? — спросила вдруг она.

— Да... все равно... да, покрепче, — ответил я, чувствуя, что неудержимо краснею.

Я готов был встретить ее взгляд, но она уже искала что-то на столе, смотрела вниз, и мне стало обидно, грустно, точно мое желание гасилось наташиной гордостью. Я отпил полстакана

и начал смотреть то на белые стены хаты, то на тарелки.

Смуглолицая и хлопотливая Лукерья предложила мне взять варенья. Афанас громко и с яростью доказывал Ивану Назарычу:

— Нет, у нас один был выход! Один!..

Размахивая руками, Афанас сбил со стола тарелку. Лукерья ахнула, покачала головой. Наташа сказала:

— Дедушка, тише.

— Да тут я... убытки эти, верно, ни к чему, — согласился Афанас. — Но где пьют, там... Да, Иван Назарыч, выход был один. Иначе бы и нам...

Наташа, улыбаясь, собрала с пола осколки, но вдруг внимательно поглядела на Афанаса, возбужденного и ставшего словно шире в плечах. Лукерья слушала мужа, не мигая. Разговор старых друзей доходил до меня, как сквозь сон, но теперь и я не мог не слушать:

— ...Не прорвись мы тогда, — продолжал Афанас, — лежать бы и нам, как Андрей и многие другие, — лежать бы на холме и сторожить его во веки.

Опустел второй графин, остыл чай в стаканах, а Иван Назарыч и Афанас, то-и-дело прерывая друг друга, вспоминали близкие им и дорогие имена по службе в Одиннадцатой кавалерийской дивизии, шедшей с жестокими боями на Таганрог, к морю... И, оказывается, там, в степи, на склоне холма, вместе с Андреем Чубуковым навечно остался лежать почти весь эскадрон Ивана Назарыча... Из шестидесяти пяти буденновцев уцелело девять. И этим девяти Афанас расчистил своим клинком путь и вывел их на свет из круга отборных офицерских сабель.

— Да-а, — раздумчиво протянул Иван Назарыч, — январский мороз лютовал, а нам было душно, жарко... Ну, выпьем еще, Афанас, за... за всех живых выпьем!

— Верно, усопшим... им все одинаково теперь. А мы зараз выпьем...

Но Афанас оставил от себя стаканчик, склонил голову и протяжно, монотонно запел:

Э-эх, во-от, во-от в Таганроге,  
Эх, да в Таганроге случилась беда...

Иван Назарыч залившимся тенором подхватил:

Э-эх, там убили, эх, там убили,  
Там убили молодого казака...

Наклонив друг к другу головы, они пели дружно и задумчиво. Наташа вдруг торопливо поднялась со стула и ушла в комнату, рядом с прихожей; Лукерья слушала напряженно, немигающие ее глаза заблестели. Я тоже чувствовал себя возбужденно и грустно, невольно вспомнилось место, где похоронен Андрей Чубуков, склон холма, заросший седой польнойю.

— Наташа! Наташа! — позвал Иван Назарыч. — Ты не обиделась на меня? Прости, пожалуйста... Привез подарок и не передал!

Он быстро поднялся, покачивающейся походкой вышел в прихожую, весело заговорил там:

— Но я и сам не знаю, что тут... А-а, вот это правильно. Платок, да какой платок!

Склонившись над столом, Афанас, потерев усы, крикнул:

— А ну-ка, и мы поглядим! Наташа, покажи нам свой подарок. Наташа!

— Сейчас, дедушка, сейчас...

И Наташа выбежала на середину хаты в большом, переливающимся бахромой, как ковыль, белом шелковом платке, накрывшем ее голову, плечи и всю складную и гибкую фигуру. Лицо Наташи было еще затенено тревогой, вызванной песней, но она не могла уже сдержать свою радость, — подбоченясь, быстро и ловко повернулась, глаза ее весело засияли.

— Ну, что это только за Марина Акимовна! — восхитилась Лукерья, всплеснув руками. — Чем же нам в ответ отблагодарить ее? Всегда мы у нее в долгу за Наташу.

— Ну, вот еще... какие тут долги... — недовольно заметил Иван Назарыч.

— А как же иначе? — возразила Лукерья. — Заботитесь всегда о Наташе, как о дочери родной.



Наташа, казалось, не замечала этого разговора. Она неожиданно и быстро взглянула на меня, точно хотела спросить, очень ли идет к ней платок, но сейчас же, как бы почувствовав, что своим видом и красотой стесняет меня, отвела взгляд в сторону, повернулась и ушла в свою комнату.

Иван Назарыч и Афанас вновь с увлечением заговорили о чем-то, но я не мог обернуться в их сторону, боясь, что они угадают мои мысли. В хате стало как-то пусто и мрачно, точно Наташа унесла с собой часть света.

Я поднялся из-за стола и вышел на крыльцо, за угол хаты. В темной ночи гудел ветер, вокруг ничего не было видно, и только из окна наташиной комнаты, сквозь расщелины неплотно закрытого ставня, падали узкие и скудные полоски света. Пахло тополем. Я стоял напротив окна долго, полный зависти к свету в наташиной комнате, завидовал даже внутренней стороне ставня.

— Сережа! — слышался голос Ивана Назарыча.

Я обомлел, точно меня застали с краденым, и не отозвался; осторожно обойдя какой-то плетень, я вышел к крыльцу с противоположной стороны хаты.

— Ну, стой, будораги! Запутались чертяки! — разговаривал с лошадьми в сарайчике Иван Назарыч и вновь позвал: — Сережа!

— Да.

— Звездно, заря должна быть хорошей. Только вот поднялся ветер...

— Пусть подует, — заметил Афанас, — деревья скорее прозреют от зимней спячки.

Звезды, мерцая, колыхались, будто их покачивало ветром. Вдали шумело, должно быть, море.

### III

Перед рассветом ветер затих. Звезды, бледнея, гасли. Светало быстро, но мир был еще в легком сумраке.

Я забыл или не замечал того, что сижу на краю островка, в густом кусте ракиты, заменяющем мне шалашик;

пристально гляжу между ветвей на зеркало плеса с багровыми бликами, на плавающие на нем силуэты утиных чучел и думаю, думаю о другом.

Пахнет сыростью и пробудившимися травами. На соседнем островке земля дымится, в овраге снег, оседая, кричит, и под ним журчит, поет вешняя вода. Где-то утробно промычала выпь. Краснолапые чайки кричат визгливо, и, вихляя острыми крыльями, кружат и кружат... Чибисы, перекликаются тревожно и жалобно. Высоко в сиреновой мгле то-и-дело шумно пролетают табуны каких-то птиц, на упруго звенящих крыльях они несут весну все дальше, севернее...

Слышен слабый, далекий выстрел, затем — второй, — должно быть, Иван Назарыч и Афанас стреляют. Было еще темно, когда они высадили меня с лодки на островок, а сами уехали куда-то дальше, в более глухие места. Да, так даже лучше, что я один тут. Где-то заготовали гуси. Я вздрогнул, и у меня сильно забилося сердце. «Только бы удача, — загадал я, — тогда и там у меня будет удача». Но гуси вдруг умолкли. Я подумал: «Сегодня мы уедем обратно в степь, и может случиться, что я больше и не увижу Наташу? И возможно, что она уже кого-то любит? Кого же она любит? Наташа, хочешь, я стану моряком? — Она молчала; поправила платок, обтянувший округлые ее плечи. — Нет, я буду знатным конструктором! — Она улыбнулась, но глядела куда-то в сторону. — Ну, скажи, выбирай, — кем бы ты хотела видеть меня, тем я навсегда для тебя и буду! Желаеть, — стану простым рыбаком? Да?»

И я не заметил, когда на плес опустился нарядный кряковый селезень. Пружинисто шипя, он стремительно плыл к чучелам. Раздвинув ветви ракиты, я навел стволы ружья. Вдалеке обвально загромыхало эхо, а селезень лежал уже на воде навзничь, гребя в воздухе оранжевыми лапами. Я торопливо перезарядил ружье. Покрякивая по-утиному, манком, я со всей охотничьей страстью глядел в сторону чучел, нетерпеливо ожидал новой добычи. Убитый се-

лезень походил теперь на плавающий клок пены.

На сердце у меня стало вдруг тревожно, точно я сделал что-то ненужное. Надо было бы загадать на селезня? Нет, лучше гусь... Возвращаясь с охоты, я понесу огромную птицу за крыло, чтобы она была виднее. Подхожу к белой хате. Наташа стоит на крыльце, смотрит на меня пристально. «Сережа убил гуся? — улыбаясь, спрашивает она Афанаса. — Да, верно, Сережа убил гуся!» Я шурюсь от удовольствия. Но почему Наташа смотрит не на меня, а вниз? Понятно... она любила меня и не может еще пока смотреть на меня запросто.

Сухой прошлогодний камыш зашептался, плес подернулся стальной рябью. Совсем уже светло. Облака на востоке алые, и оттуда все резче тянул свежий ветер. Три гуся, переговариваясь, летели прямо на меня. Я приготовился, затаив дыхание... Мне хорошо уже видны длинные, скрученные, как жгут, коричневые их шеи, блестящие светло-пепельные крылья... Но вдруг они заметили меня, набрали такую высоту, что я не решился даже поднять ружье. Они улетели далеко, скрылись, а я все еще полон досады. Неужели я так и не убью ни одного гуся? И что-то давно уже не слышно выстрелов Ивана Назарыча и Афанаса, — ветер, должно быть, относит... Скоро они там решат поехать обратно? Скорее бы...

Я торопливо вскинул ружье. Подсевший к чучелам чирок, с шоколадной, бархатной головкой, сразу исчез, точно мгновенно сгорел в мутнозеленом огне, из-за плескающихся волн видны были только черные кончики запрокинутых крыльев. И мне вновь стало как-то не по себе. Я с детства страстно любил охоту, а сейчас во мне впервые зашевелилось тревожное и смутное чувство, словно кто-то глядел на меня со стороны с укором и ненавистью. Пусть не только селезни, но и гуся не летят на меня, — не нужны. «Нет, пустяки, ерунда!» — сказал я себе, но не мог уже сидеть в скрадке спокойно, ожидая дичь.

Я поднялся и долго бродил по ост-

ровку, среди голых кустов, и по лужайке, усыпанной веселыми голубыми цветками. «Ладно, согласен... если ты хочешь, я не буду охотником, — подумал я. — Но ты же сама рыбачка?». Она молчала.

Ветер свистел в ракитовых ветвях, помогая раскрываться набухшим зеленой почкам. За кромкой чакана и камышей, сверкая под солнцем волнистой голубизной и сливаясь вдали с лазурью неба, шумливало море.

«Гуси, гуси!» — я скинул с плеча ружье и, прячась за куст, упал на влажную землю. Я не замечал под коленями холодной сырости, все мое внимание было сосредоточено на длинном и высоко летящем караване птиц. «Да или нет?» — загадал я и приказывал себе: «Спокойно! Выдержка — и будет удача». По вихляющимся взмахам крыльев и минорным звукам я понял, что летят не гуся, а журавли. Они протянули далеко в стороне от меня, а я все сидел, ожидал, точно птицы должны были вернуться.

— Се-ережа-а!..

Я обернулся. «Что же, охота окончена?» И, жмурясь, я взглянул на высокое, резко блистающее солнце.

Иван Назарыч и Афанас ожидали меня, стоя в узкой и крутобокой лодке, на дне которой лежали сизоголовые селезни, гуся с бледнофиолетовыми клювами... У меня похолодело сердце от зависти.

— Ну, а как у тебя, Сережа, успехи? — спросил Иван Назарыч, довольно и весело поблескивая глазами.

— Вон, убил селезней...

— А гуся?

— На гусей, — ответил за меня Афанас, — нужна большая выдержка. Эта птица сильно сторожкая.

Затем мы долго плыли в неустойчивой лодке среди гулко поющих под ветром камышей и кустарниковых зарослей. Лодка пахла рыбой. Афанас, стоя, греб веслом ловко, вольготно, будто ему ничуть не мешало, что на правой руке у него нехватало трех пальцев.

— А если бы нам махнуть морем? — спросил Иван Назарыч. — Много ближе?

— Там волна сильная, — ответил Афанас, — а зараз купаться холодно.

— На байде, под парусом бы теперь!

— Да, а на этом баркасе при боковом ветре тяжело, и захлестнет.

— Давай я буду грести, — попросил Иван Назарыч. — Устал?

— Ну, вот... шуткуешь. — Афанас добродушно улыбнулся. — На море вырос, да чтоб от весла уставал?

Мне было мучительно и горько, но постепенно я примирился с тем, что не убил гуся. Я внимательно смотрел на грубоватое и спокойное, как у всех людей физического труда, загорелое лицо Афанаса. Я чувствовал его сейчас добрым, близким и был полон зависти к нему, — он каждый день может видеть Наташу.

Афанас, глядя куда-то в сторону, вдруг спросил, как бы угадав мои мысли:

— Иван Назарыч, может, останетесь еще на зорьку? Завтра махнули бы к Чембурской косе. А? Там птица меньше пугана. Там и Сережа пострелял бы вволю. А то как же это... охотился он у нас и не убил гуся?

Мне хотелось приказывающе кричать Ивану Назарычу: «Да! Обязательно останемся!» Но я молчал. Иван Назарыч невнятно ответил:

— Еще на зорьку не мешало бы остаться, да некогда. — И, взглянув на меня, добавил: — И Сереже вот никак нельзя: в Москву, в институт спешит, зачеты у него...

Словно облако заслонило солнце, передо мной потемнел мир; но у меня не хватило смелости сказать, что я готов даже забыть институт... Я боялся, не хотел, чтобы Иван Назарыч и Афанас поняли меня.

Был уже полдень, когда мы подплыли узким заливишком к небольшому рыбацкому поселку. Я вскинул ружье на левое плечо, на правое — повесил пару перевязанных веревочкой за шеи гусей, убитых Иваном Назарычем, и первым соскочил с баркаса на берег. Подходя все ближе к белой хате, я нетерпеливо ожидал, что на зеленом крыльце появится Наташа. Может, она смотрит на меня из своей комнаты через окно? Напротив сарайчика я остановился, как

бы ожидая приотставших Ивана Назарыча и Афанаса. Она все еще не выходила...

— Сережа, — сказал Афанас, поняв меня по-своему, — гусей давай в сарай, надо припрятать их от солнца.

А когда мы вошли в хату, на столе, как и вчера, вскоре появились закуски, графин. Иван Назарыч и Афанас вновь начали вспоминать друзей, оживленно выпивали за них, а потом и за успешную охоту, и за пожелания друг другу, — чтоб впредь никогда и ничуть не стареть. Они запели вдруг веселую, походную... Иван Назарыч в такт песне пристукивал каблуками, а Афанас, играя глазами, азартно гикал и ухарски пошевелял плечами.

Я слушал их, а сам непрерывно ожидал появления Наташи. Где она сейчас может быть? Незаметно я вышел из хаты, заглянул, как бы наведывая лошадей, в сарайчик, затем долго стоял на углу палисадника с голыми еще, но пахучими ветвями деревьев. Окно в ее комнату открыто, но я не осмеливался подойти к нему близко. И я догадался, что и там, в комнате, нет Наташи.

Хмельные, с осовелыми от бессонной ночи глазами, Иван Назарыч и Афанас неустанно разговаривали, упомянули о наташиной матери, умершей, оказывается, в двадцатом году от тифа, и пили чай нескончаемо долго. Я не знал, чем занять себя. Внимательно рассматривал фотографии, особенно полинявший от времени снимок, на котором, откинувшись слегка назад, сидел на высоком и лысом коне совсем еще молодой, но коренастый Андрей Чубуков, держась рукой за эфес шашки; он был в короткой куртке, в буденновском шлеме, отважно устремленный, словно сразу хотел обозреть весь мир.

— Сережа, а ты не убил гусей? — неожиданно спросила меня Лукерья.

— Нет, не удалось.

— Ишь, несчастливый, должно.

— Наташа! — позвал Афанас. — А где наша Наташа?

— В море собирается Наташа, да никак там шторм, — сказала Лукерья. — Нынче тонь была добрая... Председатель и тебя спрашивал.

— А я зачем ему потребовался? — сказал Афанас. — Коль он знает, что у меня зараз гости... Я свой план раньше других выполню.

— Перед тоней не хвались, до залава, — заметила Лукерья.

— Верно, на рыбальстве так... — сказал Иван Назарыч. — Ну, Афанас, вздремнем часок, а потом ты — к своему делу, а мы — во-свояси.

— Нет, — решительно заявил Афанас, — вам не уехать, не побывав еще на охоте!

— Не могу, дел уйма...

Я нарочно скорее вышел из хаты, полный надежды, что хорошо подвыпивший Иван Назарыч ляжет, проспит допоздна, и тогда, может быть, мы задержимся еще на сутки. Наташа собирается в море? Я прошел вдоль всего поселка, утопающего в акациях с набухшими почками, миновал сарай, подле которых терпко пахло смолой и солью — рыбой, долго бродил берегом залива, а затем вышел к морю, шумно польхавшему зелено-голубым огнем. Дул сильный ветер. Песчаный берег оторочен пенной кипенью, стружками из-под невидимого фуганка летели крутящиеся волны прибой. Чайки летали косо, точно сбивало их порывистым ветром, и кричали раздраженно.

Я обернулся, — показалось, что меня позвали. Наташа торопливо шла стезжкой от своей хаты в сторону моря. Скрылась за мыс, не заметив меня. А может быть, это и не она? Нет, она... Наташа, наверное, и звала меня? Я поспешил за мыс... Да, она. У меня стеснило дыхание. Она была в светлоалом повязанном туго платке, в стеганой куртке и в резиновых сапогах. Ловко, но с большим напряжением сил Наташа гребла веслом, гнала глубокую байду от берега против бешеного ветра, навстречу яростно прыгающим волнам с белыми гривами. Вдруг Наташа весло бросила и, распустив хлопнувший и сразу вздувшийся парус, села на корму, поворачивая руль. Байду развернуло в направлении ветра. Увидев меня, Наташа улыбнулась и поклонилась. Я ответил ей тем же.

— Сережа, поедем! — крикнула вдруг

она и помахала рукой вдоль бушующего моря.

У меня замерло сердце от желания быть вместе с ней под косым и тугим крылом паруса, но я, сразу онемев, не находил слов или какого-нибудь жеста, чтобы ответить девушке, впервые и навсегда полюбившейся мне.

— Сережа-а! — послышался голос Ивана Назарыча.

Я постоял и пошел к хате неохотно, от горя не чувствуя земли под собой. Отдаленно и смутно я понимал, что упустил возможность, которая никогда не повторится.

Позади меня грохотал прибой. Подле самой хаты я обернулся: байда была уже далеко-далеко, едва заметна в кипящем море с бегающими барашками. Между багряными облаками, на край гулкого моря опускался огромный красный диск солнца. Туда же куда-то уплывала и байда; на ее белом, сильно накренившемся крыле паруса играл закатный румянец.

— Сережа, поехали! — вновь позвал Иван Назарыч, выглянувший из-за угла хаты.

Лошадь стояли наготове. Афанас укладывал в задок тавричанки, в мокрое сено, крупную, килограммов на двенадцать рыбу и ругался с Иваном Назарычем, настойчиво предлагающим ему тридцатирублевую бумажку.

— Убери деньги, — кричал Афанас, — иначе зараз возьму осетра обратно!

— Убери осетра, — так же громко кричал Иван Назарыч, — коль не возьмешь деньги!

Они стояли, наклонив головы друг к другу, как петухи, готовые вступить в драку.

— И тебе ничуть не стыдно? — спросил Афанас.

— А тебе не стыдно? — спросил в свою очередь Иван Назарыч.

— Не возьму деньги!

— А я не возьму осетра!

Наконец, сообразив, Афанас сказал, что осетр — подарок от Наташи. Иван Назарыч, соглашаясь, крутнул головой. А расставаясь, они расцеловались, за-

тем несколько раз хлопали друг друга ладонями по спинам. Афанас, идя рядом с тавричанкой, проводил нас далеко за поселок.

Лошади, отдохнувшие за сутки, побежали быстро. Началась степь, синеющая в вечернем сумраке. Мы долго ехали молча, и я не заметил, как вдруг стало совсем темно, ничего вокруг не было видно.

— А славную дочь оставил после себя Андрей Чубуков, — заговорил вдруг Иван Назарыч.

— Да, очень даже славная, — сказал я, удивленный тем, что Наташа, оказывается, дочь Андрея.

У меня от радости горячо стало на сердце, точно Иван Назарыч объявил, что мы вернемся сейчас обратно, туда, где живет Наташа. Я вновь, но уже сосредоточенно подумал об Андрее, озаренном новым светом, и мне невольно вспомнились слова из какой-то книги: как прекрасна жизнь, потраченная на то, чтобы обозреть красоту мира и оставить по себе чекан души своей.

---

# На корабле „Георгий Седов“ через Ледовитый океан\*

Записки капитана

К. БАДИГИН

★

## ОГЛЯДЫВАЯСЬ НА ПРОЙДЕННЫЙ ПУТЬ...

В морозный майский день, когда над «Седовым» выла и плакала пурга, Александр Александрович Полянский принес мне радиogramму из Москвы.

— Вот, капитан, от пионеров, — сказал он, дыша на свои красные пальцы, и немного иронически добавил: — интересуются вашими мемуарами...

Я развернул крохотный обрезок навигационной карты, мелко исписанный аккуратным радистом:

«Приближается большой пионерский праздник — пятнадцать лет со дня, когда пионерская организация начала носить имя Ленина. Просим вас вспомнить о том времени, когда вы сами носили красный галстук, рассказать, как вы готовились стать моряком и как им стали. С горячим приветом — «Пионерская правда».

Я перечел эти строки и задумался. Пятнадцать лет! Как быстро, однако, мчится время. Кажется, будто еще вчера мы сидели у костра, над прудом, у старого сахарного завода и крупные звезды синего украинского неба подмигивали курносым следопытам. А следопыты, обжигаясь, таскали из горячей золы печеную картошку, пели веселую

песенку об этой картошке и мечтали о приключениях. И вот, оказывается, что все это уже где-то далеко-далеко, за гранью полутора десятилетий.

Откровенно говоря, я не любитель мемуаров, — ведь гораздо интереснее жить, нежели вспоминать пережитое. И Полянский был почти уверен, что запрос, присланный из Москвы, останется без последствий. Но эти лаконичные строки, неожиданно напомнившие о далекой романтической поре детства, настолько нарушили суровый привычный ритм полярной зимовки, что я невольно потянулся к отсыревшим папкам своего архива.

У меня не было ни времени, ни особого желания приводить в порядок эти папки. Переселяясь с корабля на корабль, я обычно сгребал в кучу все документы, письма, фотографии и записывал их в первый попавшийся пакет, — лишь бы они не растерялись. И теперь, когда я раскрыл эти папки, на мой стол вывалилась целая гора разноцветных листов, тетрадок, каких-то справок, удостоверений, записных книжек. Они пропахли горьковатым дымом, намокли, разбухли. Буквы расплывались. Фотографии теряли ясность. Но как много подсказывали мне все эти полузабытые бумажки! В них отражался целый мир, далекий, большой, такой разноостронный, совсем не похожий на нашу

\* Продолжение. См. «Новый мир», №№ 4—5, 6, 7, 8 1940 г.

нынешнюю монотонную и однообразную ледовую пустыню.

Я бережно перебирал пестрые открытки с видами тропических портов, с которыми познакомился в годы юности, фотографии кораблей, на которых пришлось плавать, расчетные книжки, разного рода справки, обрывки старых дневников, сувениры, полученные от иностранных моряков — негров, малайцев, болгар, немцев.

«Вспомните о том времени, когда вы сами носили красный галстук...»

Ну что ж, — вот он, белообрый парнишка, с босыми ногами, в трусиках и майке. Он сидит на садовой скамейке, коротко остриженный, остроносы, немного веснушчатый, и пристально глядит в объектив фотоаппарата, словно ждет, что оттуда выглянет отчаянный головорез из очередного романа Луи Буссенара, с которым сейчас придется сразиться. Пожалуй, вы были тогда немного дерзки и самоуверенны, Бадигин Константин! Но ведь это не самый страшный из человеческих пороков.

Счастливые времена безудержных мечтаний, необузданного творчества, фантастических проектов, которые кажутся их авторам такими простыми и легко достижимыми! Прекрасная пора, когда старый рыбацкий ялик без труда можно представить океанским лайнером, а пруд — безграничным морем...

У нашего звена юных спартаков были сотни друзей. Вместе с капитаном Гаттерасом мы мечтали о покорении Северного полюса. Вместе с моряками «Эсперанцы» мы огибали зловеющий мыс Горн и двадцать раз одолевали ужасающие штормы. Мартин Идэн учил нас настойчивости и упрямству завоевывать знания. Золотоискатели Юкона показывали, как велика сила физической закалки и выносливости. Последние могикане учили нас благородству и душевной чистоте. Но, пожалуй, наибольшее впечатление оставляли увлекательные повести о подвигах русских моряков на Тихом океане. Нужно иметь каменное сердце, чтобы остаться равнодушным при чтении рассказов о том, как лихие клиперы и корветы преодолевают тайфуны, десятки раз пересека-

ют экватор, поднимают флаг родины над новыми землями.

И когда наше звено собиралось где-нибудь на лугу или у пруда, — было вдоволь тем и для игр, и для серьезных разговоров: надо было придумать очередную фантастическую экспедицию, учиться безошибочно отличать бом-брамсель от фор-стакселя, запоминать хитрые морские узлы, учиться грести, плавать и нырять, драться по всем правилам бокса, — да так, чтобы побитым обязательно был противник, а не зачинщик матча.

В эту пору меньше всего думаешь о презренных житейских мелочах. Но потом житейская проза, увы, заставляет считаться с собой. И хотя ты мечтаешь о море и соленом ветре, — тебе после окончания школы приходится браться не за штурвал, а за простенькую лопаточку штукатурки: идет 1928<sup>1</sup> год, и в СССР пока существует безработица.

Конечно, и штукатуром работать интересно. Приятно ощущать, как твои руки, которые еще вчера умели держать лишь карандаш и тетрадку, постепенно крепнут, становятся сильными, уверенными и способными на серьезный, настоящий труд. После работы можно заняться спортом. И совсем уже не так плохо — в семнадцать лет выйти победителем на стрелковых соревнованиях и поддержать честь хамовнических штукатуров.

Но с мечтой, которую ты носишь с детства, не так легко проститься. Тебя тянет поближе к морю. И ты перебираешься в Ленинград, чтобы хоть издали глядеть на корабли. Найти работу и здесь трудно. Вот, она, полуистлевшая бумажка со штампом московско-нарвского райкома комсомола, адресованная в обком:

«Райком ВЛКСМ просит помочь тов. Бадигину поступить на фабрику «Красный волник». В материалах обследования тов. Бадигин числится остронуждающимся и состоит на бирже труда по первой группе».

Почему речь идет именно об этой фабрике? Но ведь это так понятно: фабрика делает такелаж для кораблей, а тот, кто хочет стать моряком, должен

прекрасно знать их оснастку. И вот, Бадигин Константин благодаря помощи комсомола поступает на «Красный водник» и становится подсобным рабочим № 1234.

Работа на фабрике идет своим чередом. А после работы — снова спорт и книги. Интереснее всего — забраться на весь вечер в Публичную библиотеку имени Салтыкова-Щедрина. Здесь можно добыть все, чего пожелаешь, даже комплекты газеты «Красное знамя», которая выходит во Владивостоке, и все книги и справочники об этом тихоокеанском городе. И снова вспоминаются рассказы о Тихом океане, прочитанные в детстве, и снова просыпается тоска по кораблю.

Так возникает решение, которое на первый взгляд кажется рискованным и даже немного бесшабашным: оставить работу, полученную с таким трудом, уплатить все заработанные деньги за железнодорожный билет Ленинград — Владивосток, а там... Там будет видно, что делать дальше!

Я держу в руках истрепанную бумажку, на которую возлагались все надежды в памятный день 30 июня 1929 года, когда автор этих строк налегке покидал Ленинград.

«В комсомольскую организацию Владивостока. Райком ВЛКСМ Московско-Нарвского района ходатайствует о содействии тов. Бадигину К. С. о поступлении в Советфлот. Тов. Бадигин в комсомоле с 1927 года. За время пребывания в коллективе фабрики «Красный водник» принимал активное участие в комсомольской работе — ответственный редактор стенгазеты молодежи. Другие нагрузки исполнял также с совестью и большой умелостью...»

Далека дорога до Владивостока. Незажно чувствуешь себя, если в твоём бумажнике нет больше ни гроша, а едешь ты в город, где нет ни одного родственника и ни одного знакомого. Но вот в порту находятся добрые люди, которые дают тебе начлег в кубрике какого-то катера, а наутро в горьком комсомоле происходит достопримечательный разговор с инструктором по дальнему транспорту:

— Зачем вы сюда приехали? — стро-

го спрашивает инструктор, вертя в руках бумажку из московско-нарвского райкома и критически оглядывая незнакомого долговязого юношу.

— Чтобы стать моряком Тихоокеанского флота.

— Вы плавали?

— Пока нет. Но буду...

— У вас есть деньги?

— Пока нет. Но будут...

— Где вы остановились?

— Пока нигде. Но...

— На что же, чорт побери, вы рассчитывали? — со стоном восклицает инструктор, морщась, словно от зубной боли: бедняге уже надоело возиться с романтиками, мечтающими о карьере моряка.

— Послушайте, как вас... Бадигин! Поймите, что плавать на корабле — совсем не такое простое занятие... На ваше счастье сегодня нам звонили из пароходства: им нужны люди на «Индибирку». Но если вас спишут оттуда, как беспомощного человека, — мы вам больше ничем помочь не сможем...

Но последние слова можно пропустить мимо ушей: самое главное это то, что на «Индибирку» нужны люди. А в порту говорили, что «Индибирка» готовится в рейс. И какой рейс! Владивосток — Хакодате — Петропавловск-на-Камчатке. Значит... Значит, это будет настоящее морское крещение.

И вот, старая, заслуженная «Индибирка» уходит в море. Построенная в прошлом веке для перевозки чая с Цейлона в Лондон, она еще сохранила следы былого изящества. Стройные, узкие обводы, выдвинутый вперед бушприт, наклоненная труба, матовые силуэты страшных драконов на стеклах окон в кают-компаниях, — настоящий двойник тех пекетботов, на которых благородные герои Жюль-Верна совершали свое рекордное путешествие вокруг света в 80 дней.

А дальше... О том, что было дальше, рассказывает вот эта истрепанная книжечка, в которую десять с половиной лет назад вклеена фотография молодого матроса в тельняшке и кожанке:



«Мореходная книжка № 2377/30475. Выдана из управления Владивостокского порта СССР 17 ноября 1929 года. Время рождения—1910 год. Морское звание или специальное — матрос II класса».

Дальше идет перечисление судов и должностей, летопись плаваний, событий, встреч, всего того, что является школой практического и политического воспитания каждого молодого моряка.

Вот краткая запись:

«Пароход «Симферополь», штурман-практикант; малое плавание 1 сентября 1930 года — 26 октября 1930 года».

Глаз стороннего человека скользит мимо этой пометки в мореходной книжке. А сколько воспоминаний вызовет она у тех, кому пришлось принять участие в этом злосчастном рейсе!

Поздняя дальневосточная осень. Старенький пароход «Симферополь» завершает последний рейс Владивосток—восточный берег Сахалина. Пока еще этот пустынный берег слабо приспособлен для нужд навигации — на сотни километров ни одного маяка, ни одного знака для судоводителей. Малоисследованные течения, предательские изменчивые песчаные косы, запутанные петли фарватера крайне затрудняют мореплавание. И вот, глухой ночью, когда все вокруг окутано непроницаемым мраком, «Симферополь» с баржой на буксире натывается на мель.

Все попытки сняться с мели ни к чему не приводят, — зыбучий песок цепко держит попавшее в ловушку судно. В это время по морю прокатывается грозная зыбь, и одна за другой на беспомощный пароход обрушиваются целые горы воды, — это отзвуки одной из тех адских свистоплясок, которые время от времени выворачивают наизнанку Тихий океан.

Положение становится серьезным. На пароходе — сотни пассажиров, возвращающихся на материк. Много женщин, детей. Трюмы переполнены грузами. Палубы завалены ящиками, бочками, тюками. Ветхий, перегруженный пароход трещит по всем швам и через несколько часов сумасшедшей качки приходит в самое жалкое состояние: котлы

сдвинуты с места, паропроводы оборваны, листы обшивки разошлись и пропускают воду, свет погас. Среди пассажиров начинается паника. Радиостанция уже послала в эфир многозначительный сигнал: «SOS!» — начальные буквы фразы на английском языке, буквальным перевод которой: «Спасите наши души».

В ответ приходят однообразные телеграммы, способные убить всякую надежду на спасение:

«Слышу. Иду на помощь. Буду возле вас по расчету времени через шесть суток...»

«Слышу. Иду на помощь. Буду через пять суток».

«Слышу. Держитесь. Подойду через шесть суток...»

Пустынные в это время года дальневосточные моря почти не посещались тогда кораблями. И только один японский пароход случился поблизости. Когда на горизонте показался его дымок, все вздохнули с облегчением. Но японский пароход остановился в нескольких милях от «Симферополя», и оттуда передала дипломатическую телеграмму:

«Пришлите представителя для переговоров...»

К чему в такую трудную минуту начинать переговоры? Не лучше ли подойти поближе и спасти людей? Разгадка проста. У хозяев парохода отсутствовало всякое желание ввязываться в эту историю, но соблюсти формальности было необходимо: если бы наш представитель не смог добраться до них, — они сочли бы себя свободными от обязательств, налагаемых на них международным правом.

Тонкий незуитский расчет! Но мы не могли отказаться даже и от такой «помощи», — на подошедший пароход смотрели с надеждой сотни женщин и детей — пассажиров «Симферополя». И капитан отдал приказ — спустить на воду бот.

Люди под командой второго помощника заранее уселись по местам, и матросы начали травить тали. Внезапно на бот обрушилась целая гора воды, носовая таль лопнула, и бот повис кормой кверху. Люди, как горох, посыпа-

лись в бушующую ледяную бездну. Второй помощник при этом сломал себе руку. Пока спасали тонущих моряков, капитан «Симферополя», хладнокровный и волевой моряк, командовал:

— Второй бот на воду. Командует — старший помощник...

На этот раз морякам удалось благополучно спуститься на воду. Но тут же бот подхватило огромным водяным валом, с бешеной скоростью понесло на бурун, кипевший на мели, потом швырнуло обратно к кораблю, снова отбросило и опрокинуло. Тяжелый бот накрыл людей.

Все это произошло буквально в течение одной минуты. Я оглянулся на капитана. Он побагровел, скулы его ходили под кожей, словно желваки. Но он так же спокойно командовал:

— Четверку на воду...

Могла ли утлая четверка устоять против волн, которые в течение считанных секунд вывели из строя два больших бота? Но для сомнений не было времени: в ледяной воде погибли наши товарищи, и мы не имели никакого морального права оставить их без помощи.

Матросы бросились исполнять команду. Четверка запрыгала на волнах. Я обернулся. На мгновение у шлюпбалок образовалось пустое пространство: авария двух ботов тяжело действовала на людей, и никому не хотелось спускаться в четверку первым. Тем временем легонький ялик швыряло, как попало. Еще немного, и его вдребезги раскрошило бы о борт. Не думая о будущем, я скользнул вниз и сел на весла.

Только теперь я почувствовал во всем объеме силу шторма. Сказать, что четверка выглядела на воде, как соломинка, было бы преувеличением, — она вообще терялась в этом диком хаосе взбесившейся воды. Вероятно, через полминуты за мной последовал мой товарищ — однокурсник Ярославцев. Вслед за тем в четверку соскользнули студент Иванов, а за ним два кочегара и председатель судкома, матрос I класса Чочия, севший сразу же на руль. Мы отвалили от борта и сразу попали в бешеный водоворот.

Я успел лишь рассмотреть, что люди из-под перевернувшейся шлюпки уже выплыли. Они вскарабкались на киль, и теперь прибой медленно нес их вместе с ботом к земле. Лишь один человек оставался в воде. Он как-то странно окунулся головой в воду, и только ноги его виднелись на поверхности. Впоследствии выяснилось, что это был мой товарищ по Владивостокскому морскому техникуму, комсомолец Володя Цехович. В тот момент, когда борт перевернулся, его обвил якорный трос; тяжелый якорь пошел ко дну, и трос задушил моряка. Но в этом месте было мелко. Поэтому мертвый узел, затянувшийся вокруг шеи Цеховича, находился совсем близко от поверхности воды, и тело несчастного болталось на волнах.

Мы еще не знали, что Цехович мертв, и изо всех сил гребли к нему. Однако первый же удар волны вырвал у шлюпки руль, и он со свистом пронесся над нами, словно снаряд. Потом из рук кочегара выхватило весло. Тут же ударом волны выбило и унесло второе весло. Его массивный конец чуть-чуть не снес голову Чочия. Теперь шлюпку неистово швыряло с носа на корму. После каждого удара она до краев наполнялась водой, и мы не успевали ее вычерпывать.

Люди начали сбрасывать с себя одежду, готовясь оставить погибающую четверку, лишенную управления и сделавшуюся игрушкой волн. Неожиданно нас швырнуло к самому берегу. У мутнобелой гряды прибоя Чочия командовал:

— Оставить шлюпку! Прыгай в стороны, чтобы не ушибло...

Люди, которым доводилось плавать во время прибоя, знают, как трудно преодолеть эти несколько метров, отделяющих море от суши. Волна набегает на волну, кипят водовороты, кажется, ты уже чувствуешь камни под ногами, но в это время на тебя обрушивается новая гора воды, ты глохнешь, слепнешь и приходишь в себя лишь далеко от берега. На этот же раз трудности борьбы с прибоем усугублялись временем года: вода была ледяная, и судороги сводили руки и ноги.

Все же, кое-как мы, избитые и окровавленные, выбрались на песок. Вслед

за нами море вышвырнуло нашу четверку. Большая шлюпка, за киль которой цеплялись наши обледеневшие товарищи, также приближалась к берегу. Но ее отнесло за милю от нас. Не теряя времени, мы пустились бегом к ним на помощь и подоспели во-время: обесилевшие, наглотавшие воды и окоченевшие люди не смогли бы сами выбраться на сушу. Нам пришлось бросаться в воду и вытаскивать своих товарищей поодиночке.

С «Симферополя» тревожно наблюдали за нами. Там видели, что на берег вышли не все. И чтобы ответить на вопрос, мучивший команду парохода, кто из нас схватил обломок доски и гигантскими буквами вычертил на песчаном пляже:

«Цеховича нет».

Японский пароход все так же безмятежно покачивался на волнах в нескольких милях от «Симферополя». Выждав условленный срок, он снялся с якоря и взял курс на юг. Скоро его мачты исчезли за горизонтом.

Через трое суток шторм несколько утих. А еще через день к нам на помощь подошли советские пароходы «Приморье» и «Добрыня». Они соединенными усилиями стянули «Симферополь» с мели и отвели его во Владивосток.

Так закончилась эта история, отмеченная в моей мореходной книжке всего двумя словами: «малое плавание».

Еще одна запись:

«Пароход «Леонид Красин». Дальнее плавание: Мурманск — Хуангер (Норвегия) — Штеттин (Германия) — Антверпен (Бельгия)...»

Когда перечитываешь эти строки, вспоминается хмурое, декабрьское небо, спокойное Северное море, живописные фиорды Норвегии, старинные, чопорные города.

Из этого плавания больше всего мне запомнился один эпизод — ночь под рождество, проведенная в Антверпене.

Мы пришли туда на рассвете в солнечник. Над полноводной Шельдой, в устье которой раскинулся Антверпен, висел густой туман, и даже самые опытные лоцманы отказывались вводить

«Леонид Красин» в порт. Пришлось бросить якорь и ждать, пока туман рассеется хоть немного.

Один из крупнейших портов Европы Антверпен привлекал к себе десятки и сотни судов. Справа, слева, впереди, сзади раздавался тревожный звук судовых рынд. Это — пароходы, опасаясь столкновения, давали друг другу знать о себе.

Время от времени в тумане гулко отдавался сильный голос нового пришельца. С грохотом падал в воду якорь, замирал плеск воды у винтов, и сразу же во всеобщий трезвон вливался тоненький голосок еще одной рынды.

Чувствовалось, что капитаны нервничали: никому не хотелось встретить праздник на рейде. Нас меньше, чем других, заботила рождественская проблема, но и советских моряков она задевала какой-то стороной: хотелось разгрузиться до наступления праздника, чтобы потом не тратить зря времени.

К утру туман несколько рассеялся, и мы осторожно вошли в гавань и заняли место у причала. Ловкие и умелые бельгийские грузчики взялись за дело, и довольно быстро на берегу выросли горы беловатого с чуть-чуть зеленоватым оттенком камня, извлеченного из трюмов «Леонида Красина», — это был наш хибиногорский апатит.

Мы рассчитывали, что вскоре выгрузка закончится и пароход сумеет досрочно покинуть порт. Но ровно в два часа дня грузчики прекратили работу, — и коммерческий агент с некоторой торжественностью сообщил вахтенному начальнику:

— Сегодня канун рождества Христова, и наши рабочие должны встретить праздник в кругу своих семей. Выгрузка закончится послезавтра. Счастливого оставаться...

Час спустя мы разбрелись по городу, — теперь было ясно, что «Леонид Красин» сумеет выбраться отсюда не так скоро. Чистенький, нарядный город выглядел привлекательно, несмотря даже на мерзкую декабрьскую слякоть. Всюду в витринах магазинов красовались елки. Ватные Санта-Клаусы — деды-морозы с традиционными мешками

за спиной — сулили подарки. Сверкали цветные лампочки, блески, бусы.

Посредине кафе и кондитерских также стояли нарядные зеленые деревца. Вокруг них собрались с детьми семьи, устраивавшие праздник вскладчину. Все это выглядело настолько идилически и патриархально, что я, машинист и радист «Леонида Красина» решили присоединиться к одной из таких компаний.

Уселись за стол, попросили официантку подать пива, сладостей, рассчитывая по-домашнему провести вечер. Через несколько минут весело улыбающаяся официантка принесла все, что мы просили. Но в ее глазах мы уловили выражение такой острой тоски, что немедленно заказали угощение и на ее долю, пригласив присесть за наш столик. Завязалась беседа, — я немного говорил по-французски и взял на себя роль переводчика. И тут мы впервые узнали особенность работы официанток за границей. Оказывается, они не получают никакой зарплаты. Наоборот, они обязаны платить хозяевам из своих чаевых определенную сумму только за то, что им разрешают подавать пиво посетителям.

— Но ведь это нищенство, чорт возьми! — сердито крикнул по-русски наш машинист, хлопая ладонью по столу. Хозяйка, пышнотелая фрунцузенка, восседавшая за стойкой, подняла брови и повернула голову в нашу сторону.

— Ради бога тише, — испуганно проговорила официантка. — Если вы будете скандалить, меня выгонят. А кому я нужна? На шее у отца — еще шестеро таких, как я...

Мы встали из-за столика, поспешно расплатились и вышли на улицу, оставив официантке щедрые чаевые. Моросил мелкий дождь. Было холодно, сыро и как-то бесприютно.

— Пошли домой, — уныло сказал радист, — тут тоски не оберешься...

Мы отправились в порт. Поднимаясь по трапу, я бросил взгляд на причал. Под дождем вот уже несколько часов маячила странная фигура, — какой-то человек, одетый не по сезону легко, видимо, хотел подняться на советский корабль, но не решался. С полей поношен-

ной шляпы ручьями струилась вода. Мокрый пиджачок прилип к костлявой груди. На худой шее болтался галстук, похожий на тряпочку.

— Monsieur, venez ici! — позвал я.

Человек не заставил себя ждать. Он быстро взбежал по трапу, указывая пальцем на рот. Мы не удивлялись, — за время странствий по чужим портам не раз приходилось встречаться с голодными безработными. Отвели гостя в камбуз, накормили его, дали ему возможность обсушиться и, как водится, разговорились.

Гость, по специальности механик, был родом издалека: не то аргентинец, не то бразилец. Когда его пароход прибыл в Антверпен, он заболел, и капитан, без долгих разговоров, списал больного на берег. Найти работу невозможно. Добраться на родину нет средств.

Стараясь объяснить лучше, механик вытащил из кармана потрепанный паспорт. Из него торчала 50-франковая ассигнация.

— Эге, браток, привираешь! — заговорил кто-то.

— Говорит, жрать нечего, а у самого — билеты по 50 франков, — добавил другой.

Гость недоумевающе поглядел на нахмурившиеся лица своих собеседников и догадался, в чем дело. Путая слова и сбиваясь, он рассказал историю этой ассигнации. Оказывается, в Бельгии существует закон, призванный охранять благосостояние безработных. Каждый безработный иностранец обязан иметь при себе минимальную сумму в 50 франков. Если этих денег у него нет, — его забирает полиция и отправляет в трудовой лагерь, где он, получая какие-то гроши, должен в течение нескольких лет зарабатывать себе на билет III класса до ближайшего порта родины.

— И вот... — говорил, волнуясь, безработный механик, — смотрите... Он приклеен... Я его приклеил, чтобы не было соблазна истратить...

50-франковый билет, действительно, был искусно приклеен к обложке паспорта. С краев он был потрепан, — видно, в трудную минуту его владелец уже пытался нарушить свой зарок...

В полночь я стал на вахту. В порту было тихо. Команды судов ушли в город встречать рождественский день.

Я молча прохаживался по палубе, с неприязнью поглядывая на чужой город. Рядом с «Леонидом Красиным» стоял грязный и ржавый шведский пароход «Старт». По палубе его тоже шагали вахтенный. И ему, видно, тоже было не по себе.

Я окликнул его, и мы разговорились. Иностранцы моряки удивительно быстро сходятся с советскими, и через четверть часа широкоплечий пожилой швед уже был на борту «Леонида Красина», — на его судне все спали, а ему очень хотелось воочию поглядеть, как живут матросы на судне, принадлежащем СССР.

Шведскому моряку хотелось знать буквально все, — и как нас кормят, и где мы спим, и сколько нам платят. Я осторожно провел его в кубрик, где спали мои товарищи. Пуская в ход карманный фонарик, швед делал открытие за открытием: на иллюминаторах висели шелковые занавески, койки были застланы простынями...

— Это все они обязаны покупать за свой счет?

— Нет, это им дает государство...

Швед качал головой и вздыхал.

Когда мы вышли на палубу, он вдруг спросил меня:

— Как ты думаешь, кто я?..

Я не понял вопроса. Он повторил:

— Кто я? Какая у меня должность?

Колеблющийся свет фонаря озарял морщинистое обветренное лицо — типичное лицо старого морского волка.

— Боцман, — без колебаний ответил я.

Швед пожал плечами и горько усмехнулся:

— Ты почти прав. Моя квалификация — боцман. Но служу я юнгой...

— Юнгой? — воскликнул я с недоверием.

— Юнгой. У нас в Швеции есть хороший закон о нормах заработной платы. Ну так вот, капитаны честно соблюдают законы. На нашем «Старте» — шесть юнг и один матрос. И это весь штат парохода...

Он махнул рукой, болезненно ссутулился и ушел с парохода.

Я молча глядел ему вслед, не зная, чем утешить этого моряка, который в 50 лет вынужден плавать юнгой.

Туман рассеивался. Над Антверпеном ярко сияли огни, и неоновый Санта-Клаус рекламировал какие-то усовершенствованные дамские подвязки.

Еще запись: «Рыболовецкий тральщик «Б». Дальнее плавание Данциг — Владивосток». Это мое первое плавание вокруг двух частей света через тропики. При желании можно, конечно, рассказать о том, как мы проездом разгуливали по Фридрихштрассе в Берлине, как фотографировались у памятника Вильгельму I и как некий щеголь с презрительной миной остановил меня, снял с головы неправильно надетую шляпу и снова надел, а я тут же, не растерявшись, сунул ему несколько пфеннигов, — надо было бы видеть, как плевался мне вслед этот франт.

Можно рассказать и о том, как 11-балльный тропический муссон гнал нас от Баб-эль-Мандебского пролива до самого Коломбо, швыряя утлый тральщик так, что вода хлестала даже в дымовую трубу.

Можно, наконец, рассказать о солнечной Маниле, — удивительном городе Филиппин, — городе с миллионным населением, где троллейбусная линия заканчивается на опушке тропических джунглей, а небоскребы стоят рядом с жалкими хижинами нищих туземцев.

Но больше всего потряс меня в этом рейсе один драматический эпизод, который я буду помнить до последних дней.

Дело было весной 1930 года в Данциге, старинном немецком городе, который в то время числился так называемым вольным городом, а на деле соединенными усилиями польских правителей и комиссаров Лиги Наций был превращен в колонию лоскутного польского государства. Стремясь задушить Данциг экономически, незадачливые польские правители искусственно раздували значение созданного ими порта Гдыни и в то же время всячески ограничивали промышленное развитие данциг-

ских верфей, предприятий порта. Естественно, что население Данцига, хронически остававшееся без работы, было доведено до края нищеты.

Мы об этом знали. Но... одно дело, когда знаешь о чем-то из книг и газет, и другое дело, когда в этом убеждаешься воочию.

Как-то весенним вечером, незадолго до отхода нашего тральщика, приобретенного СССР в Данциге, я с группой товарищей направился на берег. Зашли в кафе, заглянули в дансинг. Я танцевал неважно и потому недолго задержался в этом учреждении. Решил пройтись по городу; я очень люблю знакомиться с новыми городами, — их открываешь, как книги. Неожиданно вслед за мной увязался рослый американец, — кочегар с парохода, стоявшего рядом с нашим тральщиком.

Мы познакомились с кочегаром в кафе, объясняясь на каком-то необыкновенном волапюке из знакомых нам немецких и французских слов. Это был здоровенный, голубоглазый детина с широкими плечами, могучей шеей и кротким лицом.

Узнав, что мы представители того самого СССР, о котором так много говорят на всех языках мира, он сразу оживился, начал хлопать нас по плечам, беспрерывно угощать пивом и проявлять все доступные моряку знаки внимания. Я, как мог, удовлетворял его любопытство, рассказывая то о пятилетке, то о колхозах, то о соцстрахе, то о комсомоле. Переводить эти слова было дьявольски трудно, но он как-то ухитрялся улавливать их смысл.

Теперь, когда я ушел из дансинга, мой новый приятель догнал меня и снова начал допытывать разными вопросами. Каждое мое слово было для него открытием. Впрочем, и все, с кем нам приходилось встречаться за границей, с трудом представляли себе, как может СССР обходиться без безработицы, как можно учиться в университете бесплатно да еще и получать стипендию, как можно, уходя ежегодно в отпуск, сохранять за собой не только место службы, но даже получать заработную плату во время отпуска.

Мой спутник внимательно слушал, потом ахал, охал, бил меня по спине, хохотал и опять внимательно слушал. Так прошло несколько часов. Мы успели обойти почти весь город, начиная от порта и кончая узенькими средневековыми улочками в наиболее старой части города. Время близилось к полуночи. Фонари гасли. Движение замирало.

И вдруг я заметил, что моим спутником овладело какое-то странное беспокойство. Он уже почти не слушал меня, все время оглядывался по сторонам и что-то искал. Я спросил, что с ним. Беспомощно топчась на месте, он объяснял, путая все языки:

— Frau... miss... mademoiselle...

Я все понял. Мне стало обидно за потерянный вечер: этот парень после всех разговоров о возвышенных материях собирался купить женщину так же просто и легко, как три часа тому назад покупал кружку пива...

От погасшего фонаря отделилась какая-то тень. Бледный свет луны озарил худое, изможденное лицо. Тень качнулась и снова спряталась. Но мой спутник уже заметил ее и ринулся вдогонку. Я расслышал его деловитый вопрос:

— Wieviel?

Ответа не было.

— Zwei Marken! — деловито предложил мой кочегар.

Едва слышно раздалось:

— Gut.

Мой спутник и женщина вышли на дорогу. Кочегар был доволен состоявшимся соглашением. Но в то же время ему не хотелось терять собеседника, и он нерешительно топтался на месте. Женщина покорно ожидала.

— Пойдемте с нами. Я не задержусь, — наконец, предложил он мне.

До меня не дошли его слова, — все мое внимание было поглощено незнакомой женщиной; чувствовалось, что здесь произошло нечто непохожее на обычную сделку. Женщина с трудом стояла на ногах. В лунном свете блестели ее глубоко впавшие глаза.

— Я не задержусь, — уныло повторил кочегар.

В это мгновение женщина как-то

странно охнула и упала. Мы бросились к ней.

— Дурак, — сердито сказал я своему спутнику, — как не стыдно...

Я отправил его в аптеку, матовый шар которой мердал неподалеку, и через две минуты он примчался обратно с флаконом нашатырного спирта. Очнувшись, женщина отшатнулась от нас. Смущенный кочегар что-то бормотал, сисясь подыскать слова извинения, но женщина в испуге перебила его:

— Простите... Это от голода...

Когда она немного успокоилась, мы предложили проводить ее домой.

Шли долго. Асфальтированные площади и проспекты фешенебельного центра остались далеко позади. Дома становились все мельче, улицы все хуже, места все пустынное.

Вокруг царил непроглядный мрак. Было тихо. Казалось, мы идем каким-то страшным вымершим городом нищеты, и невольно становилось не по себе.

Наконец, на самом краю какой-то грязной улицы, среди ветхих, деревянных лачуг, женщина остановилась. Перед нами был перекосившийся, изъеденный сыростью, подслеповатый дом в два этажа. Даже мрачная фантазия Гойи не могла бы нарисовать более жуткий символ отчаяния, чем эта развалина с выбитыми стеклами, обвисшей ржавой вывеской мелкой бакалейной лавочки в первом этаже, оторванными досками, полуразрушенной крышей.

Женщина поднесла палец к губам, умоляя нас сохранять молчание, и нырнула в подъезд. Мы шагнули за ней. Я достал карманный электрический фонарик и осветил изломанные деревянные ступени. За всю дорогу мы с кочегаром не перекинулись ни одним словом. Когда луч фонарика скользнул по его лицу, я увидел, что он бледен.

Скрипучие ступени провожали нас жалобным писком. Поднявшись наверх, женщина распахнула дверь в тесную каморку. Колеблющийся огонь свечи озарил две кровати. На одной из них спали дети — маленькие, худые старички. На другой лежал мужчина, видимо, их отец, укрытый лохмотьями. Он старался сделать вид, что спит, но страш-

ный приступ кашля внезапно потряс его.

Подавленные этим зрелищем, мы молча остановились у порога. Раздумывая, что предпринять, мы нерешительно рылись в своих карманах. Но женщина, видимо, по-иному восприняла это молчание. Она быстро прошла в соседнюю комнату за стеклянной дверью и начала расстегивать платье. Мой спутник резко взмахнул рукой, косясь на спящих детей.

— Стоп!

Женщина вздрогнула и беспомощно посмотрела на него.

— Тысяча дьяволов! — хрипел кочегар, продолжая рыться в карманах. — Боюсь, что этого будет мало...

В руках у него было несколько долларов и гульденов. К счастью, я оказался немного богаче, и общими силами мы наскребли несколько десятков марок. Кочегар неловко сунул их женщине. Она, как автомат, взяла их и неуверенно поглядела на нас. И не успел я вымолвить слово, как она, крепко сжав полученные деньги, опрометью выбежала из каморки словно боясь, что мы раздумаем.

Мы вышли вслед за ней и осторожно спустились по лестнице; у бакалейной лавочки мы снова увидели женщину — она стучала кулаками в запертую дверь и прерывающимся от волнения голосом умоляла:

— Ради бога, откройте... Немного молока, маргарина и риса... Ради бога откройте... Молока, маргарина, риса...

Мы не обменялись ни одним словом до самого порта. Прощаясь, кочегар грубовато пожал мне руку и попросил никому не говорить о том, что он даром отдал свои деньги незнакомой женщине: он опасался, что над ним будут смеяться.

Еще запись: «Пароход «Яна». Дальнее плаванье: Одесса — Порт-Саид — Коломбо—Сингапур—Килунг (остров Формоза) — Александровск-на-Сахалине».

В памяти встает безрадостный песчаный остров Перим, затерянный в Бабь-Мандебском проливе. Ни деревьев, ни кустика, ни травинки, — один лишь

зыбучий песок, раскаленный добела безжалостным аравийским солнцем. На острове — склад угля, цистерны с пресной водой, завод искусственного льда, ресторан. Все это принадлежит англичанину. Англичанин живет в Лондоне. На острове Перим живут арабы. Арабы делают доллары для англичанина.

И вот, к острову Перим подходит большой пароход, на корме которого развевается красный шелковый флаг с серпом и молотом. Все в порядке: капитан парохода платит фунты, английская база отпускает уголь и лед. Но администрация упускает одну деталь, о которой настойчиво напоминает красный флаг, развевающийся за кормой: пароход «Яна» принадлежит СССР, и его палуба с юридической и практической точки зрения является частью советской территории.

В результате происходит небольшой конфуз.

Буксир подтаскивает к борту «Яны» баржи с углем и ящиками, наполненными льдом. Жирный, лоснящийся от пота надсмотрщик карабкается по трапу и бесцеремонно располагается у трюмного люка. В руке у него длинный бич — вроде тех, какими пользуются пастухи. Наши матросы с любопытством рассматривают эту странную фигуру. Для чего он притащился сюда с этим кнутом? Ни мулов, ни верблюдов здесь нет. Но вскоре все объясняется.

На палубу взбегают торопливой рысцой грузчики. Они совершенно обнажены, лишь грязные тряпицы прикрывают их худые бедра. Тощие спины, на которых без труда можно пересчитать все ребра, гнутся под тяжестью корзин, наполненных углем. Напевая заунывную ритмичную песню, грузчики привычными движениями опрокидывают корзины в бункер и сбегают на баржу за новой ношей.

Надсмотрщик сердито покрикивает на своих подчиненных. Но вот один из грузчиков споткнулся и на минуту перешел с рыси на шаг. И тут разыгрывается точно такая же сцена, какую доводилось когда-то видеть в Большом театре в балете «Красный мак»: надсмотрщик взмахивает кнутом, бич сры-

вает с тощей спины раба лоскут кожи, и тот падает на землю, обливаясь кровью. А бич свищет еще и еще.

Тогда со всех сторон сбегаются советские моряки. Слышатся голоса:

— На советской территории бьет!

— Права не имеет!

— Долой его!..

И наши рослые ребята подхватывают надсмотрщика, раскачивают его и бросают с борта на баржу — прямо в черную угольную пыль. Он что-то кричит, плюется, но ничего сделать не может.

Тогда он пытается выместить свою злобу на безответных рабах. Вот один из них поднял выпавший из ящика кусок льда и украдкой сунул его в рот. Надсмотрщик набрасывается на него, как пес, сорвавшийся с цепи. Он сбивает грузчика с ног и зверски избивает. Мы не имеем права вмешиваться в эту расправу, — ведь она теперь происходит на территории его величества короля Великобритании. Чтоб черт побрал эти дипломатические условности!..

Но и на этот раз наши моряки находят способ еще больше унижить пошатнувшийся престиж жирного мерзавца. Они открывают ящик, вынимают оттуда огромную сверкающую на солнце плиту льда и отдают ее грузчикам.

И несчастные рабы шепчут нам на бегу с благодарными улыбками:

— Рускэ... рускэ... большевик...

Эти слова теперь для них — воплощение благородства и бескорыстия.

Я долго перелистывал страницы мореходной книжки. Каждая запись будила новые и новые воспоминания.

Но вот я остановился на пометке: «Ледокол «Красин». 13 апреля 1935 года — 29 октября 1936 года». И сразу вспомнилась большая и, пожалуй, решающая полоса в жизни.

Это было уже после того, как я окончил Владивостокский морской техникум, несколько лет проплавал штурманом на различных судах и приобрел известный опыт мореплавания. Приходилось совершать довольно дальние и сложные рейсы. Но теперь такие рейсы меня уже не удовлетворяли. Ведь человек никогда не органичивается достигнутым...



Мне захотелось поработать в трудных условиях Арктики. И когда я узнал, что ЦК ВЛКСМ комплектует комсомольский экипаж краснознаменного ледокола «Красин», меня потянуло на этот прославленный корабль. Так, в моей мореходной книжке, в графе «Должность», появляется пометка: «Назначен 3-м помощником капитана линейного ледокола «Красин».

За полтора года мы дважды побывали у острова Врангеля, несколько раз посетили берега Чукотки, проводили караваны судов на Колыму, вдоль и поперек избородили Охотское, Берингово, Чукотское, Восточно-Сибирское моря, — одним словом, несли настоящую боевую ледовую службу.

Командовал ледоколом в то время молодой способный капитан М. П. Белосов. Вспоминаются суровые штормы, густые туманы, жестокие ледовые бои. Но как бы трудно ни приходилось, наш хладнокровный капитан не терялся, не суетился, не колебался. Приняв определенное решение, он любой ценой добивался его выполнения.

Мы, молодые моряки «Красина», старались так же действовать во всех обстоятельствах: быстро, энергично и без колебаний. Вначале это не всегда удавалось. Но постепенно и мы усваивали спокойный, деловитый и решительный стиль работы полярных мореплавателей.

Вот один из эпизодов того времени.

Далекий север. Чукотское море. Мыс Сердце-Камень. Угрюмый, скалистый берег. Мы стоим на якоре, борт о борт с угольщиком «Микоян», принимаем запасы топлива. Северный ветер гонит грязные ледяные поля. Они медленно приближаются к берегу. Кажется, будто эти льдины едва ползут. Но вот одна из них мимоходом толкнула угольщик в борт, и тот так дернулся с места, что трос, соединявший «Микояна» с «Красиным», вырвался, сорвал киповую планку и смял поручни.

По вахте передано распоряжение капитана: не подпускать пловучие льды близко к судну, как бы мирно они ни выглядели. Их надо во-время взрывать аммоналом, иначе дело может кончиться худо...

Теперь моя очередь заступать на вахту. Помня указания капитана, сделанные моему предшественнику, я внимательно слежу за непрошенными гостями, которые крутятся вокруг наших судов. Подвахтенные матросы уже заготовили несколько солидных зарядов: четвертные бутылки, набитые желтоватой массой аммонала. В горлышко пропущен бикфордов шнур с детонатором на конце. Одной такой порции достаточно, чтобы поднять на воздух сотню тонн льда.

И вот к нам направляется, медленно покачиваясь, огромная льдина причудливой формы. Угловатая, неприветливая, она имеет посередине глубокую пещеру вроде тоннеля. Лучшей скважины для закладки аммонала не сделал бы даже самый опытный подрывник.

— Байдарку на воду! — команду я вахтенному матросу Хохлову.

Ловкий спортсмен, комсомолец Андрияша Хохлов любит лихие поручения. Через минуту мы вдвоем уже мчимся в утлой парусной байдарке навстречу зловещей льдине. Хохлов энергично гребет веслами, а я прижимаю к груди деликатный груз — тяжелую бутылку, наполненную аммоналом.

Льдина оказалась довольно каверзной. То, что я видел с палубы, было лишь небольшим островком, поднимавшимся над поверхностью воды. Вокруг этого островка, под водой, на глубине каких-нибудь 50 сантиметров, простирались во все стороны широкие, скользкие закраины льдины. Добираться вброд к островку рискованно: можно поскользнуться и разбить бутылку.

Но раздумывать некогда: ледяное поле приближается к кораблю. Я решаю, что бы то ни стало добраться до середины поля и взорвать его. Андрияша Хохлов решительными взмахами весел вгоняет байдарку на закраину.

Вскочив на ледяной островок, я осторожно спускаю четверть с аммоналом в расщелину и зажигаю бикфордов шнур... Пещера глубока. Тяжелая бутылка соскальзывает на самое ее дно, увлекая за собой дымящийся конец шнура, рассчитанный на 45 секунд горения.

Теперь надо возможно скорее убираться отсюда. Я прыгаю в байдарку.

Хохлов ударяет веслом по воде, но... байдарка остается на месте.

Мы застряли, самым позорным образом застряли в двух шагах от мощного заряда аммонала, который вот-вот взорвется. Извлечь бутылку с аммоналом из глубокой и узкой расщелины теперь невозможно.

Прошло еще несколько мгновений. Все наши усилия оторваться от льдины были тщетными. Но на исходе тридцатой секунды, когда мы уже готовились принять на себя всю силу взрыва, я вспомнил, что на дне байдарки лежит багор. Выхватив его, я изо всех сил начал отталкиваться от проклятого ледяного острова. Байдарка дрогнула и скользнула на воду. Едва Хохлов успел сделать несколько взмахов веслами, как раздался оглушительный грохот и... на том месте, где только-что стояла байдарка, с легкостью мухи взлетели гигантские глыбы...

Мы с Андрюшей поглядели друг на друга и неожиданно рассмеялись... Несколько секунд назад нам было не до смеха.

В сущности говоря, каждый советский моряк, которому довелось плавать столько же, сколько и мне, мог бы рассказать немало таких историй. Я привожу их здесь именно для того, чтобы показать, как сама жизнь формирует человека.

Школа жизни сурова. Но она дает то, чему не выучишься за партой, — опыт, закалку, умение владеть собой. После каждого дальнего рейса я чувствовал себя как-то старше, серьезнее, собраннее.

★

Был уже поздний вечер, когда я закончил письмо пионерам, в котором кратко описал свой жизненный путь. Засунув бумаги и документы в ящик стола, я вышел на палубу, чтобы посмотреть, не утихла ли пурга.

Норд-ост попрежнему бушевал над льдами, взмывая тучи снежной пыли. Гряды голубых торосов напоминали внезапно окаменевший прибор. Сквозь пургу просвечивал бледный диск сол-

нца, окруженный двумя концентрическими кругами. Это явление, именуемое на языке метеорологии двойным гало, придавало безжизненному пейзажу особенно угрюмый, фантастический колорит. Как-то даже не верилось, что где-то поблизости есть живые люди, которые трудятся, мыслят, как-то маневрируют и ухищряются второй год отражать нападения ледовой стихии.

Но вот откуда-то сквозь свист и вой пурги донеслась веселая песенка, зазвонел смех, и вдалеке показались два знакомых силуэта: один худощавый, в оленьей малице, со складным ящиком, и другой, чуть полотнее, в коротком ватнике и с карабином за плечом. Это Буйницкий и Гаманков возвращались с очередных магнитных наблюдений.

И сразу стало веселее на душе.

### «СЕДОВ» ГОТОВИТСЯ К НАВИГАЦИИ

Дрейф на запад оказался более энергичным, чем мы предполагали.

В апреле восточные ветры продвинули наш корабль к западу на 101,3 мили со средней скоростью 3,4 мили в сутки. В мае «Седов» продвинулся на запад всего на 19,6 мили, но зато под действием упорных северных ветров он опустился на 57 миль к югу. А за 15 дней июня мы совершили новый стремительный скачок на северо-запад, продвинувшись к западу на 43,1 мили и увеличив широту на 44 мили, иначе говоря, почти на три четверти градуса.

Когда я в марте записал в своем дневнике, что мы к концу навигации можем очутиться на 60-м меридиане, то поручиться за точность такого прогноза было трудно: ведь «Фрам» проделал этот путь за гораздо больший промежуток времени. Теперь же нам до 60-го меридиана оставалось каких-нибудь 30—35 миль.

Все говорило за то, что лето 1939 года будет в навигационном отношении таким же благоприятным, как и лето 1938 года.

С каждым днем мы все более явственно ощущали отзвуки разуплотнения льда, происходящего на западе. Появление больших разводьев на западных

румбах, более охотное подчинение льдов восточным ветрам, нежели западным, усиление вращательного движения окружающих льдов (с 1 апреля по 15 июня лед повернулся против часовой стрелки до  $10^\circ$ ), — все эти явления говорили о том, что где-то впереди льды начали разрезаться.

О приближении более или менее значительных пространств чистой воды свидетельствовало и появление чаек близ судна. Начиная с первых чисел мая они стали довольно частыми гостями «Седова».

Конечно, мы не могли утверждать с категорической определенностью, что «Седов» и дальше будет двигаться с той же скоростью. Только определенные комбинации ветров решают проблему дрейфа. Напомню, что «Фрам», находившийся 15 ноября 1895 года примерно на той же долготе —  $66^\circ 31'$ , при благоприятных ветрах достиг к 9 января 1896 года  $41^\circ 41'$  восточной долготы. Но ведь то было зимой. Нам же предстояло пройти этот путь летом, когда в Арктике ветры то-и-дело меняются. Тот же «Фрам» все лето 1895 года протоптался на одном месте: в июне он находился на долготе  $80^\circ 58'$ , а в октябре, описав несколько причудливых петьель, оказался лишь на долготе  $79^\circ 30'$ .

Одним словом, никто не мог даже приблизительно предсказать, где и в какой обстановке будет находиться «Седов» в разгаре арктической навигации.

И все-таки мы считали своим долгом подготовить корабль к навигации. Мы были обязаны сделать это на случай, если к концу лета ледовая обстановка сложится благоприятно и мощный ледокол сможет подойти к «Седову». Было бы непростительно встретить его с бездействующим рулем, с разобранными машинами, с грязными, неисправными котлами.

Каждый, кто хоть отдаленно знаком с хозяйством корабля, знает, какое это большое и сложное дело — подготовка поставленного на консервацию судна к плаванию. А ведь нам надо было не просто снять судно с консервации, но и провести необходимый ремонт в условиях необычной зимовки.

Когда я созвал техническое совещание и руководители палубной и машинной команд — Андрей Георгиевич Ефремов и Дмитрий Григорьевич Трофимов — доложили о том, что нам нужно сделать, — в первую минуту показалось, что задача совершенно не выполнима. Но потом, как всегда, удалось упростить задачу, разложить ее на составные элементы, распределить работу, уплотнить время, и дело успешно двинулось вперед.

Не вдаваясь в технические детали судоремонта, мне хочется рассказать в этой главе об отдельных эпизодах подготовки корабля к навигации, имеющих интерес, как для специалистов полярников, так и для более широкого круга читателей.

Больше всего заботила нас судьба злосчастного руля «Седова», изогнутого январским сжатием 1938 года. Я уже рассказывал об упорных и крайне трудоемких попытках вернуть судну частичную управляемость. Эти попытки отняли у нас почти все лето 1938 года и в конце-концов завершились полным крахом.

Для меня было ясно: если и на этот раз руль исправить не удастся, то вторичная попытка вывести корабль из льдом может закончиться так же неудачно, как и первая. Следовало во что бы то ни стало выпрямить перо руля или же, в крайнем случае, вовсе освободиться от него. Без пера судно не смогло бы управляться, но зато его можно было бы хоть кое-как вести на буксире.

Летом 1938 года нас постигла неудача потому, что вся область винта и руля была затоплена водой, и только водолазам, да и то с трудом, удавалось проникнуть к поврежденным деталям управления. За зиму же под кормой образовался мощный лед, толщиной свыше двух метров, укрывший, словно панцырем, руль и винт. Пока не началось летнее таяние, мы могли вырубить вокруг них во льду своеобразный «сухой док», в котором можно было бы осмотреть рулевое управление и попытаться отремонтировать его.

Это была крайне деликатная задача. Нам нужно было вынуть из-под кормы несколько десятков кубометров льда,

сделав это с величайшими предосторожностями — так, чтобы в остающемся тонком ледяном слое не образовалось ни одной трещины. Достаточно было бы малейшей щели, чтобы в нее устремилась вода, и тогда все пропало бы.

Хотели вести околку, не торопясь, возможно более тщательно. Но в первых числах июня, когда мы начали эту работу, неожиданно наступила оттепель и в майну за кормой начала понемногу просачиваться вода.

Первые струйки ее были обнаружены уже 6 июня, когда Гетман и Шарыпов углубились всего на один фут, — вода сочилась в едва заметную щель между льдом и рулем. На следующее утро пришлось перебросить на околку руля дополнительно Буторина и Мегера, спустить на лед брандспойт и время от времени откачивать из ледяного котлована скопившуюся воду. К счастью, вода пока-что просачивалась очень медленно.

13 июня под кормой уже зияла огромная яма глубиной в 1,8 метра. Массивный механизм руля выступил из льда до третьей петли включительно. Рядом с этим мощным металлическим агрегатом<sup>1</sup> люди, копошившиеся в котловане, казались пигмеями.

Вечером, когда работа закончилась, я и Дмитрий Григорьевич Трофимов спустились в котлован, чтобы самим осмотреть поврежденный руль: до сих пор мы полагались лишь на показания водолазов, спускавшихся под воду и определявших повреждения на ощупь. Теперь же, когда нам удалось выколоть руль из льда, он был почти весь перед нами. Мы отчетливо увидели злополучный изгиб рудерписа и рудерпоста и совершенно искаленное перо. Между вторым и третьим контрфорсами, крепящими перо, оно круто изгибалось вправо под углом 25 градусов. Для того чтобы так изуродовать его, требовался исключительно мощный удар. В рудерпосте чернела трещина.

Несколько минут простояли мы молча, удрученные этим зрелищем. Как-то особенно явственно ощущалась беспомощность человека перед ледовой стихией, которая в одно мгновение способна уничтожить плоды долгого и упорного человеческого труда. Но потом профессиональная привычка взяла верх, и мы заговорили о ремонте так, словно речь шла о корабле, поставленном в настоящий док.

Док, хотя и ненадежный, нам удалось смастерить из льда. Но что делать дальше? Выпрямить перо? Но для этого требовался сверхмощный пресс или паровой молот. Ни того, ни другого мы не имели. Отсоединить перо частично, как это мы пытались сделать в прошлом году, тоже безнадежно: перекошенные петли зажали изогнутый болт, и выбить его было просто невысказано. Да, кроме того, такое решение вопроса нас и не могло устроить: перекошенный руль только частично мог сопротивляться вредному влиянию изогнутого вправо пера.

Еще раз я внимательно осмотрел пространство между контрфорсами, где начинался изгиб. Если бы здесь перо треснуло, мы могли бы отбить изогнутую его часть, и тогда в нашем распоряжении остался бы укороченный, но зато ровный руль, с помощью которого мы могли бы управлять, загрузив, как следует, корму. Никаких трещин не было. Но... — Стоп, стоп, пожалуй, выход можно найти! — Я спросил у Дмитрия Григорьевича:

— Что если мы перережем руль?

Старший механик с сомнением посмотрел на толстое стальное перо, подумал и, в свою очередь, спросил:

— А что это даст? Ведь руль после этого будет уже негоден. Его придется менять, когда вернемся в порт...

В это время в котлован спустился Буторин. Он с интересом прислушивался к нашему разговору, — все, что касалось хотя бы самой малой заклепки на корабле, боцман расценивал, как нечто, имеющее самое непосредственное отношение к нему лично. Я ответил Трофимову:

— Укороченный руль, конечно, не

<sup>1</sup> Некоторое представление о руле «Седова» дает читателям размер его пера. Оно достигало трех метров в высоту, более метра в длину и крепилось к рудерпосту громадными болтами диаметром около 300 миллиметров.

заменит нам целого руля, но зато он вернет судну частичную управляемость, и мы сможем довести его до ближайшего порта. Не лучше ли пожертвовать частью руля, чем рисковать всем кораблем?

Бережливый стармех очень не любил разрушать что-либо на корабле даже в том случае, когда это вызывалось чрезвычайными обстоятельствами. И сейчас он медлил с решением, что-то обдумывал. Зато Буторин, обожавший всякие необычайные проекты, сразу весь загорелся. По его глазам я видел, что ему не терпится взяться за дело.

— Как вы смотрите на этот проект, Дмитрий Прокофьевич? Выйдет у нас что-нибудь?

Польщенный приглашением принять участие в техническом совещании, боцман степенно сказал:

— Да, конечно, выйдет. Еще когда «Ермак» подходил, мы про это говорили: был бы у нас тогда автоген, под водой эту штуку отрезали бы...

Он показал на изогнутую часть руля и закончил:

— А теперь и без автогена можно сделать. Выйдет... Обязательно выйдет...

— Видите, Дмитрий Григорьевич, — проект находит сторонников! — сказал я старшему механику.

Он ответил, улыбаясь:

— Придется подумать!..

Вернувшись в каюту и посоветовавшись с Андреем Георгиевичем, я принял окончательное решение: отремонтировать руль, разрезав его на две части.

Через час, за ужином, я огласил план ремонта. Проект встретил поддержку команды, хотя часть людей все еще колебалась.

Наутро был объявлен аврал: весь экипаж, кроме вахтенного, старшего радиста и повара, принялся за околку руля. Надо было спешить. Оттепель усилилась, и риск затопления котлована возрастал: между его дном и морской водой оставалась лишь тоненькая ледяная прослойка, которую вода могла прорвать в любую минуту.

К 17 часам закончив околку руля, мы решили высверлить ряд сквозных

отверстий вдоль всего пера, а затем разобщить по этой ослабленной линии верхнюю часть пера от нижней. Механики под руководством Трофимова приладили ручное сверло, чтобы попробовать, как пойдет дело. Но сталь оказалась такой твердой, что сразу же стало ясно: ручным сверлом ее не возьмешь. Надо было пускаться в ход электродрель.

Наутро работы были развернуты полным ходом. С девяти часов до семнадцати в котловане работали Трофимов, Шарыпов, Недзвецкий, Бекасов и Мегер, а затем их сменили Алферов, Буторин, Гетман и Токарев, работавшие до полуночи.

Больше всех доставалось Трофимову и Токареву, работавшим чуть ли не круглые сутки. Трофимов руководил операциями в котловане, а Токарев бесменно дежурил у слабосильного «Червоного двигуна», который отчаянно пыхтел и захлебывался, обслуживая крохотную четырехкиловаттную динамомашину.

Работу свою, как всегда, механики организовали очень четко, и в первый же день удалось просверлить до ста отверстий. Они составили сплошной ряд ниже третьего контрфорса.

Труднее оказалось перерезать рудерпис: у нас не было достаточно длинного сверла, чтобы продырявить насквозь мощный стальной брус толщиной в 300 миллиметров, поэтому пришлось сверлить десятки радиальных отверстий — так, чтобы они сходились в центре.

16 июня исполнилось двухлетие со дня выхода «Седова» в плавание. С утра корабль расцвел флагами, но этим празднование и ограничилось: мы не могли прервать работу в самой критической точке, и сверление рудерписа продолжалось до часу ночи.

Наконец, к вечеру 18 июня и перо, и рудерпис были почти разъединены на две части. Оставалось лишь преодолеть сопротивление тонкой решетки, образовавшейся между высверленными отверстиями, чтобы навсегда разделить верхнюю, исправную часть руля от нижней, искаленной. Эту работу мы думали завершить без особых хлопот. Но обстоя-

тельства сложились так, что именно теперь, когда все уже было почти готово, мы едва не потеряли последнюю надежду на возвращение судну возможности управляться.

В эти дни упорно держалась сильная оттепель, вызывавшая бурное таяние снега и льда. Насколько страстно мы мечтали в марте о тепле, настолько горячо мы теперь молили небо о хорошем морозе — вода в котловане с каждым днем прибывала все энергичнее.

По ночам откачкой воды из котлована занимались вахтенные. Вначале это занятие давалось нам без особого труда, достаточно было полчаса поработать брандспойтом, чтобы на дне котлована стало сухо. Но в ночь на 19 июня стоявшему на вахте Соболевскому пришлось уже довольно туго. С большим трудом он отстоял котлован от поступающей воды.

Днем 19 июня брандспойт пришлось пускать в ход регулярно каждый час. Когда же время подошло к полуночи, вода хлынула в котлован таким энергичным потоком, что откачивать ее уже не удавалось.

Я должен был стоять вахту с 24 часов и поэтому после ужина прилег отдохнуть. Внезапно я почувствовал, что кто-то меня будит. Открыв глаза, я увидел своего старшего помощника. Он был возбужден:

— Константин Сергеевич! Заливает!..

Я натянул сапоги, накинул ватник на плечи, выбежал на палубу и спустился в котлован. Дно его на полфута было затоплено водой, струившейся сквозь щель, образовавшуюся уступиды винта. Мокрый, взъерошенный боцман возился в воде, затыкая поминутно увеличивающуюся щель обрывками старых ватников. Шарыпов откачивал воду брандспойтом.

Небо было затянуто низкими грязными тучами, ронявшими на корабль хлопья мокрого снега. Все вокруг таяло и расплзалось. Термометр показывал 2 градуса тепла. Это означало, что в ближайшие часы поступление воды в котлован должно возрасти еще больше.

— Будить всех! — сказал я Андрею Трофимовичу — общий аврал!..

Картина этого решающего аврала глубоко врезалась мне в память...

... Без шапок, в одних свитерах, утопая по колено в воде, механики взяты на дне котлована, пытаюсь рассоединить верхнюю и нижнюю части руля. Шарыпов держит зубило, Алферов и Токарев бьют по нему кувалдами. Зубило скользит в воде, удары молотов придутся мимо, люди падают в воду, поднимаются, начинают все сначала.

В это время остальные члены команды, сменяясь, по очереди изо всех сил качают вверх и вниз ручки хрипящего брандспойта, шланг которого выплевывает мутную соленую воду. А вода все прибывает и прибывает...

Наконец, механикам удается разрубить решетку между просверленными в пере отверстиями. Но рудерпис держится еще прочно.

— Тащи домкраты! — командует Трофимов.

У Трофимова обострен ревматический процесс, ему смертельно вредна сытость. Но он как старший механик не считает возможным покинуть свой пост. Промокший, усталый, Дмитрий Григорьевич работает наравне со всеми.

Тяжелые пятитонные домкраты спущены в котлован. Буторин и Гетман тащат куски досок, клинья, распорки, чтобы поудобнее установить их; мокрые, скользкие домкраты могут сорваться.

Нижняя часть руля уже скрылась под водой. Домкраты приходится пристраивать на весу в верхней части. Наконец, все приготовления закончены, и механики начинают вращать трещотки. В то же время часть команды, взобравшись на судно, нажимает ручной привод рулевого управления.

В эти минуты решается судьба нашего замысла: достаточно сорваться домкрату с места, и все будет кончено: вода прибывает настолько стремительно, что во второй раз установить домкрат уже не удастся.

В два часа ночи, наконец, послышался хруст, и верхняя часть руля медленно, как бы нехотя, отошла влево. Люди начали быстро карабкаться из котлована на поверхность льда, — холодная вода теперь била фонтанами из образо-

вавшихся отверстий. Но теперь она была уже не страшна: работа закончилась.

Невзирая на усталость и поздний час, люди кричали «ура», бросали в воздух рукавицы, шутя боролись друг с другом, — одним словом, вели себя, как школьники, только-что выдержавшие трудный экзамен.

Каждому из нас не терпелось узнать, каковы плоды нашей работы, и я решил немедленно испробовать укороченный руль. Влево укороченное перо отшло легко, словно рулевое управление было вполне исправно. Оно легло на борт. Но вправо перо шло туго: видно, верхняя и нижняя части цеплялись друг за друга. Принесли металлические тали и завели их за сектор руля, чтобы преодолеть сопротивление сцепившихся частиц металла. Уже под утро объединенными усилиями привода и талей удалось повернуть руль вправо на 3—4 градуса.

В сравнении с прежним и это было хорошо: поворачивая верхнюю часть руля влево, мы могли без труда парализовать вредное влияние изогнутой вправо нижней части. Но нас эти результаты уже не могли удовлетворить, и я решил на следующий день возобновить попытки отрегулировать укороченный руль.

Работы по ремонту руля отняли у нас еще несколько суток. Подкладывая шайбы между петлями руля и ахтерштевня, мы пытались увеличить угол вращения пера. Нашему машинисту Недзвецкому пришлось на это время превратиться в водолаза: ледяной котлован был уже полностью затоплен, и теперь для осмотра рулевого управления приходилось спускаться под воду.

В конце-концов нам удалось увеличить поворот руля вправо до 15 градусов. Этого было достаточно для частичной управляемости судном, и потому двадцать второго июня я рапортовал в Главсевморпуть:

«Руль «Седова», согнутый в январе 1938 года подвижкой льдов, сейчас, после околки льда на глубину свыше двух метров, удалось перерезать на 15 сантиметров ниже третьей петли — в том месте, где начина-

ся изгиб. После этого верхняя часть руля на двух петлях, площадью 2,2 квадратных метра, поворачивается влево на борт, а вправо на 15 градусов. Полагаю, что при соответствующей загрузке кормы судно получит частичную управляемость, достаточную для следования за ледоколом без буксира.

Нижняя часть руля находится в прежнем неподвижном положении. Она отогнута вправо на 20 градусов при согнутом в петле болте. При необходимости, с помощью небольших водолазных работ, можно будет удалить совершенно нижнюю часть руля и дать полную поворотливость верхней.

Работа проводилась при непрерывном откачивании воды брандспойтом. Принимая во внимание сложность этой работы, произведенной без достаточных технических средств, в тяжелых условиях, а также ее успешное завершение, ходатайствую о премировании следующих лиц экипажа: Трофимов — старший механик, Алферов — третий механик, Буторин — боцман, Шарьпов — машинист, Недзвецкий — машинист, Гетман — кочегар, Мегер — матрос, Бекасов — радист».

Наша инициатива нашла самый живой отклик в Москве. Нас поздравляли с победой, приветствовали. Участники ремонта руля были премированы — каждый из них получил по 1 000 рублей. Редакции газет завалили нас запросами о том, каким образом нам удалось перерезать руль. И действительно, мы могли по праву гордиться сделанным: будущее показало, что наша работа была проделана как нельзя более своевременно. Когда «Седов» полгода спустя встретился с ледоколом «И. Сталин», его укороченный руль неплохо поработал.

Арктическое лето было уже в полном разгаре, когда мы, наконец, закончили ремонт рулевого управления и смогли всерьез заняться осмотром и приведением в порядок корабельных механизмов.

К концу июня мы приблизились вплотную к 63-му меридиану, во много раз опередив темпы «Фрама».

Солнца мы почти не видели, — небо закрывал плотный слой низких облаков. То-и-дело налегали густые туманы, сокращавшие видимость до 50—100 метров. Температура держалась в среднем около нуля. Было очень сыро. Поэтому следовало особенное внимание об-

ратить на сохранность корабля от ржавчины, тем более, что машинное отделение у нас не отапливалось. И как только механики закончили ремонт руля, они сразу же перебрались в свою «преисподнюю», чтобы заняться сложным и ответственным машинным хозяйством.

Последовательно и методично они смывали керосином масло с законсервированных частей, тщательно обследовали их, зачищали тонкой наждачной бумагой малейшее пятнышко и снова покрывали все слоем масла. Главный вал машины был провернут вручную на полный оборот. Наиболее ответственные подшипники вскрыты и освидетельствованы. К счастью, сырость не проникла ни в один подшипник — все они с осени были бережно заполнены смесью говяжьего сала с маслом, и теперь сверкали, как зеркало.

Также внимательно были проверены все вспомогательные механизмы. Даже поручни в машинном отделении механики вымыли керосином и очистили наждаком от ржавчины.

Много возни было с котлами. Осенью 1938 года, в страшные часы памятного аврала 26 сентября, мы были вынуждены для поддержания равновесия накачивать морскую воду то в правые, то в левые котлы поочередно.

Во вспомогательном же котле мы вынуждены были даже поднять пары на соленой морской воде. Потом воду из котлов мы откачали, но осадок солей остался. И теперь Алферов, Недзвецкий, Шарыпов, Гетман и Мегер, вооруженные скребками, днями и ночами просигивали внутри холодных железных котлов. При свете стеариновых свечей выцарапывали они накипь, соль, кристаллы льда, из всех укромных уголков между дымогарными трубками, у лазов, между огневой коробкой и стенками котла.

Тем временем Трофимов и Токарев выполняли другую важную работу: приводили в порядок иллюминаторы. 26 сентября 1938 года, когда «Седов» накренился на 30 градусов и зачерпнул воду через неисправное отверстие холодильника, научило нас особенно придиристо относиться к вопросам герме-

тической закупорки всех отверстий, выходящих за борт.

Исправные иллюминаторы — обязательное и неукоснительное условие безопасности мореплавания. Если почему-либо судно накренился, погрузившись до линии иллюминаторов, и если иллюминаторы будут пропускать воду, — гибель его неизбежна. Тогда уже будет поздно заdraивать отверстия!

К сожалению, в 1937 году в Архангельском порту крайне легкомысленно отнеслись к выпуску «Седова» в рейс. Иллюминаторы на корабле находились в чрезвычайно запущенном состоянии: у одних сломаны уши, у других на пальцах сорвана резьба, третьи не имели прокладок, к четвертым вовсе не подходили заглушки.

Осенью 1938 года Андрей Георгиевич вдвоем с Буториным кое-как, наспех заdraили все световые люки. Но теперь, когда мы подходили к беспокойному Гренландскому морю и собирались выйти из дрейфа, — следовало надежно отремонтировать каждый иллюминатор. И Трофимов с Токаревым в течение целого месяца чинили пальцы, меняли уши, за неимением резца, вырубали киркой круглые новые стекла, мастерили прокладки — одним словом, работы у них было по горло.

Не сидела без дела и палубная команда. Соревнуясь с машинной, она также в эти летние месяцы работала очень интенсивно. В качестве примера приведу здесь июньский план работы палубной команды:

Наименование работ	Число человек-ко-дней
1. Срастить трос для драги	14
2. Смотреть трос на вьюшку, осмотреть и устранить дефекты	4
3. Вооружить драгу	2
4. Околоть лед под подзором до появления воды	40
5. Перевезти аварийный запас со льда, погрузить и уложить во избежание порчи от сырости	26



Наименование работ	Число челове- ко-дней
6. Четыре гидрологических станции	12
7. Четыре измерения глубины	8
8. Сверление льда	6
9. Работа с драгэй	10
10. Приготовление посуды для гидрологических станций (30 бутылок)	1
11. Очистка и цементировка цистерны для питьевой воды	5
12. Осмотр и подготовка брандспойта	2
13. Прием воды	3
14. Стирка постельного белья	4
15. Дневальство	12
16. Работа пламякционной сеткой	9

Этот план был значительно перевыполнен. Достаточно сказать, что одни лишь непредвиденные авралы по ремонту руля отняли у палубной команды в июне 42 человеко-дня.

★

В июле обе команды—и машинная, и палубная—были поглощены одной и той же работой, увлекшей весь наш коллектив: окраской корабля. Эта работа до известной степени завершала подготовку к навигации.

Надо сказать, что после двух зимовок «Седов» выглядел весьма непрезентабельно. Жесткие мартовские морозы доконали краску: она полопалась, лоскутками отстала от бортов и при самом легком прикосновении сыпалась на лед. Корпус начинал ржаветь, а ведь ржавчина—страшный враг корабля.

Соскоблить ржавчину, потом загрунтовать корабль суриком и, наконец, покрыть сверху красной—все это мы могли сделать. Но перед нами возникла одна почти непреодолимая трудность: на судне не было олифы.

Я начал рыться в книгах, пытаюсь отыскать рецепт варки олифы,—у нас было двенадцать бочонков подсолнечно-

го масла, и мне казалось, что его можно будет пустить в дело. Мне помогла случайно затесавшаяся в нашу библиотеку брошюрка «Окраска речных судов». Автор этого руководства указывал, что из конопляного масла олифу надо варить на сильном огне в течение четырех часов, прибавляя свинцовый сурик, чтобы олифа быстрее сохла. Температура масла при этом поднимается до 300 градусов, и оно становится огнеопасным,—стружка, брошенная в кипящее масло, мгновенно вспыхивает.

Об интересующем нас предмете было сказано: «Олифу можно варить и из подсолнечного масла». Это хорошо. Но как ее варить?..

Я вызвал Буторина, показал ему книжку и сказал:

— Попробуй, Дмитрий Прокофьевич, сделать так же, как тут написано!..

Боцман внимательно проштудировал пособие и... взялся варить олифу, словно он всю жизнь только этим делом и занимался. После нескольких неудачных попыток сварить олифу в камбузе он установил на льду в 140 метрах от судна камелек, сделанный из пустой железной бочки, вделал в этот камелек небольшой котелок, приладил трубу, и «Фабрика Прокофьевича», как прозвали это неказистое сооружение наши моряки, заработала.

Целый день коптился боцман у своей железной печурки, помешивая кипящее масло в котле. Занятие это было не из веселых: пары подсолнечного масла не отличаются приятным ароматом. К тому же все вокруг камелька таяло, а с неба беспрерывно падали густые хлопья мокрого снега.

Все это можно было бы стерпеть, если бы подсолнечное масло превратилось хотя бы в подобие олифы. Но проклятая жидкость упорно отказывалась сгущаться.

После трехдневной возни у камелька боцман пришел в отчаяние. Он потерял всякую надежду на то, что из подсолнечного масла когда-нибудь получится олифа. Но не оставляйте же корабль без окраски! Мы прекрасно понимали, что ржавчина нанесет «Седову» непоправимый урон, если мы не покроем облуп-

лившиеся борта двойным слоем сурика и черни. Было бы дьявольски обидно после двух-трех лет дрейфа доставить в родной порт вместо корабля груды ржавого железа.

Я решил, что пора самому взяться за опыты. И хотя у меня было лишь самое смутное представление о технике химических опытов, я довольно храбро перетащил в кают-компанию десятка два реторт, колб, пробирок, трубок и каких-то штативов, оставленных на корабле экспедицией Гидрографического управления. Отвесив несколько доз подсолнечного масла по сто граммов, я разлил их по колбам, зажег две спиртовки и начал кипятить упрямую жидкость. Кают-компания временно превратилась в дрейфующую лабораторию.

План был прост: варить масло хоть сто часов, пока из него не получится нечто похожее на олифу. Ведь в книжке «Окраска речных судов» сказано совершенно ясно: «Олифу можно варить и из подсолнечного масла». Значит, рано или поздно из этого масла должно получиться что-то похожее на олифу!

Я действовал планомерно, — одну пробу сварил за четыре часа, вторую за шесть, третью за восемь.

Вся кают-компания пропахла тошнотворным горьковатым запахом масляных паров, хотя я и пытался отводить эти пары за борт через резиновую трубочку, протянутую в иллюминатор.

Вскоре даже самые терпеливые члены экипажа, усаживаясь за обеденный стол, стали угрюмо коситься на мою лабораторию. Только то обстоятельство, что опыты вел капитан, заставляло людей воздерживаться от злых реплик по адресу этого чадного предприятия.

Я сам не меньше других страдал от запаха горелого масла, но твердо решил — не отступать до тех пор, пока не удастся добиться положительных результатов.

На второй день моих опытов у меня мелькнула мысль: а что если пустить в лабораторное испытание буторинскую олифу? Может, ее стоит покипятить еще денек и тогда из нее что-нибудь получится?

Дмитрий Прокофьевич извел уже доб-

рый бочонок масла, и теперь на палубе выстроилась целая шеренга бутылей с мутноватой жидкостью, не похожей ни на масло, ни на олифу. Я отлил пробу этой жидкости в пробирку и начал кипятить.

Восемь часов спустя жидкость сгустилась и приобрела вязкость. Я покрыл ею стекло и поставил сушиться. К утру масло начало твердеть.

— Олифа! — заявил Буторин, внимательно следивший за опытами. — Факт, олифа...

Я не без некоторой гордости собрал свои колбы и реторты, — дрейфующая лаборатория закончила опытный период и передавала выработанный ею рецепт в «промышленное освоение». Теперь мы могли окрасить не только пароход, но и все торосы на двадцать миль в окружности. Для этого стоило лишь вооружиться терпением и варить подсолнечное масло не четыре, а четырнадцать часов подряд.

Наконец, все приготовления были закончены, и во второй декаде июля мы принялись за дело: очистили корпус от ржавчины и старой краски, затем покрыли его суриком и окрасили чернью. «Седов» выглядел теперь красавцем. В сверкающем свежей краской судне трудно было узнать недавно ободранного и закопченного аборигена вечных льдов.

В дождливые дни, когда на палубе работать было трудно, мы красили внутренние помещения. Всюду пахло свежей краской. А неутомимые маляры-добровольцы проникали все глубже внутрь корабля, и к середине августа добрались до машинного отделения.

Прежние механики «Седова», у которых мы приняли корабль весной 1938 года, к сожалению, не отличались особенной приверженностью к порядку и чистоте. Консервацию машины они проводили при свете пятнадцати чадных коптилок, в которых глели пропитанные маслом фитили. Такие коптилки дымили в машинном отделении целую зиму и оставили на стенах и на потолке толстый слой сажи. Световой люк в потолке настолько закоптился, что даже в самую солнечную погоду через стекло не

мог пробиться ни один луч. Краска, кое-где проглядывавшая из-под копоти, тоже являла собой унылое зрелище: морозы и сырость превратили ее в какую-то труху, и она осыпалась при самом легком толчке.

17 августа наши механики объявили большой санитарный аврал. Вооружившись тряпками, щетками и мылом, они начали мыть машинное отделение. Когда моют палубу, — по ней реками льется вода. Палубу можно окатывать из брандспойта, из ведер, — чем больше воды, тем лучше! В машинном же отделении вода считается самым заклятым врагом. Поэтому механикам приходилось работать крайне осторожно, чтобы ни одна капля воды не упала на машину.

Несколько дней прошло, пока механики отмыли добела огромный зал машинного отделения. Было израсходовано не меньше пуда мыла, все наличные запасы каустической соды и даже отработанный электролит из аккумуляторов, который дядя Саша уступил механикам по знакомству.

Закончив уборку, механики 25 августа вооружились кистями и ведерками с краской.

Целыми днями просиживали они в люльках, подвешенных к потолку, усердно орудия нехитрыми малярными принадлежностями. Красили они машинный зал белилами, которых у нас было достаточно. Трофимову и Токареву хотелось придать краске благородный голубоватый оттенок, и они устроили целую баталию с Буториным, назначенным бригадиром малярного цеха, требуя от него синьки.

Механики были глубоко убеждены, что запасливый боцман прячет синьку от машинной команды, приберегая ее для каких-то особых целей. Дмитрий Прокофьевич беспомощно отмахивался от наседавших на него механиков и клялся, что синьки нет ни одного грамма. Ему не верили, зная, что у него всегда в каком-нибудь уголке припрятаны на всякий случай самые различные предметы.

Но, как это ни странно, Буторин на этот раз был прав — синька отсутствовала. Пришлось пустить в ход берлин-

скую лазурь, которая лишь отдаленно напоминала желанную синьку.

Работали механики очень весело. Из открытого светового люка то-и-дело слышались взрывы хохота, песни, какие-то присказки.

Семь дней длилась окраска машинного отделения. Зато после этого можно было приглашать сюда для контроля самых придирчивых экспертов — все сверкало и блестело, как и подобает в приличном машинном зале.

В такой обстановке было трудновато выкроить время для каких-либо внеслужебных дел. Все же я старался по мере возможности давать людям выходные дни, когда они могли развлечься, отвести душу за каким-нибудь любимым делом.

В моем дневнике сохранилось немало записей, посвященных описанию наших внеслужебных занятий в этот период. Я приведу здесь некоторые из них, чтобы показать, насколько нам удалось приблизить свой быт к нормальному жизненному распорядку обычной зимовки.

10 июня я.  $86^{\circ}07',9$  северной широты,  $71^{\circ}00'$  восточной долготы. Итак, началось лето... Правда, это лето довольно сумрачно: с первого мая мы пока-что насчитали всего четыре ясных дня, а в последнее время свирепствовала пурга. Но летнее солнце все же берет свое: уже сейчас температура воздуха не опускается ниже 4 градусов холода, а иногда бывает и выше нуля. В такие дни на льду быстро образуются большие озера пресной воды. Оля сообщает, что в Москве все время идут дожди и дуют холодные ветры. Ответил ей, что это хорошо: по крайней мере, нам не так обидно...

У нас понемногу разворачивается охотничий сезон: вчера я убил пулей из карабина глупыша, залетевшего к нам нивесть откуда. Отдал жарить эту птицу и угостил всех желающих. Желавших нашлось много, и каждому достался лишь микроскопический кусочек жесткого, пахнущего рыбой мяса. Буйницкий сказал, что предпочел бы свиную отбивную, но все же свою порцию он съел с аппетитом.

Сегодня Шарыпов поймал в майне

крохотную рыбку и принес ее мне. Я ее заспиртовал, — авось, и рыбка пригодится для науки...

13 и ю л я.  $85^{\circ}32',8$  северной широты,  $63^{\circ}12'$  восточной долготы. Третий день стоит безоблачная летняя погода. Температура воздуха в тени плюс 3,1 градуса. На солнце с подветренной стороны, у борта, термометр показывает 25—27 градусов тепла. Наши энтузиасты спорта устроили нечто вроде солярия. Правда, все они одеты не в трусы, а в ватные брюки, но это дела не меняет. Люди с наслаждением подставляют солнцу свои голые спины. Бекасов, Шарыпов и Мегер спустили на снежницу байдарку и резиновую шлюпку и открыли сезон гребного спорта. На палубу вытащили громкоговоритель, и теперь там нечто вроде водной станции «Динамо».

22 и ю л я.  $85^{\circ}33',1$  северной широты,  $63^{\circ}08'$  восточной долготы. Маленькая, но примечательная деталь: сегодня ночью впервые за все лето не топились камельки в каюте Буйницкого и кормовом кубрике. Люди жалуются на чрезмерную жару. Значит, действительно наступило лето!

Наши снежные домики уже испарились. Повсюду виднеется водяное небо — вокруг нас много разводьев. Судно окружено снежницами глубиной полметра-метр.

Частыми гостями стали чайки — белые, темные, большие и малые. Много маленьких пуночек.

Любопытно, что наторошенный вокруг судна лед летом начал подниматься над уровнем моря. За несколько дней «Седов» поднялся вместе со льдом на 55 сантиметров!

Пользуясь обилием пресной воды, щедро предоставленной в наше распоряжение природой, седовцы яростно принялись за стирку. Наш «банно-прачечный комбинат» работает непрерывно. Большое пространство вокруг судна занято выстиранным «отбеливающимся» на солнце бельем. Наши собаки, еще не потерявшие юношеской игривости, с огромным удовольствием растаскивают его по свалочным кучам, вовлекая в свои игры хозяев белья. Но эти черствые

люди не могут понять собачьих радостей и враждуют с Джерри и Лыдинкой.

Меховая одежда находится в полной отставке, и жителей Большой Земли, вероятно, сильно удивило бы наше всеобщее пренебрежение даже к таким вещам, как теплое белье. Обнаружилась большая тяга к майкам и трусикам.

С каждым днем все большее развитие приобретает водный спорт: по озеру, возникшему на месте катка, плавает весь наш резиновый флот, состоящий из четырех единиц. Резиновые разборные байдарки и надувные шлюпки оказались весьма надежными и практичными.

23 и ю л я. Исчезло еще одно озеро, находившееся справа от судна, — вода из него ушла в проталину. У нашей молодежи новое развлечение: по чертежам из книги «Морская практика» сооружены парусные кораблики. Они плавают по бесчисленным снежницам и ручьям, доставляя огромное удовольствие не только нам, но и Джерри, и Лыдинке: собаки, стараясь сберечь хозяйское добро, ревностно вылавливают кораблики из воды и тащат их в зубах на сухое место.

Кораблей сооружено множество. После того, как Недзвецкий спустил на воду первое суденышко, названное «Торосом», среди моряков началась горячая борьба за первенство — чье судно будет быстрее. Особенно много конструкций создали Мегер и Шарыпов.

Буторин изготовил грандиозную четырехмачтовую яхту с полным парусным вооружением, единодушно признанную лидером нашей потешной флотилии...

24 и ю л я. В честь Дня военно-морского флота расцвели корабль флаги. Выпущен свежий номер нашей газеты «Мы победим». Вечером организовали стрельбы из карабинов по мишеням.

Стоит туманная погода, интенсивное таяние продолжается. С рангоута и такелажа осыпается лед.

26 и ю л я. Сегодня исполнилось ровно два года с того дня, когда «Садко» покинул Архангельск. Ужасно серый, скучный, нудный день. Идет дождь. Сыро, холодно. И на душе какая-то сля-

коть. Обменялись с Олей телеграммами по случаю этой печальной годовщины. Она мне советует терпеливо ждать встречи, и я ей советую то же самое. Но выполнить эти советы одинаково трудно и мне, и ей...

3 августа.  $86^{\circ}02',7$  северной широты,  $56^{\circ}54'$  восточной долготы. Провели подписку на заем Третьей Сталинской Пятилетки. Общая подписка по судну 27 000 рублей.

12 августа.  $86^{\circ}02',7$  северной широты,  $55^{\circ}06'$  восточной долготы. Устроил выходной день. По случаю зарядки аккумуляторов работала динамомашинка. Пользуясь этим, Шарыпов показал кинокартину «Будьте такими». Хотя содержание фильма всем давно известно, смотрели его с огромным интересом...

14 августа. Снова охота на медведя и снова удача! Обнаружил появление зверя Гаманков, — вчера вечером после чая он зачем-то вышел на палубу и увидел в тумане на расстоянии каких-нибудь 250 метров солидного мишку, который с интересом обследовал наш аварийный склад. Пока мы готовились начать охоту, мишка с аппетитом съел выброшенный на лед негодный сыр и поиграл с байдаркой.

Для приманки зверя мы начали жечь медвежий жир в камельке. Но зверь, сверх ожидания, отнесся к этому запаху крайне равнодушно и не приближался. Пришлось открыть огонь с дальней дистанции. Ранили медведя, но он убежал. Началось преследование по льду. Летели за зверем, сломя голову, около километра.

К двум часам ночи доставили медвежью тушу на судно, освеживали ее. И на этот раз нам попалась медведица. Длина ее — 165 сантиметров».

Полярное лето непродолжительно. Уже в первой декаде августа мы почувствовали значительное похолодание: температура упала до  $6,5$  градуса ниже нуля.

Но в двадцатых числах августа за  $86$ -й параллелью опять повеяло теплом. Молодой лед в снежниках быстро разрушился, свежий снег, покрывший лед пушистым покровом, начал таять.

Это потепление не могло быть про-

должительным. Мы знали, что уже скоро ударят суровые морозы, начнет мести пурга и солнце в третий раз скроется из наших глаз. Но мы с той же энергией и упорством продолжали готовить свой корабль к навигации: если не теперь, то некоторое время спустя плоды этой работы должны были принести пользу.

И действительно, как мы были правы: когда «Седов» в морозную январскую ночь 1940 года освободился из ледового плена, нам осталось лишь собрать паропроводы, накачать воду в котлы и поднять пар: машины и все механизмы с первого же оборота заработали, как хорошо выверенные часы.

### В 370 КИЛОМЕТРАХ ОТ ПОЛЮСА

Плавно и величаво движется могучий ледовый поток, питающий воды Атлантики полярным паком. Его движение безостановочно, его резервы неисчислимы. Предначертанный мудрой природой цикл автоматического регулирования климата совершается с железной плановностью и последовательностью: чем больше теплых вод внесет Гольфстрим в Арктику, тем больше льдов выбросит она в Атлантический океан; чем больше льдов появится в Атлантике, тем скорее понизится интенсивность Гольфстрима; но тогда уменьшится вынос льдов из Арктики и, следовательно, снова возрастет сила теплового течения.

Этот разумнейший механизм природы действует на протяжении многих тысячелетий с точностью, о которой не может и мечтать самый гениальный из конструкторов. Быть может, и наступит время, когда человек, накопив достаточно знаний, научится регулировать по своему обмен теплых и холодных вод и сумеет переделать климат Северного полушария. Но пока-что мы очень мало знаем об этом сложнейшем процессе, и многое для науки остается загадочным.

Откуда берет свой исток великая ледовая река? Как далеко распространяются ее границы? Насколько велика разница в скоростях обычного дрейфующего льда и того мощного полярного пака, который как бы панцирем покрывает макушку земного шара?

Частично на эти вопросы ответил дрейф «Фрама», частично дрейф станции «Северный полюс». Многие добавили данные дрейфа «Седова». И все-таки даже к концу второго года скитаний во льдах никто из нас не отважился бы сказать точно и определенно, как скоро закончится наш дрейф, как далеко к северу продвинется корабль и куда его вынесут льды — к Шпицбергену или к Гренландии. Мы могли лишь следовать девизу великого русского ученого Ивана Павлова: «Наблюдательность, наблюдательность и еще раз наблюдательность». И по мере своих сил мы старались вести возможно более точные наблюдения.

Наибольший интерес для науки представляют данные о движении льдов в высоких широтах — за 80-й параллелью, где менее заметно влияние приливо-отливных течений и местных ветров, особенно характерных для морей Лаптева и Новосибирского. В высоких широтах мы имели дело, если так можно выразиться, с дрейфом в чистом виде, без случайных влияний. И в первый же год нашей работы нам удалось практически доказать, что скорость и направление дрейфа льда целиком зависят от скорости и направления ветров. При этом, как правило, автоматически сказывалось влияние вращения земли, благодаря которому лед двигался под углом около 30—40 градусов вправо от ветра (так называемое «правило Кориолиса»).

Но уже к весне 1939 года мы ощутили возникновение каких-то новых факторов дрейфа. Когда «Седов» поднялся до 86-й параллели и достиг 120—125-го меридианов восточной долготы, характер его движения начал меняться. Плохо слушаясь западных и юго-западных ветров, он крайне неохотно двигался на север и северо-восток. Но в то же время даже при слабых ветрах восточной половины дрейф на запад заметно ускорялся. Характерно, что и на северо-запад корабль продвигался без особых затруднений.

При этом было обнаружено еще одно крайне важное обстоятельство: льды перестали «подчиняться» правилу Ко-

риолиса и начиная с 120—125-го меридианов стали двигаться прямо по ветру, не отклоняясь вправо

У нас не было оснований приписывать такие разительные перемены влиянию течения, — систематические наблюдения показали, что течение в этом районе отсутствовало. Оставалось предположить, что «Седов» приблизился к кромке менее подвижного полярного пака, покрывающего мощный броней район так называемого «полюса недоступности». Видимо, за последние сорок лет эта кромка значительно отступила к северу, и именно поэтому нам удалось подняться значительно выше, нежели «Фраму». Но все же где-то за 86-й параллелью мощный барьер полярного пака сохранился. Он-то и мог лимитировать продвижение «Седова» к северу и северо-востоку.

Приведу здесь две таблицы, составленные мною в последних числах апреля 1939 года, в тот период, когда резкие изменения характера дрейфа особенно волновали умы нашего маленького коллектива.

Сравнение данных о дрейфе и о ветре наглядно показывает, как значительно изменяется в высоких широтах их соотношение.

Напомню координаты исходной и конечной точек наблюдений, приведенных в этих таблицах: 2 сентября 1938 года — широта 83°11',0, долгота 137°35'; 27 апреля 1939 года — широта 86°17',0, долгота 83°51'.

### 1. Направление и скорость дрейфа по месяцам (в морских милях)

Месяцы	Генеральное направление дрейфа (в градусах)	Пройденное расстояние по генеральному направлению	Пройденное расстояние по кривой	Средняя суточная скорость
Сентябрь 1938 г. . . . .	1	63	178	2,1
Октябрь . . . . .	298	36,5	112	1,2
Ноябрь . . . . .	333	58	114	1,9
Декабрь . . . . .	164	44	168	1,4
Январь 1939 г. . . . .	333	56	126	1,8
Февраль . . . . .	330	51	59	1,8
Март . . . . .	262	35	78	1,1
27 дней апреля . . . . .	266	88	93	3,8

2. Повторяемость ветров по месяцам  
(По количеству произведенных наблюдений)

Месяцы									
	Штиль	Северный	Северо-восточный	Восточный	Юго-восточный	Южный	Юго-западный	Западный	Северо-западный
Сентябрь 1938 г. . .	1	18	26	58	45	35	88	22	23
Октябрь . . . . .	7	40	78	58	53	43	24	53	38
Ноябрь . . . . .	10	55	20	27	99	67	45	21	11
Декабрь . . . . .	1	41	59	54	31	10	49	99	26
Январь 1939 г. . . .	4	19	64	63	91	54	62	15	10
Февраль . . . . .	11	3	10	33	114	66	81	55	1
Март . . . . .	3	47	86	67	42	10	20	42	54
27 дней апреля . .	2	49	87	73	43	26	4	6	8

В дальнейшем эта закономерность сохранилась: «Седов» без особых затруднений продвигался при самом незначительном ветре на запад и юго-запад и в то же время как бы сопротивлялся «встречным» ветрам, словно за спиной у нас оставались запертые наглухо ворота.

Проникнув в самые высокие широты, наш корабль методически прощупывал границы таинственной, малоподвижной кромки полярного пака. Конечно, мы могли лишь предположительно говорить об этих границах, поскольку наша санная экспедиция на север не состоялась. Но все данные как будто бы свидетельствовали о том, что эта кромка существует и проходит под значительным углом с юго-востока на северо-запад, оставляя Северный полюс западнее. Папанинская экспедиция высадилась за ее пределами и именно поэтому была унесена на юг с такой неожиданной быстротой. Более точный ответ на вопрос о кромке полярного пака могла бы дать лишь экспедиция в район большого белого пятна, которое лежит к востоку от полюса.

Проблема эта имеет не только научный, но и сугубо практический интерес: если данные об отступлении кромки пака на северо-восток подтвердятся и размеры этого отступления будут уточнены, то тем самым откроются новые возможности для арктического мореплавания в более высоких широтах и будет обеспечена вторая сквозная трасса, которая в

результате определенных ветров иногда может быть более благоприятна для навигации, чем путь, проходящий вблизи берегов.

Напомню, что уже в 1935 году «Садко», поставивший рекорд высокоширотного плавания, достиг  $82^{\circ}42'$  северной широты по чистой воде. Летом же 1939 года нам удалось установить, что в течение длительного периода к северу от острова Рудольфа, то-есть за  $82$ -й параллелью, чистая вода тянулась на расстоянии около 60 миль.

Это важное открытие было сделано случайно. Свежие северные ветры неожиданно погнали нас к югу, как-раз тогда, когда мы находились на меридиане острова Рудольфа. Сверх ожиданий, мы двигались быстро, хотя можно было предположить, что земля задержит движение льдов. Я запросил начальника зимовки на острове Рудольфа о ледовой обстановке. Он ответил:

— К северу до горизонта чистая вода...

Мы продолжали быстро двигаться на юг. И каждый день с острова Рудольфа прибывала одна и та же сводка.

— К северу до горизонта чистая вода...

И только тогда, когда мы спустились на целый градус, движение льда на юг резко затормозилось, и с острова Рудольфа нам сообщили:

— К северу до горизонта — сплошной торосистый лед...

Это был лед, придрейфованный с севера вместе с нами...

Учитывая опыт «Фрама», мы предполагали, что в летние месяцы, когда преобладают штили и маловетрие, дрейф на запад если и не прекратится, то во всяком случае будет замедлен до крайних пределов. Действительно, летом преобладала штилевая погода. И все-таки за июнь и июль «Седов» продвинулся к западу на 100 миль со средней скоростью 1,6 мили в сутки. Достаточно было подуть ветру с востока в течение нескольких дней, чтобы корабль продвинулся на запад так далеко, что это перемещение решало итог месячной комбинации дрейфов. И, наоборот, западные ветры решающей роли не играли.

Любопытно, что осенью 1895 года эта закономерность была подмечена и моряками «Фрама», который тогда находился примерно в том же районе. Измученный борьбой с ветрами, капитан «Фрама» Отто Свердруп писал:

«... Каждый день мы тщетно ждали какой-нибудь перемены. Единственно, что сохраняло нашу бодрость, это сознание, что хоть нас и относит назад, но медленно, порой даже очень медленно. Даже в несколько дней западный ветер не уносил нас далеко на восток, и мы надеялись, что в один или два дня, когда будет дуть благоприятный ветер, мы не только восстановим то, что потеряли, но и сверх того подвинемся к западу...»

Чем дальше к северу, тем тенденция резкого повышения скорости дрейфа при восточных ветрах становилась более заметной. И, наоборот южнее  $85^{\circ}45'$  она исчезала. Так как мы к этому времени уже пересекли 60-й меридиан, можно было предположить, что «Седов» вступил в зону влияния нового фактора дрейфа—мощного сточного течения, обнаруженного папанинцами.

«Фрам», дрейфовавший южнее, не попал в зону этого течения, и потому его освобождение из льдов затянулось до осени 1896 года, когда он вышел к Шпицбергену. «Седов» же, находясь у 86-й параллели, был подхвачен потоком льда, двигавшимся к течению, и под действием благоприятных ветров с нарастающей скоростью устремился на северо-запад.

В августе мы продрейфовали по генеральному направлению на западо-северо-запад 65 миль. В целом же за три летних месяца «Седов» продвинулся в этом направлении на 165 миль. Если же учесть все петли и извилины дрейфа, то за лето мы проделали путь в 224 мили.

29 августа «Седов», находясь на  $47^{\circ}55'$  восточной долготы, поднялся до широты  $86^{\circ}39',5$ . Это была рекордная параллель—наш корабль на три четверти градуса побил наивысшее достижение «Фрама». До полюса оставалось всего 370 километров. Но подняться еще выше к северу наш корабль уже не

смог. С этого дня, непрерывно набирая темпы, «Седов» начал все быстрее и быстрее двигаться на юго-запад, до известной степени повторяя маршрут дрейфующей станции «Северный полюс».

Таким образом, трасса «Седова» отнюдь не представляла собою какую-то раз навсегда определенную величину. Направление, скорость, общие закономерности дрейфа изменялись понескольку раз, причем нам всякий раз приходилось кропотливо доискиваться причин этих изменений. Нетрудно понять, что мы не могли заранее с большой уверенностью говорить о перспективах дрейфа. Вот почему до конца навигации мы не оставляли надежды на то, что командованию Главсевморпути удастся организовать к нам рейс мощного ледокола, который мог бы вывести «Седов» из льдов, подобно тому, как в минувшем году «Ермак» освободил из ледового плена «Садко» и «Малыгин».

В этой мысли нас утверждали и наблюдения над характером самих льдов, окружавших «Седов». Хотя мы находились гораздо севернее, чем минувшим летом, ледовая обстановка в районе нашего дрейфа складывалась довольно благоприятно.

Например, намерзание льда в летний период мы наблюдали только в исключительных случаях в то время, как Хансен отмечал это явление регулярно.

Улучшение ледовой обстановки наблюдалось не только в районе нашего дрейфа, но и повсеместно. Навигация проходила очень успешно. Эфир был заполнен сигналами десятков судов, пересекавших Арктику с запада на восток и с востока на запад. Разноголосые звуки «морзянки» то-и-дело врывались в репродуктор, когда мы слушали по вечерам концерты. Впрочем, мы не сетовали на такие помехи... Наоборот, от этих сигналов становилось как-то радостней на душе: мы не чувствовали себя одинокими в ледяной пустыне. Слушая радиосигналы многочисленных кораблей, мы испытывали законное чувство гордости: да и наш «Седов», дрейфуя близ полюса, участвует в выполнении



грандиозных планов превращения Северного морского пути в нормально действующую магистраль.

В конце июля и начале августа мы находились приблизительно на меридиане острова Рудольфа. Полярная станция этого острова приняла от станции мыса Челюскин седовскую вахту, и справедливость требует отметить, что зимовщики острова Рудольфа обслуживали нас не хуже, чем челюскинцы. Они не только обеспечили связь Большой Земли с нашим кораблем, но и активно помогали нам своими советами и просто добрыми товарищескими телеграммами.

Начальник станции Степанов, прекрасно владевший радиотелеграфным ключом, иногда в свободные часы садился к аппарату и вел с нами долгие разговоры по азбуке Морзе. И вот, первого августа Степанов простучал ключом:

«Константин Сергеевич! С берега передают — скоро придет к нам «Русанов». Кроме того, в телеграмме говорится не об одном судне, а о судах во множественном числе. Полагаю — не придет ли «Ермак»? Тем более, что «Литке» с караваном судов уже прошел чистой водой пролив Вилькицкого. Так что многое говорит за то, что вас попытаются вытащить. Приготовили тросы пришвартовать вас к нашим берегам...»

В проливе Вилькицкого — чистая вода! Я вспомнил, как два года тому назад «Садко» через этот самый пролив пронесло кормою вперед, и подумал: да, видимо, в этом году условия навигации на редкость благоприятны. В такой обстановке, быть может, и в самом деле можно ждать встречи с ледоколом? Такая попытка была бы крайне интересна. Она многое дала бы для исследования льдов даже в том случае, если бы дойти до «Седова» ледоколу не удалось.

Тут забеспокоились летчики самолета «СССР Н-171», дежурившие уже полгода на острове Рудольфа. Если бы к нам подошел ледокол, надобность в полете отпала бы. Летчикам было бы очень обидно возвращаться на материк, не осуществив задуманного рейса. Нас стали атаковать с острова Ру-

дольфа дипломатическими телеграммами, в которых перечислялись аппетитные грузы, доставленные на самолете для нас, а в конце неизменно стоял вопрос: «Быть может, вам стоит наметнуть Москве на целесообразность полета?!»

Я ответил на эти телеграммы:

«Все указанное вами получили бы с удовольствием. Но в отношении намека Москве думаю, что следует воздержаться. Я лично предполагаю возможность подхода к «Седову» ледокола, поэтому настаивать на полете не имею права, тем более, что на судне пока все обстоит благополучно...»

Но сверх ожиданий посылку мощного ледокола в район «Седова» до конца августа организовать не удалось: помешало резкое похолодание, наступившее в двадцатых числах этого месяца, и ускорившийся дрейф на северо-запад.

Вскоре, однако, с острова Рудольфа мне сообщили, что экипаж самолета «СССР Н-171» срочно готовится к беспосадочному рейсу: Остров Рудольфа — «Седов» — остров Рудольфа. Это было очень трудное задание, связанное с большим риском: бесчисленные снежицы и сквозные проталины за лето так изуродовали ледяные поля, что о посадке на лед и думать нельзя было. К тому же постоянные туманы сильно осложняли навигационную обстановку. Тем не менее летчики Орлов, Пуссеп и весь экипаж самолета встретили распоряжение о подготовке к полету с большим энтузиазмом.

— Машина в полной готовности, — сообщил мне Степанов, — летный состав рвется в воздух...

Нужно было проделать большую работу по подготовке грузовых парашютов: теперь все необходимые нам грузы мы могли получить лишь с воздуха. Судя по сообщениям с острова Рудольфа, на нас должен был обрушиться ливень посылок.

Особенно заманчивы были для нас сообщения о богатейшем научном оборудовании, погруженном на самолет. Скучали мы и по письмам из дому.

В период приготовлений к полету к острову Рудольфа подошел из Архан-

гельска пароход «Русанов». Исполнительный Степанов немедленно сообщил, что на этом пароходе для нас доставлены новые письма. Нам не терпелось узнать новости с Большой Земли, и мы попросили командование парохода рассказать нам по радиотелефону, что нового в Архангельске. — «Русанов» обладал достаточно мощным передатчиком, чтобы мы его услышали. Капитан охотно согласился, и в один из вечеров, собравшись в кают-компании, мы услышали из репродуктора:

— Алло, «Седов», алло, «Седов»! Вас вызывает «Русанов». Как вы меня слышите? У микрофона капитан «Русанова» Шарбаронов, помполит Глозман и штурман Чернявский.

Чернявского мы хорошо знали, — он зимовал вместе с нами на «Садко». Остальные также были нам знакомы. Поэтому беседа протекала весело и непринужденно. Мы задавали вопросы азбукой Морзе:

— Как там мост через Кузнечиху в Соломбале — не достроили еще?

— А где теперь Хромцов плавает?

— Что поделывает Капелов?.. Не забыл еще, как мы на песцов в море Лаптевых охотились?

Нам отвечали по телефону:

— Мост все еще не готов. Как стояли быки, так и стоят. А вообще-то Архангельск за эти годы здорово обстроился, приедете — не узнаете...

— Хромцов на заводе принимает «Леваневского» — это будет новый ледокольный пароход, не слабее «Садко». У нас там дела идут солидно, — фирма растет! Уже организовали специальное арктическое пароходство в Мурманске. «Сталинград» из Морского пароходства в Севморпуть передали. Много новых судов...

— Капелов время зря не теряет, учится. Скоро кончат курсы штурманов. И Малыгин там же учится...

Долго длилась эта беседа. Перебрали на память всех знакомых, разузнали все новости навигации, познакомились со многими новшествами, введенными в практику арктических пароходств. За эти годы мы все-таки изрядно отстали от жизни и, судя по всему, нам пред-

стояло на Большой Земле со многим знакомиться заново: короткие вести радио, которыми мы жили, конечно, не могли передать и сотой доли всего многообразия яркой, полнокровной жизни нашей страны.

«Русанов» доставил самолету «СССР Н-171» большое количество горючего. Для нас он привез дополнительные запасы. Разгрузка корабля производилась усиленными темпами. В ней участвовали все жители острова Рудольфа, в том числе и летчики. Люди спешили закончить эту работу поскорее, чтобы сразу же взяться за непосредственную подготовку самолета к большому рейсу...

Степанов, сидя у ключа, передавал мне:

— Работаем круглые сутки. Здорово все устали. Вот только сильный прибой мешает. Разбило три причала. Но ничего — разгрузка идет. Сразу, как только отправим «Русанова», летчики начнут готовить самолет...

С огромным нетерпением ждали мы появления самолета над нашим кораблем. Однако с каждым днем погода портилась все сильнее и сильнее. Снегопад, пурга, морось, обледенение такелажа и рангоута, — все эти малоприятные приметы поздней арктической осени приходилось все чаще и чаще вписывать в вахтенный журнал. К тому же резко сокращалось и число «светлых» летных часов. Быстро приближалась полярная ночь.

Наши друзья летчики были готовы пренебречь всеми этими опасностями и вылететь к нам в любую погоду. Но мы вовсе не хотели, чтобы из-за нас пилоты рисковали своей жизнью.

И когда светлое время сократилось до минимума, а погода все еще не улучшалась, я написал в Москву:

«Полет самолета к «Седову» является весьма рискованным и в то же время не вызывается острой необходимостью. Для обеспечения нормальной жизни и работы экипажа будут использованы все возможности из имеющихся ресурсов...»

Не буду кривить душой и представлять дело таким образом, словно такое решение я принял без больших колебаний. Конечно, колебания были; конеч-

но, телеграмму эту я писал, скрепя сердце,—не так легко было отказаться от всего того, что нам обещали доставить летчики.

★

Надо было готовиться к третьей зимовке во льдах. Сама по себе зимовка эта нас несколько не страшила: мы вооружились достаточным опытом борьбы со льдами, свыклись с обстановкой долгих полярных ночей, научились переживать и холод, и пургу, и частые сжатия. Но эта зимовка имела свои особенности, с которыми нельзя было не считаться: после того, как мы достигли рекордной широты  $86^{\circ}39',5$ , корабль настолько круто повернул к югу и настолько ускорил свой дрейф, что можно было ожидать относительно быстрого выхода из льдов. А это означало, что мы могли оказаться у кромки дрейфующего пака еще до восхода солнца.

По опыту дрейфующей станции «Северный полюс» мы знали, что выход из льдов может сопровождаться довольно значительными неприятностями. Следовательно, мы должны были подготовиться к любым случайностям, в том числе и к переселению на дрейфующую льдину.

Как известно, подвижность полярного пака особенно быстро возрастает при приближении к чистой воде. Огромная льдина, на которой жили и работали папанинцы, превратилась накануне встречи с ледакольными пароходами «Таймыр» и «Мурман» в крохотный обломок: в течение нескольких дней все вокруг дрейфующей станции «Северный полюс» бурлило и перемещивалось, как в кипящем котле. Поэтому главное внимание всего нашего коллектива я обращал на подготовку к действию машины и всех механизмов корабля. Подняв пары и маневрируя среди размельченных ледяных полей, «Седов» мог бы успешно преодолеть стихийные сжатия и самостоятельно выйти на чистую воду.

За лето нам удалось привести машинное хозяйство корабля в состояние полной боевой готовности. Но для то-

го чтобы обеспечить нормальную работу машины в наиболее острый момент борьбы со льдами, надо было во что бы то ни стало сберечь к этому моменту возможно больше угля.

У нас оставалось 48 тонн каменного угля. Если бы мы расходовали уголь только на наши камельки, его бы нам хватило более, чем на год. Но ненасытные топки паровых котлов могли бы поглотить весь наш запас в какие-нибудь двое-трое суток. Следовательно, нам надо было беречь каждый кусок угля, чтобы в решающую минуту пожертвовать всем для успешного выхода на чистую воду.

Поэтому я с 10 сентября специальным приказом воспретил отопление камельков каменным углем,—было решено жечь в камельках некоторые деревянные части судна, не имеющие особой ценности. Баню я приказал топить лишь в строго определенные расписанием дни. В камбузе огонь разрешалось поддерживать только до окончания варки ужина, после чего кок обязан был немедленно гасить печь. Для вечернего чая воду кипятили в салоне на камельке.

Вскоре были найдены и дополнительные топливные ресурсы. В угольном трюме у стрингеров уголь был снят недостаточно тщательно. В пазах там и сям чернело драгоценное топливо. Мы вооружились скребками и начали терпеливо вычищать стрингера. Вначале это занятие некоторым казалось детской забавой. Но в конце-концов нам удалось таким способом извлечь довольно много угольной мелочи и обеспечить отопление наших камельков на два месяца. Тем самым были сохранены некоторые деревянные постройки корабля, которые мы обрекли на сжигание.

Мы знали, что навстречу нам будет выслан мощный ледакол. Но в Арктике надо считаться с любыми неожиданностями. Ледакол мог встретить непреодолимые льды в то время, как «Седов» где-нибудь поблизости уже мог находиться на чистой воде. Надо было планировать подготовку к выходу из льдов с таким расчетом, чтобы наш ко-

рабль был в состоянии хотя бы несколько дней вполне самостоятельно плавать на чистой воде.

Я хорошо запомнил урок «Малыгина», который после освобождения из льдов в 1938 году сел на камни. Он попал в довольно опасное положение еще и потому, что в нужный момент не мог откачать поступающую в судно воду: на нем не были заблаговременно проверены и очищены приемные решетки водоотливной системы. Учитывая этот опыт, мы заблаговременно, осенью 1939 года, как следует, очистили и проверили всю водоотливную систему «Седова». Двадцать дней пришлось затратить на эту утомительную черную работу.

На днище нашего корабля лежали сотни бочек со льдом и груды камня. Этот камень экспедиция, работавшая на «Седове» в 1937 году, везла для установки опознавательных береговых знаков. Чтобы добраться до приемных решеток водоотливной системы, мы перекатывали тяжелые бочки со льдом с места на место, перебрасывали груды камня, поднимали пойолы, вырубали лед, выгребали мусор, скопившийся в льялах<sup>1</sup>, прочищали и промывали сетки, забитые льдом, грязью, щепками, углем.

Зато подконец мы были уверены в том, что нам не придется иметь дело с такими сюрпризами, какие так подвели малыгинцев осенью 1938 года.

Зная злой характер Гренландского моря, где сжатия льдов происходят чаще, чем где бы то ни было, мы как следует подготовились к отражению атак дрейфующего льда на корабль: на лед были выгружены запасы аммонала, отремонтирован ледовый инвентарь.

Чтобы своевременно обнаружить наступление ледяных валов, я распорядился установить на ботдеке по левому борту прожектор. Кроме того, мы рас-

полагали прожектором, установленным на правом крыле мостика. Таким образом, в случае необходимости могла быть освещена почти вся поверхность льда вокруг судна.

Одновременно Шарыповым были изготовлены десять факелов с шарнирным устройством. Шесть таких факелов, заряженных смесью нефти, керосина и отработанного машинного масла и накрытых кусками парусины, предохраняющими от сырости, были установлены на палубе—по три с каждого борта, а остальные лежали в запасе. Каждый факел мог гореть без пополнения горючим в течение двух часов.

Аварийные запасы продовольствия и снаряжения были выгружены на лед примерно в том же объеме, что и миновавшей осенью. Учитывая опыт богатой подвижками зимы 1938—39 годов, я решил не раскидывать палаток, а лишь покрыть грузы брезентами, чтобы в случае экстренного аврала их было легче перетаскивать с места на место.

Продовольствием мы все еще были обеспечены сравнительно неплохо. У нас оставалось свыше тонны сливочного масла, 3 344 банки консервов—мясных, рыбных и овощных,—бочка засахаренных лимонов, больше 1 000 банок консервированного молока, сравнительно большое количество муки, риса, галет, чая, папирос. Несмотря на продолжительное хранение при резких переменах температуры, сгущенное молоко Сухонского завода, консервированная говядина ростовского завода «Смычка», яичный порошок воронежского завода имени Красина, свиные консервы симферопольского завода «Серп и молот», сливочное масло северного треста «Главмолокопром» и многие другие продукты, фабричной марки которых мы, к сожалению, не знаем, полностью сохранили свою питательность и вкусовые качества.

Только квашеная капуста плохо выдерживала превратность длительного дрейфа. Забраковал наш доктор и треску, издававшую не совсем приятный душок. Но наши поморы, недовольные этим решением, втихомолку пользовались

<sup>1</sup> Льяла — жолобы, идущие вдоль бортов у самого днища судна; в них скапливается вода, попадающая по каким-либо причинам внутрь корпуса. Отсюда через водопримные колоды, закрытые предохранительными сетками, она откачивается насосами. Доски, которыми покрыты льяла, называются пойолами.

запретным продуктом, пока разгневаный Соболевский не утопил в проруби остатки злополучной рыбы.

Как я уже упоминал, мы считались с возможностью выхода из льдов до восхода солнца: дрейф убыстрялся с каждой декадой. Но планировать расход продовольственных запасов на этот короткий срок мы не имели никакого права.

В нашем распоряжении был только один исторический пример — дрейф «Фрама». А «Фрам» находился во льдах почти три года.

И я, осторожности ради, решил рассчитывать расход запасов, ориентируясь исключительно на сроки «Фрама». После двухлетнего пребывания во льдах растянуть остатки продовольствия еще на год было трудновато. Но все же нам удалось выработать такие нормы, которые обеспечивали снабжение экипажа основными видами продовольствия до августа 1940 года включительно. До 1 марта мы располагали бы вполне нормальным пайком, а в дальнейшем из нашего рациона должны были выпасть сухие овощи, вермишель и макароны. Зато сливочного масла, мясных консервов, сгущенного молока, какао, чая, сахара, муки и других основных продуктов хватило бы с избытком до 1 сентября.

★

В разгаре приготовлений к третьей зимовке мы проникли дальше, чем когда бы то ни было, на север. Находясь в непосредственной близости от полюса, мы сделали целый ряд крайне ценных наблюдений. И на первое место среди них, бесспорно, следует поставить неожиданное открытие огромных океанических глубин, превышающих пять километров.

Глубоководные измерения мы, невзирая на четыре обрыва троса, проводили с методической точностью.

Астрономические координаты каждого промера определялись с большой тщательностью. Обычно во время измерений Виктор Буйницкий брал одну за другой три линии Сомнера, причем одну из них он брал в тот момент,

когда лот касался грунта. Поскольку же нам удалось сконструировать устройство, обеспечивающее точную регистрацию момента касания грунта, результаты наших определений глубины можно считать практически абсолютно точными.

Летом мы измеряли глубину приблизительно раз в декаду, стараясь производить промеры через каждые 20—25 миль пройденного пути. В дальнейшем я решил придерживаться этих же сроков в течение всего года и строго соблюдал их до конца дрейфа, — с каждым месяцем наши наблюдения приобретали все больший и больший интерес.

Уже летние измерения показали, что «Седов» дрейфует над глубинами, значительно превышающими четыре километра. В свое время экипажу «Фрама» удалось установить глубины Ледовитого океана лишь в пределах 3 830 метров. Когда же мы продвинулись в самые высокие широты, наши измерения показали еще более интересную картину:

Дата	Широта	Долгота	Г л у б и н а
28 августа	86°38',0	50°04'	4 087 метров.
31 августа	86°37',0	45°05'	Выпущено 4 662 метра троса, лот дна не достиг.
1 сентября	86°36',0	44°48'	4 949 метров.
10 сентября	86°26',7	39°27'	Выпущено 5 182 метра троса, лот дна не достиг.
11 сентября	86°23',5	38°50'	4 977 метров.

Эти цифры дают основание предполагать, что к северу от линии нашего дрейфа находится бассейн с глубинами, значительно превышающими 5 000 метров. Границы этого бассейна, видимо, простираются по ту сторону Северного полюса, к американским берегам. (Сам полюс, как показали измерения П. П. Ширшова, находится вне этого глубоководного бассейна, и глубина океана там меньше 5 километров.) Надо полагать, что глубина в 5 440 метров, отмеченная американским полярным исследователем Вилкинсом на северной широте 87°45' и западной долготе

175°, отнюдь не является самой большой в Северном Ледовитом океане. Как показали наши исследования, ложе его очень неровно. В некоторых случаях уклон дна превышал 6 градусов. Поэтому можно ожидать обнаружения в неисследованных до сих пор районах Арктики весьма глубоких океанических впадин...

★

В дни, когда «Седов» перекочевал в самые ближайшие окрестности полюса, на Большой Земле происходили серьезные политические события.

Все радиостанции Европы трубили о начале новой европейской войны.

Александр Александрович Полянский и Николай Бекасов внимательно записывали все передачи телеграмм ТАСС, которые самым оживленным образом обсуждались затем в кают-компании.

Как на беду, у нас на корабле не было карты Европы. Пришлось ее нарисовать по памяти. Координаты крупнейших городов нам были известны из книги шифров для метеограмм, и я нанес их на эту самодельную карту. Раскрасив ее акварельными красками, я разграничил государства. Карта получилась неказистая, но люди были рады и такой, она до известной степени помогала ориентироваться в сложной военной обстановке.

17 сентября с утра Александр Александрович Полянский, как обычно, вызывал радиостанцию мыса Челюскина, чтобы передать накопившуюся корреспонденцию. Связь долго не налаживалась. Когда же, наконец, ему удалось поймать волну, он с удивлением услышал неожиданный ответ:

— Подожди передавать! Сейчас будет говорить по радио Молотов. Слушайте...

Полянский выбежал из рубки, разсыпал меня и, волнуясь, сказал:

— Молотов... Сейчас будет по радио говорить...

Я поспешил в рубку, бросив на ходу распоряжение боцману:

— Собирайте сейчас же всех людей в кают-компанию...

Когда Полянский настроился на волну радиостанции имени Коминтерна, диктор уже заканчивал перечисление длинного списка станций, через которые транслировалась передача.

— У микрофона председатель Совета Народных Комиссаров СССР товарищ Вячеслав Михайлович Молотов,— сказал диктор и негромко добавил:

— Прошу вас...

Послышался легкий шелест, и знакомый уверенный голос произнес:

— Товарищи! Граждане и гражданки нашей великой страны!..

Мы внимательно слушали,—ведь это и к нам, гражданам самого северного населенного пункта СССР, обращал свой призыв глава советского правительства.

Мы не проронили ни одного слова. Но когда В. М. Молотов закончил свою короткую речь, нам захотелось прослушать ее еще и еще раз. Было до боли обидно, что в этот час мы не можем стать рядом с бойцами Красной армии, выступившими на защиту мира и спокойствия в Западной Украине и Западной Белоруссии.

Мы покинули радиорубку и прошли в кают-компанию. Здесь собрался уже весь экипаж. Некоторые не успели прийти к началу радиопередачи и теперь жадно расспрашивали, с чего начал свою речь товарищ Молотов.

Ночью Александр Александрович принял первую сводку об успешных операциях Красной армии. С этого часа мы с глубочайшим вниманием следили по своей маленькой самодельной карте за продвижением победоносных советских полков.

Как всегда в период больших событий, мы невольно забывали о своей оторванности от далекой родины, жили одними интересами с нею и сетовали только на то, что льды недостаточно быстро несут нас к родным берегам.

(Окончание следует.)

# Рассказы о деревьях

СЕРГЕЙ ЮРИН

★

**И**мя Пристлея навсегда останется в истории науки. Пристлея занимала мысль: как воздух, испорченный дыханием или горением, вновь сделать хорошим?

Это было еще до открытия кислорода, в 1772 году.

С каким, должно быть, волнением ученый восемнадцатого века — в камзоле, парике — устанавливал свой прибор: стеклянный колпак над водою, помещал туда свечу и следил за ее горением. Воздух портился — свеча потухала. Пристлей пускал под колпак мышшь—она задыхалась. Стоило, однако, оставить под тем же колпаком, кустик мяты, и свеча, вновь зажженная, продолжала гореть, и мышшь оставалась живою.

«Едва ли когда-либо в какой-либо области знания, — читал спустя сто лет на публичной лекции профессор Тимирязев, — более простой опыт сопровождался более колоссальным результатом. Одним разом определялись самые характеристические стороны жизни растений и животных и взаимное отношение двух царств природы...»

Много лет прошло со времени наблюдений Пристлея. Понадобились труды Майера, Гельмгольца и, наконец, самого Тимирязева, прежде чем узнали, что растение служит посредником между солнцем и всей жизнью на земле.

В жизни природы было разгадано важное явление: как, при помощи света

и зеленого вещества листа, углекислота и вода превращаются в крахмал, то есть — из неорганических веществ получается органическое.

Понадобились далее работы Мичурина и его последователей, советских ученых, чтобы ботаника поставила перед собой огромную задачу — «поднять на небывалую высоту плодородие растительного мира и использовать красоту и оздоровляющую силу зелени и цветов для великой культуры коммунизма»<sup>1</sup>.

...Кустик мяты Пристлея я вспоминаю каждый раз, когда смотрю на зеленое деревцо, американский клен, выросший у меня под окном.

Его перистые, легко колеблемые листья собраны в метелки на концах тонких ветвей. Осенью, пожелтев, они падают на белый подоконник.

Рядом строится большой новый дом. Окна моей комнаты выходят на склады с цементом. Тончайшая пыль носится вокруг, оседая на крыши и стены. Но клен не пускает ко мне ни пылинки. Он оберегает мои легкие, мой сон и заставляет меня вставать свежим, как будто я дышал из кислородной подушки...

★

Небывалые морозы прошлой зимы жестоко потрепали мой клен. И случилось так, что часть ветвей, свисавшая

<sup>1</sup> Б. Келлер.

над крышей, отмерла, а другая часть еще подавала признаки жизни.

Кругом все цвело, а клен стоял голым, и серая кора его, казалось, морщилась в болезненной виноватой улыбке.

Долго и трудно он накапливал соки. Наконец, хотя и одною половиной, распустился. Густые метелки молодых листьев закурчавились у него не только на ветвях, но и на стволе. Глухая подземная работа корней и лучезарный свет разбудили спящие почки. Дерево хотело жить. Нельзя было не радоваться, глядя на него. Каких ведь трудов стоило молодым росткам пробиться через толстую серую кору...

И вдруг я вижу чистенького старичка, который ходит в бывшем, без надобности разрешенном к вырубке саду, скоблит перочинным ножичком мой клен и делает отметки в своей записной книжке.

— Кто вы? — спросил я довольно резко.

— Регистратор погибающих деревьев, — ответил вежливо старичок.

— Но этот клен не погибает! — возразил я.

— Вы совершенно правы. Простите за грубоватое наше лесное выражение, но, как видите, клен-то от р ы г н у л, — и регистратор при этих словах засмеялся мелким, довольным старческим смешком.

— А яблони? — спросил я, показывая на остатки сада в редком розовом цвету.

— Их песня спета, — сурово проговорил регистратор. — Как они могут расти, когда почва утрамбована, рядом гасится известка и штамп почти на метр засыпали?

Я сообразил, что старичок — ученый лесовод — не сделает деревьям вреда. Мы разговорились.

— Осенью 1929—1930 года, — рассказывал мне лесовод, — в Москве посадили четыреста тридцать тысяч молодых деревьев, да разных кустарников больше миллиона. Через два года много деревьев погибло. Вы спрашиваете, какие причины?

Во-первых, поломки, сдирание коры и этот idiotский обычай вырезывать свои имена на память миру и потомству. Находились даже такие любители, что просто вырывали дерево с корнем...

Во-вторых, несоблюдение биологических условий при посадке. Светолюбивые деревья сажались в тень, любящие песок — на тучную почву... Квалифицированных, любящих дело людей не было. А надо вам сказать, что дерево, особенно в городских условиях, оно — как дитя: за ним уход нужен. Посадили взрослые деревья у Мавзолея, ухаживают — они и растут. И прекрасно растут. То же на заводах «Калибр», «Фрезер», на Выставке, на Кремлевской набережной...

— Кто же ведает охраной деревьев и вообще зеленым строительством? — спросил я.

— Тут... многие ведают. Вот в отделе городских земель есть зеленая группа: на двадцать три района два специалиста. Смешно, не правда ли? В коммунальных конторах по одному-два человека сидят, да и те больше занимаются газончиками, цветочками... не энтузиасты, опыта мало имеют. Тридцать тысяч деревьев в Сокольниках подлежали вырубке, сорок процентов в столице здоровых деревьев осталось... Кажется, всем известно, что парки, скверы — это для городов те же легкие. Зеленые легкие у городов — здоровые легкие у людей. А последите в воскресный день, как относится публика к паркам. Прошлым летом, во время цветения липы, остановил я двух девушек. «Ну, зачем, — говорю, — вы столько наломали? Ведь все равно выбросите». «А вам какое дело?» — отвечают. Отчего блещут наши южные города, отчего в Сочи нет пыли? Да оттого, что они буквально утопают, не в пример столице, в зелени. А ведь есть у нас и Лесо-Парковый отдел, и Трест зеленого строительства, и специальное управление при МОЗО, и Наркомхоз, и Управление культурно-просветительными мероприятиями — все московскую зелень опекают. Вот уж, действительно, у семи нянек дитя без глазу... В парках, кроме зяблика, ни одной птички не услышите,



ни славки, ни скворца, ни синицы — этих главных помощников наших в борьбе с зелеными вредителями. Да и зяблик-то уцелел потому только, что гнездится высоко...

— Это все отрицательные факты, — прервал я собеседника. А что бы вы, как опытный и любящий свое дело советский человек, предложили?..

Старичок неожиданно кротко сказал:

— Выполнить директивы партии и правительства по озеленению Москвы. Объединить в одних руках руководство озеленением... И, конечно, привлечь общественность... Без общественности, откровенно говоря, мы — нуль.

★

Деревья, поглощая днем из воздуха углекислоту, дают взамен кислород, который так нужен для нашей крови, для нашего дыхания.

Листья, испаряя очень много воды, увлажняют воздух. Растения помогают в борьбе с пылью, ветром и шумом.

Высчитано, что если земля покрыта растительностью на 15 проц., то пылящая площадь уменьшается на 20 проц., при 35 проц. — на 50 проц., при 65 проц. — на 95 проц.

Есть, далее, довольно мрачная статистика, которая показывает прямую зависимость количества смертей от степени озелененности населенных мест. Есть города, которые существованием своим обязаны зелени.

Надо подгадать, что большинство москвичей любит свои зеленые парки и сады. Но и жалобы «регистратора» были, без сомнения, не беспочвенны.

У нас встречаются люди, которым еще чуждо «чувство природы» и забота об охране ее.

У пожилых, наверно, имеют здесь значение остатки старого взгляда на парки и леса, которые раньше не были доступны трудящимся, находились за семью печатями частных собственников-владельцев.

У молодежи — недостаток воспитания. Та же причина порождает и хулиганство. Подросток, злостно вредящий деревьям, — это и есть хулиган. Дей-

ствия его продиктованы бессмысленным озорством.

Только незнанием громадной пользы птиц объясняется и такой «спорт», распространенный среди мальчишек, как стрельба из рогаток.

Наша обыкновенная синица-московка, славки, грачи истребляют неисчислимое количество вредных насекомых. Как неприятно есть червивое, пораженное плодовой яблочкой яблоко! Убыток, причиняемый яблоневым садам плодовой яблочкой, исчисляется сотнями миллионов рублей. Главные враги плодовой яблочкой — птицы.

Розовые скворцы специально натренировались на уничтожении саранчи. Наши серые скворцы не менее воинственны. Соединяясь в целые армии, они дают организованные сражения гусеницам, нападающим на леса, — и неизменно выходят победителями.

Если рассказать обо всем этом школьникам, — поднимутся ли у них руки на скворца?

Школа может — и должна — сделать очень многое для воспитания «чувства природы» у наших ребят.

★

...Первый двор не внушает надежд: он каменный и голый. Иду во второй — и словно крымский вид с обрыва открывается передо мной. Это, конечно, сильно сказано — крымский вид. При более близком знакомстве — как будто ничего особенного...

Во-первых, — картошка, довольно-таки жалкая, хотя и окученная.

Во-вторых, в-третьих и в-четвертых — обыкновенная трава, подстриженная без особых затей. Намечаются и еще какие-то плантации...

Да, думаю, тут есть что изучать! Ты меня не обманешь, картошка! И ты тоже, простая трава! Я отлично знаю, кто вы такие. Вы, может быть, и не картошка вовсе, и не трава, а заколдованные красавицы. А если так, то мало ли и кругом вас, в замке Черномора (на Большой Якиманке, 40) всяческих чудес?

И вот потихоньку начинаю спрашивать у сидящих на скамейках старушек: кто все эти чудеса выращивает?

— Да так, — говорят, — сажал кто-то...

Вдруг, как из-под земли, появляется тонюсенькая большеглазая девочка и выпаливает:

— Мы сажали!

— А! — говорю я с изумлением. — Очень и очень рад. Значит, есть у вас кружок?

— Да, есть.

— И Любовь Васильевна Шишкова руководительницей?

— Только она сейчас ушла... А я староста кружка, Наташа Князева.

По тону ее слов можно было понять: «Если вы друг и интересуетесь нашим делом, то я все могу вам показать и объяснить».

Экскурсоводом она, и правда, оказалась замечательным. В миг все тайны Черномора были раскрыты, и каждая вещь получила свой настоящий вид и смысл.

Оказалось, что с 1937 года под руководством педагога-ботаника 638-й школы Москвы Л. В. Шишковой юное население этих довольно унылых корпусов занято зеленым строительством. Занято не просто как забавой, любованием цветочками и травками, а действительно, смело, экспериментаторски.

Оказалось, что картошка и впрямь не простая, а из картофельных очисток.

Инициатива ребят была пробуждена именно в поисках творчества нового как бы из ничего — из пустых и бросовых вещей. Открытие нового, осознание ребенком своего «я», как творческого «я», было положено в основу замечательного педагогического опыта Любови Васильевны Шишковой.

Отсюда и получилось, что, найдя какой-то компост и в нем полусгнившие яблочные огрызки, ребята сейчас же ухватились за семечки, посеяли их, и теперь могут наблюдать ряды крошечных сеянцев яблонь, растущих под окнами.

На своем прежде скучном дворе они вот уже который год сажают тыкву — она быстро и пышно растет — и прививают на ней дыни. Также опытничают и с помидорами, луком-самосевом, клубникой... Дотошливая Наташа-староста, на удивление жильцам, подобрала на аг-

робазе выброшенные боковые побеги томатов и доказала, что из них можно получить зрелые плоды.

— Вот мы посадили три больших ясеня. А это — земляная груша... голубая лобелия... цинния... горицвет...

Дети — настоящие друзья зеленых насаждений. Они — экспоненты Всесоюзной сельскохозяйственной выставки по заслугам. Настоящее, в золоте и красках, свидетельство выдано юным цветоводам. В свидетельстве сказано, что они увлекли своей работой ребят нескольких соседних домов.

Наклоняясь над цветущими грядками вместе с Наташей, я думал о знакомом регистраторе и словах его: «Без общест-венности мы — нуль».

Вот она — самая настоящая общественность. Нужно очень немного, чтобы ее поддержать. Нужны очень небольшие средства; но юному коллективу приходится пока добывать их героическими усилиями.

И это такому коллективу, который отмечен высокой честью участия на ВСХВ, которым могли бы гордиться не только домоуправление, но и местный райсовет.

...В закоулке соседнего дома 38 — газон. Он зеленеет. Дорожки расчищены, усыпаны песком. Есть вьющиеся растения.

На заборе надписи (как на метро): «Вход», «Выход»; расписание дежурств и список отличников озеленения.

Восемь отличников в трусиках следят, какое впечатление производит грозный плакат в полметра вышиной:

*«По газонам не ходить. Штраф 5 рублей».*

В глазах ребят сияет гордость: «Вот как у нас, какой порядок. Попробуйте его не выполнять!»

★

Общественное движение за украшение жилищ и рабочих мест зеленью и цветами у нас довольно велико. Оно могло появиться только благодаря социалистической культурной революции в нашей стране.

Любовь к зелени, к цветам — явление массовое. Но только в одном небольшом уголке сделана попытка показать это. Этот уголок — стеклянная ротонда в Павильоне юных натуралистов на Сельскохозяйственной выставке в Москве.

Фонтан, бассейн: дно его напоминает морское. Морская зеленоватая вода. Фарфоровые утята, синеглазые лягушки — все это рассчитано на ребят, хотя экспонаты могут заинтересовать и взрослых.

Экспонаты очень тесно — так, что иногда негде повесить этикетку, — цветут вокруг фонтана.

В темном углу небольшой аквариум со странным решетчатым растением. Оно так и называется: увирандра решетчатая из Мадагаскара. Увирандру и другие растения для водоемов разводят юннаты Нового Петергофа.

Железнодорожники Пачелмы, Пензенской области, украшают свою станцию и путевые будки геранями и розами. Ведь это очень важно для железнодорожников — зелень! Цветы на станциях, у депо — не забава, а жизненная необходимость.

А вот заполярный Мурманск... Выставка мне особенно нравится тем, что во ней путешествуешь, как по всей Советской стране, ощущая ее дыхание, видя ее малые и большие дела, неизменно отмеченные духом свободы и творческого изобретательства...

Юннаты школы № 2 города Мурманска, руководимые биологом З. Э. Шангиной, вырастили апельсинны и финиковые пальмы. За один год они озеленили сто девять квартир.

Так меняются наши представления о мире. Не только Сахара, но и Мурманск создан для финиковой пальмы. Что же удивительного? Самый длинный в мире день освещает эти пальмы, а в ночь, тоже не короткую, горят вольтовые дуги сильных ламп.

Обширное цитрусовое хозяйство в городе Павлове на Оке ежегодно распространяет тридцать пять тысяч лимонных и апельсиновых деревьев, которые плодоносят в комнатах. Павловцы из-

вестны всесоюзно. У них тысячи подражателей.

★

К сожалению, широкой популяризации всех этих замечательных опытов у нас нет. Слух о них идет подобно «длинному уху» в азиатских степях — изустной передачей.

— Неопытные любители, — говорил мне один садовод, — выставляют примулу на солнцепек, и примула тут же вянет. Особенно не умеют обращаться с примулой в столовых и ресторанах... Если правильно ухаживать за примулой, держать ее в чистоте, ежедневно поливать, обрезать отцветшие стрелки и пожелтевшие листья, то она может расти и цвести несколько лет. А в ресторанах примулу, засохшую без поливки, увядшую на солнце, стесненную рогожкой и лентами, выбрасывают через две недели. Если подсчитать число нарпитовских столиков, которые обычно украшаются примулами и гортензиями, то легко сообразить, что государству наносятся миллионные убытки... — так говорил мой знакомый, старый садовод.

На московских рынках в этом году нехватало цветочной рассады: за ней стояли очереди. На нашем юге, даже в самых маленьких городках, есть цветочные ряды, базары роз, которым могла бы позавидовать столица. Некоторые подмосковные колхозы, занимающиеся теплицами и оранжереями, стали миллионерами. Совхоз «Южные культуры» в Адлере еле справляется с заказами столиц и санаторий.

...Это наука и искусство — устроить тенистый уголок со скамьей для отдыха, посадить цветущую сибирскую яблоню на поляне, плакучие ивы на берегу пруда, увить открытую веранду глицинией или виноградом.

Новые набережные Москвы стократно выиграют от тенистых аллей: соседство зелени, а не голого камня любит вода.

Зеленые облака дерёв, многоцветные клумбы должны преобразить площади реконструированной Москвы.

Все это значительно украсит жизнь советского человека, украсит страну, от-

тенил то новое, что создано в ней за годы сталинских пятилеток.

Своих героев мы забрасываем цветами. Цветы мы дарим своим вождям и стахановцам.

Цветами, выражая свою радость, счастье, встречают Красную армию освобожденные народы.

★

Ни один геометр, ни один математик не мог бы так точно, искусно и целесообразно расположить листья, как это делает само растение.

Простейший пример — комнатное многолистное растение на окне. Посмотрите на него с улицы. Вы увидите, что листья расположены правильно, как орнамент. Каждый лист в наибольшей степени пользуется светом и в наименьшей — мешает другому.

Более сложную картину наблюдатель увидит в нетронутой опушке леса, особенно, если в этом лесу растут деревья разнообразных пород. Вы увидите высшую экономию и целесообразность и, как следствие этих условий, — высшую красоту.

Свой орнамент у клена, свой — у липы, свой — у орешника. И все подчинено одному целому, одной равнодействующей, направленной к солнцу.

Хороша деталь растения; прекрасно целое; но прекраснее всего — картина растительных сообществ, лесных ярусов, которые, как гигантские ступени, покрывают холмы.

В детстве деревья представлялись мне молчаливыми одноногими великанами, вкопанными в землю. Ветер хочет помочь им освободиться из плена. Как рвутся и трепещут листья, как гудят и ходят волнами зеленые вершины!

Великаны обретают голос. Они жалуются, стонут, громовые удары раздаются в темной чаще... Так я любил бурю в лесу. Леса перестали быть молчаливыми. Я узнал их рокоты, их песни, и даже в молчании их мне чудилось торжественное адажио.

Человек с неиспорченным вкусом не может не любить природу. Любовь к природе ученого и поэта, ботаника и

крестьянина имеет свои глубокие основания.

«Среди трав я не чувствую себя несчастным» — говорил Руссо.

«Кто ничего не чувствует, — писал Фридрих Энгельс, — перед лицом природы, когда она разворачивает перед нами все свое величие, когда дремлющая в ней идея, если не просыпается, то как будто погружена в золотые грезы, и кто способен лишь на такое восклицание: «как ты прекрасна, природа!» — тот не в праве считать себя выше серой и плоской толпы. У более глубоких натур при этом всплывают наружу личные недуги и страдания, но лишь с тем, чтобы раствориться в окружающем величии и обрести благостное разрешение»<sup>1</sup>.

★

О воспитании «чувства природы» писал и Тимирязев. Он упрекал москвичей в том, что они не знают о «кунцевском дубе»:

«Мы знаем по именам знаменитые дубы и буки Фонтенебло, но, я уверен, найдется немало москвичей, не видавших кунцевского дуба... Его могучий ствол, почти в четыре обхвата толщиной, поднимается со дна глубокого оврага, а вершина расстилается над макушками столпившихся по обрыву лип и осин.

Таковы размеры, каких может достигнуть стебель, исполняя свое назначение, — нести шатер листьев, эту громадную зеленую поверхность, предназначенную для улавливания солнечных лучей»<sup>2</sup>.

Образ кунцевского дуба с его стремлением из глубокого оврага к свету казался мне символическим. Ведь Тимирязев писал о нем в «года глухие» — примерно в 1877 году.

Цел ли дуб?

Книгу Тимирязева в потертом переплете я храню со школьной скамьи. Печальную истину о дубе я подозревал, но мне не хотелось обращаться к более

<sup>1</sup> К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. II, стр. 92.

<sup>2</sup> К. А. Тимирязев. Жизнь растений. 8-е издание.

новому, комментированному изданию. Независимо от дуба просто хотелось побродить по тимиразевским местам, вспоминая о замечательном ученом и человеке.

Также мне, — да думаю, и каждому, — хотелось бы побывать в Михайловском и Тригорском, на берегах Сороти.

Там, говорят, цел «дуб уединенный», и пушкинские липовые аллеи и «дубы-часы»... Как стары должны быть липы, свидетельницы романа Онегина!

Память о великом поэте и все, связанное с нею, для народа драгоценно. Такою же драгоценностью, думал я, должен быть и знаменитый кунцевский дуб.

Я отправился на речном трамвае от пристани Киевского вокзала вверх по Москве-реке. Пыль, гарь, запахи полей орошения еще долго преследовали пассажиров. Миновав Девятый шлюз, увидели мы прибрежные роши.

Воздух и земля внезапно изменились. Они стали ярче. Солнечный блеск лился вокруг. Загорелые тела плескались в воде. Мимо, на утлой скорлупке, но вздымая мощный бурун, пронеслась краснокожая яхтсменка. Какое пристальное напряжение в ее позе, как вольно развеваются волосы над открытым лбом!

Это москвичи, но словно бы и другие люди, не похожие на тех, которые встречались на московских улицах. Волшебную перемену в климате света и воды, в легком дыхании вашем и в детски беспричинном смехе сделали только вековые дубы, вязы и липы Кунцевского парка.

Гигантские липы растут тесно. Дубы свесились над водой. Тысячи человек приезжают сюда по воскресным дням.

Кусочек парка огорожен. Там курчавый подлесок, щебетание птиц. Может быть, там, в тени оврага, дремлет дуб-любимец Тимиразева? Обхожу — нет ничего похожего. Зато я вижу одиннадцатую пней дубов, недавно спиленных, на самом берегу реки.

Я пересчитал кольца на одном из пней: сто десять колец. Это был дуб в полтора обхвата.

В конторе парка я познакомился с молодым лесничим. Он ничего не знал о кунцевском дубе и сожалел, что у него нет книги «Жизнь растений», где он мог бы посмотреть фотографию исторического дуба.

Триста гектаров столетних деревьев зеленеют рядом с Москвой. Часть из них входит в Киевский район столицы.

Сейчас будни и утро, но народу здесь уже не менее двадцати пяти тысяч. Черноволосый лесник подносит к балкону охапки ветвей.

— Отня! — кричит он, еще красный от возбуждения. — Ну, что ты с ними будешь делать? Ничего не помогает. Хоть целый день гоняйся...

В парке — милицкий пункт. Но помогает он лесной охране слабо...

Кроме вытаптывания и выламывания, парк страдает от оползней крутого берега реки. Никакой борьбы с оползнями не ведется.

Где же все-таки тимиразевский дуб? Лесники живо заинтересованы. Они знают про Тимиразева. Памятник ему стоит у Никитских ворот. О нем пишут в газетах. «Так здесь, в Кунцеве, работал Тимиразев?» Парк приобретает для них новую ценность.

— Мы найдем если не этот дуб, то хотя бы остатки его, — говорит лесничий.

— В прошлом году, — вмешивается лесник, — спилили один похожий. Три дня пилили. Не он ли?

Мы идем осматривать пень. Пень четырехобхватный. Но дуб рос на ровном месте, наверху, — значит, не тот.

Десять тысяч рублей затратили в Кунцевском парке на аэрацию — рыхление почвы. Подсаживают кустарники, работают над сменой древесных пород. Но все это — недостаточные меры.

Надо решительно усилить охрану, решительнее бороться с расхитителями зеленого богатства страны. Порча дерева в подмосковном парке — уголовное преступление.

И с оползнями надо бороться не путем заседания многочисленных комиссий, а с лопатой и киркою в руках.

...Вернувшись домой, я пошел в библиотеку и просмотрел новейшее много-

томное собрание сочинений Тимирязева, изданное по постановлению Совета Народных Комиссаров Союза ССР.

В одном из примечаний о кунцевском дубе я прочитал, что его давно нет на свете: он сожжен молнией.

Я думаю все же, что поиски мои были бесполезны, если мне удалось пробудить у работников парка интерес к имени ученого, котдрое так тесно связано с Кунцевским парком.

★

В дни, когда я заканчивал эти очерки, исполнительный комитет Московского городского совета трудящихся вынес строгое постановление об ответственности за нарушение общественного порядка и правил благоустройства столицы. За порчу зеленых насаждений налагается такой же штраф, как и за хулиганство. И это совершенно правильно.

В деле сохранения и дальнейшего расширения зеленой зоны наметился некоторый перелом. Решено оставить прежде намеченные к сносу Тверской и Никитский бульвары. Начали огораживать парки в Покровском-Стрешневе и Кузьминках. Увеличено в наиболее ценных парках число сторожей.

Но это — только начало большой работы, которая рано или поздно должна быть развернута в полной мере, с полным учетом эстетики, бальнеологии и хозяйственного значения зеленой природы.

Партия, правительство и лично товарищ Сталин не раз указывали на важность этой проблемы<sup>1</sup>. Мы имеем, наконец, определенное общественное движение за развитие зеленых насаждений. Отпускались и средства, созывались совещания — и все же дело озеленения в Союзе идет медленно, плохо, причем страдают даже новые насаждения (например, по каналу Москва — Волга).

Причины этого явления следует искать и в новизне самого дела, и в бесхозяйственности, и в том, что проблема не берется в целом, важность ее многими

<sup>1</sup> Известны, в частности, прекрасные страницы в книге тов. А. Белякова «Из Москвы в Америку через Северный полюс», характеризующие отношение товарища Сталина к растениям.

не осознана, мероприятия заинтересованных организаций не кооперированы, единого плана работы нет. Сильно отстает в этом деле также научная, техническая и материальная базы.

★

Лесо-парковое искусство имеет свои давние традиции. Расцвет его можно отнести к XVIII веку: сады Версаля, Марли, Фонтенебло и десятки «парадизов» коронованных подражателей Людовика XIV во всех странах Европы.

Великолепные парки в Ленинграде и вокруг него: Летний сад, украшенный зодчеством Фельтена и Росси, Елагин остров (образец пейзажного стиля в духе Гонзаго, созданный знаменитым садоводом Бушем), фонтаны Петергофа, Детское Село, — все это наследство, доставшееся трудящимся от той эпохи.

Архитектор XVIII века, создавая свои проекты дворцов, одновременно планировал парки, текучие воды, сады.

«Сей дом обнес я каналами как для способности лучше проезжать к нему водою, так и чтоб дать ему течением воды живность и открытый вид итальянских строений» — пишет гениальный русский зодчий Баженов в своей объяснительной записке к проекту Екатерингофского дворца и парка в 1765 году.

Традиции дворца-усадыбы с регулярным парком, фонтанами, скульптурой и беседками, перенесенные в Москву, дали такие ансамбли, как Архангельское, Кузьминки, Останкино, Марфино, Кусково, Царицыно... Многие из этих ансамблей, созданных мастерами культуры из народа (нередко вопреки вкусам богатых, но невежественных заказчиков), представляют собою художественные ценности мирового значения.

Дворянство и буржуазия старой России отлично сознавали значение этих ценностей, насаждали их, пользовались ими, в то же время закрывая доступ к ним для народа.

...Переносясь к нашим дням, я вспоминаю прекрасный почин инженера Винтера — строителя Днепрогэса. Он начал строительство с парка. И когда поднялись многоэтажные

дома социалистического города, и мощные турбины взбудрили днепровскую воду, парк уже зеленел. В день открытия строители гуляли по аллеям и распевали песни, тут же сложенные, и о новом городе, и о парке, и о Днепрогэсе...

Показательно, что феодальные традиции в «охране природы», если так можно назвать строительство дворцово-усадеб и охотничьих парков, удержались у господствующих классов вплоть до XX века. Никакой другой заботы сохранить в целостности те или иные куски природы не было. Природа подвергается безудержной, хищнической эксплуатации, причем, как пишет Энгельс, «принимается в расчет главным образом только первый, наиболее очевидный результат»<sup>1</sup>. С горечью и негодованием Энгельс восклицает: «Какое было дело испанским плантаторам на Кубе, выжигавшим леса на склонах гор и получавшим в золе от пожара удобрение, которого хватало на одно поколение очень доходных кофейных деревьев, — какое им было дело до того, что тропические ливни потом смывали беззащитный верхний слой почвы, оставляя после себя обнаженные скалы!»<sup>2</sup>

То, о чем писал Энгельс, происходило десятки лет назад, но то же происходит в колониях капитализма и теперь.

Обычно представляют себе, например, Мадагаскар, как жемчужину тропиков, как сказочное великолепие зелени и воды.

Это не совсем так. В одном французском журнале<sup>3</sup> опубликован ряд материалов, характеризующих современное состояние растительности Мадагаскара.

Степи и голые пространства занимают теперь на Мадагаскаре пять шестых, а леса — только одну шестую часть территории острова.

<sup>1</sup> Ф. Энгельс. Роль труда в процессе превращения обезьяны в человека. М. 1939, стр. 19.

<sup>2</sup> Там же.

<sup>3</sup> «Revue des Eaux et Forêts» за 1930 — 1932 гг.

Случилось это потому, что плантаторы выжигали леса для посевов риса и других культур, не обратив внимания на то, что выжженные леса на Мадагаскаре естественным путем не возобновляются. Солнце убивает семена на оголенной земле. Земля превращается в твердый красный кирпич, на котором уже ничего не растет.

Мысль о сохранении, заповедании известной части девственной природы впервые появилась у американского траппера Культера, когда он в 1805 году открыл «чудесную страну льда и огня, воды и кипящей смолы, клубящегося дыма, — страну, которую избегали краснокожие, ибо они верили, что там живет злой дух».

Эта страна гейзеров и горячих источников и была знаменитым Йеллоустоном (Yellowstone) в штате Уйминг, которую, после ряда обследований и долгих колебаний, конгресс Соединенных Штатов превратил в 1872 году в «общественный парк или сад для развлечения и наслаждения нации».

Первый в мире «национальный парк» занял площадь в 700 тысяч гектаров.

Пример Соединенных Штатов был подхвачен странами Европы. С начала нашего века десятками начинают организовываться заповедники и даже тресты «интересных исторических мест и красот природы».

По существу они остались теми же охотничьими парками, строго охраняемыми и предназначенными для немногих. Организация заповедников за рубежом нередко отражала в себе противоречия, с нашей точки зрения довольно курьезные, но неизбежные для капиталистических стран. Так, интернациональный заповедник в Татрах был обязан своим существованием тому, что бывшие Польша и Чехословакия никак не могли поделить между собой эту спорную область.

★

Заповедников много в нашей стране. Большинство их организовано после Великой Октябрьской революции. Значение заповедников велико. В них человек

наиболее полно может удовлетворить свой естественный интерес к жизни природы. Такие науки, как зоология, ботаника, геология и ряд других, находят для себя в заповедниках самый благодарный материал. Громадно значение некоторых заповедников для промышленности (птичий заповедник «Семь островов» в Баренцовом море, рыболовный заповедник в Астрахани и т. д.) В отличие от заповедников капиталистических стран, наши заповедники полностью поставлены на службу науке и социалистическому хозяйству.

Наиболее известный из наших заповедников — Кавказский, занимающий площадь в 350 000 гектаров. По богатству и разнообразию ландшафтов, флоры и фауны этот заповедник имеет мировое значение. Есть у нас и заповедники-гиганты: Алтайский, Печорско-Ильчский, Сихотэ-Алиньский — все площадью по одному миллиону гектаров.

Но наши замечательные заповедники еще очень молоды, у них — все впереди. За немногими исключениями, они еще мало популярны, дороги к ним трудны, и потоки туристов не знакомы им.

Тема о наших заповедниках — тема отдельная, и не одной, а многих увлекательных книг...

Мне осталось коснуться, хотя и в небольших пределах, еще одной темы, непосредственно связанной с этими очерками, — темы о наших лесах.

★

25 июня 1940 года в коридоре Главлесохраны<sup>1</sup> висела стенная газета, в передовой которой говорилось о химических противопожарных средствах и авиабомбах и о том, что план по борьбе с лесными пожарами сорван.

Из двух только цифр сразу видно значение Главлесохраны: семь процентов лесов, ею охраняемых, дают сорок пять процентов всей древесины, потребной народному хозяйству.

<sup>1</sup> Главное управление лесоохраны и лесонасаждений при СНК СССР.

Что же представляют собой эти семь процентов? Это — семьдесят миллионов гектаров лесов водоохранной зоны, покрывающих собой середину Европейской части СССР.

Лесное море становится особенно безбрежным на севере — Молотовская, Кировская области, Удмуртия... Там есть лесхозы, занимающие площади свыше миллиона гектаров.

Опыт показал, что именно на малолюдном севере свирепствуют самые опустошительные лесные пожары. В 1938 году выгорело более миллиона гектаров.

Пожары продолжались недели. Лавина огня неслась со скоростью тридцати километров в час. К горящим лесам нельзя было приблизиться на километр. Огонь угрожал Ижевску. В Афанасьевском лесхозе он перебрасывался через пойму Камы, вековые сосны трещали и корчились, как соломинки. Не обошлось и без жертв (людьми, постройкими), — погибло все, что было захвачено огненным кольцом.

Размер убытков, считая стоимость деревьев на корню, готовой продукции и расходов по тушению, был определен в сто три миллиона рублей. И страшно подумать, что все это сделала только одна спичка во вражеских или преступно неосторожных руках...

Огненный смерч, прокатившийся над водоохранными лесами в 1938 году заставил крепко задуматься. В следующем 1939 году убытки от пожаров в системе Главлесохраны составили «только» восемь миллионов двести тысяч рублей. Но от этого «только» каждый любящий свою родину советский человек не может не испытывать чувства беспокойства и тревоги. Достаточно ли охраняется наше зеленое море, красота и богатство нашей страны?

Мы, жители лесов, все еще мало знаем и ценим наши леса.

Лес — это прежде всего великое разнообразие. Это не только всем известные хмурые еловые и золотые сосновые боры. У нас есть леса, которые нужно беречь, как сады. Кедром у нас покрыто двадцать пять миллионов гектаров. Гречким орехом — больше ста



тысяч гектаров. Фисташковыми и миндальными деревьями только в Таджикистане — двести тысяч гектаров. Есть леса дикорастущих яблонь, груш... Есть у нас немало и железного дерева — самшита, и красного дерева — тисса, и бархатного дерева, и амурской акации, у которой древесина темношоколадного цвета с золотистым блеском. Ее текстуру — рисунок — можно рассматривать, как драгоценный камень. Предусмотрена ли амурская акация для украшения Дворца Советов?

Томы посвящены описаниям флористических богатств Советского Союза, но и они далеко не полны.

Вся природа нашего северо-востока — бассейны дальневосточных морей — может быть, определяется даурской лиственницей, растущей на вечной мерзлоте.

Дом и самолет, суда и вагоны, мебель и шпалы, рудничная стойка и фанера, шлюзы и музыкальные инструменты — это неполный круг применения сосны, лиственницы и ели.

А если говорить о древесине вообще, то здесь надо вспомнить добрый десяток промышленных отраслей. Чего только нельзя делать из древесины: бумагу и вязкозный шелк, искусственные меха и целлюлоид, ружейные ложа, легкие ткани, лак, камфору, спирт, эфирные масла, дубители... Этот список можно продолжить. Лесохимия — особенно лесохимия будущего — делает его бесконечным.

Леса шумят на горных склонах, спасая их от обвалов, никнут над берегами рек, сохраняя воду, окружают наши поля, принося им урожай, борются с пустынями, задерживая пески.

Лесную богатую шубу накинул на свои широкие плечи Советский Союз — и стоит в ней от океана до океана, — не страшны ему арктические холода и льды.

Лес и оборона... Я ограничусь лишь немногими напоминаниями.

В первую империалистическую войну французы только потому не могли обнаружить немецкое дальнобойное оружие, обстреливавшее Париж, что оно было искусно замаскировано в лесу.

Искони леса служили русскому на-

роду в его борьбе с врагами. Леса задерживали полчища Батыя.

У кого на всю жизнь не осталось впечатления о лесах в партизанских сценах «Войны и мира» — эти утра в лесу, в котором пробираются партизаны, выслеживая отступающих французов.

Памятны леса и нашим героям в недавних боях с белофиннами. Враг ловко использовал леса. И только привычка к лесу и еще большая ловкость наших красноармейцев преодолевали коварные вражеские засады.

Наконец, лес — это целлюлоза, это материал для тех «орехов», которыми мы угостим непрошенных гостей.

СССР располагает одной третью ю всех лесов, растущих на земле, и половиною наиболее деловых — хвойных лесов.

По размерам лесного экспорта наша страна занимает первое место в мире. И такая ценность выгорает у нас ежегодно — в среднем — на площади в миллион гектаров (десять тысяч лесных пожаров в год). Шесть миллионов человеко-дней затратили колхозники на тушение лесных пожаров в разгар сельскохозяйственных работ в 1938 — 1939 годах.

★

Главным средством в борьбе с лесными пожарами служит профилактика.

Во главе лесничества стоит лесничий, который ведает охраной леса. Лесничий получает деньги на устройство просек, защитных минерализованных полос, дорог и на ликвидацию захламенности.

Захламленность — это неубранные остатки порубок, ветровал и бурелом. Захламленные места служат рассадниками всяких лесных болезней. Однако можно указать сотни гектаров захламленных лесов в непосредственной близости от Москвы.

На противопожарные мероприятия в 1939 году Главлесохраной было отпущено тринадцать миллионов рублей, но и эти средства не были освоены.

Это особенно касается северных областей. Там не хватает рабочей силы.

Лесная противопожарная техника тре-

бует квалифицированных рабочих. На охране леса используется авиация, химия, автоцистерны, мотопомпы и другие сложные механизмы.

Но ни в одном учебном заведении у нас нет не только соответствующих факультетов, кафедр, — не преподается даже и специальной дисциплины по охране леса.

Студент кончает институт, техникум, становится командиром лесного производства, но современной техники охраны леса он не знает. Инспекторами по лесной охране большей частью работают не специалисты.

Оплата их труда не упорядочена. Инспектор охраны в лесхозе получает от трехсот до четырехсот рублей. Специалист по лесокультурам или лесному хозяйству в том же лесхозе — до пятисот рублей. Понятно, что выпускники лесных вузов идут на выше оплачиваемые должности.

Между тем работа по охране лесов должна привлекать молодые кадры. Не ошибемся, если скажем, что она будет по душе советской молодежи. В лесах работают авиаотряды, парашютисты. Самолеты несут патрульную службу. Крылатые разведчики вылетают по определенным маршрутам и кружатся над безбрежным зеленым ковром. Заметив начинающийся лесной пожар, они спешат к ближайшему населенному пункту и сбрасывают вымпел. Корректируют тушение крупных пожаров, доставляют продукты питания, инвентарь.

На место пожара высаживается парашютная команда или отдельные парашютисты. За спинами у парашютистов прорезиненные баллоны с химикалиями. Парашютисты мобилизуют население на борьбу с пожаром.

Очень важную роль в противопожарной технике, особенно в северных глухих местах, играет радио.

Рации на самолетах — рации в лесу. Это переносные ранцевые рации. Во-

просы связи в охране лесов имеют громадное значение.

Наряду с перечисленной сложной техникой очень важны и такие простые меры, как «курилки в лесу».

Дальняя лесная дорога, сосны, песок. И вдруг вывеска: «Место отдыха». Одна-две скамейки. Бочка с водой для окурков, плакат: «Из одного дерева можно сделать миллион спичек; одной спичкой можно сжечь миллион деревьев».

Большую помощь могут и должны оказать лесной охране агитаторы, пропагандисты, писатели и художники, работники радио и кино, деревенские театры.

Агитационно-пропагандистская работа по охране лесов совершенно недостаточна.

Радио ограничивается, в порядке платной информации, передачей нескольких лозунгов в день да устройством одной-двух бесед в месяц.

Последняя брошюрка «Защитим лес от огня» вышла в 1938 году тиражом в 5 000 экземпляров, словно какие-нибудь изысканные стихи.

В 1937 году опубликованы в брошюре «Месячник леса» лозунги в стихах. Поэты, видимо, имели к ним мало отношения. Вот образцы:

Дружбу с лесом заведи, —  
Уничтожишь в миг дески,  
А взрастишь ты молодняк, —  
Так осилишь и овраг.

Между тем леса воспеты в сотнях произведений мировой литературы такими писателями, как Гете, Гейне, Пушкин, Тютчев, Мицкевич, Некрасов, Кольцов... Сотни легенд, мифов, сказок созданы о лесах народным творчеством. За сборник классических произведений о лесе очень многие были бы благодарны нашим издательствам.

И деревья, как говорится в одной из наших народных сказок, нуждаются в «добром слове и ласковых речах»...

# Об украинском фольклоре

Акад. ФИЛАРЕТ КОЛЕССА

★

С присоединением Западной Украины к великому Советскому Союзу исчез искусственный рубеж, рассекавший живой организм украинского народа. Западная Украина, освобожденная от польского гнета, вошла в дружную семью советских народов и слилась в одно нераздельное целое со своей днепровской прародиной. Это создает новую эпоху в истории украинского народа.

Панская Польша на протяжении долгих веков всеми силами стремилась социально поработить и физически уничтожить украинские народные массы; над этим старалась вся администрация польского государства — помещики, армия, польская школа в украинском селе; к этому были направлены и безудержная колонизация Западной Украины, и подавление украинской интеллигенции, осужденной здесь на вымирание. Запрещено было даже употребление таких слов, как «украинец», «украинский», напоминавших о единстве всех частей нашей родины.

Польская администрация не признавала национального единства украинцев даже в пределах своего государства и, подчеркивая этнографические различия между подолянами, волынянами, гуцулами, бойками, лемками, пыталась вести так называемую «региональную» политику. С этой целью были придуманы псевдонаучные теории, — например, о польском происхождении гуцулов. На Лемковщине в школах распространялись учебники, составленные на диалекте.

Польские власти следили, чтобы не было культурных связей между галичанами и волынянами. Их разделял так называемый «Сокальский кордон» (от города Сокаля), который галичанам не легко было переступить под неусыпным наблюдением польских жандармов. Полонизация велась вширь и вглубь всеми средствами государственного аппарата.

Поразительны моральная сила и огромная сопротивляемость украинских масс, сохранивших свою народность. Созданное и закрепленное веками исторического развития языковое и этнографическое единство украинского народа оказалось настолько мощным, что выдержало многовековой полонизаторский напор. Это единство проявляется и сейчас на всех участках культурной жизни и особенно ярко выступает в фольклоре Западной Украины, — достаточно посмотреть, например, сборники галицийских или волинских народных песен, новелл, анекдотов, чтобы убедиться: здесь варианты тех же произведений, какие записаны на Приднепровье.

Систематическая запись и издание произведений украинской народной словесности в Галиции начались еще в тридцатых годах прошлого столетия стараниями М. Шашкевича, Я. Головацкого, И. Вагилевича, вскоре после выхода в свет первого сборника украинских народных песен Максимовича в Приднепровье (1827).

Уже первая книга, знаменовавшая возрождение украинской литературы в

Галиции, — «Русалка Днестровская», — (1837) содержала значительное количество народных песен. Но огромный песенный материал, который Я. Головацкий собрал еще в молодости, полностью появляется только в 1878 году в монументальном 4-томном собрании «Народные песни Галицкой и Угорской Руси», куда вошли почти все предыдущие галицийские сборники. Вершиной в деле собирания и систематизации произведений украинской народной словесности явилось, как известно, знаменитое 7-томное собрание П. Чубинского «Труды этнографическо-статистической экспедиции в Западнорусский край» (1872 — 1878); здесь помещены и этнографические материалы Волины и других западноукраинских земель, входивших тогда в состав России.

Наконец, в Галиции после преобразования товарищества им. Шевченко в научное товарищество (1892) начали выходить две отдельных серии: «Этнографический сборник» (до сих пор вышло 40 томов) и «Материалы этнологии и антропологии» (вышло 22 тома).

Все эти издания дают богатейший материал для изучения западноукраинского фольклора.

★

Фольклор Западной Украины поражает необычайным богатством тематики: заслуживают упоминания прежде всего обрядовые песни: старинные колядки и щедривки (собрание В. Гнатюка), в которых сохранились остатки феодально-дружинного эпоса, — упоминания о сборах дружины, о военных походах, о борьбе с кочевниками, об осаде и взятии города, о рыцарском поединке и т. д. Все это роднит украинские колядки с великорусскими былинами. В некоторых свадебных песнях и обрядах дошли даже отголоски матриархата (как показывают исследования Ф. Волка).

В похоронных обрядах и плачах сохранились дохристианские верования в существование души и загробной жизни, которая в примитивном представлении была продолжением земной, со всей ее обстановкой, нуждами, радостями и

заботами; поэтому от живых и требовалась постоянная забота об умерших. Форма украинского плача (так же как и белорусского) — это свободный речитатив с неравномерными стихами, соединенными в большие и меньшие группы, — тирады, без повторения какой-либо ритмической схемы; плачи послужили широкой базой, на которой развернулась высшая форма речитатива в козацких думах.

Большим реализмом отличаются бытовые песни, особенно глубоко лирические песни о печальной женской доле.

Рекрутско-солдатские песни показывают, каким страшным гнетом для украинского крестьянства была принудительная военная служба, навязанная ему вместе с крепостным правом. Вот образец такой песни (из собрания Ив. Колессы).

#### ЛОВЛЕННЯ НЕКРУТІВ

А в неділю пораненько  
У всі дзвони задзвонили,  
Молодого парубочка  
На некрути ізловили.  
Посадили на возочок,  
Іде некрут, як паночок.  
Ферман коні поганяє,  
На некрута поглядає, —  
Би дороги не змилити,  
Би некрута не згубити,  
Привезли го до циркулу,  
Обтяли му всю голову.  
Як кучері обтинали,  
Его сльози обливали.  
Привели го до кімнати:  
Оттут, некрут, присягати.  
Оттут, некрут, присягати,  
Би до дому не втікати.  
Привели го на квартиру,  
На біленькую перину:  
Лягай, некрут, висипляй ся,  
На зицирку вибирай ся.  
Ой, встав некрут дуже рано,  
Ані тата, ані мами:  
Бідна ж моя головонька,  
Та чужая сторононька.

В рекрутских песнях мы встречаем и упоминания о том, как во времена крепостничества ловили в рекруты парубков, а они убежали в горы и присоединялись к опришкам. Карпатские опришки, которые в значительной мере рекрутировались из беглецов от панского насилия, — явление, аналогичное старинной гайдамачине на При-

днепровье, и ничего нет удивительного, что о них сложено много песен и преданий. Предводитель опришков Довбуш (погиб в 1745 году) прославляется, как защитник бедных и мститель за обиженных (Гнатюк. «Народные рассказы про опришков»). Однако песни об опришках носят преимущественно характер местных новообразований, еще не завершенных по форме; они мало известны за пределами Гуцульщины.

Крепостное право оставило вообще печальную память в целой группе народных песен: это невольничьи плачи XIX века о беспросветной работе на панском поле под свист нагайки надсмотрщика.

Выражением протеста против социального гнета является знаменитая лирическая песня:

Ой, зло на світі, зло чувати,  
Бо вже правди не видати.

Прекрасный вариант этой песни был записан в свое время от кобзаря Остапа Вересая.

Среди песенных новообразований с социально-экономической основой важнейшее место занимают, бесспорно, песни о переселенческом движении и об эмиграции для заработка в Америку и Пруссию. Все они разносторонне рисуют судьбу эмигрантов, временами весьма реалистично, и освещают процесс пролетариации украинского крестьянства в Галиции.

Для народных песен позднейшего времени в Галиции особенно характерна коломыйка: она давно уже перешагнула узкие пределы припева к танцу и стала излюбленной формой бытовой лирической и, прежде всего, любовной песни. В настоящее время коломыйки в Восточной Галиции представляют наиболее жизнеспособную ветвь украинской народной поэзии, ветвь, которая постоянно развивается и часто переходит в импровизацию. Благодаря своей отрывистой, фрагментарной форме коломыйка, так же как русская частушка, проникает во все мелочи быта, легко переходит в область шутки и сатиры, а наряду с этим берет и самые серьезные социально-экономические темы:

Ой, чога ти поскрипуєш, смерекова хато?  
Нема добра в нашім краю, бо панів багато.  
Ой, зацвіла синя квітка на плоті, на плоті,  
Ой, змарніло біле личко на панській роботі.  
Ой, ввійду я до покою, та й тупну ногою:  
Віддай, пане, літа мої і молодість мою!  
Я одного коня маю, а другого куплю,  
Таки я ся багачеві з дороги не вступлю;  
Мати моя старенькая, мати моя рідна:  
На що ти мя породила, коли сама бідна?  
Шумить-гуде, мороз буде, зелений бодячу;  
Прошу тебе, не кпи з мене, великий багачу!  
Хоть я собі убогая, хороша дівчина,  
Як наважу, то зневажу багачького сина.  
Ой, не ходи, багачику, горою за мною,  
Бо ти багач, а я бідна, не пара з тобою.  
Ой, є в тебе, багачику, штири воли в плузі,  
Ой, у мене, сирітоньки, ручки на послузі.  
Ты запряжеш воли, воли, та підеш орати,  
А я візьму рискаль в руки, та й піду  
копати.

(Гнатюк. «Коломыйки».)

Коломыйки очень распространены в Восточной Галиции, особенно на Бойковщине и в Гуцульщине, где они вытесняют прочие песенные формы. О необычайно большом богатстве коломоек свидетельствует трехтомное собрание В. Гнатюка.

В Галиции записано немало исторических, козацких и гайдацких песен, занесенных сюда с Приднепровья: про Нечая, Морозенка, Сагайдачного и Дорошенка, Савву Чалого, убийство Бондаровны паном Каневским (Потоцким); сюда относятся песни на такие темы: отъезд козака на войну и его прощанье с матерью и сестрами; смерть козака и его верный конь-посланец; беседа козака с конем; девушка оплакивает убитого козака и т. д. Но на галицийской почве эти песни приравливаются часто к солдатской жизни, и слово «козак» заменяется словом «жолнер».

Особенной красотой отличается песня о болезни и смерти чумака в дороге, распространенная во всех украинских землях; а поскольку чумачество, как общественное явление, давно ушло в историю, то и чумацкие песни можно отнести к историческим.

#### СМЕРТЬ ЧУМАКА В ДОРОЗІ

Ой, їздив чумак  
Сім літ по долах,  
Не зазнав він пригодоньки  
На своїх волах.

Ой, іхав, іхав,  
 На дорозі став.  
 Воли му ся поболіли,  
 А він сам заслаб.  
 Ой, заслаб, заслаб,  
 Під возом лежить,  
 Ніхто го ся не спитає,  
 Що йому болить.  
 Ой, болить мені  
 Серце й голова,  
 Бідна ж моя головонька,  
 Чужа сторона!  
 Чужа сторона,  
 Чужії люде,  
 Та хто ж мене поховає,  
 Як ми смерть буде?  
 Вгорнув ся чумак  
 У новий кожух,  
 Обернув ся долів серцьом,  
 Віддав богу дух.  
 В неділю рано  
 Ударили в дзвін,  
 Посходжав ся, поз'їжджав ся  
 Всей чумацький рід.  
 Найстарша сестра  
 Найперша прийшла:  
 «Чумаччику, мій братчику,  
 Деж тя смерть знайшла!»  
 Ідуть волоньки  
 Та в новім ярмі,  
 Лншилисьмо господаря  
 В чужій стороні.  
 Ідуть волоньки,  
 Ідуть ричучи, —  
 Лшилисьмо свого газду,  
 В дорозі йдучи.  
 Прийшли ж вони  
 Аж під ворота:  
 Вийди, вийди, господине, —  
 Вже газди нема.  
 Най бим була вас  
 Всіх полупила,  
 Та я би ся була вами  
 Не засмутила.  
 Одних ся збуду,  
 Другі набуду,  
 А я свого господаря  
 Ніколи не вздру.

Фольклорная поэзия Западной Украины содержит большое количество балладных песен. Они затрагивают преимущественно бродячие темы, распространенные у многих народов, например: брат женится на сестре; зловещий сон королевича и смерть его жены; девушка причаровывает любимого; мать, желая отравить нелюбимую невестку, стравляет и сына; дочь, несчастная в замужестве, прилетает пташкой к матери; смерть девушки, ушедшей с чужеземцами, и т. д.; однако самое содержание и выбор балладного репертуара, трактовка отдельных тем, их редакция

и оформление — все это указывает на общность песенной традиции, роднящую Западную Украину с Приднестровьем.

Некоторые из этих баллад обнаруживают историческую основу, намекая на татарские и турецкие набеги. Сюда относятся песни про тещу, очутившуюся в плену у зятя; песня о брате, который на базаре покупает сестру-невольницу; историческую окраску имеет и широко известная на всем пространстве украинских земель песня про «тройное зелье», она воспевает смерть неверной девушки от руки любовника и начинается строфом:

Ой, іхали козаки з обозу,  
 Стали собі близько перевозу.

Баллада про Петруся, убитого паном за то, что его полюбила «вельможна пані», — яркая иллюстрация крепостных порядков.

Особенности и подбор балладных песен, распространенных на Лемковщине, совпадают в какой-то мере с балладным репертуаром словаков, моравских чехов и поляков. Это позволяет предполагать, что Лемковщина играла весьма важную роль в передаче и обмене песенных тем между Украиной и Западом.

★

Старинные собиратели - этнографы обычно записывали только песни, не обращая внимания на прозаические произведения народной словесности. Повествовательный фольклор Западной Украины нашел надлежащее место только в изданиях научного товарищества им. Шевченко, где появляются сказки и новеллы в записях О. Роздольского и сказки, анекдоты, легенды и рассказы про опришков в записях В. Гнатюка.

В область повествовательного фольклора входят и народные поверья, сообщенные И. Франко, Ф. Колессой, В. Гнатюком и В. Шухевичем. Поверья и обычаи, связанные с отдельными днями и праздниками, находим в описаниях народного календаря, которые дали Шухевич (Гуцульщина) и В. Доманицкий (Вольнь). В особую группу надо выделить обряды и поверья, сопровождающие важнейшие события семей-

ной жизни: рождение и похороны. Систематизированное собрание поверий, связанных с бытом и духовной культурой галицийского села, составил Я. Пастернак. Народные поверья выражаются также в заговорах, молитвах и чарах, которым, помимо перечисленных записей, немало места посвящено и в этнографических сборниках, изданных в Западной Украине.

На галицийские пословицы и загадки — они в отношении формы занимают промежуточное место между стихом и прозой — впервые обратил внимание Гр. Илькевич, он издал собрание их в 1841 году в Вене. Знаменитое собрание пословиц выпустил Иван Франко, включив сюда всевозможные образные выражения, сравнения и поговорки.

★

Говоря о фольклоре Западной Украины, следует особо упомянуть и про Украинское Закарпатье, которое с точки зрения этнографической обнаруживает тесную связь со своим приднепровским корнем. Закарпатские украинцы, расселенные на длинной, узкой полосе от Попрада до Черногорского хребта на востоке, представляют в своем этническом составе те же три типа — лемков, бойков, гуцулов, — что и украинские горцы на северных склонах Карпат. Это деление сильнее всего обозначается в приграничном поясе; чем дальше на юг и на запад, тем отчетливее выступают словацкие, венгерские и румынские влияния. Чище всего сохраняют свои этнографические особенности закарпатские гуцулы.

В собирании фольклорного материала в Закарпатье, начатом Я. Головацким, больше всего заслуг у В. Гнатыюка. Он выпустил несколько томов «Этнографических материалов по Угорской Руси», которые охватывают сказки, басни, новеллы, легенды, анекдоты, рассказы об исторических лицах, песни. Однако записи Гнатыюка идут из местностей, наиболее подвергшихся словацким влияниям.

Варианты колядковых и свадебных мелодий, распространенные на украинской территории от Попрада и Тиссы, Буга и Припяти по самое Заднепровье, сходны и совпадают между собой вплоть до мелочей. Это — еще одно красноречивое свидетельство культурного единства всех частей украинского народа.

★

Песенно-музыкальный и повествовательный фольклор Западной Украины обширен. Собранный материал обнаруживает свежесть и большую живучесть народной традиции, общей для всех частей единой украинской территории. Однако есть местности, почти не тронутые этнографическим изучением, как, например, Волянь, Полесье, Буковина.

Широкая, коллективная научная работа над украинским фольклором, требующая государственного внимания и поддержки, на Западной Украине не могла развернуться в условиях национального угнетения панской Польши. Только сейчас фольклористы Украины имеют все возможности широко развернуть свою исследовательскую работу по собиранию и изучению фольклора.

Украинская народная поэзия, проникнутая гуманными, свободолюбивыми идеями, неизменно выражает стремление народа к свободе и социальной справедливости; она необычайно чутко откликается на всякую общественную неправду и угнетение, на все политические события, волнующие трудящийся люд. Об этом лучше всего свидетельствует раздел украинских исторических и политических песен, поражающий иностранцев своим богатством; сюда относятся и новейшие напастования народной поэзии: песни об эмиграции, о мировой войне 1914—1918 годов.

События, связанные с освобождением Западной Украины Красной армией от польского гнета, найдут и находят живой отклик в народных песнях и легендах.

# О Борисе Левине

АННА КАРАВАЕВА

★

Одиннадцать лет назад в одном из московских толстых журналов появилась небольшая повесть «Ревматизм». Автор — новое имя: Борис Левин. Начало повести выглядело ясно и привлекательно — так с первого взгляда чувствуешь себя легко с человеком, который держится просто, умно и естественно.

«Командир Карпович сидел в приемном покое лагерного госпиталя. Дежурная сестра в белом халате и сандалиях на босую ногу спрашивала его. Сестру кусали комары. Она вздрагивала, встряхивалась и яростно била себя по искусанным местам. Карповича тоже кусали комары, но ему было все равно. Он сидел, согнувшись, запыленный, и терпел».

Этими скупыми, но бережными и мягкими штрихами автор вводил читателя в жизнь произведения.

Мы разбирали первые главы повести с молодым кружковцем, который зашел ко мне «побеседовать о своей незаданной прозе».

— А ведь дежурная-то сестра у Бориса Левина здоровая, жизнерадостная девушка, — вдруг улыбнулся кружковец. — И как он это тонко и тактично подчеркнул. Слабость Карповича я с особенной ясностью чувствую именно по этой подробности: сестра «яростно била себя по искусанным местам», а Карпович не в силах был даже отмахнуться от комаров, и «ему было все равно».

Помнится мне, юноша, с которым мы

беседовали тогда о повести Бориса Левина, был еще совсем мало искушен в литературе, а все-таки сразу почувствовал в авторской манере нового писателя то характерное, что притягивало к себе.

С первых же страниц развитие повести обещало грусть, боль, несчастье, но вместе с тем чувствовалось, как сдержанно и вдумчиво рука художника наносила краски, как разборчиво отсеивала детали, искала свежести и точности: «Белоснежное полотно синело и пахло огурцом...»<sup>1</sup>, «...Веснушки на мочках», «Оранжевый воздух...»<sup>2</sup>, «...В небе семафором повисла радуга...»<sup>3</sup>

Казалось, что и от всей этой повести тоже пахнет огурцом, травой, солнцем, — так неназойлива была ее свежесть и душевность. Она походила на человека, который не подозревает о своем обаянии и не старается быть приятным, — оттого-то с ним так легко и свободно. Авторская манера Бориса Левина — делиться мыслями с читателем — тоже подкупала своей прямоотой и ясностью. Как выгодно отличалась она, если можно так сказать, от тяжелой петляющей походки некоторых произведений, мысль которых приходится извлекать, словно алгебраический корень, или подбирать для разгадывания ее своеобразные ключи и отмычки. Мысли и чувства повести Бориса Ле-

<sup>1</sup> Сборник. «Советский писатель», 1935, стр. 6.

<sup>2</sup> Там же, стр. 25.

<sup>3</sup> Там же, стр. 38.



вина доходили органично и конкретно еще и потому, что автор именно этого и желал, к этому открыто стремился.

«Карповичу было душно. Он вспотел. Во рту сухо и жарко. Ему очень хотелось пить. Хотел слезть с кровати, чтобы добраться до чайника, но жгучая боль во всех суставах не позволила ему пошевелиться».

«Что это такое? — подумал он в ужасе. — Я не могу двинуться с места». — «Да, ты не можешь двинуться с места» — нагло ответили ему ноги<sup>1</sup>.

Так человек попадает в плен болезни, ревматизм становится беспощадным хозяином его бытия. Вся его физическая природа, которой он прежде владел, будто не замечая этого, теперь ополчается против него и «нагло» обрывает каждую его попытку «двинуться с места». Человек надел «ношенный, очень широкий, цвета глины халат и сразу стал жалким», а «на опухших ногах загремели козловые туфли»<sup>2</sup>. Однако, если бы писатель не пошел дальше этой тонко и верно написанной картины пленения человека ревматизмом, было бы одной «больничной» повестью больше и только. Но у Бориса Левина пленником ревматизма был не просто больной человек, а советский человек. В больничном покое советский человек почувствовал себя отрешенным, неправомерно отставшим от жизни.

«Заснуть он не мог. Дождь все усиливался и теперь шумел, как темный лес. Карповичу показалось, что он на каком-то глухом полустанке отстал от поезда. Он выскочил за кипятком, а в это время поезд с его товарищами ушел. Он бродит по полустанку с пустым чайником. Крышка от чайника болтается на веревочке и гремит. Никого нет. Все разбежались. И вот-вот сейчас должен нагрянуть казачий разезд»<sup>3</sup>.

Вот в чем источник мучений больного командира Карповича: страшно от-

стать! Страшно, чувствуя себя неподвижным и беспомощным, провожать растерянным взглядом мчащийся на всех парах, великолепный, сверкающий поезд жизни.

Этот ужас перед отсталостью, эта страстная решимость бороться за свою полнокровную жизнедеятельность — свойство не одного только командира Карповича. Бывший беспризорник, курсант Московской артиллерийской школы, чрезвычайно озабочен: «...у меня аппендицит. Я говорю врачу: сделайте сейчас операцию, а он отказывается. Он говорит, что меня будут оперировать осенью, по окончании лагерного сбора. И вот видишь, какое дело, — а я осенью не могу ложиться в больницу. Я отстаю от своих товарищей». А когда курсанта успокаивают, что ему ведь только девятнадцать лет, он еще более категорически требует:

«— Пусть хоть сейчас оперируют. Я не хочу отставать от товарищей»<sup>1</sup>. И другие командиры, лежащие в лазарете, много и горячо говорят о том, что командир Красной армии «должен быть всесторонне образован», так как «красноармейская масса настолько выросла, что она абсолютно всем интересуется», что от бойцов, как наши, «пустым ответом не отвертеться» и т. д. Для командиров и бойцов, лежащих в лазарете, характерна и типична прежде всего эта черта, но особенно сильно проявляется она у Карповича, самого больного и слабого из всех. Жажда идти в ногу со своей эпохой, «чтобы ни один час не пропадал», соединяется у Карповича с подлинными мучениями совести и недовольства собой, тем, что в прошлом он учился нерадиво, «ненавидел учебники и учителей», что знания его убоги, что он не умеет организовать свое время, что слишком увлекается шахматами и т. д. Он горько упрекает себя, что «зарос травой и мохом», что «заплесневел». Он стыдит и уличает себя, что завидует тем, от кого «отстал, на много лет отстал». С детски восторжен-

<sup>1</sup> Сборник, «Советский писатель», 1935, стр. 7.

<sup>2</sup> Там же, стр. 8.

<sup>3</sup> Там же, стр. 7.

<sup>1</sup> Сборник, «Советский писатель», 1935, стр. 17.

ной надеждой он повторяет: «Вот погоди, выздоровею — все пойдет по-иному»<sup>1</sup>. Вперемежку с мучениями — надежды и мечты: окончить шестимесячные курсы, стать трактористом или пойти на производство, или поступить в вуз.

Откуда она, эта упорная жажда идейно-культурного роста, это неустанное беспокойство и требовательность к себе у человека, прикованного болезнью к постели? Их дала ему жизнь, борьба за советскую власть, их воспитала в нем коммунистическая партия. В свое время он, сын почтового чиновника, был одним из желторотых птенцов, которые, обманутые шовинистскими лозунгами издыхающего царизма и русской буржуазии, прямо с гимназической скамьи шли добровольцами на германский фронт. Так сделал и он, Карпович.

Автор вселяет в нас уверенность, что если бы Карпович не пошел за призывами партии и советской власти, то он или обратился бы в ничтожество, или просто погиб... «Кругом была смерть. И вдруг революция. Довольно! Генуя! Товарищи-немцы, мы не хотим умирать! Вы не хотите умирать! Я не хочу умирать!»<sup>2</sup>

Хотя эту страницу своей биографии Карпович вспоминает в бреду (мы слышим, как он выкрикивает эти слова), однако, мы не сомневаемся, что и в действительности, в переломный момент своей жизни, он произносил именно эти простые и горячие слова, которые тогда произносили миллионы людей. Да ведь и сама биография Карповича совершенно родственна биографиям многих юношей из трудовых интеллигентских семей, восторженной зеленой молодежи, которая вместе с рабочим классом и крестьянством дралась на фронтах гражданской войны за советскую власть.

Конечно, эта молодежь не имела и не могла иметь революционной закалки рабочего класса и органичности его мировоззрения. Эту молодежь нужно было воспитывать, учить, закалять. Ее ее представители — дети учителей, ре-

месленников, мелких служащих, как Карпович, которые действительно всем существом своим, честно и пламенно шли за учением партии, честно служили советской власти, — те стали людьми, строителями нового социалистического общества. Эта мелкобуржуазная интеллигенция всем своим идейно-культурным развитием, всей своей жизнедеятельностью обязана эпохе Ленина — Сталина.

На XVIII партийном съезде товарищ Сталин, говоря о советской интеллигенции, указывал на те ее слои, которые доучивались уже при советской власти. Учение Ленина — Сталина для этих интеллигентов так же, как и для рабочего класса, является властителем их дум, руководителем всей их духовной жизни, потому что они преданы строительству социализма, как своему кровному делу. «Изменилась и интеллигенция СССР. В массе она вышла из рабочей и крестьянской среды. Она служит не капитализму, как старая интеллигенция, а социализму. Интеллигенция стала равноправным членом социалистического общества. Эта интеллигенция строит вместе с рабочими, крестьянами новое социалистическое общество. Это новый тип интеллигенции, служащей народу и освобожденной от всякой эксплуатации. Такой интеллигенции еще не знала история человечества. Таким образом, стираются классовые грани между трудящимися СССР, исчезает старая классовая исключительность. Падают и стираются экономические и политические противоречия между рабочими, крестьянами и интеллигенцией. Создалась основа морально-политического единства общества»<sup>1</sup>.

Воображая командира Карповича живым, мы видим для него именно такую перспективу. Если бы Карпович был жив, он, конечно, гордился бы тем, что бессмертные слова Сталина на VIII Чрезвычайном съезде Советов и на XVIII съезде партии относятся и к нему, — ведь смысл жизни этого скромного, неловкого человека с некрасивым

<sup>1</sup> Сборник, «Советский писатель», 1935, стр. 21.

<sup>2</sup> Там же, стр. 9.

<sup>1</sup> «Краткий курс истории ВКП(б)», глава XII, стр. 328—329.

рябым лицом заключался в том, чтобы работать для своей страны и ее народа. Ведь потому с такой горечью и беспокойством Карпович переживает свою болезнь. «Обидно умирать на кровати от ревматизма», когда, по выражению комиссара полка, «пятилетка на дворе». Командиру Карповичу нестерпимо думать, что он может остаться инвалидом. «Инвалидов в обоз. А я не хочу в обоз» — упрямо твердит Карпович, боевой командир Красной армии, который славно бил белых, ловил дезертиров, ходил в атаки — и умер от ревматизма. В предсмертном бреду он видел перед собой не опостылевший ему лазарет и ревматизм, а видел героика революционной борьбы. Ночью, в бредовом сне, пришел к нему комиссар Федя Мишин, которого повесили белые.

«— Вставай! — сказал он ему. — Пора итти в наступление.

— А куда же ты исчез давеча? Ведь ты с Людой тогда приходил и вдруг исчез?

— Это тебе снилось. У тебя был бред. А сейчас мы все тут. И комбриг Моргунов, и Терентьев, и Бирштейн, и Горбов, и Великс. Все твои убитые товарищи давным-давно собрались, и ждем твоих приказаний, а ты дрыхнешь. Ведь сегодня ты должен повести нас в бой. Вставай!»<sup>1</sup>. Пробиваясь в бреду сквозь вражеское кольцо белых, на гребне великой любви и ненависти, умер от суставного ревматизма командир Карпович... Тогда очень мало кто понял и почувствовал его жизнь.

Рапповская критика обвиняла Бориса Левина в «интеллигентщине», в мещанстве, в «упадочничестве», обозначала его «место» в литературе, как «внутрирапповского попутчика» и т. д. Этих критиканов «не устраивал» левинский герой, как, впрочем, и все последующие. Нет, вы только подумайте, что это за «герой»? Он не произносит ни одной красивой героической речи, а говорит смешно, сбивчиво, сентиментально влюбляется в сестру милосердия, мечтает о женитьбе («Жена будет. Дети.

Еще хорошо б, чтобы поблизости озера или река»<sup>1</sup>), — ей-ей, кому интересно, что этот некрасивый рябой человек так и не успел жениться и обзавестись семьей?.. Словом, образ командира Карповича никак не походил на тех ловко сконструированных, «обтекаемых» героев, жизнь и характер которых так легко можно было измерять, регламентировать, раскладывать по полочкам и разрядам очередной литературной «моды». На командира Карповича смотрели как на случайно забредшего на поля литературы безродного человека. А между тем Карпович совсем не безродный, и родственники у него в русской литературе имеются и, право же, очень неплохие. Мне вспоминается капитан Тушин, скромный, робкий артиллерист, в котором не было ничего «поразительного», один из героев «Войны и мира», тот самый капитан Тушин, который с благородным упорством воина сумел удержать свою батарею под огнем французов. Капитан Тушин не занимает в романе Льва Толстого сколько-нибудь видного места. Где уж ему, скромному работяге и солдату Отечественной войны, блистать в гостиницах или быть героем романа, например, Наташи Ростовской, — ничего такого и вообразить невозможно. Капитану Тушину в романе только и оставалось — отстаивать свою батарею от вражеского огня. Но мы знаем, что Лев Толстой любил его, этого малозаметного героя. Он считал, что русская армия сильна именно вот такими Тушиными, хорошими людьми, честными воинами.

И еще есть родня у Карповича: некрасивый и робкий офицер, герой чеховского рассказа «Поцелуй». В темноте, неизвестная, невидимая, поцеловала его женщина. Чеховский штабс-капитан Рябович знал, что поцелуй предназначался не ему, что произошла ошибка, но, несмотря ни на что, он был забываемо счастлив, как бывают счастливы люди только раз в жизни, потому что «судьба в лице незнакомой женщины нечаянно обладала его». Мы даже уве-

<sup>1</sup> Сборник, «Советский писатель», 1935, стр. 61.

<sup>1</sup> Сборник, «Советский писатель», 1935, стр. 27.

рены, что тот, кому предназначался поцелуй, совсем не обладал глубиной и чистотой чувства, которое танлось в груди робкого офицера. Карпович, остро и глубоко страдающий от сознания своей отсталости, в отношении ласки судьбы ошибся гораздо больше, чем капитан Рябович: любимая женщина Карповича изменила не только ему, но и советской власти. Но Карпович, одинокий холостяк, обойденный личным счастьем, не из тех, кто озлобляется и завидует. Он готов радоваться вместе с теми, кто счастливей его, как он радуется каждому новому успеху советской жизни. Коммунар-артиллерист рассказывает ему о своей коммуне:

«— Первые годы трудно было. Хлева холодные. Коровы, как медведь, шерстью зарастала. Откуда же у нас молоко? Пока не обстроились, порядочно натерпелись. Многие уходили из коммуны, а сейчас обратно идут. Возвращаются».

«— Возвращаются, говоришь? — переспросил Карпович и радовался. Он радовался тому, что где-то есть коммуна «Первое мая», где большой сад, тракторы. Где коровы больше не зарастают шерстью, как медведи, и дают много молока»<sup>1</sup>. Получив письмо от старого фронтového товарища, Карпович от всей души приветствует чужое счастье. «Утром Карпович еще раз прочел письмо, и ему стало весело. «Хорошо! Как хорошо жить на свете!»<sup>2</sup> Карпович умер, и читателю жаль, что одним хорошим человеком стало на свете меньше.

Самыми лучшими чертами его жизни и всего его существа были: честность, любовь к родине, смелость, нежность и обаятельная искренность, т.е. те черты, которые так свойственны человеку социалистического общества. Если бы Карпович выздоровел и дожил до наших дней, он, конечно, геройски отличился бы, например, на финляндском фронте, был бы награжден орденами Союза и, конечно, окончил бы Военную академию и был бы тем «разно-

сторонне образованным» командиром, каким ему так хотелось быть.

О первой повести Бориса Левина хочется говорить подробно потому, что в ней, как в зерне, рождающем урожай, ясно и полно выражены главные черты его творческого облика: любовь к советскому человеку, к советской действительности, тонкое чувство детали, юмор, мягкая насмешка и грусть, а наряду с этим умение остро и точно провести линию, определяющую водораздел; лаконизм, а вместе с тем хорошая, подлинно лирическая наполненность фразы, живой и выразительный диалог. Этот лаконизм, юмор, точность глаза, умение нащупать наиболее динамические линии сюжета Борис Левин приобрел в своей журналистской работе, сотрудничая в юмористических журналах («Красный перец», «Крокодил»). Что касается лирико-интимных нот в голосе этого писателя, то, немного забегаая вперед, скажем, что некоторые критики не сумели распознать природу этого лиризма. Но об этом речь впереди.

На каком-то собрании меня познакомили с Борисом Левинным. У него была смущенная улыбка, сухощавое лицо, небольшие живые глаза. Они жмурились и помаргивали, словно он, зорко и памяливо все замечая, в то же время стеснялся показать это. У него была легкая походка человека, привыкшего ходить много и быстро. Идя, он слегка выносил вперед то одно, то другое плечо—и в этом движении чувствовалась еще совсем юношеская застенчивость. Он говорил негромко, держался скромно и просто. Смеялся он, слегка захлебываясь, с приятной хрипотцой, и зыбкие морщинки весело лучились вокруг глаз, а лицо делалось лукавым и добрым.

«Типичный интеллигент». — сказал кто-то о нем, вкладывая в эти слова шаблонную мысль о пресловутой интеллигентской «слабости». Подобные «оценки» были просто поверхностны и жалки. Борис Левин, этот скромный, застенчивый человек, на деле был сильнее тех, кто считал его слабым. В 1918 году он вступил в ряды Красной армии и пошел

<sup>1</sup> Сборник, «Советский писатель», 1935, стр. 26.

<sup>2</sup> Там же, стр. 37.

биться за молодую Советскую республику как-раз в то время, когда стало нужным защищать ее. Он был красноармейцем, политработником, комиссаром полка, членом Трибунала Петроградского военного округа. Он бился за Советскую республику на Дону, в степях Средней Азии, на астраханском фронте под руководством Сергея Мироновича Кирова. Много мог порассказать бывший дивизионный комиссар Борис Левин, но как-раз меньше всего любил он рассказывать о себе. Все-таки те отрывочные факты его военной жизни, которыми мы располагаем, довольно ярко рисуют его коммунистический и вообще человеческий облик. Несколько раз он глядел в глаза смерти и спасался благодаря собственной выдержке и заботе о нем смелых, хороших людей.

В одном селе Борис Левин был схвачен восставшими кулаками. Его предал изменник, который прополз в ряды партии, вкрался в доверие комиссара Левина, а потом перебежал на сторону врага. К Левину, запертому в сарае, явился предатель и спросил, издеваясь: «Ну, как тебе это нравится, Левин? Мог ли ты предполагать что-нибудь подобное?» Связанный по рукам и ногам, комиссар ответил спокойным голосом, полным ненависти и презрения: «Да, я не предполагал, что ты такая сволочь».

От неминуемой смерти Бориса Левина спасла хозяйка избы, где он квартировал. Неискушенная в вопросах политики деревенская женщина почувствовала в комиссаре силу коммунистической правды, поняла нужность его жизни для народной борьбы — и решилась на смелый и благородный поступок, который ей самой мог стоить жизни.

Однажды во время боя комиссара Левина контузили. Он упал с лошади и был засыпан землей от взрыва снаряда. Бориса Левина уже сочли погибшим. Но красноармейцы, любившие своего комиссара, откопали его из-под земли и спасли от смерти.

Он никогда не был оратором, но зато он умел душевно разговаривать с бойцами за чтением и обсуждением газет, у костра, в теплушке, во время утомительных конных переходов, когда людям по

целым дням невозможно ни на минуту заснуть. Бойцы спасли комиссара Левина от смерти, потому что им всегда недоставало его, потому что он был нужен им и дорог...

Но тот, кого хоть раз коснулось ледяное крыло смерти, никогда этого не забудет. Не оттого ли даже в веселые мгнуты в речах, жестах и улыбке Бориса Левина временами чувствовался налет сдержанной грусти и раздумья?

Однажды, приехав по командировке «Правды» на крупное строительство, Борис Левин наблюдал за раскопками на месте будущих корпусов. Землекопы показали ему вырытый ими заплесневелый красноармейский шлем.

— Мне показалось, — рассказывал потом Левин, — что это мой шлем нашли, что это мое тело нашли в земле.

Эта грустноватость, эти рассеянножмурые глаза, легкая походка, простота и скромность некоторым казались проявлениями пресловутой интеллигентской мягкотелости, неразборчивого добродушия и т. д. А между тем, именно Борис Левин одним из первых публично выступил против группки эксплуататоров искусства, скрытых врагов народа, искусных интриганов, которых многие боялись. Вспомним здесь замечание о том, что некоторые критики подобным же образом ошибались в оценках его таланта и вообще его творчества. Рапповские менторы брюзгливым тоном советовали ему «произвести серьезную переоценку ценностей», овладеть методом марксистско-ленинской диалектики<sup>1</sup>. Другие предлагали расширить круг тем, чтобы не «мистифицировать» собственный талант<sup>2</sup>. Третьи были согласны с тем, что «идею и тон» левинской повести можно изобразить следующим образом: «Вдали, в тумане, — город и строительство, ближе — ствол одинокого «лирического» дерева, лишенного листьев»<sup>3</sup>. Четвертые, правильно отмечая сходство художнической манеры Бориса Левина с манерой Антона Павловича Чехова, утверждали, что Б. Левин воспринял и «не-

<sup>1</sup> «Новый мир», 1931, № 9.

<sup>2</sup> «Литературный современник», 1933, № 11.

<sup>3</sup> «Октябрь», 1932, № 7.

громкий» голос Чехова: «Борис Левин обо всем говорит негромко, «тихим голосом», что благодаря этому «верное, четкое, но деловитое (?!) и «тихое» изображение событий в произведениях Левина не вызовет «ни слез, ни гнева, ни острой жалости»<sup>1</sup>.

Можно ли говорить о «негромком» голосе Антона Павловича Чехова, а затем: «тихое изображение», «тихий голос», а дальше... «тихий писатель»? Да полно, то ли слово сказано о Борисе Левине?! Конечно, не то слово. У нас, к сожалению, слов, которые «не те», случайных слов о творчестве писателей, говорится еще довольно много. С точки зрения задач нашего социалистического искусства, одним из самых вредных обыкновений, еще до сих пор бытующих в нашей критике, является: крайне скудный набор оценочных критериев и нежелание динамически пополнять и разнообразить их в связи с требованиями жизни и тем «чувством нового», которому всегда и неустанно мы должны учиться у партии. «Тихий голос», «тихое изображение»... а не поискать ли других обозначений?.. Есть «тихость» голоса, которого просто не слышно, — из понятия «тихости» как будто исключается понятие о силе, — и есть сдержанность, в которой присутствуют и сила, и мужество.

Творческий голос Бориса Левина звучит для меня именно так: сдержанной силой и мужеством. У него была своя инструментовка — и это было его священное право. Скрипка, арфа, флейта и виолончель могут выразить глубину и размах человеческих эмоций, не прибегая к помощи барабанов и литавр.

Само собой разумеется, никому не придет в голову изображать творческий путь Бориса Левина гладким и безболезненным. У него были свои промахи, недочеты, недоделки, бывали и просчеты.

Иногда, по старой журналистской привычке фиксировать на ходу, Борис Левин писал торопливо, почти хроникерски. Это случалось не часто, но каждый раз бывало досадно, когда буднич-

но-торопливые строки прерывали сдержанно-взволнованное, свежего и тонкого рисунка левинское письмо. Иногда из любви к лаконизму и динамичности Борис Левин переходил на скороговорку, на констатацию, на обозначение. Порой, напротив, стремясь ввести читателя глубже в мир своих героев, писатель, в ущерб основной линии произведения, ломал его композицию, перегружал ее вставными, хотя и остроумными эпизодами и подробностями, разбивая этим ее целостность, как это особенно заметно в романе «Юноша». Бывало и так, что... — ну, понятно, перечень писательских «грехов» можно было бы продолжать и дальше: где, когда, отчего и почему недодумал одно, а другое недоучел, а третье не заметил и т. д. Но не в этом моя цель.

Я не исследование пишу, — я вижу перед собой жизнь товарища по литературе, вижу его творчество и все коммунистическое и человеческое, что характерно и неповторимо выражено в мыслях, красках и образах его произведений. Борис Левин глубоко чувствует движение и яркую молодость нашей эпохи, преобразующей мир. И в его разрешении этой проблемы молодости и жизненного движения, в его призыве понимать ее виден художник-коммунист, который все явления оценивает не только в их внешних формах, но и стремится осмыслить их внутреннюю сущность и направление в настоящем и будущем. Кроме возрастной молодости, которая охватывает только часть жизни человека, есть молодость класса, молодость социальная, продолжительность и сила которой в значительной степени в руках человека. Восемнадцатилетний герой романа «Юноша» Миша Колче — стар, потому что его характер, его мысли и устремления отравлены дряхлостью старого мира. В «симпатичном облики» Миши Колче писатель-коммунист вскрыл человека, опоздавшего родиться. Миша — социальный перестарок. Себялюбивый, равнодушный к людям, самовлюбленный честолюбец и властолюбец, мечтающий о том, чтобы «затмить» своих сверстников, чтобы прославиться и стать «самым главным», — разве такой

<sup>1</sup> «Литературный критик», 1934, № 2.

бывает подлинная молодость социального человека? И писатель показывает страстно ищущую, наивно-смелую и чистую молодость Нины. Эта девушка сначала напоминает молоденькую тонкостволовую березку, которую качает ветер и дождь сечет: немало забот и страданий довелось принять ей на свои «детские плечи». Но Нина растет здоровой, потому что все ее мысли и желания, вся ее работа устремлены к людям, к общей жизни. На фронте Нина вступает в партию и, чем дальше, тем вернее обращается в крепкую, умную, закаленную женщину. Закономерно, что Нина, цветущая молодая женщина, полюбила не Мишу Колче, а его дядю, сорокалетнего Александра Праскухина, — ведь юноша-то, конечно, он, а не Миша. Праскухин и физически выглядит значительно моложе своих лет — не только потому, что прошел прекрасную школу революционной борьбы и закалки, но и потому, что жизнь его деятельна и вдохновлена работой, радостью побед, поисков и находок, важных и нужных для общей жизни.

Читатель, следуя за художником, проникнулся презрением к социальным перестаркам типа Миши Колче, смотря на сорокалетнего Александра Праскухина, думал: «Да, долго может быть молодой, подвижной и радостной жизнь того, кто, подобно своему классу, как полный колос, повернут к солнцу будущего».

Не случайно, говоря о молодости, Борис Левин заговорил с читателями и о таланте, который ведь явление не только индивидуальное, но и социальное. Талант Миши Колче, питаемый только впечатлениями и размышлениями «в себе», всегда грозит захиреть, обескровиться. Образ Праскухина (даже несмотря на то, что он кое в чем недо-выписан) наводит нас на мысль, что, кроме таланта художественного, есть еще талант строить жизнь. Праскухин, Наташа Лебедева, инженер Эун, начальник политотдела Сморода строят жизнь, поднимают для нее все новые человеческие пласты из самой гущи масс, не отделяя себя от любимого дела, от людей, вместе с которыми они трудятся. У всех у них, как говорит Наташа, «нет ни

«мы», ни «вы», а есть одна общая цель, одна радость». Такие люди, как Наташа и Сморода, могут разойтись, страдать и томиться, что не удалась их жизнь, их любовь. Но строительство жизни, в котором все они участвуют, так громадно и прекрасно, что общая радость одоления и победы охватывает человека даже среди грусти и временного разочарования в своих надеждах на счастье. Уметь стать выше своего личного, маленького, выше своих личных обид и уколов — вот еще чем пленяет нас коммунист Сморода, шумный, порывистый, грубоватый, но в глубине души нежный, жизнелюбивый человек. Он любит смотреть вперед, он ненавидит «несчастных», «равненьких», «приколотых булавками»<sup>1</sup>. Он хочет, чтобы все вокруг человека играло и блестело, чтобы «внутренности его играли», — вот для чего работает Сморода.

Бориса Левина нередко упрекали, будто-де он защищает романтику и романтиков из-за неразборчивой своей любви к романтике вообще. Да, он ценил романтику любви, романтику боевой дружбы, но, кажется, никто не заметил, как он ненавидит ложную, наигранную романтику «высоких вольт», «бешеных темпов» и «риска жизнью», которую утверждает в одной из его повестей писатель Околоков («Одна радость»). Авторское презрение к этой фальшивой романтике выразилось и в выборе самой фамилии героя: Околоков, тот, кто только толкается около, мешает всем, надоедает, жалкий, отвратный, позер литературной «моды», разносчик дешевого пафоса. Такие Околоковы, беспардонные деляги, закройщики «актуальных романов», еще, кроме того, и трусы. — «Хочу вот с вами согласовать, какого героя посоветуете у вас описать?» — с наглой откровенностью спрашивает Сморода этот поставщик «конкретных героев» для еженедельников<sup>2</sup>.

Пять-шесть лет назад, в общей беседе Борис Левин сказал, насмешливо прищуривая глаза:

— Да, да, есть такая порода людей... Смелость, искренность и вообще их соб-

<sup>1</sup> «Одна радость», стр. 135.

<sup>2</sup> Там же, стр. 82.

ственное отношение к предмету — все это где-то далеко, все это надо искать... а вот ложноклассический пафос... о, это всегда вот здесь, в наружном кармане! — И как презрительно прозвучал его обычно такой мягкой и задумчивый смех!

Как в жизни, так и в творчестве своем, Борис Левин мужественно выступает против крупных и мелких носителей дешевого пафоса, против ареопага хитрецов и честолюбцев, бюрократов-схематизаторов, оказавшихся в большинстве своем врагами народа. Таков один из героев романа «Юноша» — Фитингоф. Многие узнали, «с кого» сделан Фитингоф, кого напоминал этот пафлетно заостренный образ. Но, за исключением только очень немногих, большинство критиков избегало подробно говорить о Фитингофе, может быть, потому, что его «прототип» в те дни еще функционировал в литературе. Обычно у нас так чутки ко всякому «стилевому разнообразию», а тут на пафлетную заостренность образа Фитингофа, благодаря которой он так резко отличался от остальных персонажей романа, никак не обращали внимания. Тем более ценишь мужественный голос писателя-коммуниста Бориса Левина.

Он любит родину, нашу социалистическую родину, он всем сердцем чувствовал, что она далась нам в боях, борьбе и труде. Временами он, непосредственно от себя, от Бориса Левина, распахнув двери в повествование, врывается своим взволнованным голосом на страницы книги: «Товарищи, я тоже с Красной армией входил в города. Нас тоже встречали рабочие, их жены и дети. Мне было тогда двадцать лет...» и т. д.<sup>1</sup> А то его голос звучал, как песня среди колхозного пейзажа. Вот как он видел колхозный лен: «А как он рос! Ах, как он рос! Жирный, густой. Как львиная грива. Двести гектаров колхозного льна. Когда мимо ехали кулаки, они морды ворочали. Сплевывали, завидовали:

— Во, как у них уродило.

Колхозный лен хватал их за горло.

Свежий, молодой, он рысью забегал вперед. Лен цеплялся за колеса. Кулаки сильнее по лошадям. Но все равно некуда было деться от большевистского льна»<sup>1</sup>.

В одной из своих последних повестей «На Врангеля» (изд. «Библиотека красноармейца») Борис Левин рисует образ молодого черноглазого лектора, которого красноармейцы прозвали «Робинзон Крузо». Лектор горячо верил в прекрасное будущее родины и со всей силой своей пламенной мечты и фантазии рассказывал бойцам, как чудесна будет жизнь человечества при коммунизме. Слушать Робинзона любили, однако, случалось, и посмеивались над ним. Во время боя Робинзон показал себя подлинным героем и был убит. Бойцы, расставаясь с ним навсегда, оплакали его, как героя, и поняли, какая прекрасная и мужественная душа жила в этом смешном, чудаковатом человеке.

Как в жизни Борис Левин стремился делать все «без фраз», так и в творчестве он любил мужественную сдержанность, благодаря которой глубина и сила внутреннего содержания, направленность и краски внешнего выражения звучат порой даже убедительнее и яснее. Подтекст, это якобы вольное, а на деле незаметно направляемое авторской рукой чтение между строками, при таком сдержанном письме часто бывает легче и прозрачнее, чем междустрочное чтение среди пышных словесных орнаментов и фиоритур.

Образы и сравнения Бориса Левина, как правило, лаконичны, почти всегда точны, без кричащих красок, а кроме того, неизменно доводят до читателя не только смысл, но и время, и настроение; и даже температуру этого настроения: «... голубенькие ситцевые цветочки льна...», «У ворот лежала лужа и блестяла, точно синяк...», «Морщины, точно мундштуки-узечки, сжимали вялый подбородок...», «Седой воздух...», «...пальцами обласкал треугольник бородки и усы цвета золы...», «Вспотевшее, алюминиевое небо...», «Белыми восклицательными знаками, запятыми и кляксами падал

<sup>1</sup> «Жили два товарища»

<sup>1</sup> «Одна радость», стр. 64.



лохматый снег...», «Нога казалась тяжелым протезом, наполненным сельтерской...», «...голова у него была такая большая, что на нее хотелось надеть уздечку...», «Никто не отвечал. Была тишина. Паркет блестел, как медь...», «Коричневая баранья шапка, точно гнездо аиста...» и т. д.

Он любит Чехова, Уот Уитмэна, Хемингуэя, Маяковского и многие произведения нашей советской литературы. Но все то, что влияло на него и впечатляло его, он выносил в мир вырванным по-своему, неповторимо, по-левински, как он любил и умел.

Жизнь идет. Новые молодые поколения советской литературы мужают у нас на глазах, новые читатели — тоже. И молодые наши литераторы, и молодые читатели, знакомясь с произведениями Бориса Левина, может быть, не

раз вспомнят слова любимейшего его современного поэта — Владимира Маяковского — о неумирающей силе горячего, сердечного слова, в котором всегда бывают свои «железки строк», — многие левинские строки можно тоже «с уважением ощупывать, как старое, но грозное оружие»: ведь у него тоже своя неподкупная сила любви и ненависти.

Возможно, вспомнят читатели и слова Уот Уитмэна, чей томик стихов комиссар Борис Левин носил в своей вещевой сумке в годы гражданской войны:

«Годы современности!.. Ваш горизонт встает, и я вижу, как он расступается...»

Борис Левин — писатель современности, и всегда ему видно, как встает и расступается все шире горизонт нашей родины, как растет всемирное торжество ее дела.

# Мастер эпического повествования

ОБ ИСТОРИЧЕСКИХ РОМАНАХ А. П. ЧАПЫГИНА

М. ВИНЕР

★

В нашей критике, за малыми исключениями, установилось какое-то безразлично-сниходительное отношение к историческим романам А. П. Чапыгина. Это досадно. Наша критика не уделяет им заслуженного внимания. Объяснить это можно лишь не изжитыми еще снобистскими предрассудками.

Несравненно больший художественный вкус проявили широкие круги читателей, среди которых романы Чапыгина пользуются большой любовью и популярностью.

Этому равнодушному признанию со стороны части нашей критики, по существу являющемуся молчаливым непризнанием Чапыгина, можно противопоставить свидетельство А. М. Горького, в течение ряда лет неуклонно повторявшего свою искреннюю высокую оценку этого мастера. А. М. Горький видел в Чапыгине замечательный пример таланта, пришедшего из народных низов, пример того, каких великих художников способны дать «люди весьма черненькие» русской деревни.

А. М. Горький, чьи литературные суждения отличаются огромной любовью к нашему искусству, широким взглядом и верным вкусом, дал о романе Чапыгина «Степан Разин» такой восторженный отзыв, какой он редко давал произведениям других современных писателей.

Алексей Максимович писал Чапыгину:

«Такой исторической книги в нашей литературе не было — так говорит мне

мое чувство... Для меня ваша книга — как старинное ожерелье, нельзя вынуть из него ни единой бисеринки».

В том же письме к Чапыгину Горький называет это произведение «совершенно исключительным».

Горький высказывает свое восхищение не только замечательным чувством прошлого, проявленным Чапыгиным в романе «Степан Разин», но и его оригинальностью и творческой самостоятельностью.

Горький пишет Чапыгину:

«Разина» читал с наслаждением, от всей души поздравляю Вас — хорошо пишете, сударь! Очень хорошо. И, как всегда, во всем — Вы оригинальны, всегда Вы особенный, очень густо и ярко подчеркнутый человек Алексей Чапыгин.

Вы и представить не можете, с какой радостью я, влюбленный в литературу всею душой и до конца дней моих, читал «Разина»...»

А. М. Горький успел прочесть лишь первую часть «Гулящих людей» и о ней писал Чапыгину (12 мая 1934 г.):

«Прочитана с великим интересом и радостью: книга будет хорошая и — надолго».

С обычной эмоциональностью, с которой Горький отзывался о Чапыгине, он писал ему в 1935 году: «Люблю... за северное сияние Вашего таланта».

Нелепо было бы допустить, что тут речь идет об обыкновенной вежливости и поощрительных комплиментах. Таких

восторженных похвал Алексей Максимович зря не расточал.

★

В своем автобиографическом произведении «Жизнь моя» Чапыгин о своем дооктябрьском творчестве заявляет: «В корне каждого произведения моего лежит протест и безбожие».

Нет надобности затушевывать тот факт, что наряду с художественным воплощением крестьянского революционного демократизма в дооктябрьских произведениях Чапыгина иногда слышатся и некоторые отзвуки декадентства. Крестьянин Олонецкой губернии, впоследствии мастеровой, Чапыгин как писатель боролся с влиянием декаданса и его стиля, господствовавшим в широких кругах литературы в начале нынешнего столетия, особенно после революции 1905 года. Однако в некоторых частностях он подпадал иногда под влияние декаданса. Дооктябрьское творчество Чапыгина не вполне свободно от некоторых натуралистических и символистских приемов, мотивов, образов, красок.

Между тем некоторые критики пытаются истолковать в положительном смысле все, что написано Чапыгиным и до советской эпохи. Один из критиков Чапыгина, например, об одном образе из повести «На Лебяжьих озерах» пишет: «...в лице Цапая — новый вариант крестьянско-демократической революционности». Или: «История Цапая — это часть биографии Котовского, Чапаева и других»<sup>1</sup>. Это — по меньшей мере преувеличение, а попросту говоря — неверно. Ибо мятежные настроения угнетенного крестьянства в характере чапыгинского Цапая выродились в удалую уголовщину человека «дна». Первоначально здоровые порывы Цапая оказались изуродованными под давлением общественных условий и под прямым заражающим влиянием лично-

сти «барина» и «старца» (основные образы повести «На Лебяжьих озерах»). Здесь нетрудно увидеть следы влияния Сологуба и других символистов, у которых мотивы Достоевского преломляются в своеобразную декадентскую разновидность.

Творчество Чапыгина освобождается от следов символизма и декадентства лишь после Великой пролетарской революции. Под творческим воздействием революции Чапыгин становится социалистическим писателем, и наиболее ярко это проявляется в его исторических романах.

Этот жанр требует истинности и подлинности в изображении трактуемой эпохи. Здесь нужны основательное знание эпохи и способность вникнуть в самую гущу ее жизни; требуется богатая сила творческого воображения как для познания, так и для интуитивного угадывания не только важнейших общих связей между историческими событиями, но и мельчайших интимных, бытовых деталей.

Это, бесспорно, так. В то же время историческая тема в целом является как бы огромной метафорой, посредством которой писатель выражает свое отношение к событиям и самой сути своего времени.

Трактовка исторической темы в художественной литературе в конце-концов определяется не документальным материалом, изученным поэтом, а его мировоззрением, его отношением к событиям и идеям своего времени, — ибо это отношение ведь и является ключом к объективному пониманию прошедших времен и их сущности. Ценность исторического повествования, безусловно, снижается, если его основное идейное содержание не соответствует передовому мышлению и мироощущению современности. Поэтому поэтический рассказ о прошлых временах является в то же время в большей или меньшей степени и повестью о настоящем.

<sup>1</sup> Б. Вальбе, А. П. Чапыгин. Жизнь и творчество. М. 1938. Стр. 92—93.

Книга Б. Вальбе написана с любовью и знанием, однако, многие положения автора вызывают возражения.

★

Способность творчески ощутить и художественно изобразить героя, вопло-

щающего в себе наиболее возвышенные стремления народа, — большое и редкое счастье. Такая способность зависит не только от личных свойств поэта. Но — и главным образом — от общественно-исторических условий, в которых художник создает свои творения. Героическая большевистская борьба за счастье человечества является для художника исходной точкой, дающей ему возможность разглядеть истинного героя. При всей доподлинности исторического рисунка в книгах «Степан Разин» и «Гулящие люди» явно чувствуется веяние нашего социалистического времени.

Чапыгин в наше время находит путь к эпическому. Мало у кого из наших писателей творчество в такой степени пронизано духом эпоса, который своими корнями глубоко уходит в народное сознание. Эпос есть цельное, поэтически обобщенное, пластическое повествование о признанном героическом деянии, направленном к достижению общенациональной или общечеловеческой цели. Собственно темой эпического народного повествования является жизнь и деятельность истинного героя.

Эпос является, как известно, поэзией действия, пластически видимого, а не поэзией невидимых чувств. В эпическом повествовании чувства и страсти играют огромную роль. Но в противовес «сентиментальному» роману нового времени, т.-е. роману, построенному в основном на изображении и анализе личных чувств, эпическое повествование коренится в стремлениях общества.

В исторических романах Чапыгина, как и во всех значительных повествовательных произведениях, общественное действие является двигателем фабулы. Его романы построены не на истории любви или иных личных страстей, а на общественных стремлениях изображаемой эпохи.

★

Стремление угнетенного народа разрешить накопившиеся в средневековом обществе противоречия, вывести общество из состояния отсталости на новый

путь развития является темой исторических романов Чапыгина.

Истоки социального мятежа в средневековье Чапыгин правильно видит там, где они действительно были: прежде всего в крестьянстве («Степан Разин»), а также в городском плембе («Гулящие люди»).

О средневековых восстаниях Маркс говорит:

«Все крупные восстания средневековья исходили из деревни, но и они, ввиду раздробленности, и связанной с ней крайней отсталости крестьян, оставались совершенно безрезультатными» (Соч., том. IV, стр. 42).

Происхождение городского плембса в средние века Маркс рисует следующим образом:

«В течение всего средневековья непрерывно продолжается бегство крепостных в города. Эти крепостные, преследуемые в деревнях своими господами, приходили по-одиночке в города, где они находили организованную общину, по отношению к которой они были бесполезны...» (Там же, стр. 41—42.)

Они оставались, по словам Маркса, неорганизованной чернью. Чуждые друг другу, а потому и противопоставленные другим городским сословиям, раздробленные, неорганизованные, они были бессильны. И несмотря на это, масса их, являющаяся, собственно, отцом современного пролетариата, была несравненно более проникнута мятежным духом, чем, например, подмастерья, не говоря уже о других городских сословиях.

Незрелые, стихийные, а потому трагические, революционные вспышки крестьянства и городского рабочего люда в средневековье и составляют содержание исторических романов Чапыгина.

С суровой правдивостью Чапыгин рисует затянувшуюся отсталость в развитии общества в допетровские времена, во второй половине XVII столетия, а вместе с тем и прекрасные качества русского народа, его мужественное стремление к свободе, достигшее тогда своей высшей точки в движении Разина и в ряде бунтов (соляной бунт, медный бунт, стрелецкие бунты и др.).

Чапыгин сурово и обнаженно рисует эту эпоху. Однако произведения его дышат почти чувственной любовью к народу, горячей верой в его творческие силы.

«Степан Разин» и «Гулящие люди» — глубоко русские произведения, рисующие огромной важности события в исторической жизни русского народа, но вместе с тем эти книги имеют и всеобщее значение, ибо в них изображены исторические моменты, в той или иной форме характерные для всей Европы с конца XV столетия и до конца средневековья. Это — книги о XVII столетии, но в то же время книги советские, так как по содержанию своему, по трактовке предмета они могли быть написаны только писателем нашей, советской эпохи. Любопытно, что именно по поводу аналогичного утверждения в отношении его произведений Чапыгин писал одному московскому писателю (30 декабря 1936 г.), что оно для него «неоценимо значительно».

★

Во всех значительных исторических романах, начиная с Вальтера Скотта, народ и его жизнь играют большую, но не основную роль. Главные герои этих романов крайне редко выходят из народных низов, выражающие стремления трудового люда. К значительным историческим романам, в которых в качестве центральных фигур изображены люди из народа, относятся такие произведения, как роман Манцони «Обрученные», роман де-Костера «Тиль Уленшпигель». Основные герои в романе Манцони — шелкоткач Ренцо и его невеста Лючия. И все же они далеко не «герои» в собственном смысле этого слова. В романе же де-Костера реалистическая ткань повествования прерывается туманной романтикой.

Главное «действующее лицо» романов Чапыгина — сами народные массы и представители их стремлений. Сами массы являются здесь той средой, в которой разыгрываются исторические события. Народные герои изображены без эмблем и аксессуаров, заимствованных у господствующих классов. Эти

герои наделены именно теми качествами и соответствуют тем представлениям, которые исходят от самого народа.

Великий мастер и основатель нового исторического романа — Вальтер Скотт вопреки консервативным элементам в своих воззрениях опирался в своих произведениях на поэтическое творчество народных масс. Поэтому и удались ему некоторые образы положительных героев. Черты для этих образов он заимствовал из облика народного героя, из благороднейших представлений народа о своих героях. Но для воплощения этих представлений он часто выбирал как раз таких людей, которых народ осуждал и ненавидел. Сведущие люди утверждают, что значительное число его героев из шотландского дворянства, все эти Дугласы, Мортонны, Эргилы и др., на самом деле были совершенно не такими, как у Вальтера Скотта, что они были «простой бандой клятвопреступников, воров и бандитов». Это своеобразное перемещение роли у Вальтера Скотта было следствием именно консервативных моментов в его воззрениях.

У Чапыгина в характерах Разина и его соратников нет ни следа сусальности. Автор не замалчивает ни отсталости, ни жестокости, ни разбойных черт в характере и поступках героев «Разина». То же относится к Сеньке и к другим героям «Гулящих людей». Впечатление «романтичности», какое производит на некоторых критиков образ Разина, вызвано в действительности не идеализацией этого образа автором, а поэтичностью и обаянием самой исторической личности. Недаром Пушкин говорил о Разине, что это — единственное поэтическое лицо русской истории. В Разине и в его движении трудовой народ видел воплощение своих чаяний. Он был любимым образом народной фантазии, народной песни. Ленин об этом «представителе мятежного крестьянства» произнес 1 мая 1919 года речь на Красной площади («Речь с Лобного места на открытии памятника Степану Разину», Соч., том XXIV, стр. 271). Товарищ Сталин в беседе с писателем Эмилем Людвигом заявил:

«Мы, большевики, всегда интересовались такими историческими личностями, как Болотников, Разин, Пугачев и др.<sup>1</sup>».

«Романтические» черты в образе Разина у Чапыгина, если не всегда документально историчны, то, во всяком случае, они правдиво отображают те черты Разина, которые запечатлелись в народной душе, отвечая передовым стремлениям народа. Уже одно это делает эти черты глубоко историчными. Перед нами тот вид «романтики», тот уход за пределы документально установленного, который вскрывает смысл исторической традиции, а потому и есть правда не в меньшей степени, чем сами документы.

Образы своих героев Чапыгин черпает из глубин народа и его истории. В них познаны и запечатлены затаенные свойства и возможности народного характера в его историческом развитии. Это — глубоко национальные воплощения общечеловеческих передовых стремлений. И поэтому мы, внимательно взглядевшись, находим в них в зародыше черты не только таких личностей, как Чапаев, но и героев других национальностей нашей великой пролетарской революции. Характеры столь разных эпох взаимно объясняют друг друга. Чапыгин, таким образом, внес свою долю в правдивое художественное понимание современного коммунистического героизма.

Убедительно данный Чапыгиным образ героя является «точкой опоры» для правдивого жизненного изображения как его героического окружения, так и его противников и врагов, которые у Чапыгина охарактеризованы не менее полнокровно, чем положительные характеры. Чапыгин дает широчайшую социальную характеристику эпохи, охватывая самые разнообразные слои общества, от царя и шаха до народных низов. Произведения Чапыгина чрезвычайно богаты драматическими характерами: Разин, Лазунька Жидовин, Петр Мокеев, Черноярцев, Чикмаз,

юродствующий философ и атеист Григорий, Иринеица — образ, в котором своеобразно смешаны черты лиризма, патетической страсти и кликушества, старик боярин Киврин, фанатик царизма, по-собачьи ему преданный, предатели Федько Шпынь и Васька Ус, мечтательный сказитель Вологжанин. Еще резче, может быть, запечатлеваются в памяти некоторые образы романа «Гулящие люди»: Сенька — нечто вроде реалистического, плебейского Бовы королевича или Еруслана Лазаревича; его учитель — фанатик свободы Таисий; изумительно обрисованный характер патриарха Никона с своеобразной смесью черт церковного реформатора, тирана-узурпатора, мелочной самовлюбленности, тщеславия и распутинских замашек; замечательные женские типы боярыни Малки, нищенки Ульки и женщины-богатыря Домки; резко очерченный тип провинциального сатрапа — старика воеводы Бутурлина; характеры царя Алексея Михайловича и протопопа Аввакума, фанатика старообрядчества и врага Никона, напоминающего, несмотря на разницу в их стремлениях, образ Лютера; портреты юродивого Федора, стрельца Лазаря, московского купца Луки Семеновича Мешкова, плутоватого пьяницы монаха Анкудимки; бояре и дворяне: Стрешнев, Хитрово, Бегичев и десятки других типов и фигур. Вся эта огромная галерея образов развертывается на фоне разнообразнейших ситуаций, насыщенных высоким драматизмом.

★

Политическое возмущение против царя, против бояр и дворянства не всегда вырастает до восстания. Оно может, в зависимости от исторических условий, отклониться в сторону от прямого пути и принять искаженные формы, вроде разбойничества, самосожжения, участия в политической борьбе на стороне реакционных групп и т. д. Точно так же и возмущение народа против церкви — одного из жесточайших его угнетателей — не всегда вырастает до отрицания основных устоев религии, до атеизма. В определенных исторических

<sup>1</sup> Ленин — Сталин. Сборник произведений к изучению истории ВКП(б), том III, стр. 527.

условиях мятежи против религии могут принимать чудовищно искаженные, болезненные формы. В образе юродствующего атеиста дедка Григория Чапыгин дает тонкое толкование столь типичного для русского прошлого явления религиозного юродства вообще. В эпоху, когда религиозные представления владеют умами народных масс, даже возмущение против религии принимает обычно религиозные формы (ереси, сектанства, раскольничества и т. п.). Если эти мятежные стремления скованы тяжелыми общественными условиями, преследованиями и т. п. и проявлению их нет исхода, они могут превратиться в истерическую одержимость и вылиться в жалкую, уродливую форму аскетического, эротического или вообще экзальтированного юродства и кликушества. Это явление Чапыгин вскрывает в замечательных художественных образах.

★

Почему мы с таким напряженным участием следим за судьбой героя в эпическом повествовании? Чем объяснить нашу «наивную» радость по поводу его побед? Чем вызывается тот разряд душевного напряжения, то чувство освобождения, с каким мы следим за деяниями героя в эпосе? В чем заключается их пленительное воздействие на нашу душу?

Эпос изображает человека, свободного в своей воле и действиях или же своими действиями стремящегося к этой свободе. Свободного в своем отношении к несправедливым оковам отсталого общества и — в фантастических частях эпоса — даже в отношении законов природы. В мифологических, легендарных или фантастически сказочных частях эпоса изображение этой свободы иррационально: это лишь в воображении осуществленные общечеловеческие мечтания. Свобода основывается здесь на сверхъестественных силах и чудесах. В более реалистических в собственном смысле слова «былинных» частях эпоса свобода выступает как результат необычайной, но естественной

одаренности человека: могучести его силы, знания, мудрости, хитрости, при помощи которых герой одолевает и покоряет даже сверхъестественные силы. Вера в творческие возможности человека составляет основу таких представлений. Собственный смысл и глубочайшее значение эпоса в том именно и заключается, что он представляет собой драматическую или трагическую повесть о героическом действии, направленном к высоким целям.

Наивысшим выражением человеческой свободы является, однако, освобождение от страха смерти в стремлении достичь самых возвышенных общечеловеческих идеалов. Наивысшим качеством героя является его способность посредством свободного, справедливого, решительного и мужественного действия преодолеть противоречия жизни, опасности и смерть. Отсюда и то разряжающее действие, то освобождающее чувство глубокого удовлетворения, которое дает нам описание эпически «наивного», не раздвоенного в душе, уверенного в себе героя, совершающего подвиг. Мы испытываем радость и наслаждение при виде того, как человек разбивает оковы уродливого, несправедливого общественного порядка, как он покоряет необузданную природу. Нашими переживаниями мы как будто сами участвуем в покорении жизни, в преодолении смерти. А эти чувства, вызываемые эпическим повествованием, в свою очередь содействуют открытию новых источников творческой деятельности человека.

То впечатление эпичности, которое вызывают исторические романы Чапыгина, кроется именно в этих чертах подлинного «наивного» героизма.

★

Чапыгин обладал необычайной способностью вживаться в изображаемую историческую эпоху. Мы разумеем не «историческую экзотику» — знание старорусской одежды, истории нравов и старорусского интерьера. Все это играет у Чапыгина подчиненную роль, хотя он мастерски владеет материалом.

Речь идет о подлинно эпическом дыхании, чувствуящемся в «Степане Разине» и в «Гулящих людях», о творческой смелости, не боящейся народной «наивности» в построении образа, характера, фабулы, сюжета и ситуации. Чапыгин не боится опасностей, которыми чревата для современного художника подобная фольклорно-«наивная» эпическая трактовка. Он преодолевает эти опасности, он избегает как примитивной иррациональной фантастики, так и декоративной экзотики, проникая в реалистическую суть народного, эпического понимания.

Предпосылкой народной «наивности» является согласие (в той или иной мере) между чувствами и мышлением, согласие с самим собой, с «собственным чувством человечности» (Шиллер). Оно, это согласие, находит свое выражение в естественной, «интеллектуально» нераздвоенной внутренней цельности и простоте. Черты эпической пластичности у Чапыгина коренятся именно в этой народной наивности.

Явственно выступает эпическая «наивность» у Чапыгина в народносказочном характере фабулы и действия. В русском сказочном творчестве есть вид сказок, которые сохраняют смелый, свободный полет фантазии и вместе с тем насквозь насыщены бытовой правдой жизни. Элементы фантастики служат здесь прочным стержнем для правдивого, реалистического повествования. Как традиционные, так и созданные поэтом новые элементы фантастики являются в данном случае как бы символами, образными «формулами» для обобщенного векового жизненного опыта народных масс. Сказочные элементы в повествовательной манере Чапыгина чрезвычайно родственны этому типу реалистической сказки.

★

Что бы ни изображал Чапыгин, — людей, интерьеры, улицы, площади, домашнюю рухлядь, одежду, оружие, осадные орудия, корабли и т. п., — все у него чувственно осязаемо, пластично и красочно. Яркая живописная красоч-

ность является одной из преобладающих черт повествовательного стиля Чапыгина. Его краски чисты, без примесей, светятся благородным блеском. Однако живописание вещей не является для него самоцелью. Через живописные творения рук человеческих он уточняет положение человека в обществе и степень развития самого общества. Живопись внешнего облика подчинена идейному смыслу повествования.

Историческую атмосферу Чапыгин воссоздает не мнимым колоритом эпохи, изготовленным при помощи «цитат» из документов. «Цитаты» появляются у Чапыгина лишь в качестве подсобного средства, в качестве свидетельского подтверждения поэтических видений.

Оптический рисунок сопровождается «акустическим»: наглядность сочетается с воспроизводимым звучанием слов эпохи — поэтически восстановленным языком ее. При этом не так уж существенна точность воспроизводимого Чапыгина внешнего облика и языка, документальное их соответствие, как оно воспринимается педантом. Решающим является то, дают ли эти образы правильное ощущение сути изображенной эпохи. И если каким-нибудь педантом будет доказано, что та или иная деталь в повествовательном языке Чапыгина является «анахронизмом», — ее следует расценивать как условную поэтическую метафору. Такая метафора, в случае удачи, гораздо жизненнее и правдивее воспроизводит характерные черты эпохи, нежели лингвистически правильный, в поте лица добытый словарь того времени. Ибо самое скрупулезное воспроизведение языка прошлого все же заключает в себе много условного. Основными источниками условного исторического языка Чапыгина являются, конечно, исторические и литературные документы. Не в меньшей степени, однако, Чапыгин черпал для этой цели из диалектов, местных говоров и фольклора, проявив при этом здоровое историческое и художественное чутье. Эти источники до настоящего времени сохранили немало исторического языкового материала, исчезнувшего из лите-



ратурного языка. Красочности и выразительности своего стиля Чапыгин достигает благодаря тесной связи с народом и его языком, благодаря народному образу речи и повествования.

Ал. Блок, как известно, сказал о Чапыгине: «...в нем живет настоящая любовь к языку, он произвел над собой самим прежде всего — громадную внутреннюю работу, и эта любовь и работа ему возмещается сторицей, когда он, может быть, и сам этого не ждет».

О языке романа «Гулящие люди» Горький в письме Чапыгину от 12 мая 1934 года пишет: «Глубоко вы чувствуете старину, и поражает меня ваше знание языка».

Горьковская критика отдельных деталей в языке относится в основном к тому, что Чапыгин использовал ряд малоизвестных диалектизмов без достаточных пояснений для читателя. Но это не умаляет общей оценки, данной Горьким языку Чапыгина.

★

Чапыгин легко находит все новые и новые ситуации, эпизоды, фабульные положения, мотивы и детали. Фантазия его легко переносится от одной среды, одного быта к другому, в корне отличающемуся от первого, от одной ситуации к другой, совершенно другого характера. С Красной площади в Москве и из московских слобод, — в Поволжье, в степь, в лес, в Персию; от царских хором — к рембрандтовски освещенному кабаку, от боярско-дворянской среды — к среде бродяг и нищих; от быта царских дьяков, посадских людей, стрельцов или купцов — к быту городских низов, крестьян, бурлаков, монахов, юродивых и блаженных. Чапыгин рассказывает о пытках в царских застенках и о могучих пирах героев, о юродивых философах и о разбойниках, о пьяницах, о гулящих девках и о фанатиках-сектантах. Он рассказывает о варварски расточительном богатстве и нечеловеческой нищете, о братской преданности на всю жизнь и о подлой, хитрой измене; о глубоко трогательной нежности наряду с дикой жестокостью

(незабываем эпизод, когда Разин убивает невинного и трогательно преданного персидского стрельца, — в этом эпизоде чувствуется что-то роковое, шекспировское); о вакханалиях разврата и строгом аскетизме, о бушующей игре страстей и холодном, безжалостном расчете.

Эта свобода в переходе от одного мотива к другому свидетельствует не только о богатой фантазии рассказчика (что Гете называл «Die Lust zum Fabulieren»), но и об огромном внутреннем творческом накоплении. Необычайное, неожиданное или «авантюрное» развитие определенных положений и эпизодов подчеркивает характерное для моментов восстания настроение, когда перед забытыми, угнетенными людьми на одно мгновение разверзаются небеса и перед их взором вспыхивает ослепительный блеск чудесных возможностей новой, счастливой для человечества эпохи. Ведь и смысл чудесных неожиданностей в эпической народной сказке по существу заключается в том, что казавшееся невозможным достижимо при помощи человеческого творчества, усилий и борьбы.

★

К чертам эпической «наивности» следует отнести и ту непринужденность, с какой народ в своих повествованиях излагает самые необычайные, страшные или причудливые факты, словно речь идет об обыденных событиях. Этого рода непринужденность мы находим и у Чапыгина.

Идя путями народного повествования, Чапыгин сосредотачивает свое внимание на наиболее ярких и разительных моментах в истории общественного быта и нравов. Большое сравнительно место занимают в его книгах картины царско-боярской карательной практики в различных средневековых «пытошных камерах», застенках, на лобном месте, в тюрьмах, приказах и т. п. Этого не следует смешивать со склонностью некоторых творцов народной лубочной литературы к страшным и жестоким мотивам. Наоборот, в этих

картинах следует усмотреть подлинный исторический момент, переданный с наглядностью, свойственной народному сказителю.

Жестокая карательная практика была характерной чертой изображаемого Чапыгиным общественного строя, являясь одним из основных средств подаяния прогрессивного развития общества. Без ее изображения было бы трудно воспринять положение народных масс, характер народного мятежа, героизм восстания.

Может показаться, что Чапыгин безжалостен и даже жесток в изображении событий и действий, а также грубо сти быта и нравов того времени. Но картины этого «человеческого, слишком человеческого» в его произведениях глубоко проникнуты трагическим пафосом и человечностью.

Фламандски-голландские черты в картинах Чапыгина имеются в «пафосе тела», в светотени интерьеров, в элементах реалистического гротеска. Картины пыток, образы Кивриных, Бутурлиных и других палачей народа напоминают черты жестокости в испанской портретной живописи (Греко, Веласкез, Гойя). Эти свойства чапыгинской живописи коренятся в его стремлении к строгой правдивости и проникнуты преклонением перед благородной стойкостью народа.

В своей автобиографической книге Чапыгин рассказывает, как Короленко когда-то говорил ему об одном из его ранних рассказов из жизни городской бедноты: «...и все это написано у вас грязью и кровью». Но тотчас же добавил: «Достоинство ваше в этой безобразной сцене то, что так и было». Десятилетиями позже Чапыгин в своих исторических романах нашел средства для того, чтобы именно красками крови и грязи, картинами страшного бедствия народного дать засверкать самым благородным и возвышенным мечтам народа.

Яркость живописи Чапыгина не имеет никакого отношения к натуралистическому любопытству, к склонности копаться в затаенных уголках человеческой жизни. Это — народная, простая,

строгая честность, докапывающаяся до корня и без прикрас рассказывающая суровую правду. Сквозь «грязь и кровь», сквозь пласты отсталого, грубого быта, порожденного жестоким угнетением, светится чудесный лик народа, его человечность, его неистребимое стремление идти вперед. Вопреки неприглядности и чертам «физиологичности» (как Чапыгин это иногда называет) в жизни масс перед нами возникает мощная картина благородной и творческой героики. Жестокость живописи Чапыгина несравненно глубже и сильнее содействует укреплению веры в силы народа, вызывает несравненно более истинные чувства любви к народу и передовой национальной гордости, чем прилизанные и сусальные изображения исторического прошлого.

Там, где это необходимо, Чапыгин не боится самых резких или «страшных» мотивов и красок. Мало найдется писателей с талантом и вкусом, которые отважились бы дать такую картину, как заключительная картина романа «Степан Разин», где смертельно больная Иринеица велит принести себе отсеченную голову ее возлюбленного — Разина, обмывает, обряжает ее, кладет на серебряное блюдо и оплакивает ее с потрясающими причитаниями. Этот сугубо сказочный мотив отпугнул бы любого писателя рискованностью резкой фантастики или даже пошлости. А у Чапыгина эта причудливо-жестокая картина проникнута наивным эпическим пафосом. Она написана с большой простотой, непринужденностью, редким тактом и вырастает в изумительный заключительный аккорд книги, в реалистический апофеоз вечно человеческой высокой любви.

В трагической, беззаветной преданности Иринеицы символизирована любовь народа к своему герою — борцу за его освобождение. Сквозь призму сказочной фантазии книги Чапыгина реалистически рисуют человеческие страдания, страсти и мечты.

Женские образы Чапыгина — Иринеица, Улька, Домка, Малка — изумительные драматические характеры. Они являются прекрасными воплощениями

вековых представлений народа о страстно-трагической, самоотверженной женской любви. При всей необузданной страстности Ириньицы и Ульки и несмотря на мощную рубенсовскую телесность Домки, эти образы глубоко лиричны. В них есть та правда жизни и человечности, которую мы встречаем в женских образах народной сказки. Некоторые черты в характере этих женщин — черты беззаветной и предельно самоотверженной преданности — делают их похожими на знаменитые клейстовские женские образы. Но в чапыгинских женских характерах нет тех рабски недостойных черт, которые имеются в женских типах Клейста.

Изображая угнетение народа, Чапыгин сосредотачивает свое художественное внимание главным образом на наиболее резких моментах: кары, пытки, притеснения и т. д. В гораздо меньшей степени Чапыгин рисует негласные пытки будней, повседневной жизни крепостного мужика, городского пролетария. Жаль, что Чапыгин при его необычайной способности интимно и глубоко проникать в гущу жизни прошлого не дал более подробной картины рабочего дня, домашнего и семейного быта крепостного крестьянина, городского пролетария и ремесленника той эпохи. Но, несмотря на этот недостаток, в обеих драматических эпопеях Чапыгина народная жизнь бьет ключом.

★

Во второй половине «Степана Разина» развитие действия и событий слабее, чем в первой. Некоторые мотивы повторяются, варьируются. Поэтому местами создается впечатление растянутости. К середине книги действие доходит до той точки, где начинается спуск: история распада, измены, отчаяния и гибели. О новых активных действиях говорить уже не приходится. Развитие действия на определенном протяжении идет уже больше по хронологическому, чем по драматическому, пути. Причина здесь заложена, возможно, в данном историческом сюжете. Но вместе с тем именно во второй половине

книги с потрясающей силой изображена трагедия гибели, трагедия слишком ранних революций при не созревших еще общественных условиях. В результате победы подавляющих сил врага разлагается моральная сплоченность в лагере восстания, личное врывается в политическое, становится поперек дороги общественному действию.

В смысле композиционного построения и законченности сюжетного развития «Степан Разин» более совершенен, чем «Гулящие люди». Но, если не считать четвертой части, роман «Гулящие люди» во многих других отношениях богаче, более сосредоточен, а быть может, и вообще художественно значительнее, более зрел. «Степан Разин» поэтичнее, ближе к характеру былинного сказа. «Гулящие люди» более пропитаны бытом.

★

Чапыгин умер, не доведя до конца работы над «Гулящими людьми». Не реализован конец действия: организация Сенькой стрелецкого восстания.

В примечании от издательства, в конце четвертой книги романа, говорится: «А. П. Чапыгин считал четвертую книгу романа «Гулящие люди» последней книгой, но думал еще написать послесловие, заключающее в себе описание первого стрелецкого восстания».

Есть, однако, основание думать, что «короткие записи» Чапыгина, найденные в его архиве (содержание их излагается в названном примечании), были бы темой не для «послесловия», как полагает издательство, а для пятой книги романа. Первоначально Чапыгин, действительно, предполагал закончить роман четвертой книгой, включив и описание стрелецкого восстания. Поэтому он и считал, что труднее всего ему будет писать четвертую книгу. Но обилие материала заставило его отложить окончание романа до следующей пятой книги. Автору этих строк Чапыгин писал 30 декабря 1936 года: «Буду писать четвертую часть, самую трудную, а окончу ли ею, пока не вижу».

Уже из этих слов ясно, что Чапыгин далеко не был уверен, закончит ли он роман четвертой книгой. А из всей структуры романа вытекает, что ограничиться одним эпилогом не было бы возможно. Нехватает недописанной пятой книги.

Из письма Чапыгина от 30 декабря 1936 года видно, что Чапыгин тогда лишь собирался засесть за четвертую книгу. Несколькими неделями позже он тяжело заболел. В мае 1937 года он закончил работу над этой книгой. В октябре того же года он умер. Четвертая книга романа «Гулящие люди» несравненно бледнее, менее проработана, нежели первые три. На этой части романа лежит печать торопливости. Временами создается впечатление, как будто другой одаренный писатель — как это встречается в истории литературы — попытался дописать конец незаконченной книги по материалам, предварительным записям и в стиле автора. Но это ему не совсем удалось. Несмотря на отдельные очень интересные и сильные эпизоды и места, этой книге в целом не хватает столь характерных для Чапыгина наглядности, красочности, драматичности, обычного блеска. Возможно, что сказалось уже его болезненное состояние перед смертью.

Но и в том виде, как он есть, роман по существу закончен и является ценнейшим вкладом в советскую литературу и в исторический роман вообще.

★

Если внимательно присмотреться к сюжету и фабульному развитию романа «Гулящие люди», в нем легко распознать связь с традициями жанра роман-*picaresco* (la novela *picaresca*). В «Гулящих людях» мы находим почти все существенные признаки этого жанра. По существу роман-*picaresco* с момента его возникновения в Испании представляет собой историю человека, не по своей вине вытесненного из общества, из обычных для него среды и быта, — историю его жизни и приключений в поисках нового места, новых путей в жизни.

Название романа-*picaresco* неточно переводится на немецкий язык, как *Schelmengoman*; по следам этой дурной традиции и по-русски этот жанр обозначается как «плутовской роман». Несравненно ближе к действительному значению слова «*picaresco*» понятие «гулящий человек».

Известно, какую роль играло бродяжничество в Европе с конца XV столетия, когда часть крестьян вследствие роспуска феодальных дружин и главным образом вследствие насильственной экспроприации земли феодалами превратилась в нищих, бродяг и разбойников. В течение XVI столетия по всей Европе один за другим издавались кровавые законы против бродяг.

«Отцы теперешнего рабочего класса были прежде всего подвергнуты наказанию за то, что их насильственно превратили в бродяг и пауперов». (Маркс, «Капитал», том I, Соч., том XVII, стр. 803). Им выжигали клейма на теле, их пороли, вешали, отрубали им руки и ноги, отдавали в рабство. В Англии, в царствование Генриха VIII, по свидетельству Томаса Мора, было казнено 72 тысячи таких «гулящих людей». В царствование королевы Елизаветы их вешали рядами, ежегодно до 300—400 человек (Маркс, там же.) Нечто подобное происходило и во Франции, и во всех других европейских государствах, где господствовало крепостное право.

Схожи с европейским бродяжничеством и русские «гулящие люди», о жизни которых Чапыгин рассказывает в своем изумительном романе.

*Picaresco* в литературе — все равно, крестьянского ли он происхождения, или же он происходит из городского плебса, или из сельского мелкого дворянства — является представителем бродяжничающих масс. Общеизвестно, какое огромное значение роман-*picaresco* имел для развития европейского романа как жанра. И все же в новом историческом романе мы чрезвычайно редко находим изображение бродяги, *picaresco*. Вальтер Скотт дает интересное изображение его в своем романе «Квентин

Дорвард». Но там бродяга играет лишь второстепенную роль. Виктор Гюго в «Соборе Парижской богородицы» счастливо нашел тему «гулящих людей» и нищих, но не так счастливо разрешил ее. Причина тому — обычная для него «романтическая» трактовка, роковая склонность к преувеличенным гиперболам, к неубедительному декоративному гротеску, к многоречивым рассуждениям и рассеянности в изложении.

У Чапыгина старый роман о рикаго совершенно преобразился, получил новый смысл и оригинальное, самостоятельное развитие. В «Гулящих людях» старая тема о рикаго очищена от мещански дешевой, сенсационной, приключенческой фабулы, а также от декоративной «романтики». История рикаго приобретает здесь эпическое дыхание, драматический пафос. Ибо обездолен-

ный человек из народа, предшественник пролетариата с его скитаниями и исканиями, изображен Чапыгиным в свете его последующей исторической реализации. В тогдашних его случайных, бесцельных и бессмысленных приключениях найден их скрытый смысл. Старый роман о рикаго получает у Чапыгина новое развитие в форме революционной Одиссеи средневекового мятежного крестьянства и городского плебса.

★

Заслуга Чапыгина состоит в том, что он с большим художественным талантом рассказал об исторической революционной традиции русского народа и — в форме повествования о прошлых временах — изобразил мощь, творчески мятежный гений, вечно живую силу народа.

# Кто правит Америкой\*

(Из книги Ф. Лундберга «Шестьдесят семейств Америки», Нью-Йорк, 1938 г.; «America's 60 Families». Lundberg F., The Vanguard Press, 1938.)

★

## ФИЛАНТРОПИЯ, ИЛИ НЕКОММЕРЧЕСКИЕ ИНВЕСТИЦИИ

Читатель, приступающий к этой главе, должен приготовиться войти в подземную пещеру современного капитализма, отбросив при этом всякие иллюзии о якобы великодушных дарах экономических баронов на пользу человечества. Как видно из объективных фактов, эти иллюзии, питаемые газетами и различными прессбюро, весьма мало обоснованы.

Можно, однако, задать вопрос: но разве Рокфеллеры не отдали от 500 до 700 млн. долларов своего состояния, как об этом точно указывали газеты? И разве другие американские архимиллионеры не были такими же щедрыми жертвователями? Разве научные учреждения не воспользовались их дарениями, равно как и крупные артистические и культурные предприятия, — симфонические оркестры, оперные театры, университеты?

На эти вопросы приходится дать отрицательный ответ.

Совершенно справедливо, что несколькими лицами была проявлена некоторая доля бескорыстной благотворительности, но она тонет, как брошенный в воду камешек, в грандиозных описаниях псевдоблаготворительности. Фактически баснословно богатой Америкой было пожертвовано «на пользу человечества» очень незначительное количество денег, и при этом большая часть пожертвований была произведена после введения в действие в 1913 г. подоходного налога.

Очень интересны в этом отношении исследования профессора Линдемана, разоблачающего распространяемые газетами сведения, что на филантропию якобы идут крупные суммы. Изучив тщательным образом сделанные в Нью-Йорке за период 1927—1933 гг. завещания, Линдeman пришел к заключению, что 94 проц. завещателей передали 94 проц. своих состояний своим родственникам и друзьям. Поскольку в Нью-Йорке сконцентрированы самые круп-

ные состояния страны, распределение частных состояний в размере 11 500 000 000 долл. в течение семи лет — вполне авторитетное доказательство того, как распоряжаются в США богатые люди своим имуществом.

Сведения о филантропической деятельности за предшествующее время носят такой же характер. Ллойд в книге «Богатство против общества» приводит отчет Нью-йоркской Ассоциации госпиталей за 1893 г., в котором указывается, что, в связи с прекращением индивидуальной конкуренции и развитием крупнейших корпораций и трестов, доход благотворительных организаций значительно упал. Замечавшаяся и ранее тенденция к сокращению пожертвований на общественные нужды — по сравнению с расходами на другие цели — продолжается. Народный доход США за 1936 г. превышал доход 1932 г. на 48 718 000 000 долл., т.-е. на 61 проц.; за этот же период времени доходы 105 самых крупных промышленных корпораций увеличились на 3 975 проц., в то время как пожертвования на колледжи сократились на 18 проц., на благотворительные нужды общин — на 24 проц. и на общие благотворительные цели — на 29 проц.

Исследование филантропии США сразу обнаруживает, говорит социолог Эпштейн, скорее скупость богатей, чем щедрость. Даже поверхностный анализ показывает, что миф о необычайной щедрости миллионеров не имеет никакого твердого основания; можно говорить в крайнем случае лишь о благотворительности нескольких лиц, раздавших незначительную часть своих необычайно крупных состояний. Среди массы же состоятельных людей нашего времени лишь немногие сделали какие-либо пожертвования, даже в самом «щедром» городе — Нью-Йорке.

Эпштейн указывает, что частная благотворительность никогда не в состоянии облегчить все увеличивающиеся трудности, свойственные капиталистическому строю, кроме того, она встречает серьезные возражения и по другой причине. При нынешней системе частной благотворительности все ее бремя падает почти ис-

\* Окончание. См. «Новый мир», № 8, 1940 г.

ключительно на нескольких щедрых богачей и вместе с тем на огромную массу бедных работников наемного труда, которые не в силах отказать в пожертвовании, когда хозяин «просит» их об этом. Таким образом, эта система в корне противоречит современным принципам справедливого, пропорционального распределения социального бремени, так как большинство состоятельных людей при этой системе полностью избавляет себя от оплаты своей доли.

Рассмотрение данных о пожертвованных на филантропические цели суммах показывает, что в США весь основной капитал филантропических организаций составляет сумму менее 1 млрд. долларов. В то же время годовой доход 500 наиболее богатых частных лиц превышает сумму в 1 млрд. долларов. Личные же средства этих лиц превышают 20 млрд. долларов.

Пожертвования только двух лиц — Рокфеллера и Карнеги — составляют почти 60 проц. всего капитала 123 филантропических организаций США, подвергнутых исследованию специальным органом, так называемым «Фондом двадцатого столетия», к слову сказать, также финансируемым одним «филантропическим» миллионером. Все «60 семейств Америки» или их представители, как показывает это исследование, так или иначе участвовали в филантропии, а вернее в псевдофилантропии.

Некоторые организации основаны, видимо, лишь с целью поддержания общественного престижа архимиллионеров. Менее богатые, но стремящиеся быть еще богаче, подражают архимиллионерам, хотя основанные ими организации совершенно нежизненны и часто состоят лишь из одной канцелярии, небольшого банковского счета и представительного секретаря.

Необходимо отметить, что размер капитала далеко не всегда характеризует размер годовых поступлений, так как некоторые из организаций отдают часть своего дохода обратно в основную капитал.

За исключением пожертвований Карнеги, Сейджа и Юлия Розенвальда, ни один из сравнительно даже скромных капиталов не был полностью пожертвован и «отдан». Жертвователь почти во всех случаях удерживал за собой контроль над инвестированными в филантропических организациях суммами, представляющими собой портфели с облигациями и акциями подконтрольных дарителям корпораций. Кроме того, «даритель» обычно входит в состав совета и директората опекаемой им филантропической организации.

Что же в таком случае представляет собой процесс «пожертвования»? А вот что: жертвуется филантропической организации в сущности не капитал, а лишь его титул, т. е. доход от капитала, вместо того, чтобы выплачиваться жертвователю в виде дивидендов и процентов, используется в различных сферах благотворительной, полублаготворительной, ложноблаготворительной, антиблаготворительной и антиобщественной деятельности.

Самое существенное в этом то, что, жертвуя капиталы благотворительным организациям, лица, сохраняющие за собой контроль над по-

жертвованными суммами, избегают уплаты как налога с наследства, так и подоходного налога. Закон разрешает сделать скидку в 15 проц. с чистого, подлежащего обложению налогом, дохода, если эта часть дохода передана в данном году филантропической организации и даже если сумма капитализирована, а не истрачена на благотворительные цели. Таким образом, если «филантроп» видит перед собой перспективу уменьшения своей финансовой мощи от налогового пресса, он, конечно, использует эту оговорку закона о налогах и фактически увеличивает свою мощь, помещая как доход, так и самый капитал в лично им контролируемые филантропические фонды.

В результате, широкая публика имеет преувеличенное представление об общем размере таких фондов и о благотворительности отдельных лиц. Бездетный Карнеги передал благотворительным организациям 350 млн. долл., т. е. 80 проц. своего состояния. Из этой суммы 62 млн. ушло в Англию и 288 млн. осталось в США. Ввиду того, что Карнеги не связывал свои пожертвования никакими личными указаниями, кроме их благотворительного назначения и «вечного функционирования», его пожертвования можно считать уникальными, хотя и в деятельности так называемой «Организации Карнеги», как и во всех прочих, имеется немало неправильных устремлений и тенденций.

Из анализа деятельности этой организации видно, что большая часть пожертвований израсходована на устройство библиотек, музеев, колледжей и др. учебных заведений. В последние годы «Организация Карнеги» сделала крупные пожертвования на воспитательные цели, которые могут считаться культурными и прогрессивными. Но и тут можно усмотреть, что, если не все, то большая часть денег распределена через посредство Американской Ассоциации обучения взрослых, главным администратором которой является бывший служащий Корпорации Карнеги. При таких условиях нельзя ожидать, что проблеме воспитания будет оказано, действительно, должное внимание. На самом деле, эта Ассоциация расходует большую часть средств на жалование своим служащим, на печатание трудов и на исследовательские работы.

Размер рокфеллеровских пожертвований на так называемые филантропические цели был особенно преувеличен газетами в силу того, что прессбюро Рокфеллеров время от времени помещало повторные сообщения об одних и тех же пожертвованиях. При этом многие, получая неправильное представление о характере этих пожертвований, не смогли уловить разницы между дарением в форме основного капитала и доходами самой организации. Надо учесть также и то, что понятие «дарение» является широко толкуемым и не связывает ни в чем филантропов. Так, старший Рокфеллер, как мы знаем, делал сенаторам и представителям палаты тоже «дарения», которые некоторые люди неадекватно называли вятками.

Из отдельных «благотворительных дел» Рокфеллеров можно указать, например, включенное газетой «Таймс» и журналом «Форчюн» в

число дарений «пожертвование» 250 тысяч долларов нефтяному институту, главной обязанностью которого было всячески сражаться за тарифы, подкупать нужных людей и устраивать соглашения о продаже продукции между нефтяными компаниями.

В какой же мере отдельные пожертвования младшего Рокфеллера из его огромного дохода можно считать филантропическими? Возьмем один пример. Джон Рокфеллер младший назначил 14 млн. долл. для реконструкции города Вильямсбурга в Виргинии — в таком виде, как этот город существовал когда-то в колониальный период американской истории. Такого рода филантропическое мероприятие, являясь не больше, не меньше как комбинацией рекламы с игрой на патриотических чувствах населения, — в то же время и прекрасный метод снижения облагаемого налогом дохода.

Другим еще более сомнительным пожертвованием Рокфеллера являются 22,5 млн. долл. на военные цели в 1914—1918 гг.

Что же, наконец, дала филантропия Рокфеллеров бесспорно полезного в настоящем смысле слова? Рокфеллеры отдали часть своего дохода, но не весь доход. Расчет, сделанный на основании опубликованных материалов рокфеллеровских организаций, показывает, что из их баснословных доходов не более 22,5 млн. долл. было пожертвовано. Ввиду того, что около 100 млн. из этого дохода было капитализировано Чикагским университетом, Рокфеллеровским институтом и Китайским медицинским бюро, а также и другими контролирующими Рокфеллерами организациями, следует заключить, что фактически пожертвовано без права распоряжения и контроля не более 125 млн. долларов.

Таким образом, значительно преувеличен размер не только первоначального капитала, пожертвованного Рокфеллерами на так называемые филантропические цели, но и самый капитал был смешан вместе с доходом от него.

Поскольку семья Рокфеллеров сохраняет контроль над своими филантропическими организациями, можно считать, что средства, пожертвованные Рокфеллерами, ни в коем случае не могут считаться полностью изъятыми из их распоряжения. Почему? А вот почему: при современном порядке в Америке младший Рокфеллер мог бы передать своим филантропическим организациям все свое личное состояние, служащее обеспечением корпораций и банков, и вместе с тем, как это ни странно, нисколько не пострадал бы в смысле своего промышленного и финансового значения, так как он все равно сохранял бы за собой право распоряжаться этими ценностями при голосовании в различных предприятиях своей группы, продолжал бы назначать жалованье, следуемое ему от этих предприятий, а также жалованье, которое должно было бы ему идти от этих организаций вместо дивидендов, которые он им пожертвовал.

О характере конкретных пожертвований и целях, на которые они идут, можно судить по следующим данным. За период послевоенных лет 33,2 проц. пожертвований пошло на цели здравоохранения, 43 проц. — на образователь-

ные цели. Для богатых классов нет, например, особой необходимости в открытии клиник по зубоочечиванию, так как богачи в состоянии оплатить хороших врачей на дому. В соответствии с этим эта отрасль медицины получила всего 0,7 проц. пожертвований. Другая отрасль — нервные болезни, в которой богачи также менее заинтересованы, но которая имеет огромное социальное значение для масс, — получила лишь 5 проц. пожертвований. Между тем, по имеющимся данным, в марте 1937 г. в американских больницах насчитывалось 480 тыс. умалишенных; число это увеличивается ежегодно на 15 тыс.; рост больных этой категории сейчас в пять раз больше, чем 50 лет назад.

Те же отрасли медицины и лечение болезней, в которых одинаково заинтересованы богатые и бедные, получили свыше 60 проц. всего филантропического бюджета на здравоохранение.

Такое направление пожертвований может быть иллюстрировано рядом фактов. Так, например, жена одного из магнатов машиностроительной промышленности Рута сделала крупное пожертвование в пользу глазной лечебницы, связав его с именем доктора, спасшего ей зрение. В 1927 г. Морган пожертвовал 200 тыс. долл. Нью-Йоркскому неврологическому институту специально для лечения сонной болезнью; за два года перед этим у него от этой болезни умерла жена. В 1932 г. магнат сталелитейной промышленности Доннэр пожертвовал 2 млн. долл. на исследовательскую работу по раку; за три года перед тем от этой болезни умер его сын. Рокфеллеровская организация передала Корнельскому университету 42 тыс. долл. для изучения режима питания, способствующего продлению жизни; в этом был живо заинтересован старший Рокфеллер, проживший почти до 100 лет под неослабным наблюдением особого штата врачей.

Пожертвования в пользу медицинских учреждений обычно увязываются жертвователями с деятельностью контролируемых ими предприятий. Так, например, Рокфеллеровский институт сделал немало для изучения тропических болезней и борьбы с ними; работа эта нужна была Рокфеллерам для экономической эксплуатации крупных нефтяных ресурсов в тропических районах Латинской Америки.

Очень часто больничные учреждения, открытые на пожертвованные миллионерами средства, функционируют на чисто коммерческих началах. Так, например, в одной из филантропических больниц доход в 1935 г. поступал из следующих источников: 1 700 000 долл. уплачивали пациенты и около 1 млн. долл. поступало из благотворительного фонда. Больные платили недешево; за комнату такса была назначена от 7 до 25 долларов в сутки.

Большая часть нью-йоркских больниц ввела высокую плату за лечение, хотя больницы эти и содержатся на благотворительные средства.

Профессор Линдеман следующим образом суммирует свои впечатления (журнал «Нью-Рипаблик», 16 декабря 1936 г.), полученные им в результате изучения филантропических органи-



заций: «Хотя организации этого рода считаются филантропическими или благотворительными, ясно, что лишь небольшая часть пожертвований направлена на действительно благотворительные цели...»

Можно делать какие угодно обобщения о деятельности филантропических организаций, но нельзя не признать, что все они имеют одно назначение — служить на пользу определенным семействам миллионеров. Специфические нужды этих семейств обуславливают и размеры пожертвований, и цели их. Можно указать следующие общие для большинства филантропов черты:

1. До тех пор, пока «филантроп» не делается предметом сильного нападения со стороны широкой публики, филантропия его проявляется в весьма умеренных размерах; филантропические организации возникают в таком случае как средство умиротворения общественного мнения и, в силу этого, всегда сопровождаются широкой гласностью.

2. Всякая так называемая филантропическая деятельность имеет непосредственное отношение к налоговой структуре страны или отдельной ее местности. Филантропические организации дают возможность избежать налогового обложения и уменьшить контроль над личным состоянием богатей.

3. Филантропические организации сами по себе дают жертвователям большое общественное влияние.

4. Многие филантропические организации возникают исключительно в силу того, что «филантроп» не имеет детей.

Конкретно: все пожертвования Рокфеллера или же объявления о его дарениях всегда следовали за каким-либо явным проявлением политической враждебности против его семьи или же после изменения или в преддверии изменения налоговых законов. Первое свое пожертвование Чикагскому университету в 1889 г. Рокфеллер сделал как-раз в тот момент, когда политические нападки против Стандарта Ойл К<sup>о</sup> угрожали ему катастрофой.

В 1901 г. было объявлено о пожертвовании Рокфеллером 200 тыс. долл. институту его имени; до этого он передал до 10 млн. долл. университету и др. организациям и, кроме того, лихорадочно распределял неофициальным образом деньги среди родни по причинам, о которых упоминалось выше. В сентябре 1901 г. умер президент США Мак Кинлей, креатура Рокфеллера, и в 1902 г., когда вновь избранный президент Теодор Рузвельт стал открыто проявлять враждебное отношение к Рокфеллеру, вследствие ли действительной или предполагаемой политической оппозиции ему, Рокфеллер тотчас же объявил об основании им «Организации по всеобщему обучению» с капиталом в 1 млн. долл. Ввиду продолжения «преследований» со стороны Рузвельта Рокфеллер объявил в 1905 г., что он жертвует этой организации еще 10 млн. долл. Как-раз в этот момент к Стандарту Ойл К<sup>о</sup> было предъявлено в разных штатах несколько судебных исков, причем некоторые из них сопровождались требованиями об аресте Рокфеллера.

В конце 1906 г. Рузвельт направил Конгрессу доклад, составленный Бюро корпораций, и в своем обращении заявил, что Стандарт Ойл К<sup>о</sup> вплоть до последнего времени получала прибыли в силу секретных железнодорожных тарифов, большая часть которых явно незаконна.

В это же время в штате Индиана было возбуждено уголовное преследование против Стандарта Ойл К<sup>о</sup> по аналогичному делу, равно как и в Миссури, — за нарушение закона против трестов. Одновременно последовало предложение Рузвельта о введении в действие закона о налоге с наследства.

Под этими тяжелыми ударами Рокфеллер в феврале 1907 г. объявил о своем пожертвовании «на благо человечеству» 32 млн. долл. в пользу названной выше «Организации по всеобщему обучению». В июле 1909 г. Рокфеллер пожертвовал этой же организации еще 10 млн. долл. Ясно, что Рокфеллер был напуган нападениями на него, но, однако, не настолько, чтобы не удержать контроль над пожертвованными суммами. Дело в том, что пожертвование «на благо человечеству» 32 млн. долл. предшествовало всего на несколько дней наложению судебного штрафа в 29 млн. долл. по одному железнодорожному делу. Само собой разумеется, что после «пожертвования» это судебное решение было отменено апелляционным судом.

В 1910 г. последовало новое «пожертвование», причем о нем было объявлено всего за несколько дней до того, как адвокат Стандарта Ойл К<sup>о</sup> принял ведение дела в Верховном Суде по нарушению закона против трестов.

В скором времени появились новые «мотивы» для пожертвований.

В 1909 г. Конгресс передал на обсуждение штатов проект изменения конституции в части подоходного налога, и в 1910 г. ряд штатов его принял. Рокфеллер просил Конгресс выдать для его филантропической организации специальную «хартию», но условия, предложенные Конгрессом, показались Рокфеллеру суровыми<sup>1</sup>, и он вместо «хартии» Конгресса добился в 1913 г. выдачи ему «хартии» в Нью-Йорке. После этого филантропическая организация его имени мгновенно стала обладательницей капитала в 100 млн. долл. Через несколько дней после получения Рокфеллером нью-йоркской «хартии» было введено в действие шестнадцатое изменение конституции, допускающее в стране прогрессивный подоходный налог, но Рокфеллер к этому времени уже успел формально уменьшить свое состояние и не очень опасался налогового пресса.

Как видно из этих фактов, Рокфеллер умел и обращаться с налоговыми законами, и играть на общественном мнении.

Следующими широко оглашенными «благоденствиями» Рокфеллера надо считать его заявления 1917—1919 гг., когда военные прибыли Стандарт Ойл К<sup>о</sup> скандально возросли, и перед Рокфеллером встал вопрос о выплате налогов по повышенным ставкам. В 1916 г. Конгресс установил ставку налога с наследства свыше 5 млн. долл. — в размере 10 проц. В

<sup>1</sup> Конгресс обещал хартию при условии невмешательства Рокфеллера в реализацию его пожертвований.

следующем году эта ставка была пересмотрена и для наследств свыше 10 млн. долларов повышена до 25 проц. Тут уstraшенный Рокфеллер начал передавать огромную часть своего состояния сыну, открыв этим, что его беспокоит налоговое законодательство. Личное состояние он тем не менее успел своевременно уменьшить до 25 млн. долл.

В 1917 г. Рокфеллер сохранил контроль над капиталом в 13 млн. долл., который попал бы под обложение, если бы Рокфеллер не изловчился во-время передать его филантропической организации.

В 1918 г., создав в память Лауры Спельман Рокфеллер новую филантропическую организацию, Рокфеллер сохранил контроль над 73 млн. долларов (военные прибыли), чем и предотвратил их обложение.

В 1919 г. Рокфеллер «пожертвовал» двум своим главным филантропическим организациям 120 млн. долл., причем сохранил за собой контроль над этими миллионами и вместе с тем избежал обложения их налогами. Изучая отчеты целого ряда рокфеллеровских организаций, мы можем безошибочно заключить, что благодаря получению колоссальных военных прибылей и уклонению от подоходного налога, семья Рокфеллеров имела в 1920 г. в американской промышленности большее, чем когда-либо, значение.

По мере того как республиканская послевоенная администрация постепенно снижала высшие пределы ставок подоходного налога и налога с наследства, прекратились судорожные жертвования Рокфеллера в филантропические фонды. В течение более двенадцати лет не последовало ни одного жертвования, за исключением «дара» Рокфеллера младшего, который благодаря этому смог понизить размер подлежащего обложению состояния на сумму, равную 15 проц. дохода. При существующих в США условиях миллионерам часто выгоднее «пожертвовать» 15 проц. своего дохода, чем удерживать его целиком и платить с него налоги.

Интересно отметить, что прессыю Рокфеллера и в эти годы изобиловало сообщениями о различных его дарениях, которые имели своим источником доходы от пожертвованных им ранее сумм и, таким образом, не были новыми дарениями. Но Рокфеллер умел «шуметь» по поводу своих «благодетельств», и не всякий мог разобрататься, что же истинно в этом «шуме».

При рузвельтовской администрации налоги на пожертвования колебались от 1,5 проц. со всех индивидуальных частных пожертвований в 5 тыс. долл. до 52,5 проц. — для пожертвований в 50 млн. долл. и выше. Имущество от 20 до 50 млн. долл. облагалось из расчета 69 проц. (против 60 проц. по закону 1934 г., 45 проц. по закону 1932 г. и 20 проц. по закону 1926 г.). Кроме того, имеется ряд дополнительных налогов, установленных штатами.

Как только стали появляться сообщения о налоговых законах 1934 г., семья Рокфеллеров снова забеспокоилась и начала маневрировать своими миллионами.

В 1934 г. Рокфеллер младший сделал неопределенное заявление о том, что он «распорядил-

ся» паями нефтяных компаний так, чтобы ограничить свое участие в них 10-ю процентами.

В августе 1936 г., через девять дней после того, как президент Рузвельт обратился к Конгрессу с предложением о повышении налогов, тот же Рокфеллер младший «передал» 2 100 000 паяв нефтяной компании Сокопи Вакуум Ойл стоимостью в 27 млн. долл. Ввиду того, что ничего не было сказано о благотворительном назначении этой «передачи», можно заключить, что миллионы были переданы членом его семьи. Если Рокфеллер передал их шести своим сыновьям, то общий размер их налоговых платежей не превысил 32 проц. с полученной суммы, если же он оставил бы эти миллионы за собой, то ему пришлось бы уплатить не 32 проц., а 69 проц. одного только федерального налога, не считая местных налогов (по штатам).

Конечно, лица, склонные всегда толковать невинным образом всякие события, могли бы назвать случайными вышеприведенные сопоставления налоговых законов с деятельностью филантропических организаций и жертвованиями миллионеров. Однако они оказались бы в противоречии с такой авторитетной фигурой, как Фредерик Кеппел — президент благотворительной организации Карнеги, который, как указывала газета «Нью-Йорк Таймс» 9 ноября 1936 г., заявил, что опасения возможного налогового обложения «стимулируют» жертвования. Путем таких жертвований (в периоды высоких налоговых ставок с крупных капиталов) богачи оказываются в состоянии удерживать не только контроль над своими миллионами, но и избежать различного рода ответственности за них, прикрываясь вывесками благотворительных организаций.

До 1800 г., по данным Линдемана, в Америке существовала всего одна организация филантропического типа. В период с 1801 до 1900 г. возникло пять таких организаций, хотя в это время Асторы; Вандербильты и Рокфеллеры уже владели крупнейшими состояниями. С 1901 по 1905 г. образовалось еще пять благотворительных организаций, из них две рокфеллеровские. С 1906 по 1910 г. было основано семь организаций, но мода на них широко распространилась не ранее, чем было утверждено изменение закона о подоходном налоге и был введен закон о налоге с наследства; в 1911 — 1915 гг. возникло двенадцать филантропических организаций. В следующий период — с 1916 по 1920 г., — когда преобладали высокие ставки налогов, но и очень высокие прибыли, — возникла 21 филантропическая организация. Повидимому, целесообразность такого метода укрытия от налогов оказалась бесспорной, так как в десятилетие 1921 — 1930 гг. возникло не менее 49 организаций (в 1924 г. федеральный налог с состояний размером свыше 10 млн. долл. был повышен с 25 до 40 проц.; эта ставка налога была снижена в 1926 г. до 20 проц.). В это же десятилетие наблюдалась усиленная борьба за снижение налоговых ставок, увенчавшаяся успехами.

Как указывает Линдеман, большая часть доходов с пожертвованных сумм идет на жало-

вание и премии служащим филантропических организаций, а также на всевозможного рода подкупы нужных людей.

Следует сказать несколько слов еще о некоторых видах псевдофилантропии. Ряд пожертвований, сделанных миллионерами, несомненно, принес некоторую пользу человечеству. Так, с помощью фондов Рокфеллера и Розенвальда некоторое количество негров южных штатов все же получили возможность обучиться грамоте. Пожертвования Рокфеллера на медицинские нужды спасли также ряд жизней. Но наряду с ними имеется целый ряд так называемых филантропов, которые преследуют только сугубо личные цели в своей благотворительной деятельности, и вместе с тем принимают вид спасителей человечества. Между прочим, следует заметить, что на современном журналистском жаргоне Америки понятия «капиталист» и «филантроп» являются синонимами: нельзя быть филантропом, не будучи капиталистом, и наоборот.

Что касается завещаний миллионеров, то Линдеман обнаружил в них очень мало следов филантропической склонности. Это является весьма интересным показателем подлинной психологии богатей.

Так, Генри Фрик, умерший в 1919 г., оставил после себя состояние, оцениваемое в 75 млн. долл., из которых 20 млн. пошло его дочери, 5 млн.—вдове, а остальные—на учреждения, связанные с воспитательными целями. Газеты не преминули провозгласить Фрика величайшим благодетелем человечества. Однако в этом деле оказалась загвоздка: по данным некоего Принса, крупного биржевика, выяснилось, что в завещание Фрика была включена оговорка об уплате всего налога с наследства, т.-е. четвертой части наследства (25%) исключительно из сумм, жертвуемых на филантропические цели. В результате размер фриковского пожертвования фактически сократился на 80—90 проц.

Табачный король Джемс Дюк еще до смерти распределил все свое состояние, чтобы избежать платежа налогов: одна треть пошла жене, одна треть — дочери, а одна треть оставалась под его собственным контролем, будучи предназначена университету как пожертвование. Этот дюковский дар состоял из контрольных пачек акций в табачных и других компаниях, что вовлекло университет в несвойственную ему сферу деятельности, окончившуюся для него весьма несчастливо.

Ричард Меллон, брат Андрея Меллона, в 1933 г. оставил на благотворительные цели состояние, официально оцениваемое в 200 млн. долл., за что получил название «видного филантропа»; однако единственным настоящим даром этого «видного филантропа» можно назвать расход в 3 млн. долл., произведенный им на церковь в Питтсбурге, да пожертвование нескольких сот тысяч долларов безарботным. И тем не менее Ричард Меллон считался филантропом среди не склонного к филантропии рода Меллонов. Подлинная же глубина филантропических устремлений Ричарда Меллона лучше всего может быть проиллюстрирована следующими его собственными словами: «Нельзя управлять угольной шахтой, не имея пулеметов».

Американские налоговые законы, в особенности закон о налоге с пожертвований, сформулированы таким образом, что являются очень благоприятными для людей, имеющих большое потомство. Об этом будет сказано дальше, сейчас же следует упомянуть, что миллионерам приходится маневрировать своим состоянием, разделяя его на части для того, чтобы избежать тяжести налогового прессы. Так, газета «Таймс» указала, что состояние Маккормика, оцененное в 1936 г. в 22 млн. долл., облагалось налогом лишь с суммы в 11 680 000 долларов, а состояние Г. Роджерса, оцененное в 16 255 000 долл., подлежало обложению лишь с суммы в 11 600 000 долл.

Шоколадный король Мильтон Херши в 1918 г. образовал на свои средства промышленную школу, «пожертвовав» на это дело 60 млн. долл. и оставив для себя лично всего лишь 1 млн. долл. Он продолжал, однако, сохранять личный контроль над всей суммой этого свободного от налогов пожертвования. На его заводах работа шла, как и раньше, и филантропия была тут ни при чем, так как у него постоянно возникали трудовые конфликты и бастующих рабочих у этого благотворителя полиция избивала обычным в Америке порядком. Произведенные в этом районе обследования показали, что «пожертвования» Херши являются лишь особым способом проявления капитализмом своего влияния на рабочих. Улучшая жилища рабочих, устраивая для них парки, бассейны, концерты, Херши вместе с тем подчинил своему суровому контролю личную и общественную жизнь всего населения района.

Организация филантропических капиталов стала в Америке предметом искусства, и опасность в настоящее время заключается в том, что при современной тенденции налоговых законов капитализм превратится полностью в «филантропическое предприятие», которое будет контролировать не только экономику, но и всю жизнь населения США.

Опасные крайности, к которым может привести образование филантропических организаций, лучше всего иллюстрируются условиями завещания Андрея Меллона. Изучение этого завещания приводит к заключению, что между юристами миллионеров имеется молчаливое соглашение о способах удержания пожертвованных состояний фактически в руках близких семьи умершего — при одновременной показательной передаче их якобы на общественные нужды. Так Меллон, умерший в августе 1937 г. и оставивший сумму от 200 до 400 млн. долл. «Воспитательному и Благотворительному Тресту» его имени, возложил наблюдение за этими суммами на своего сына, тестя, поверенного и их наследников. В это время ожидалось «нападение» со стороны налоговых органов на состояние Меллона, так как, хотя он еще до своей смерти произвел крупные дарения в пользу своего сына и своей дочери, состояние его продолжало оставаться столь громадным, что после его смерти подлежало бы очень высокому обложению. Филантропическое же завещание помогло семье Андрея Меллона сохранить контроль над крупнейшим состоянием, которое при обыч-

ном способе передачи подлежало бы федеральному налогу в размере 70 проц. После смерти Меллона поверенные его заявили, что в течение своей жизни он пожертвовал человечеству свыше 70 млн. долл. Одно только забыли указать почтенные джентльмены, что огромная часть меллоновских «даров» была получена Питтсбургским университетом и разными техническими институтами, которые обогащали его предпринятиями различными изобретениями и усовершенствованиями производственного процесса.

Приходится пожалеть, что в США нет законов, с помощью которых можно было бы бороться с подобной псевдофилантропией.

Эстетические склонности американских миллионеров носят почти всегда ярко выраженный денежный характер. Предметы искусства оцениваются ими обычно либо с точки зрения возможности освобождения затрачиваемых на их приобретение миллионов от налогового обложения, либо как средство наиболее выгодного использования валюты.

Предметы искусства допускаются в США без обложения таможенными пошлинами. Если при этом коллекция помещается в так называемом «общественном» музее, то можно просить об изъятии от местных налогов крупного недвижимого имущества, использованного как музей.

Колебания европейских валют дали возможность американцам приобрести изумительные предметы искусства почти даром. При перепродаже на этом можно было со временем крупно заработать.

В XIX столетии ряд миллионеров уплатил бешеные суммы за предметы искусства; однако в последнее время богачи стали осторожнее. В области составления коллекций предметов искусства можно обнаружить среди миллионеров какую-то особую тенденцию. Так, например, старший Морган, председатель правления Метрополитанского музея, передал при жизни свою коллекцию этому музею. Широкая публика приняла эту передачу за пожертвование. Однако после смерти старшего Моргана обнаружилось, что он лишь «дал взаймы» эту коллекцию, и сын его продал ее за 25 млн. долл. наличными. Таким образом, Метрополитанский музей, являющийся искусствоведческим центром страны, был использован фирмой Морганов в качестве органа для совершения неблагоприятных сделок, в которых эта фирма по ряду причин не хотела непосредственно участвовать.

Семья Морганов, продолжая эту свою «традицию», построила крупную библиотеку рядом со своим городским домом. Проложив в течение некоторого времени комедию с допущением небольшого количества публики по особым приглашительным билетам в эту библиотеку, Морганов потребовали изъятия библиотеки, как общественной, от налогового обложения. Фактически же эта библиотека не была общественной, так как доступ в нее был открыт только для очень узкого круга лиц; вечерами же, когда и эти лица уже не допускались, она превращалась в обычное помещение в составе дворца Морганов.

В 1936 г. известный уже нам Андрей Мел-

лон объявил о «пожертвовании» в пользу государства своей коллекции, оцениваемой в 50 млн. долл. В порядке действия налогового закона 1935 г. Меллону пришлось бы уплатить за эту коллекцию 32 млн. долл. налога. Отсюда видно, что, «пожертвовав» свою коллекцию, Меллон на это сумму увеличил свое состояние.

Американские архимиллионеры, учитывая все эти факторы, стараются дифференцировать и разнообразить виды своих состояний. Предметы искусства являются одним из таких видов. Состояния могут заключаться не только в различных облигациях, акциях, наличных деньгах, недвижимом имуществе, но и в предметах искусства, в бриллиантах и т. д. При этом весьма существенно, что коллекции и отдельные предметы искусства являются международной валютой, подобно золоту.

Безразличное отношение богачей как класса к искусству, иллюстрируется тем фактом, что американское правительство вынуждено в последние годы поддерживать до 50 тыс. безработных артистов, а также тем, что ряд крупнейших американских артистов находит аудиторию лишь в немногих городах Америки. Если бы не правительственная помощь после кризиса, то и театры должны были бы в ряде случаев прекратить существование.

★

Все семьи богачей; по крайней мере, один раз в год, помещают в газетах сведения о своих пожертвованиях, как бы малы они ни были. Необходимо, однако, тщательно изучать все эти дарения, их условия и характер. Автор, изучив большое количество таких дарений, приходил почти всегда к заключению, что жертвователь сохранил больше, произведя «пожертвование», чем воздержавшись от него.

Дюпоны финансировали постройку ряда начальных школ в штате Делавар, сооружение шоссе и дорог, оборудование больниц. Но дело в том, что они и их многочисленные родственники являются единственными состоятельными людьми в этом маленьком штате, и они — так или иначе — должны были бы оплачивать эти расходы в виде налогов. Поэтому они и предпочли не отдавать эти деньги в форме налогов, а истратить их на общественные нужды, обеспечив себя благодаря этому минимальными издержками и вместе с тем дав возможность своим предприятиям сбыть материалы и товары для всех этих построек. Вместе с тем Дюпоны заслужили благодаря этому в своем «герцогстве» еще и звание филантропов.

Генри Форд инвестировал в больницы в Детройте и Дирборне крупные суммы, высчитав, что лечение его заболевших рабочих составит для него прямую выгоду. Такое пожертвование нельзя считать филантропией, — это просто деловое капиталовложение. То же самое наблюдается в различных отраслях горнодобывающей промышленности, где Херсты, Гугенхаймы и др. содержат больницы для лечения рабочих, пострадавших от несчастных случаев на их предприятиях. И это нельзя назвать филантропией.

Форд заслужил звание «филантропа» в значительной мере благодаря своим попыткам реставрировать в одной из мичиганских деревень картину прошлого. С этой целью он воздвиг старинные гостиницы и дома с обстановкой того времени. Не трудно догадаться, что ценность такого музея для народа весьма сомнительна. Но Форда это мало интересует. Главное — то, что эта затея эксцентрична, пользуется популярностью, а это и требовалось доказать. Форд необычайно удачно превращает белое в черное в общественном сознании. Так, например, принято считать, что на его предприятиях высокая заработная плата; он действительно провозгласил, что будет платить по 5 долл. в день, преследуя задачу привлечь к себе рабочую силу. Однако немногие знают, что значительная часть фордовских рабочих имеет работу не круглый год и в долгие месяцы вынужденной безработицы ничего не получает.

Бывают и такие случаи благотворительности: по завещанию Маршалла Фида, часть дохода от его филантропических организаций должна, например, идти на увеличение его личного состояния в виде недвижимого имущества в Чикаго. Таким образом, состояние Фида непрерывно продолжает «отпочковываться» в виде новых зданий.

Вполне правилен для США нижеследующий парадокс: богатые становятся еще богаче и еще могущественнее с помощью филантропии.

## НАРОДНОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ КАК СПОСОБ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ПЛАТЕЖА НАЛОГОВ

Сознание своей классовой принадлежности, быть может, нигде не проявляется богачами более отчетливо, чем в вопросах образования. Ни в одной отрасли псевдофилантропическая активность их для уклонения от платежа налогов, путем переложения денег из одного просторного кармана в другой, не видна так ясно, как здесь.

Школы, в пользу которых жертвуют богачи, почти исключительно предназначены для представителей их класса. По данным президента Мерилендского колледжа Уорда (1930 г.) о 400 частных высших учебных заведениях, поддерживаемых миллионерами, 10 из них, принадлежащих первоклассным богачам и охватывающих 17 проц. всего студенчества, расходуют 43 проц. всех пожертвованных средств. 90 школ принадлежат верхушке средней буржуазии, в них учатся 42 проц. студенчества, на которое расходуется 38 проц. пожертвованных. 300 школ обслуживают низшие классы и охватывают 41 проц. студенчества, на которых приходится лишь 19 проц. пожертвований.

Но, кроме частных, в стране существуют и государственные университеты и колледжи. За немногими исключениями, все они косвенно контролируются политическим аппаратом, невидимыми руководителями которого являются все те же лица — «60 семейств Америки». Основой высшего образования в США является, разумеется, система государственных учебных заве-

дений, богачи же участвуют в этом деле лишь тогда, когда для их собственных интересов важно подготовить в своих или в контролируемых ими университетах юношество, поступающее из средней школы.

Официальные данные о численности учащихся в государственных и частных школах в 1933—1934 учебном году показывают следующее:

	Государственн. школы	Частные школы
Низшие	20 880 120	2 382 251
Средние	5 715 608	380 880
Высшие	529 931	525 429

Если из числа студентов государственных высших школ исключить готовящихся к педагогической деятельности, то окажется, что в частных высших школах было 518 578 учащихся против 400 598 в государственных.

Участие миллионеров в содержании и контроле школ характеризуется нижеследующими данными об университетах и технических колледжах, обладающих в общей сложности свыше 75 проц. всех дарений на образовательные нужды.

1. Гарвардский университет. Руководство Моргана. Главные жертвователи: Стандарт Ойл К°, Уитнэй, Харкнес, Рокфеллер, Бекер и др. Пожертвований: 129 млн. долл.

2. Изельский университет. Руководство Рокфеллера. Главные жертвователи: Стандарт Ойл К° и др. Пожертвований 96 млн. долл.

3. Колумбийский университет. Руководство Нейшнел Сити Банк. Главные жертвователи: Бекер, Додж и др. — 70 млн. долл.

4. Чикагский университет. Руководитель и главный жертвователь Рокфеллер — 65 млн. долл.

5. Массачусетский технологический институт. Руководитель и главные жертвователи Дюпони — 33 млн. долл.

6. Стенфордский университет в Калифорнии. Руководство — Южная Тихоокеанская железная дорога. Главный жертвователь Стенфорд — 32 млн. долл.

7. Корнельский университет. Руководитель и жертвователь Рокфеллер — 30 млн. долл.

8. Университет имени Джона Хопкинса. Преобладает руководство Моргана — 27 млн. долл.

9. Калифорнийский университет. Руководители и жертвователи: Крокер, Джинини, Флейшaker, Херст и Догени — 20 млн. долл.

10. Университет Вандербильта. Руководство и пожертвования Вандербильта (с прибавлением небольших других дарений) — 20 млн. долл.

11. Пенсильванский университет. Руководство Моргана. Жертвователи: Морган, Дрексель и др.

12. Технологический институт Карнеги. Руководство Меллонов. Деньги — Карнеги.

Пожертвования на университеты, колледжи и научно-исследовательские институты оцениваются проф. Дэвисом в сумме 1 150 000 000 долл., кроме денег, вложенных в землю, строе-

ния и оборудование. Таким образом, общая стоимость пожертвований и имущества всех частных колледжей и университетов может быть определена в 2,5 млрд. долл.

Преобладание в составе дирекции этих организаций банкиров и вообще всяких денежных тузов не кажется странным американскому общественному мнению, которое привыкло к этому.

По мере того, как контроль и руководство колледжами и университетами в Америке перешли из рук духовенства (после гражданской войны) в руки финансового капитала, преобладающее влияние последнего является в сущности лишь логическим следствием. Все эти дарения предоставляли жертвователям и дирекции филантропических организаций большие права и позволяли им руководить исследовательской работой. Таким образом, пожертвования в пользу школ и университетов служат орудием как экономического, так и социального контроля и являются одним из проявлений все возрастающей концентрации авторитета и власти над народом в руках богатей.

Филантропический характер частных учебных заведений, однако, является более чем сомнительным. По данным федеральной статистики за 1933—34 гг., не менее 47,2 проц. дохода этих организаций поступало в виде платы за обучение студентов, тогда как в государственных университетах и колледжах эта статья доходов не превышает 16,7 проц. Дарения частных лиц филантропическим учебным заведениям составляли 11,2 проц. дохода, тогда как в государственных — правительственные вклады равнялись 56,8 проц.

В числе руководителей Гарвардского университета можно назвать нескольких Морганов, бостонского банкира Адамса — тестя Моргана, Гиффорда, президента Американской Телефонно-Телеграфной Компании (группа Моргана), Рута, тоже из группы Моргана, и многих других.

В состав дирекции одного из известнейших университетов США — Корнельского — в штате Нью-Йорк входит Чарльз Шваб, основатель Вифлеемской стальной корпорации, замешанный лично в целом ряде неблагоприятных поступков, как, например, в продаже государству недоброкачественных броневых плит и т. д.

Подобные личности преобладают в составе правлений частных колледжей и институтов и избирают академических руководителей факультетов. Они влияют в реакционном направлении на науку и образование.

Развитие частных университетов шло параллельно с развитием налогового законодательства. С 1906 по 1928 г. капиталы американских университетов и колледжей, включая землю, постройки и оборудование, возросли с 554 млн. долл. до 2 400 000 000 долл. За этот же период пожертвования увеличились с 250 млн. долл. до 1 150 000 000 долл., причем большая их часть падает на послевоенные годы и является, таким образом, сокрытием военных прибылей от налогового обложения.

Американские миллионеры, производя пожертвования на цели образования, обычно тре-

бовали (как, например, делал Рокфеллер), что бы организации, в пользу которых делаются пожертвования, собрали двойную или тройную сумму перед тем, как акт дарения войдет в силу. Такое условие вынуждало руководителей университетов собирать крупные суммы среди населения для того, чтобы университеты могли воспользоваться обещанными вкладами миллионеров.

Где бы ни сосредотачивались капиталы и из какого бы источника они ни поступали, — всюду представители богатых семейств выступали в качестве руководителей и контролеров этих капиталов; это относится ко всем без исключения пожертвованиям, какие бы цели они ни преследовали.

Лишь немногие миллионеры передавали университетам сразу крупные суммы; такие люди как Стенфорд, Истман и некоторые другие, не преследовавшие цели увековечить свою династию, жертвовали сразу; обычно же дарения распределялись на длинный ряд сроков, при чем обращало внимание, чтобы после первого платежа организация вела себя соответствующим образом или, вернее, не подчинялась направлению, враждебному жертвователю. Обыкновенно каждая сумма сопровождалась конкретным указанием об ее использовании, и только на это и могла быть использована, хотя назначенная цель порой и была нелепа. Таким путем возник ряд отделов колледжей и зданий университетов, совершенно не нужных для их работы.

Если в области физических и технических наук ученым была предоставлена свобода, то в сфере права, экономики и медицины миллионеры неуклонно преследовали проведение своей собственной политики.

Погрязшие в богатстве, они совершенно не нуждались ни в какой критике, анализе или исследовании того общественного строя, который дал им богатство, проблемы же, касающиеся жизни фермеров, рабочих и средней буржуазии, — их не интересовали.

В 1890 г. в Америке началась кампания террора против тех ученых, мнения которых казались слишком смелыми для класса капиталистов. В первую голову это касалось общественных наук.

В порядке проведения кампании против экономистов, социологов и историков промышленниками и банкирами был подвергнут остракизму крупный экономист Ричард Илай; историк Коммонс, специалист по рабочему движению, был исключен из университета, финансируемого Стандарт Ойл К<sup>о</sup>. Экономист Эндрюз подвергся преследованию за провозглашение доктрины о серебряном обращении.

В 1906 г. Чикагский университет, субсидируемый той же Стандарт Ойл К<sup>о</sup>, исключил из своей среды Веблена<sup>1</sup> под предлогом, что он участвовал в каком-то... любовном деле. За два года перед тем Веблен опубликовал свою

<sup>1</sup> Т. Веблен — крупный американский экономист, известен рядом своих научных работ, направленных против финансового капитала. Ред.

работу «Теория хозяйственного предприятия», которая, равно как и предыдущий его труд «Теория паразитического класса», и была настоящей причиной его увольнения.

Список сотен профессоров и преподавателей, изгнанных из факультетов и отделов социальных наук американских университетов и колледжей после 1890 г., потребовал бы многих страниц. Практически каждое учебное или научное учреждение как-то участвовало в этой «охоте», преследуя каждого более или менее свободного мыслителя в области общественных наук. Пресловутый «либеральный» Гарвардский университет также не избежал этой участи; в настоящее время, впрочем, находясь под контролем группы Моргана, Миллса и Гувера, он никак не может быть назван либеральным даже формально.

Преследования независимых ученых проводятся под флагом двух теорий. Согласно одной из них, профессора совершенно не должны заниматься какими-либо вопросами вне пределов их непосредственной деятельности; по другой теории, все такие профессора являются ненадежными и революционерами. Более чем сомнительно, чтобы исключения профессора принадлежали к этой последней категории, но дело в том, что вопросы, в которые они решались вмешиваться, касаются налогового обложения, рабочей политики, политической экономики и т. д., а также поведения богатых классов по отношению к массе населения.

В числе типичных реакционных руководителей американских университетов можно назвать Джемса Энжела (университет Иэля), который, удалившись в 1937 г. от дел, принялся за пропаганду своих доктрин в качестве руководителя национальной радиовещательной компании. Дочь Энжела—замужем за одним из Рокфеллеров. Сам Энгель находится в числе тех, кто считает, что Франклин Рузвельт ставит под удар американскую демократию (к слову сказать, давно уже умершую), хотя при президентах Гардинге, Кулидже и Гувере он не видел никакой опасности для нее.

«Настоящий и прочный прогресс,— говорит Энгель,— может быть только медленным и может проводиться осторожными мероприятиями; при этом он должен базироваться на элементах существующего строя, крепких и надежных, уничтожая вместе с тем лиц враждебных и заменяя их достойными представителями».

Весьма яркими примерами мероприятий против профессорской коллегии является исключение из ее состава двух преподавателей экономистов, весьма популярных среди студентов и хорошо знающих свое дело: виной их является то, что они вне сферы своей деятельности высказывались благожелательно по отношению к рабочим. В университете Иэля проф. Дэвис не получил назначения под предлогом некомпетентности, после того как он опубликовал критическую работу под заглавием: «Капитализм и его культура». Он почти все время был в состоянии крупных конфликтов с университетской администрацией, разоблачая капиталисти-

ческих руководителей. Подобных примеров можно привести множество.

Студенты, кончающие курс в американских университетах, разделяются на две категории: первую из них составляют узкие специалисты определенной отрасли с небольшими интересами вне своей специальности; другую категорию составляют молодые люди типичного антиинтеллектуального характера, с узким горизонтом, ограниченным спортом, картами, биржевой спекуляцией и выпивкой. Второй тип гораздо многочисленнее.

Большое количество выпускаемых технических специалистов, конечно, не является делом случая. Экономические интересы магнатов капитализма требовали, чтобы специальные науки были введены в состав курсов высших школ. Торговая палата США поддержала законопроект об ассигновании средств на эти цели. Расчет здесь прост: узкие специалисты, выпускаемые университетами, могут быть хорошо тренированы в своей специальности. Но едва ли они достаточно широко образованы и развиты, чтобы иметь представление об общественном движении и чтобы понять свою роль и свое назначение в обществе. Вполне понятно, что жертвователям крупных сумм нужна именно молодежь с узкой технической подготовкой. Поэтому университеты выпускают инженеров и научных работников, проникнутых мыслью, что они должны и будут вести работу в обществе, хорошо уже сбалансированном, устойчивом, требующем, быть может, лишь частичных усовершенствований в смысле новых технических изобретений и открытий, а не социальных переворотов. Развивая так специальные отрасли науки, университеты простигировали конечную цель науки, которая, по мысли лучших ученых, должна служить на пользу всего человечества, а не кучки биржевых дельцов, банкиров и промышленников.

## ИЗЛИШЕСТВА СРЕДИ НИЩЕТЫ

Известный американский историк Бирд, описывая в книге «Развитие американской цивилизации» эпоху девяностых годов XIX столетия, так называемого «позолоченного века», пишет: во время обеда верхом на лошади любимая кобыла получала в корм цветы и шампанское; небольшая черная собачка с бриллиантовым ошейником стоимостью в 15 тыс. долл. получала роскошный банкет; во время одного из угостей папиросы подавались завернутыми в 100-долларовые бумажки, в следующий раз устрицы подавались с черным жемчугом. В другом случае гостей принимали в шахте, которая являлась основой богатства хозяина. Устав от таких «благопристойных» развлечения, плутократия занялась другими более легкомысленными: среди гостей для забавы раскачивают обезьян, в бассейнах плавают девушки, изображающие золотых рыбок, а хористки высказывают из пирогов.

Безумная расточительность и экзотические развлечения богачей освобождают их от всякой ответственности и от всяких обязанностей работать. Они вставляют в зубы бриллианты,

заставляют возить своих любимых обезьян в особой коляске со специальным лакеем, собачки с красными бантами сидят на задних скамьях колясок и катаются в парках. Для дочери одного из крезов покупается колье, стоимостью в 600 тыс. долл. На туалетный стол тратится 65 тыс. долл., на театральный бинокль—75 тыс. долл. Целая театральная группа привозится из Нью-Йорка в Чикаго для того, чтобы позабавить друзей одного из магнатов, и полный оркестр нанимается для исполнения серенады в честь новорожденного младенца миллиардера. В порыве сентиментальности семья каких-то несчастных негров внезапно облагодетельствована деньгами, одета в роскошные одежды и помещена в богатый дом.

Плутократия той эпохи, однако, кажется аскетической по сравнению с теперешней, гораздо более экстравагантной. Сейчас плутократия избегает крупных городских центров, легче доступных враждебно настроенной прессе, и предпочитает удаляться в уединенные имения или роскошные отели, куда значительно труднее проникнуть нежелательным газетным репортерам.

Судя по растрачиванию денег на бессмысленные личные развлечения, богачей следует признать классом психопатов, катящимся по наклонной плоскости и влекущим за собой всю нацию. Очевидно, если боги решили кого-нибудь погубить, они делают его богатым. Впрочем, личные расходы миллионеров, как бы они ни казались велики рядовому наблюдателю, все же незначительны по сравнению с необычайно крупными доходами, которыми обеспечили себя семейства плутократии. По данным Дона, менее 25 проц. доходов архимиллионеров тратятся ими на личные нужды. Как бы ни старалась семья архимиллионера, она не в состоянии истратить весь свой личный доход.

Для характеристики экстравагантности богатых семейств следует обратиться прежде всего ко временам 1929 г.—последнего рекордного года американского «просперити»<sup>1</sup>. В этом 1929 г. 513 американцев имели личный доход (прибыль) в 1 212 000 000 долл., в то время как валовой доход (не прибыль) свыше 2 млн. фермеров за всю реализованную ими пшеницу и хлопок в 1930 г. составлял всего 1 191 000 000 долл. Таким образом, 513 плутократов могли, с помощью своего дохода за 1929 г., приобрести продукцию двух основных с.-х. культур страны, причем им осталось бы еще достаточно денег, чтобы покрыть свои безумные расходы.

В том же 1929 г. 14 815 американцев имели облагаемый доход по 100 тыс. долл. и выше каждый; доход этот составлял в общем 4 368 000 000 долл., т.-е. равнялся стоимости содержания национального правительства, в том числе армии и флота за целый год. Этот доход, принадлежавший такому небольшому числу лиц, которых едва хватало для заселения небольшого города, равнялся годовой заработной плате 3 340 000 рабочих.

Годовая заработная плата 781 тыс. рабочих железодобывательной и сталелитейной промышленности равнялась всего 1 240 000 000 долл.; заработная плата 738 тыс. рабочих пищевой промышленности равнялась 782 млн. долл.; заработная плата 511 тыс. рабочих автомобильной промышленности составляла 828 млн. долл. В том же году 428 тыс. рабочих хлопчатобумажной промышленности заработали 322 млн. долл., т.-е. по 753 долл. каждый в год, тогда как 38 самых богатых людей Америки получили 360 млн. долл. дохода, т.-е. в среднем по 9,5 млн. долл. каждый в год.

Историк Бирд описывал обед в так называемую «позолоченную эпоху». А вот как, например, в сентябре 1931 г. давал свой торжественный обед в одном из нью-йоркских ресторанов миллионер Уайднер. Зал был превращен в копию ипподрома, причем была устроена беговая дорожка с белой изгородью, роскошными стойлами и т. п. Гости обедали в стойлах и перед ними парадировали чистокровные лошади нью-йоркского департамента полиции, артиллерийских и кавалерийских частей, а также частных лиц. В зале стоял шум от копыт множества лошадей, от откупориваемых бутылок шампанского.

Богачи как в девятые годы, так и сейчас занимаются тем, что устраивают банкеты для своих собак, оборудуют для них дорогие кладбища с памятниками и мавзолеями. В Нью-Йорке банкир Спийер основал больницу для собак и кошек.

Фантастические и стоящие безумных денег развлечения настолько многочисленны, что их трудно описать. Журнал «Форчюн» с восторгом описывает один из приемов четы Дорранс (производство сулов Кэмпбел): «Редкие растения и цветы, тысячи маленьких обезьян, попугаев и других южных птиц в клетках, тучи розовых лепестков, падающих на танцующих с неба». Газеты оценивали стоимость такого праздника от 75 до 150 тыс. долл., но праздник этот считался сравнительно скромным.

В декабре 1930 г. был дан праздник в честь дочери одного из магнатов — Дохерти в вашингтонском отеле. Гости из Нью-Йорка были привезены в экстремном поезде. Праздник стоил не менее 250 тыс. долл.

Группа капиталистов Дохерти заслужила известность тем, что в период бума мошеннически выбрасывала на рынок огромное количество акций по 40—50 долл. за пай. Эти акции в 1937 г. обманутые покупатели могли сбыть на бирже только по цене от двух до пяти долларов.

Примерно в то же время, когда давался праздник Дохерти, другой миллионер Хэттон давал также прием в честь своей дочери в хрустальном помещении Ритц-отеля в Нью-Йорке. Внутренность отеля изображала освещенный лунной луной сад, декорированный известным сценическим декоратором. Для 1 000 гостей было приготовлено 2 000 ящиков шампанского. Праздник стоил 100 тыс. долл.

Джозеф Дэвис, женившийся на одной из представительниц фамилии Хэттон и бывший впоследствии послом в Москве, отпраздновал

<sup>1</sup> Так назывался период процветания перед кризисом 1929—1933 гг.



свою свадьбу (на средства своей жены) пятью тысячами хризантем, окрашенных в светлорозовый цвет, соответственно свадебному пирогу, весом в 300 фунтов. Пирог этот несли 25 чел., а предназначался он всего для пятидесяти гостей. Когда Дэвис со своей женой отправился в Москву, то рассказали, что он заказал несколько вагонов различных пищевых продуктов, мебели, электрического оборудования и т. д. Он привез с собой несколько сот кварт замороженных сливок к удивлению московского населения. Жена Дэвиса имела крупные интересы в корпорации пищевых продуктов, специализировавшейся на замороженных изделиях, которые могут сохраняться продолжительное время.

По сравнению с девяностыми годами расходы миллионеров нашли себе гораздо более широкое применение. Теперь устраивают роскошные ванны помещения, бассейны для плавания, составляют коллекции марок, стоящие десятки тысяч долларов,—в то время как десятки тысяч американских граждан вынуждены питаться отбросами консервов.

Журнал «Форчюн» (январь 1931 г.) помещает ряд рассказов об оборудовании ванн нью-йоркских богачей. У одного из них на стенах ванной комнаты изображен пейзаж с джунглями, с обезьянами, прыгающими с пальмы на пальму, с пестрыми фламинго и крокодилами. Сама ванна сделана из мрамора, светложелтого цвета, с черными прожилками и золотыми скреплениями. Ванна другого миллионера — серебристо-зеленого цвета, а стены помещения изображают жизнь подводного царства. Стюарт Чейз в «Нью-Рипаблик» от 25 мая 1927 г. упоминает о золотисто-черной ванне одного миллионера, стоимостью в 35 тыс. долл.

Чемпионом современного ванного строительства является, повидимому, фабрикант радиоизделий Грунов, которому принадлежит ванна из мексиканского мрамора с золотыми скреплениями.

Помимо того, что американские миллиардеры тратят бешеные деньги на роскошные ванны, они устраивают их в невероятном количестве. Особое обследование обнаружило, что в различных домах семейного клана Дюпонов имеется 723 ванны, причем обследование не удалось закончить.

Купанье и плаванье—весьма частое и распространенное времяпрепровождение высших классов, которые проводят много времени в ванне, одновременно разговаривая по телефону, передавая распоряжения секретарям и домоправителям, читая, слушая радио или патефон и даже принимая гостей.

Известный психолог Фрейд обосновал теорию, согласно которой частое мытье рук является проявлением подсознательного чувства вины. Продолжая дальше эту теорию, можно сказать, что частое купанье должно быть доказательством еще более глубокого чувства виновности.

Газетные страницы часто угощают публику изображениями бассейнов для актеров Голливуда. Но такие бассейны являются весьма

скромными по сравнению с бассейнами миллионеров. Вильям Херст в одном из своих имений имеет бассейн из каррарского мрамора на открытом воздухе, причем на случай плохой погоды этот бассейн имеет внутреннее соединение с домашним бассейном. Все усадьбы и загородные дворцы миллионеров имеют бассейны. Но самым замечательным из них является бассейн Генри Роджерса, оборудованный архитектором в помпейском стиле и стоящий 250 тыс. долл. Внутреннее помещение оборудовано цветной мозаикой, свет в нем затенен. Во владениях миллионеров насчитывается до тысячи бассейнов.

Каждый богач имеет какое-нибудь пристрастие. Недавно умерший Грин собирал почтовые марки. Он заплатил какому-то вашиingtonскому конторщику 18 тыс. долл. за лист марок — только потому, что они были напечатаны неправильно, вверх ногами. Оставив себе лучшие экземпляры марок, Грин продал остальное, причем фирма, купившая у него эти марки, как говорят, получила за каждую при перепродаже 3 300 долл.

Об экстравагантности американских миллиардеров можно судить по роскошному устройству их загородных домов, где они скрыты от глаз любопытных. Обычно указывают на четыре имени и несколько домов Вильяма Херста, считающихся апогеем современной роскоши. Но он лишь идет в ногу с семейством Джонсов. Один репортер так описывает замок Херста: «В Калифорнии Херст владеет богатейшим имением размером в 100 тыс. га; мебель и предметы искусства в нем оцениваются в 15 млн. долл. В огромном обеденном зале, украшенном сиенскими эмблемами и великолепным готическим камином из одного французского замка, стоят обеденные столы XVI в., висят фламандские ковры, установлены испанские канделябры XVII в., разложено старое английское серебро, красуются шесть гобеленов стоимостью 175 тыс. долл., знаменитая коллекция оружия и собственная кровать кардинала Ришелье. Всего этого лишилась Европа».

Херст как-то раз перевез из Испании в Нью-Йорк в ящиках оборудование целого замка. В его имении построена специальная железнодорожная ветка с собственным ж.-д. составом для перевозки гостей. В другом месте Калифорнии он построил баварскую деревню. Однако все это является лишь минимальным и обыденным «стандартом» современного американского архимиллионера.

Многочисленная семья Дюпонов имеет, по всей вероятности, больше недвижимости, чем любая другая семья из состава американской plutократии. Следом за ней идет группа Вандербильтов и затем Рокфеллеров. Тщательно произведенное обследование выявило, что Дюпоны владеют большим количеством яхт, церковных органов, бассейнов для плавания, барских имений, чем какая-либо другая семья во всем мире. У них больше прислуги, чем у королевской британской семьи, включая личную охрану короля.

Вблизи Вашингтона находится не менее двух дюжин усадеб Дюпонов. При этом четыре из них являются первоклассными. Так, например, Винтертур представляет собой дворец из 150 комнат с 40 спальнями, каждая из которых имеет радиоустановку. Стоимость дворца — 2 млн. долл., включая же оборудование, мебель и непосредственно прилегающие уголья, он должен быть оценен в 10 млн. долл.

Далее, другой Дюпон владеет имением Лонгвуд в 400 га. В этом имении под стеклом находится 2½ гектара оранжерей с тропическими растениями. В течение круглого года отсюда получают персики и экзотические фрукты. В доме насчитывается почти 200 комнат, и обслуживается 100 человеками прислуги. Для перевозки в это имение органа с 10 000 труб потребовалось 14 товарных железнодорожных вагонов. Мощность звука этого органа достаточна для трех субборов. Для него было построено специальное здание и приглашен органист Антверпенского собора. Орган приводится в действие мехами в 72 лош. силы и специальным мотором. Трубы органа выходят во внутренние сады, в которые иногда допускается публика за малую плату, идущую на местную благотворительность и «помогающую» Дюпону оплачивать налоги.

Вся имения семьи Дюпонов, включая землю, строения, оборудование, оцениваются не менее чем в 150 млн. долл., т.-е. составляют более 10 проц. стоимости всего имущества университетов и колледжей страны.

Семья Вандербильтов проявляет такую же тенденцию к роскоши, но дворцы ее рассеяны в разных местах. В Северной Каролине создан замок французской архитектуры, настолько большой, что он может вместить все калифорнийские замки Херста. В Нью-Йорке расположены роскошные виллы другого Вандербильта, из которых одна — «Мраморный дом» — стоит 9 млн. долл. Корнелиус Вандербильту принадлежит целый город в штате Н. Мексико, которым он распоряжается как своим частным имением. Ему же принадлежит огромный дворец в Нью-Йорке, конный завод в Кентукки, охотничий домик в Канаде, замок в Нью-Йорке и т. д.

У всех Вандербильтов можно насчитать не менее 30 отдельных владений, оцениваемых в сумме не ниже 125 млн. долл. Все они, конечно, снабжены органами, вагнами, бассейнами для плавания, кинотеатрами, старинной мебелью, коврами и картинами, телефонными станциями, гимнастическими залами, галереями трофеев, гостиными и т. д.

Одно из крупных имений Рокфеллеров расположено в штате Нью-Йорк. На площади в 1500 га имеется 5 отдельных дворцов. Как только один из сыновей женится, для него выстраивается особый дворец.

Официальная оценка «домена» Рокфеллеров, по данным 1928 г., составляла 5½ млн. долл. и подлежала обложению в сумме 137 тыс. долл., но путем обжалования удалось снизить оценку до 2 млн. долл. Обе эти оценки явно преуменьшены, так как не учитывают огромных сумм, истраченных на перевозку деревьев и ку-

стов со всех стран земного шара, проложенных дорог и дорожек, по которым циркулирует частная полиция Рокфеллеров. Для 22 чистокровных лошадей здесь построены трехэтажные конюшни с лифтами.

Усадьба Рокфеллера старшего в Покантико (штат Нью-Йорк) оценивается в 2 млн. долл. и требует ежегодно 500 тыс. долл. для содержания. Ее обслуживают 350 рабочих и 30 конных упряжек, что обходится в 18 тыс. долл. в месяц. В число стандартного оборудования дома входят лифты, установки для кондиционирования воздуха, различное медицинское оборудование. Благодаря такому оборудованию Рокфеллер пережил 20 своих личных врачей. Он находил, что деньги часто эквивалентны жизни, а отсутствие их равносильно смерти, и что борьба за деньги является борьбой за существование. Деньги, по его мнению, имеют власть продлить жизнь.

Оценка резиденций различных членов семьи Морганов, а также их нью-йоркской библиотеки, выражается в сумме не менее 30 млн. долл. Одно из их имений расположено на острове и соединено мостом с материком.

Пьер Дюпон, по данным «Форчюн» (август 1933 г.), истратил 25 тыс. долларов для перевозки одного только куста в свое имение Лонгвуд. Дом и 12 садов на площади в 60 гектаров имения Чарльза Макани стоит, по данным того же журнала, 3½ млн. долл. Сады адвоката Самуэля Унтермейера обслуживаются 167 садовниками. Газоны Джемса Дюка требуют 40 человек для своего поддержания.

Семья Стотсбюри живет в уединении в своем филладельфийском имении, сады которого являются копией Версальских. В их доме насчитывается 145 комнат, 45 ванн, 14 лифтов, 35 человек домашней прислуги и 65 человек обслуживающего персонала. В этом имении они живут только летом.

Выше было рассказано, каким способом богачи умудряются истратить хотя бы часть своего дохода на свои личные удовольствия и развлечения. Впрочем, приведенные факты являются только ничтожной частью материалов, которые можно было бы огласить из этой области. Следует еще упомянуть о тратах на яхты, на лошадей, железнодорожные специальные вагоны, аэропланы и некоторые другие экстравагантности.

### ЯХТЫ

Яхты являются, после имений и садов, самой крупной статьей расходных бюджетов американских архимиллионеров. Семья Дюпонов имеет свыше тридцати яхт и является в этом отношении, повидимому, самым крупным частным собственником в мире.

Семья Форбсов из Бостона владеет, по данным Ллойда, тринадцатью яхтами, Вандербильты имеют десять яхт. Целый ряд семей имеют по 3—4—5 яхт.

Яхты американских миллионеров обходятся им до 2½ млн. долл., а стоимость содержания — от 250 до 500 тыс. долл. в год; одна

только поездка в Англию стоит 50 тыс. долл. Яхты оборудованы самым роскошным образом. Так, например, яхта Кадваладера имеет огромный орган, старинную мебель и ковры, роскошную ванную комнату и т. д. Яхта «Альва» Вандербильта приспособлена для несения аэропланов и имеет, кроме того, моторные лодки и быстроходные катера.

Известная крупная яхта полковника Дидса снабжена дизельным двигателем в 2500 лошадиных сил.

Миллионеры привыкли покупать яхты и распорядиться ими совершенно так же, как обыкновенный смертный покупает и использует обувь. Семья Вандербильтов переменяла, например, уже свыше 50 яхт.

### Частные железные дороги и вагоны

Непременной принадлежностью каждого крупного миллионера является специально оборудованный железнодорожный вагон, а в имения многих из них проведены специальные железнодорожные ветки, подходящие до самого дома. В проведении таких веток фактически заинтересованы и принимают участие железнодорожные компании. Частный салон-вагон со всей обстановкой стоит от 85 до 125 тыс. долл., а ежегодное его содержание обходится от 35 до 50 тыс. долл. Имения Херста, Рокфеллеров, Асторов и других имеют железнодорожные ветки, подходящие до их дворцов.

### Лошади

Много денег тратится миллионерами на лошадей. Беговые и скаковые конюшни нередко являются вместе с тем источником дохода. Так, например, конюшня Уитнэя дала ему в 1926 г. свыше 400 тыс. долл. выигранных призов, одна только лошадь другого миллионера выиграла в 1930 г. призов на 303 тыс. долл.

Конюшня Уитнэя, стоимостью около 2 млн. долл., является одной из самых известных и роскошных. На игру в поло, в которой участвует около 40 игроков, принадлежащих к 17 самым богатым семьям, тратится в год до 5 млн. долл. Каждому игроку нужно несколько специально обученных пони, так как эта игра очень утомляет лошадей. Игра в поло была введена в США тем же Уитнэем.

### Автомобили

Поскольку в Америке автомобилями владеют многие лица, не принадлежащие к состоятельному слою, миллионерам приходится отличаться на этом поприще главным образом количеством и марками. Они имеют по 25—50 автомобилей, а у некоторых насчитывается по несколько сот автомобилей. Семья Дюпонов владеет свыше 500 автомобилей, так же как и семья Вандербильтов.

Трудно определить стоимость таких автомобилей, изготовляемых по специальным заказам, но имеются данные, что, например, Вальтер Крайслер подарил в 1934 г. своему сыну автомобиль, стоящий 20 тыс. долл., в

нем был устроен «бар» со специальным оборудованием и серебряной посудой для пикников, уложена леопардовая шкура стоимостью в 3 тыс. долл.

Корнелий Вандербильт часть лета 1936—1937 г. провел, совершая автомобильные туры по Западной Европе в специально построенном автомобиле с прицепом, содержавшим бар, электрическую кухню и другое оборудование.

### Аэропланы

Приобретение в частную собственность аэропланов является сравнительно новинкой в заботах миллионеров и вместе с тем серьезной статьей их расходного бюджета. В имениях устраиваются аэродромы, ангары, специальные клубы, обслуживающие частные аэропланы. Макжормик, Гарриман, Филд приобрели гидросамолеты стоимостью по 47 тыс. долл., развивающие скорость по 170 миль в час, с радиусом в 1000 миль. Имеются аэропланы и у Моргана, и у ряда других миллионеров.

### Туалеты

Богатые женщины тратят безумные деньги на свои туалеты, но и мужчины тратят на это немало. Описи при завещаниях миллионеров подтверждают, что после их смерти иногда остается несколько сот костюмов, несколько сот рубашек, дюжины ботинок и т. д. Конечно, траты эти не поддаются учету.

Стюарт Чейз в журнале «Нью-Рипаблик» от 25 мая 1927 г. приводит анализ типового бюджета за 1928 г. четырех тысяч обитателей одной из лучших улиц Нью-Йорка. Люди эти не входят ни в круг 60 семейств, ни в ближайшее их окружение. Если даже снизить на 25 проц., для осторожности, приводимые цифры, то можно принять, что 4 тысячи семей имеют общий годовой бюджет в 280 млн. долл. Из этой суммы 4 тыс. женщин (матерей и дочерей) тратят в год на туалеты 85 млн. долл., а отцы и сыновья умудряются истратить 19 млн. долл. Стоимость квартирной платы в среднем равняется полутора млн. долл. за комнату. Квартиры в десять комнат оплачиваются в 11½ тыс. долл., а двадцать комнат — в 23 тыс. долл. Отделка квартиры стоит 100 тыс. долл. Расход на кухню и содержание прислуги обходится в 32 млн. долл. Бриллианты обходятся в 20 млн. долл. Стоимость автомобилей составляет 16 млн. долл. Расходы на путешествия — 15 млн. долл., покупка пудры, духов — 8 млн. долл., яхты — 7 млн. долл., развлечения — 5 млн. долл., цветы, сладости и мясочки — 10 млн. долл., благотворительность — 5 млн. долл. По данным газеты «Уорлд», расходы на спиртные напитки равняются не менее 15 млн. долл.

Эти безумные траты, лишь небольшая часть которых могла быть здесь перечислена, нередко оправдываются наемными писателями, утверждающими, что такие расходы дают крупный заработок целому ряду лиц. Неужели эти писатели не понимают, что если бы деньги, расходуемые богачами на свои личные развлечения, уплачивались ими в виде налогов и тратились

на постройку и содержание весьма необходимых больниц, школ, клубов, дешевых жилищ в городах и селах для массы американского населения, то гораздо большее количество безработных получило бы занятие, чем при выполнении безумных и нелепых прихотей миллионеров.

## ПОЛИТИКА НЬЮ ДИЛ<sup>1</sup> И ЕЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Если бы можно было сказать, что благодаря политике президента Франклина Рузвельта могущественный класс американских сверхбогачей обуздан, — это было бы весьма утешительно. Однако такое заключение совершенно не оправдывается фактами.

Миллионы народа были спасены благодаря политике Рузвельта от голодной смерти и вернулись в то состояние, в котором они находились до эпохи Гувера; — состояние хронического недоедания и необеспеченности, но и за это они были трогательно благодарны Нью Дилу. Необходимо, однако, отметить, что администрация<sup>2</sup> Рузвельта, помогая миллионам безработных, действовала по мотивам, отнюдь не благотворительным. Политика Нью Дил ни в коем случае не является ни революционной, ни радикальной. Она окрашена в мягкий, реформистский цвет и является лишь необходимой уступкой среди всеобщего недовольства. При этом, по своим практическим методам, она вполне соответствует американским политическим традициям; она проводит принцип, что победителю принадлежит добыча; она карает своих врагов и награждает друзей — особенно тех, кто щедро ей помогает. Как и Вильсон, и первый Рузвельт<sup>3</sup>, Франклин Рузвельт является сторонником вуалирования действительных экономических мотивов под маской риторики. Обстоятельства помогли президенту Рузвельту в том отношении, что его программа считается проводимой по мотивам филантропии. Но те несчастные, которые надеялись, что Нью Дил приведет их в обетованную землю социальной обеспеченности и богатой жизни, жестоко ошибутся. Можно совершенно безошибочно предсказать, что, когда окончится политика Нью Дила, бедные будут не богаче, а богаче — не беднее.

Это можно было бы подтвердить бесчисленным количеством фактов. Приведем один из наиболее выдающихся. Журнал «Нью-Рипаблик» (11 августа 1937 г.) пишет, что цифровые данные Департамента труда о годовом заработке должностных лиц и средней недельной заработной плате рабочих в 133 ведущих кор-

порациях за 1936 г. показывают следующее: жалованье руководителей корпораций колебалось от 25 до 260 тыс. долл. каждому, тогда как недельная заработная плата рабочего, например, в декабре 1936 г. колебалась от 15,86 долл. до 38,25 долл. Наиболее низкая ставка наблюдалась в предприятиях табачной промышленности; все эти предприятия были ревностными сторонниками Рузвельта и жертвователями денежных сумм на проведение избирательной кампании. Джордж Хил, президент Американской табачной компании, получал жалованье в 246 тыс. долл., а два его помощника — по 125 тыс. долл. Таким образом, он получал в 20 раз больше, чем такие мировые ученые, как Альберт Эйнштейн и Джон Дьюи.

Политика Рузвельта вовсе не является политической народной коалиции, направленной против коренных интересов капиталистов. В сущности, Нью Дил является представителем одной фракции капитала, а именно легкой промышленности, в ее острой политической борьбе против другой фракции — тяжелой индустрии.

С самого начала своего существования политика Нью Дил поддерживалась теми кругами капитала, которые извлекают доход главным образом из внутреннего рынка, т.е. от текстильной промышленности, табачной, пищевых продуктов, от крупной торговли и т.п. Поскольку задачей Нью Дила было восстановить благосостояние этой части капиталистов путем повышения покупательной способности населения, политика эта удачно объединила вокруг себя рабочих и фермеров, так как и те, и другие получили некоторую непосредственную выгоду, в виде небольших подачек. Программа Рузвельта, с ее крупными общественными работами, с помощью безработным, способствовала повышению покупательной способности и вместе с тем на какой-то период разрешила непосредственную насущную проблему для миллионной армии бедняков, которая стала благодаря этому на поддержку Рузвельта.

Рузвельт не устал повторять, что главной целью Нью Дила является восстановление покупательной способности обнищавшего американского населения. В политику республиканской партии отнюдь не входило обнаружение действительных целей Нью Дила, так как это привело бы к разоблачению политической сущности как республиканской, так и демократической партий как партий, предоставляющих особые льготы богачам, поддерживающим эти партии. Поэтому республиканцам пришлось поевеле критиковать Нью Дил как якобы радикальный режим, подтачивающий священный строй американского общества.

Такие явно лживые обвинения приобрели, однако, для Нью Дила лишь сторонников среди неимущих классов населения, а среднюю буржуазию не испугали.

Что касается тяжелой индустрии, а также банков, тесно связанных с последней, то они распоряжаются всей страной, как и во времена президентов Гарднера, Кулиджа и Гувера. Банки, стремившиеся всегда монополизировать контроль над промышленностью, при-

<sup>1</sup> Под именем «Нью Дил» (т.е. «Новый курс») известен курс экономической и социальной политики Рузвельта, состоящий из ряда «реформ» в области аграрной, промышленной, банковской и др.; одним из принципов ее является «регулирование».

<sup>2</sup> Государственные органы власти.

<sup>3</sup> Теодор Рузвельт, дядя Франклина Рузвельта, был президентом США с 1901 г. по 1909 г.

Гувере вели политику предоставления кризиса собственному течению. Действительно, дальнейшая дефляция<sup>1</sup> привела бы к тому, что и легкая промышленность, и торговля попали бы в лапы банкиров и таким путем монополистическая централизация всей американской экономической системы была бы завершена. Конечно, банки и тяжелая промышленность не хотели полного уничтожения покупательной способности населения; они тоже стояли за ее восстановление, но при более низком уровне цен и при полном контроле.

Представители легкой промышленности и торговли видели в таком ходе событий угрозу своему существованию и быстро воспользовались непопулярностью Гувера для того, чтобы поставить его место политику Нью Дил.

Так называемые экономические реформы Нью Дила проведены за счет крупных банков и тяжелой промышленности. Обложение сверхприбылей в 1936 г., например, было направлено исключительно против тяжелой промышленности и банков, которые нажили эти прибыли в 1920 и последующих годах, и сохранили их, выбросив на улицу во время кризиса миллионы рабочих. Замораживание этих миллионов банкирами и королями тяжелой индустрии и, как следствие этого, падение покупательной способности широких масс привело к убыткам и уменьшению прибылей легкой индустрии. Последняя, в порядке самозащиты от крушения внутреннего рынка, поддерживала также профсоюзную политику Льюиса и Комитета производителей профсоюзов. Программа эта была направлена против цитаделей тяжелой промышленности — стальной, нефтяной, химической, угольной и автомобильной. И хотя вышеназванный Комитет со временем, бесспорно, примется и за легкую индустрию, последней это не кажется опасным, поскольку предприятия тяжелой промышленности уже охвачены профсоюзным движением нового типа.

Короче говоря, политика Нью Дил является выражением серьезного расхождения в лагере крупного капитала. И хотя в основе этого расхождения не лежат никакие принципиальные вопросы, касающиеся структуры капитализма, но метод борьбы с кризисом у обеих групп весьма различен, что и вызывает жестокие споры. Представители политики Рузвельта — сознательно или бессознательно — работают на то, чтобы разгромить концентрацию финансового капитала, завершленную при Гардинге, Кулидже и Гувере. Они пытаются с помощью политических приемов самого финансового капитала, а также с помощью новых форм политической борьбы вернуть капитализм в его прежнее состояние, т.-е. восстановить индивидуальных промышленных и торговых предпринимателей, которые были бы свободны от верховенства монополистического капитала. Они стремятся, таким образом, восстановить прошлое.

В задачи Нью Дила никоим образом не входит действительный разгром тяжелой индустрии

и банковского дела. Он стремится лишь поставить эти отрасли в равное положение с легкой промышленностью и торговлей.

Большую финансовую помощь кандидатуре Рузвельта оказал переход на его сторону защитников так называемого «мокрого вопроса», требующих разрешения продажи в США спиртных напитков. Если учесть, что в избирательный фонд за кандидатуру Рузвельта были включены пожертвования в пользу Ассоциации, сформированной против «сухого» закона, большинство членов которой было заинтересовано в развитии спиртовой и пивоваренной промышленности, то окажется, что фонды демократической партии превышают фонды республиканской.

Немало было среди американских богачей и таких, которые жертвовали в фонды как республиканской, так и демократической партий. К числу их относятся Дюпоны, Харкнесы, Вандербильты, Флешманы, Маккормики, Гугенхаймы и другие.

Таким путем этим партиям обеспечивался успех при любом исходе выборов. Банкиры Уол-Стрита, в большинстве принадлежащие к республиканской партии, обычно имеют в числе своих крупных служащих нескольких выдающихся «демократов». Так, например, президент Первого Национального банка Рейнольдс, а также Паркер Джильберт и Лафингуэл, принадлежащие к группе Моргана (сторонника республиканской партии), являются «демократами».

В самом начале программа Рузвельта не была отчетливо сформулирована, и даже весьма сомнительно, чтобы кто-либо имел план такой программы полностью. Но экономические интересы наиболее близких президенту лиц и его советников сделали неизбежным дальнейшее развитие программы. С течением времени программа эта все более и более отчетливо вырисовывалась, причем сторонники Рузвельта, связанные с тяжелой промышленностью или с банками, постепенно отпадали; вместе с тем другие группы, выступавшие в 1932 г. против Рузвельта, неожиданно переменили фронт и появились в Вашингтоне с предложением своих услуг.

Независимо от первой и наиболее крупной меры — отказа от золотого стандарта, а также процедуры закрытия и затем нового открытия банков, наиболее видными мероприятиями политики Нью Дил являются законы о реорганизации сельского хозяйства и о восстановлении промышленности. Оба они были впоследствии аннулированы решениями Верховного Суда, что повлекло за собою громкие требования реформы этого суда. Закон о «реорганизации сельского хозяйства» (AAA)<sup>1</sup> дал возможность выдавать фермерам премии за частичное сокращение посевов сельскохозяйственных культур и тем самым на какой-то срок повысил покупательную способность фермеров, т.-е. преследовал одну из основных задач Нью Дила. Необычайно сильная засуха 1934 г. вызвала бурю критики у большинства

<sup>1</sup> Сокращение огромного количества обращающихся в стране денежных знаков.

<sup>1</sup> AAA — Agricultural Adjustment Administration, т.-е. реорганизация сельского хозяйства.

противников сельскохозяйственной программы Рузвельта, направленной к сокращению с.-х. культур и поголовья скота в стране для повышения цен. Однако эти же самые критики ничего не имели против саботажа магнатов тяжелой индустрии и банкиров, когда они стали закрывать в 1929 — 1933 гг. свои заводы и увольнять рабочих. За период этих четырех лет сельскохозяйственная продукция в стране уменьшилась всего на 5 проц., а промышленность — за это же время — на 48,7 проц. В течение одного года благодаря закону «AAA» доход фермеров увеличился на 38 проц. и покупательная способность их приблизительно — на 25 проц. Достигли этого с помощью весьма «эффективного» метода, использованного в свое время в тяжелой промышленности. Расход по выдаче премий фермерам был, оказывается, погашен за счет одномиллиардного производственного налога, оплаченного населением как потребителями. Повышение покупательной способности фермеров способствовало непосредственному успеху группы, финансировавшей избирательную кампанию в пользу Рузвельта. Международная Компания Жатвенных Машин (Маккормик) нажилась, например, на увеличении продаж сельскохозяйственного оборудования. Равным образом выиграли на этом деле фабриканты, производящие платье, табачные изделия и другие продукты и предметы широкого потребления.

Закон о восстановлении промышленности (НИРА) от 16 июня 1933 г. скрыл свои весьма сомнительные цели под демагогическим флагом параграфа 7а, который гарантировал рабочим уже имевшееся у них законное право коллективного соглашения о заработной плате через своих представителей. В этом отношении закон был во многом аналогичен плану, давно уже продвигаемому «компанией «Дженерал Электрик». Как говорят, Рузвельт сам был очень озабочен целым рядом тяжелых фактов, явившихся следствием проведения этого закона. Закон имел целью восстановить стабильность промышленного производства, гарантируя статус-кво как рабочему, так и предпринимателю, первому — в том немногом, что он имел, а второму — в том большом, чем он обладал.

Ввиду того, что отрасли хозяйства, подпадавшие под действие так называемых «кодексов честной конкуренции»<sup>1</sup>, не подлежали действию закона против трестов<sup>2</sup>, то правительство, таким образом, более чем когда-либо сыграло наруку монополистам. В большинстве случаев такие кодексы представляли собою обычно уже действующее соглашение монополистических торговых организаций, причем правитель-

ство лишь санкционировало их и делало обязательными. Почти всегда властью, ответственной за проведение в действие этих кодексов «честной конкуренции», являлись руководители торговых организаций.

Поскольку контроль был в руках крупных капиталистов, они использовали все условия кодексов для борьбы не только с рабочим классом, но и с мелкими независимыми предпринимателями. Так, общий обзор «Организации по восстановлению промышленности», подписанный Дарроу и Ресселлем, указывает, что закон «НИРА» способствовал усилению монополистического капитала, а не борьбе с ним.

Как указывает профессор Дюмонд, в данном случае имели место передача функций самоуправления частным лицам из капиталистического мира и присвоение уставам торговых промышленных товариществ авторитета федеральных постановлений. Хотя уставы имели целью извлечение прибыли частными лицами без всякого учета интересов общества в целом, они были представлены народу как экономическое планирование.

В конечном счете эта политика, быть может, больше, чем какая-либо другая, открыла стране антиобщественный характер деятельности крупных собственников. Радость масс, получивших заработок в 12 долларов в неделю, и одновременно режий протест промышленников Южных штатов против такой «высокой» заработной платы показали общественному мнению, что рабочие США уже давно получают нищенскую плату китайского кули. Такое же воспитательное значение имело и обсуждение положения сельского хозяйства, развернувшееся вокруг деятельности «AAA». Таким образом, если даже Нью Дил и не успел ни в чем другом, то во всяком случае он своими попытками реформ внушил общественному мнению глубокое подозрение в подлинных мотивах и способах деятельности феодалов промышленности и банков.

Гигантская программа помощи безработным, предпринятая правительством Рузвельта, пошла на пользу в первую очередь компаниям розничных магазинов и землевладельцам, так как выплачиваемые безработным пособия немедленно были использованы последними для приобретения предметов первой жизненной необходимости. Для помощи безработным было создано несколько правительственных органов. В связи с тем, что в задачи их входило строительство, естественно, увеличился спрос на цемент, кирпич, машины, железо и дерево, что пошло на пользу и тяжелой промышленности. Но прибыли этих отраслей были не так велики и не так скоро выявились, как прибыли промышленности, ближе связанной с розничной торговлей.

В это же самое время банки, регулирующие тяжелую промышленность, путем ряда законов перешли под правительственный контроль. Согласно первому из этих законов в 1933 г. торговые операции были отделены от инвестиционных, и Федеральному Резервному Бюро было предоставлено право контроля над займами, выпускаемыми в спекулятивных целях. Это раз-

<sup>1</sup> Так называемые «кодексы честной конкуренции» явились видом коллективных соглашений предпринимателей с рабочими о заработной плате. Утверждали они правительственной администрацией и считались обязательными для обеих сторон.

<sup>2</sup> В США формально действует закон, запрещающий трестирование предприятий, хотя концентрация капитала и производства разнита в США более, чем в какой-либо другой капиталистической стране.

деление банковских операций было тяжелым ударом для группы Моргана и значительно ослабило его влияние и влияние других частных банков. Что касается Рокфеллеров, то после своего «падения» при Гувере они на некоторое время воскресли при Нью Диле, после резкого повышения цен на нефть и улучшения рынка недвижимости собственности. Хотя Джон Рокфеллер младший официально поддерживал республиканскую партию, круги Стандарт Ойл К° поддерживали во многих случаях Нью Дил и благожелательно относились к его мероприятиям. Со своей стороны Нью Дил, по крайней мере на первых порах своей деятельности, не предпринял ничего, что могло бы повредить или помешать деятельности Стандарта Ойл К°.

Следующим крупным ударом, нанесенным монополистическому капиталу независимыми промышленниками и торговцами, является закон 27 мая 1933 г. об обеспечении. Согласно этому закону, требуется регистрация ценностей особой комиссией, и покупатели их приобретают право требовать возмещения убытков в случае недобросовестного ведения дела. Банкиры подняли яростную кампанию против этого закона. И тем не менее Федеральное Резервное Бюро получило право регулировать денежный рынок. При этом всякие объединения («пулы») и другие способы маневрирования с фондовыми ценностями были воспрещены. Требовалась регистрация ценных бумаг, а распространители ложных сведений при продаже ценностей подлежали уголовной ответственности.

Налоговые реформы Нью Дила были направлены преимущественно против самых богатых представителей капитала, но вместе с тем оставали им и выход. Со стороны архимиллионеров поступали протесты с указанием на то, что база налогового обложения слишком узка и что наиболее низкие доходы не подпадают под действие налогового прессы.

В 1932 г. Конгресс, с авторитетного разрешения президента Гувера и ослабленной республиканской партии, повысил ряд ставок подоходного налога. По закону 1928 г., доходы свыше 8 тыс. долл. облагались твердой ставкой в 5 проц., а по закону 1932 г. — 8 проц. Доходы свыше 100 тыс. долл. — в 1928 г. облагались 20 проц.; новый закон 1932 г. установил налоговую ставку в 48 проц. для доходов от 100 до 150 тыс. долл., в 49 проц. — от 150 до 200 тыс. долл. и в 50 проц. для доходов от 200 до 300 тыс. долл. Доходы от 500 до 700 тыс. долл. облагались налогом в 53 проц., а доходы, превышающие 1 млн. долларов, — в 55 проц.

Следующий закон — 1934 г. — еще больше повысил налоговые ставки, а именно: доходы от 100 до 150 тыс. долл. облагались 52 проц., доходы от 150 до 200 — 53 проц., от 200 до 300 тыс. долл. — 54 проц. и доходы свыше 1 млн. долл. — 59 проц.

В 1935 г. последовало новое повышение налоговых ставок: доходы от 100 до 150 тыс. долл. подлежали обложению уже в размере 58 проц. и т. д., причем максимальная ставка обложения — 75 проц. — была установлена

для доходов свыше 5 млн. долл. Закон от 1936 г. оставил эти ставки без изменения.

По закону 1928 г. о налоге с имущества — последний взимался в размере 3 проц. с имущества стоимостью в 100 тыс. долл.; закон 1932 г. повысил эту ставку до 9 проц., а также повысил ставку обложения следующих категорий имущества. Законы 1934—36 гг. еще более повысили эти ставки: так, имущества, оцениваемые от 20 до 50 млн. долл., должны были уплачивать 69 проц. своей стоимости, а свыше 50 млн. долл. — 70 проц., тогда как по закону 1928 г. все имущества свыше 10 млн. долл. облагались лишь в размере 20 проц.

Законом 1932 г. был установлен также налог с дарений — в целях предотвращения широко практиковавшейся системы раздачи богачами своих состояний членам семейств и близким для уклонения от налогов. Согласно этому закону, дарения в 1 млн. долл. облагались налогом в 92 тыс. долл. плюс 14 проц. с сумм дополнительных дарений до 1,5 млн. долл. Дарения в 5 млн. долл. облагались в 862 тыс. долл. плюс 26 проц. с сумм дополнительных дарений до 6 млн. долл. Дарения в 10 млн. долл. облагались 2312 тыс. долл. плюс 33,3 проц. превышающей суммы. В 1934 г. эти ставки были доведены до 52,5 проц. с дарений в 50 млн. долл. и выше, а в 1935 г. снова повысились в отношении более низких дарений и оставлены без изменения в отношении самых крупных дарений.

В налоговой реформе президента Рузвельта нет ничего случайного или «донкихотского»; это ясно обнаружилось на конференции представителей печати в июле 1935 г. при обсуждении итогов налогового обложения за 1932 г. В этом году, как указывал президент, 58 чел. в США показали доходы по 1 млн. долл. Этих лиц можно было назвать самыми богатыми людьми Америки, и тем не менее они совершенно не уплатили налогов с общей суммы в 21 млн. долл., т. е. с 37 проц. своего общего дохода, под разными видами сумев укрыть их от обложения. Далее, президент сообщил, что в 1932 г., когда законопроект налога с дарений был еще в процессе обсуждения, одно лицо совершило «дарение» на сумму около 100 млн. долл., а другое — на сумму около 50 млн. долл. Делалось это в целях избежания предстоящего налогового обложения.

На этой же конференции Рузвельтом было указано, что некая семья миллионеров разделила свое имущество на 197 частей, чтобы уклониться от платежа налогов. Хотя Рузвельт не назвал эту семью, но последующие обследования обнаружили, что речь идет о Рокфеллерах. Действительно, по данным публичной отчетности, может быть доказано, что Рокфеллер младший, через несколько дней после вышеназванного разоблачения, начал быстро «дарить» части своего состояния родственникам для избежания высокого обложения согласно новому законопроекту.

Хотя налоговые законы Рузвельта на первый взгляд и могут казаться жесткими, тем не менее они обладают множеством оговорок, позволяющих избежать полного налогового обло-

жения. Некоторые, наиболее скандальные из таких уверток уже разоблачены, но большинство их, однако (в особенности, связанные с налогом с дарений), остались не раскрытыми. Закон, между прочим, устанавливает правило, что налог взимается с каждого индивидуального дарения. Таким образом, фактически он наиболее ощутителен для лиц с небольшой семьей, когда число «одаряемых» невелико. Лицо же, обладающее достаточным количеством сыновей, дочерей, внуков и т. д., может расчленив свое состояние и уплатить меньше налогов. Так и поступил, например, Джон Рокфеллер младший в 1935 г., «передав» сразу на 27 млн. долл. своих акций. Если бы все эти 27 млн. долл. были переданы одному лицу, то они подлежали бы налогу в размере 51¼ проц., если же они были бы переданы шести сыновьям Рокфеллера, то общий налог с них составил бы 32 проц., а так как в число «одаряемых» были включены и внуки, то налог снизился до 25 проц. Таким путем Рокфеллеры, имея многочисленное потомство, могут, даже при действии налоговых законов Нью Дила, сохранить большую часть своего состояния, обременив ее лишь 25-проц. налогом, вместо 70-проц.

Когда у миллионеров нет достаточного количества детей или внуков, как, например, у Андрея Меллона, то к их услугам открыт другой путь уклонения от налогов, а именно: пожертвования на благотворительные цели при сохранении контроля над пожертвованными фондами. А что это так, мы видим на факте: хотя оба Меллона умерли, тем не менее их Алюминиевая компания и Гулф Ойл К<sup>о</sup> остаются под контролем семьи Меллона и нисколько не затронуты «жесткими» налоговыми законами. На ответственности властей лежит признание наличия «филантропии» у всех этих благотворительных организаций, главной задачей которых, в сущности, является сохранение капиталов за капиталистами.

Для того, чтобы помочь богачам избежать платежа налогов, имеется столько приемов и способов, что едва ли можно надеяться на полное уничтожение всех таких уверток и обходов законов.

Хотя правительство Нью Дила и сделало немало для того, чтобы богачи не уклонялись от налогов, тем не менее ясно, что главные способы не были им использованы ввиду того, что правительство поддерживается людьми, принадлежащими к классу богачей.

Министр финансов США Моргентау 17 июня 1937 г. следующим образом перечислил способы уклонения от платежа подоходного налога: образование иностранных акционерных компаний держателей ценностей, иностранных страховых обществ, американских компаний держателей ценностей; превращение яхт и имений в корпоративные предприятия; образование трестов из родственников и зависимых людей; образование семейных товариществ. Эти способы были использованы большим количеством богатых налогоплательщиков.

Президент компании «Дженерал Моторс» Слоун превратил свою частную яхту «Рене» в корпоративную, списав со своего личного

счета 278 тыс. долл. издержек по ее содержанию за шесть лет. Это позволило ему снизить свое налоговое обложение на 128 тыс. долл. Он провел ряд подобных комбинаций и в других областях своей коммерческой деятельности. В числе миллионеров, использовавших этот прием, можно назвать Херста, нескольких Дюпюнов, нескольких Фишеров, Скрипса, Ламонта, Принса и многих других. По данным министерства финансов, путем инкорпорирования 80 частных состояний в акционерные общества, налоговое обложение 1936 г. понизилось на 2,5 млн. долл.

Секретарь одного из миллионеров — Грина — сообщил на судебном процессе, что его патрон с 1917 года по 1929 год совершенно не платил подоходного налога с ежегодного дохода в 20 млн. долл.; он сумел сделать это очень простой уловкой: нигде не оставял своего постоянного адреса, превратившись таким образом в «кочующего миллионера».

Можно привести ряд случаев превращения миллионерами своих дворцов, имений, аэропланов, автомобилей и другого имущества в корпоративные предприятия. Богачи, в своей корпоне за уклонением от налогов остановились, повидимому, только лишь перед инкорпорированием своих детей и любовниц. Между тем газета «Нью Йорк Таймс», а также другие реакционные газеты, пытаются доказать, что образование таких мошеннических «корпораций» является вполне законным. Очевидно, законность является зачастую последним прибежищем мошенника.

Налоговые мероприятия Нью Дила, однако, не разрешили общей экономической проблемы страны. Остается еще много сделать, особенно для того, чтобы обратить общественное внимание на новые способы уклонения от налогов под флагом филантропических, религиозных и воспитательных пожертвований.

Несмотря на ряд неудач в выполнении многих своих обещаний, нельзя отрицать того, что президент Рузвельт в целом ряде случаев пошел дальше своих советников и некоторых из них оттолкнул от себя своим пристрастием к реформам. Отсюда обвинение его в «диктатуре» со стороны консерваторов. Богатые классы считают, что президент может благосклонно относиться и предоставлять специальные привилегии лишь одной из их групп, даже если они сами к ней не принадлежат; но когда они видят, что президент преследует цели общественного интереса, они находят его поведение угрожающим.

Несмотря на скромность — с социальной точки зрения — правительственных мероприятий Рузвельта, они возбудили враждебное отношение ряда капиталистических групп.

Примером могут служить отношения между Рузвельтом и Рокфеллером. Враждебность Рокфеллера к Рузвельту датируется приблизительно июлем 1935 г., когда президент, на упомянутой выше конференции печати, заклеил архимиллионеров — налогоплательщиков, уклоняющихся от своего долга. До этого Рокфеллеры имели склонность к сотрудничеству с администрацией Рузвельта, в частности в области



выработки кодекса для нефтяной промышленности. Но уже в 1936 г. семья Рокфеллеров оказалась крупнейшей участницей финансирования республиканской партии, что, однако, послужило лишь на пользу Рузвельту. Со времени этой же конференции Винсент Астор, как говорят, тоже стал враждебным Нью Дилу, рьяным сторонником которого он раньше был. Астор в 1932 г. был одним из видных жертвователей для проведения избирательной кампании демократической партии, а в описках 1936 г. он уже более не значится.

В плюс Нью Дилу следует отнести его сравнительно благосклонное отношение к рабочему вопросу. В американской истории это — первый случай; впрочем рабочая политика Нью Дил, как и в других случаях, вызывалась необходимостью, а отнюдь не какими-либо идеалистическими соображениями.

Ни на какой стадии своей деятельности Нью Дил, конечно, не был ни социалистичен, ни революционер. Авторитетным доказательством этого может служить анализ деятельности Нью Дила, данный журналом «Экономист», ведущим лондонским органом мирового капитализма. По словам этого журнала, Нью Дил представляет собой лишь просвещенный капитализм, старющийся справиться, поскольку возможно, с тяжелым, почти безнадежным и полным противоречий положением. Следует все-таки считать, что Нью Дил является наиболее культурным правительством США за весь период со времени гражданской войны.

Во всяком случае, в период жестокого кризиса в США он был единственной альтернативой: или Нью Дил, или правительство, основывающееся на «пулеметах».

Политика Нью Дил предоставляла целый ряд специальных преимуществ отдельным выдающимся представителям капитала, в соответствии со старой американской традицией. Такие привилегии были неразрывной частью этой политики, и о нескольких из них можно упомянуть.

Так, в 1934 г. президент Рузвельт лично вмешался в конфликт между Херстом, бывшим тогда одним из его сторонников, и правительственной организацией, занимающейся вопросами трудовых конфликтов: Херст уволил незаконно одного из служащих и должен был принять его обратно. Рузвельт вмешался и отменил это решение.

В 1937 г. Рузвельт вмешался в стачку на автомобильном заводе Крайслера и содействовал ее прекращению. После этого Крайслер сделался ярым сторонником Нью Дила. Другая стачка на заводах компании «Дженерал Моторс» продолжалась, однако, до конца без всякого вмешательства Белого дома.

После 1932 г. в рядах Нью Дила произошло некоторое смятение и наблюдался уход части его сторонников; это может быть объяснено именно разделением интересов между представителями легкой и тяжелой промышленности. Лично Рузвельт опирался в то время преимущественно на легкую промышленность и торговый капитал. Самый крупный урон был при-

чинен демократической партии семьей Дюпонов, которая перешла в лагерь республиканцев. Другим уроном надо считать отход Вильяма Херста, «пострадавшего» от налогового обложения и не сумевшего использовать разные увертки и обходы законов.

Большой интерес представляет ряд отдельных моментов при проведении избирательной кампании 1936 г.

Американское радио передавало в августе 1936 г., что 400 чел., считающихся «экономическими роялистами», пожертвовали деньги демократической партии. К числу их относятся: партнеры Моргана, Лефингуэл и Джиалберт, Донингтон (банкир), Вандербильт, Принс, Крайслер, Бендикс, Штраус, Маккормик, Винсент Астор и др.

Большое число профессиональных политиков сделало более скромные пожертвования в размере от 500 до 5 000 долл. В целях борьбы с денежной волной республиканцев, грозившей опрокинуть демократическую партию, последней изобрела несколько новых и, быть может, незаконных приемов сбора денег. Выпускались печатные сборники, рассылаемые крупным промышленным предприятиям, собирались деньги с рекламодателей и т. п.

Профсоюзные организации также оказали очень значительную поддержку Рузвельту, передав на расходы по его избирательной кампании сумму в 770 тыс. долл. Самым крупным было пожертвование американского союза горняков (470 тыс. долл.), далее идет Американская рабочая партия (133 тыс. долл.), затем ряд отраслевых профсоюзных организаций, пожертвовавших от 5 до 10 тыс. долл.

Для того, чтобы покончить с вопросом второй избирательной кампании, следует упомянуть, что демократической партии пришлось для ее проведения сделать крупные займы. Так, она задолжала бостонскому банкиру Кеннеди около 37 тыс. долл., профсоюзу горняков — 50 тыс. долл., промышленному тресту в Нью-Йорке — 100 тыс. долл., нью-йоркскому банку Чейз Нейшэнел — 100 тыс. долл. и т. д.

Если бы в распоряжение демократической партии не поступили фонды тред-юнионов, то она не смогла бы противостоять потоку пожертвований в пользу республиканцев со стороны банковского и промышленного капитала.

Список политических противников Рузвельта является весьма характерным для выяснения значения демократической партии в стране. В этот список входят все крупные богачи, рекламировавшие себя в течение ряда лет как «филантропы» и в течение многих лет мучившие американский народ. В этот список входят: 18 членов семьи Дюпонов, семья Гэвард Пью (нефть); пять Рокфеллеров; Эрнест Вейр (Стальная корпорация); два Уитнэя (Стандарт Ойл К°); Флейшман; три Моргана; два Мильбакса; пять Гугенхаймов (медные рудники); Бекер (банк); Херст (горная промышленность); Гарольд Вандербильт; два Харкнеса (Стандарт Ойл К°); Маккормик и т. д.

Как видно из приведенных выше фактов, ряд миллионеров, как, например, Харкнес, Вандербильты, Уитнэй, Маккормики и др., жертвовали

в пользу обеих партий, т.-е. ставили на обеих лошадей. Самое крупное пожертвование республиканской партии от семьи Дюпонов — (856 тыс. долларов) — было вызвано чувством личной вражды к президенту Рузвельту. Хотя в 1932 г. часть блока Дюпонов и поддержала его, однако политика Нью Дил оказалась чрезвычайно разорительной для изготовляющих вооружение предприятий, так как президент лично поддерживал расследование комиссии сенатора Ная, которая вывела на чистую воду мошенничество Дюпонов.

В числе лиц, поддерживавших республиканскую партию в избирательную кампанию 1936 г., можно найти и нескольких представителей легкой промышленности и торгового капитала. Но их участие нисколько не меняет того толкования политики Нью Дил, которое было приведено выше. Эти представители уже давно находились под контролем финансового капитала, который и вовлек их во враждебную Нью Дилу ориентацию, хотя последний мог бы быть для них чрезвычайно выгодным. Представители автомобильной промышленности почти всецело были в оппозиции Нью Дилу. Но эта отрасль, вопреки общему мнению, не может быть отнесена полностью к сфере торговли предметами широкого потребления. Она, например, не продает свою продукцию за наличные, она требует сложной финансовой системы для кредитования и, наконец, она очень тесно связана с тяжелой промышленностью, так как поглощает огромное количество стали, меди, ни-

келя и химикалий. Другими словами, автомобильная промышленность тесно связана с тяжелой индустрией и финансовым капиталом.

В числе лиц, поддерживавших республиканскую партию, не значится Форд. Но в 1936 г., как и в 1932 г., он давал деньги на избирательную кампанию этой партии путем печатания объявлений в ее газетах и, кроме того, оплатил полностью ее счета по радиопередачам.

После своего переизбрания в 1936 г. Рузвельт стал все более и более явно склоняться на сторону банков и тяжелой промышленности, так как политика его увеличила прибыли легкой индустрии и торговли до фантастических размеров, и у сторонников Нью Дила появилось опасение, что тяжелая промышленность выйдет из игры. В настоящее время<sup>1</sup> имеется целый ряд признаков, указывающих, что налаживается коалиция между многими сторонниками Нью Дила и их недавними врагами. Так, например, Фредерик Принс, крупный бостонский капиталист, публично заявил в начале 1937 г. об этом — на вопрос об опасности переизбрания Рузвельта в 1940 г. Принс сказал, что в 1940 г. весь деловой мир должен быть объединен для того, чтобы снова поставить Рузвельта во главе правительства для борьбы с единым фронтом из разочарованных фермеров и промышленных рабочих.

---

<sup>1</sup> Написано во второй половине 1937 г.

# БИБЛИОГРАФИЯ

## ПОЭЗИЯ НОВЫХ СОВЕТСКИХ РЕСПУБЛИК

★

Имена Иоганнеса Барбаруса<sup>1</sup> и Людаса Гира<sup>1</sup> широко известны в нашей стране. Оба они недавно были в Москве на седьмой сессии Верховного Совета с ходатайством о принятии Эстонии и Литвы в Советский Союз. Теперь широкие круги советских читателей имеют возможность познакомиться с поэзией этих двух больших и своеобразных поэтов.

Иоганнес Барбарус — литературный псевдоним И. Вареса, председателя президиума Верховного Совета Эстонской республики. Сборник стихотворений Барбаруса открывается «Мультиплицированным утром», — о том, как начинают свое утро дети, взрослые, старики и поэт. Строки о поэте, который «встречает утро улыбкой и, улыбаясь, старается забыть о разных тяжелых проблемах», — автобиографичны. При встрече с переводчиками его стихов Иоганнес Барбарус рассказывал о том, что стихи ему приходилось писать по утрам от 5 до 8 часов, — весь остальной день он был занят как врач.

Крупнейший поэт Эстонии Иоганнес Барбарус не находил издателей для своих стихов и вынужден был издавать их сам. Поэт, равнявшийся к микрофону с революционным призывом: «Алло, Европа, алло! Народы, протяните друг другу свои электронные руки!» (стих. «Поэт у микрофона»), не допускался к микрофону. Один только раз, по словам Барбаруса, удалось ему выступить вместе с другими писателями по радио, и это выступление вызвало недовольство в правительственных кругах. Вражда бывших буржуазных правителей Эстонии к крупнейшему эстонскому поэту понятна. У поэта Иоганнеса Барбаруса не только не было общего языка с реакционной буржуазной Эстонией, но он был ей явно враждебен. Эстония, — вассал английского империализма, — строившая свое благополучие на выращивании и экспорте свиней для Англии, вызывала у Барбаруса едкую насмешку. Ей посвятил он издевательские строки:

Розовые чушки! Лихо и быстро  
вас превращаем мы в груды туш,  
Но в розовой отрывке из желудка министра  
вы вновь воскресаете под раутом туш!  
Розовый свинок — наше будущее розовое!  
Это — Эстонии пламенный расцвет!  
Свинья — вот поэзия! Все прочее — проза.  
Глаголю: из свинарника грядет к нам свет.  
(«Поросята», пер.  
И. Сельвинского.)

Свинообразными подобиями людей рисовал Барбарус заправил и воротил буржуазной Эстонии, давая такой обобщающий их портрет:

С бычьей физиономии пара нахальных  
глазок  
в розовом настроении смотрит из-за  
пенсне...  
Если он видит слабого, бьет его, не  
промазав:  
— Что, — говорит, — поделаешь? В  
жизни, как на войне!

В ложе сидит промышленник с временною  
женюю.  
Лисье боа на женщине — как серебристый  
жгут...  
Смрадно его дыхание, тяжкое и хмельное.  
Тлеют глаза любовницы, ресницы ее —  
как трут.

И резким контрастом с этим розовым свиным благополучием буржуазного Таллина встает сумрачный Таллин рабочих окраин и предместий:

Тело рабочих Таллина обнажено бедою.  
С блуз их висят лохмотьями порванные  
края.  
Дома у них — салака, черный сухарь с  
водкою,  
пасмурная, голодная, высохшая семья.  
(«Сказка нашего времени», пер.  
Дм. Кедрина.)

<sup>1</sup> Иоганнес Барбарус. Стихотворения. Перевод с эстонского под ред. В. Казина. М. 1940. Гос. изд-во «Худож. литература». Ц. 5 р. Людас Гира. Стихи. Перевод с литовского. М. 1940. Гос. изд-во «Худож. литература». Ц. 5 р.

Поэт широкого интернационального размаха, Барбарус задыхался в душной тесноте мещанской «малой республики».

Едем по республике, едем по малой...  
 Казарма и конюшня, — Эстония, ты!  
 И письмо об этом — серые листы!

Свистнув, как полицейский, стал паровик  
 унылый.  
 Жаль — увезти отсюда нет у билета силы!  
 («Серое письмо с дороги», пер.  
 П. Панченко.)

Ощущение замкнутости, духоты иногда так  
 сильно охватывало поэта, что он, как арестант  
 в тюрьме, готов был в отчаянии стучать кула-  
 ком в стену с воплем:

Кулаком во тьму ударяю глухо:  
 «Задыхаюсь! Откройте! Мне душно...  
 душно...

На засов замкнули вы двери духа,  
 Человека загнали в стойло конюшни!»  
 («Ночь», пер. Мих. Зенкевича.)

Размышляя наедине «с самим собой» над  
 исторической судьбой эстонского народа, Барба-  
 рус приходил к мрачным выводам:

Кто поселил  
 здесь в полумраке  
 народ без судьбы  
 в ногах у других?  
 Кто над страной  
 северной Эсти  
 вывесил черный,  
 траурный флаг?

И поэту казалось, что все творческие его  
 усилия бесплодны, что большое искусство не-  
 возможно в такой стране, ибо —

Где гению в народе нет опоры,  
 Там Гёте или Пушкин не родится!

Где же выход из этого безнадежного тупи-  
 ка и для народа, и для его поэта? Выход этот  
 намечен Барбарусом в стихотворении «Точка  
 огня», в котором он белым стихом под маски-  
 ровкой эксцентричных образов излагает доста-  
 точно ясно свое политическое кредо:

Но скоро  
 учитываться будут векселя  
 совсем другие.  
 На бирже человечества тогда  
 объявлен будет новый курс,  
 еще неведомый банкирам,  
 курс доблестей  
 и трудовых заслуг...  
 Давайте вобьем осиновый кол  
 в могилу капитализма  
 и новому веку гимн пропоем!

Стихи сборника, выбранные из пяти книг  
 Барбаруса, разнообразны по темам и содержа-  
 нию, часто сложны по построению и по обра-  
 зам. Видно, что у Барбаруса было много иска-  
 ний, что он прошел через футуризм и экспрес-  
 сионизм. Однако даже в самых формалисти-  
 ческих своих исканиях Барбарус не был фор-  
 малистом, над сложной формой его стихов все-  
 гда господствует ясная логическая мысль и

боевой темперамент. Как врачу больничной  
 кассы Барбарусу приходилось много соприка-  
 саться с болезнями и нищетой, и это дало ему  
 цикл своеобразных стихов: «Больные», «Рак»,  
 «День одного больного чахоткой». В стихах  
 Барбаруса много трагического и сумрачного.  
 Причину этого хорошо объяснил сам Барбарус,  
 сказав в своей речи, что он раньше считал  
 эстонский народ неспособным радоваться и  
 смеяться, но теперь, после провозглашения Эс-  
 тонии Советской республикой, видит, что был  
 неправ, — эстонский народ умеет радоваться  
 и смеяться. Надо думать, что в ближайших  
 своих книгах Барбарус сумеет так же ярко от-  
 разить эти новые настроения советского эстон-  
 ского народа.

Сборник стихотворений Барбаруса был пере-  
 веден и издан в рекордно короткий срок — в  
 три недели. Несмотря на это, переводы сдела-  
 ны на высоком художественном уровне, — в  
 этом заслуга поэтов-переводчиков и редакторов  
 сборника В. Казина и Л. Тоом. Предисловие  
 Л. Тоом обстоятельно знакомит читателей с  
 творчеством и биографией выдающегося эстон-  
 ского поэта.

★

Людас Гира — крупнейший современный  
 литовский поэт, получивший всеобщее призна-  
 ние у себя на родине, — его стихи заучивают-  
 ся наизусть в школах, его песни поются на-  
 родом. Если Иоганнес Барбарус по характеру  
 своих стихов ближе к Маяковскому, то Людас  
 Гира близок Шевченко. Еще в 1911 г. Людас  
 Гира выпустил сборник своих переводов Шев-  
 ченко под заглавием «Венок на могилу поэта».  
 Гира черпает образы и мотивы своих стихов  
 из литовской народной поэзии. Но при всем  
 различии поэтических приемов Барбаруса и  
 Гира — их роднит одно общее настроение, од-  
 но отношение к судьбам своего народа и своей  
 страны. То, что у Барбаруса выражается гнев-  
 ным сарказмом, у Людаса Гира выражается  
 скорбной грустью.

«Песней курганов» открывается сборник сти-  
 хов Людаса Гира, и эта «дайна» (дума) зву-  
 чит, словно плач по Литве, по «нашей родине  
 бездольной, горестной стране литовской».  
 Вспоминая героические битвы предков, предпо-  
 читавших «скорее погибнуть, чем пойти к вра-  
 гам в неволю», поэт кончает свою дайну  
 скорбной концовкой:

А теперь иное время...  
 Веет ветер над Литвою...  
 Веет, воет, словно плачет  
 Над курганами героев.

Еще более скорбно звучит другая дума-  
 дайна «Страна моя», в которой поэт описы-  
 вает эксплуатацию и нищету трудового ли-  
 товского крестьянства:

Сонный Неман в травах сонных  
 Не плеснет, — и приглушен  
 Голос пахарей и стон их —  
 Тише волн их горький стон...  
 Подымайся до рассвета

Для постылого труда,  
И за все старанье это —  
Закогтит тебя нужда!  
Ни семян тебе, ни луга!  
Борозди неплодный прах,  
Налегай на ручку плуга  
И вздыхай о лучших днях.  
Ждет крестьянин, глухо стонет:  
— Счастье ль упадет с небес? —  
Только ветер листья гонит,  
Гонит в поле, гонит в лес.

(Пер. Арк. Штейнберга.)

Людас Гира — певец литовского трудового крестьянства, его горькой «доли-недоли», его бедствий и несчастьев. В дайне «О трех братьях и трех сестрах» Гира оплакивает трех сынов крестьянских, сложивших свои головы лихое в чуждеальной сторожке, и их невест, принужденных выйти за немилых на чужбину. С особенной теплотой и нежностью оплакивает Гира тяжелую долю крестьянской женщины. Эти мотивы хорошо нам известны по нашим народным песням и стихам Некрасова, но в дайнах Гира они звучат по-новому, свежо и трогательно:

Не студеные туманы  
На рассвете подымались  
Над сырою луговиной,  
Над болотною осокой, —  
То крестьянка молодая,  
Златорунная литвинка,  
Затуманилась слезами,  
Заросилась горевыми

Над своей недольной долей,  
Над судьбою бестаанной.

(«Доля-недоля», пер.  
Арк. Штейнберга.)

По характеру своего дарования Людас Гира мягок и лиричен. Ему более близка грустная жалоба, чем негодующие проклятия Шевченко или Некрасова, но подчас и у Гира срываются гневные строки. Его песня «Размахнись, коса» звучит, как призыв к крестьянам встать против угнетателей:

Плачет народ, о нужде своей думая,  
Будит Литву моя песня угрюмая...  
— Гей, развернись, коса, размахнись! —  
Будит крестьян и зовет их на волю,  
Горе развеять по чистому полю...  
— Гей, развернись, коса, размахнись!

Переводы стихов Гира пестрые: наряду с превосходными переводами (особенно Арк. Штейнберга) попадаются и неудачные. Большим недостатком сборника является отсутствие какого-либо предисловия, знакомящего с биографией и творчеством Людаса Гира.

Изданием этих двух сборников положен хороший почин для первого знакомства с поэзией Эстонии и Литвы. Надо надеяться, что за этими двумя книжечками в ближайшем будущем последуют новые книги, которые полней и основательней ознакомят широкие круги читателей с литературой новых советских республик Эстонии, Литвы и Латвии.

Мих. Зенкевич.



## СИГИЗМУНД ЛЕВАНЕВСКИЙ \*

Леваневский родился в трудовой семье. Рано лишившись отца, он в детстве испытал тяжелую нужду. Шестнадцати лет, работая на заводе «Рессора» в Петрограде, Леваневский вступает в отряд Красной гвардии. Семнадцати лет он уже в продотряде, а затем в рядах Красной армии командиром роты и батальона. После гражданской войны он остается в РККА и в 1923 г. поступает в военную школу морских летчиков в Севастополе. В школе Леваневского обучали летному искусству такие учителя, как Молоков, Линдель, прославившие впоследствии советскую авиацию. Большие способности, упорный труд и настойчивость в овладении летным мастерством — все это тогда уже выработало в Леваневском необходимые качества незаурядного летчика. В 1929 г. после демобилизации он был назначен начальником авиационной школы Осоавиахима в г. Николаеве, а в 1932 г. начальником всеукраинской летной школы в Полтаве.

Повествуя об этом периоде жизни Леваневского, М. Зингер сумел правдиво передать

ту атмосферу «будней» летного ремесла, атмосферу неустанного труда и учебы, в которой вырастают наши смелые авиаторы.

В спокойном, иногда скупом рассказе М. Зингера об отдельных летных эпизодах Леваневского все время ощущаем этот героический труд летчика, этот трепет жизни, смелой, опасной, дерзновенной.

В школе Осоавиахима в Николаеве в 1929 г. среди других машин была одна старая, заброшенная «Савойе-16». На ней никто не летал. «Леваневский все свое свободное время проводил возле этой машины. Он сам чинил ее, и часто возле старенького биплана можно было видеть начальника летной школы в наклоненной позе, в синем рабочем комбинезоне, промасленном насквозь.

В один из пробных полетов на старой «Савойе-16», омоложенной Леваневским, начался в воздухе пожар. Внизу расстилалось море. Леваневский не мог бросить управление и заняться тушением пожара. В кабине пахло гарью. Дымом резало глаза. Техник, находившийся в самолете, не понимал, откуда и с чего начался пожар. Леваневский сбавил обороты, чтобы можно было разобрать слова, и крикнул технику:

\* Макс Зингер. «Сигизмунд Леваневский, Герой Советского Союза». Изд-во Главсевморпути. 1939 г. Отр. 168. Т. 10 000. Ц. в перепл. 7 р.

— В штурманской кабине, должно быть, воспламенилась ветошь, не иначе. Одевайте рукавицы и выбрасывайте ветошь за борт с подветренной стороны!

А сам круто направил самолет к береговой полосе. Машина была спасена, но на ней долго после пахло едким дымом.

— Вот же толковали, что я зря вожусь с машиной, — говорил довольный полетом Леваневский. — А она, видите, в огне не горит и в воде не тонет. Мы на ней еще полетаем... Мое желание привить вам любовь к материальной части. Это не штука — летать на новых самолетах! Вы попробуйте выжить из такой «Савойи» все, что можно, заставьте и ее послужить родине!..»

В 1933 г. Леваневскому поручили перебраться на тяжелую морскую машину — двухмоторную летающую лодку «Дорнье-Валь» — из Севастополя на Чукотку для ледовых разведок в Арктике. Прилетев из Севастополя в Хабаровск, Леваневский получил новое задание: вылететь на поиски Джемса Маттерна, американского летчика, совершавшего скоростной перелет вокруг света и потерпевшего аварию в Анадырской тундре. На тяжелой морской машине, через всю Сибирь, Дальний Восток, через тундру к американским берегам пролетел Леваневский для спасения Маттерна. В тяжелых, неблагоприятных для полета условиях, сквозь жестокие туманы Охотского моря летел наш советский летчик, и, выполнив блестяще задание, доставил американца на родину. Этот первый большой северный перелет Леваневского сделал его всемирно известным летчиком.

★

...Февраль и март 1934 г. Челюскинская эпопея. Весь мир с затаенным дыханием следил за героическими усилиями советских летчиков по спасению экипажа «Челюскина», высадившегося на льдину в Чукотском море. Леваневский, слушая у себя в Полтаве последние известия и узнав о гибели парохода «Челюскин», немедленно молниревал в Москву о своем желании лететь для спасения челюскинцев. Правительственная комиссия поручила Леваневскому присоединиться к летной экспедиции, возглавляемой Ушаковым. Пролетев через Европу, переплыв Атлантический океан, экспедиция Ушакова закупила самолеты в Фербенксе с тем, чтобы с берегов Америки быстрее добраться к лагерю челюскинцев.

Несмотря на нелетную погоду, при сплошной облачности, Леваневский вылетел с Ушаковым из Нома в Ванкарем.

«... Мокрые хлопья снега, давя машину мертвым грузом, саднились на плоскости самолета, слепили оконце пилотской кабины, и в ней становилось темно, как ночью. Стекло кабины, в которое смотрел пилот, совсем обледенело и потеряло свою прозрачность... Машина отяжелела от большого груза льда... Все приборы, продолжавшие еще служить пилоту, работали лениво, как замерзающий человек, они едва передвигали свои ноги-стрелки. Самолет

проваливался, оледеневая. Высота падала, и высотомер вдруг лихорадочно принимал отметить это падение машины и людей вниз, к скалам и льдам. Тысяча пятьсот метров... тысяча... пятьсот метров высоты. И вот до земли осталось всего лишь двести метров. Если оледенеют рули, тогда конец.

Бортмеханик Клойд Армстед, видя и понимая все происходящее, начал суетливо привязывать себя ремнями к сиденью.

За обледеневшим окном кабины пилота, казалось, была ночь. Пилот ничего не видел сквозь ледяные наросты на стекле. По высотомеру до встречи с землей оставались секунды. Леваневский одной рукой ударил, что было силы, по оконному стеклу. Оно вместе со льдом рассыпалось по кабине. Пилота обожгло ворвавшейся струей морозного воздуха. Осколком стекла порезало руку. Теперь стало видней. Но отчаянно хлестал по лицу липкий снег.

Торосы злобно бежали навстречу машине. Значит, горный район остался за кормой самолета. Леваневский высматривал место для посадки. Здесь, надо льдом, туман кое-где поднялся. Машину потряс сильный удар одной лыжи о торос. Машина, как от трамплина, чуть подскочила вверх. Левая рука как-то стала липкой.

«Не забыть ударить по контакту, чтобы не сделать пожара, если воткнемся в торосы».

Машина неслась вперед с одной лыжей. Следующим ударом о торос Леваневский сбил вторую лыжу. Теперь самолету предстояло садиться на брюхо. Леваневский ударил по контакту. Послышался хрипящий звук скользящего по ледяному полю брюха самолета. В глазах Леваневского все потемнело. Машина пробежала по льду и, слегка развернувшись, остановилась.

— Сигизмунд! Сигизмунд! — тормозил Ушаков Леваневского.

Пилот сидел попрежнему за штурвалом, только лицо его склонилось на самый штурвал...

Недалеко от машины валялись раскиданные по снегу поломанные лыжи. Пропеллер был слегка погнут. Пилот пролил свою кровь здесь, на девственном снегу Чукотки.

«Побежденным себя не считаю» — писал в Москву Леваневский.

★

«... В ярко освещенном Георгиевском зале Кремлевского дворца было людно и шумно. Здесь собрались вернувшиеся со льдины челюскинцы и все семь соколов, семь первых Героев Советского Союза.

— И за границей есть немало известных летчиков, — говорил Сталин, чувствуя Героев Советского Союза. — Они тоже отправляются в рискованные подчас перелеты. Зачем они это делают? Зачем, скажем, совершал кругосветный перелет Джемс Маттерн? Ради чего он рисковал головой?

Для народа? Нет! Он летал за долларом. Его перелет был предприятием чисто коммер-

ческого типа; долетит — получит доллары, не долетит — не получит. А вот зачем летали наши летчики на Крайний Север? Скажем, зачем летал **Леваневский**? Разве мы обещали ему денег, когда он спасал Маттерна или когда он летал к челюскинцам? Он сам вызвался помочь советским людям, оказавшимся на льдине вдали от берега.

Советский герой — это высокоидейный человек, обладающий большевистской твердостью и настойчивостью. Советский герой — патриот своей великой родины. Он готов на величайшие подвиги для блага народа, совсем не думая о личных благах.

За здоровье Леваневского и всех Героев Советского Союза, мужественных, храбрых и достойных сынов нашей великой родины!»

Рассказывая о жизни Леваневского, М. Зингер показывает, что могучим источником этого «высокого героизма является вся наша прекрасная советская действительность. Приведенные в книге высказывания Леваневского — в беседах с товарищами, в письмах — о жизни, природе, искусстве, литературе, его любовь к музыке, отношение к семье, к детям — все это рисует нам жизнерадостный образ нового человека, показывает его непрерывный культурный и идейный рост. Леваневский всегда говорил, писал, рассказывал, что на протяжении всей своей жизни, везде и всегда он ощущал непрерывную, чуткую заботу о себе партии. Возникшее в нем большое сыновнее чувство к партии, к Сталину все росло и крепло. Это чувство Леваневский носил в себе до конца.

Еще в юные годы Леваневский порвал со своей семьей (братом, сестрой, матерью), уехавшими после Октябрьской революции в буржуазную Польшу. Возвращаясь как-то из арктического рейса, он случайно узнал в дороге (в редакции районной газеты) о гибели на территории СССР своего брата, польского летчика Юзефа Леваневского.

«Молчание в редакционной комнате было тягостно. Его прервал Леваневский:

— Мы братья, но пути у нас оказались разные. Я с шестнадцати лет ушел в Красную армию и в девятнадцать уже командовал Дагестанским территориальным полком. А братишка уехал в Польшу. Не удалось мне отговорить его от этого переезда... Жалко, что братишка мой отдал жизнь во имя буржуазной Польши. И мне вряд ли придется на койке умирать... Но, если пробьет мой час, я хотел бы отдать свою жизнь за нашу Советскую страну, за товарища Сталина. Да что я о смерти заговорил! Мы еще летаем...»

Покинутый своими родными, Сигизмунд обрел свою семью в большевистской партии, среди товарищей. Его преданность родине, советский патриотизм вытекали из сознания того, что наша родина — освободительница народов — это родина всех трудящихся. Политическая зрелость Леваневского, его подлинный интернационализм показаны М. Зингером в сцене встречи Сигизмунда с матерью. При возвращении с Лондонской авиационной

выставки Леваневский проезжал через Варшаву, где жил его родные, с которыми он не виделся семнадцать лет.

В Варшаве в вагон Леваневского вошли две женщины. Одна из них, откинув траурную вуаль, бросилась пилоту на шею и стала горячо его целовать...

Старушка-мать, согбенная годами, плакала, слушая рассказы сына о его перелетах... Засматривала в его лучистые глаза, ласкала, будто ребенка, говорила ему самые нежные слова, от которых веяло воспоминаниями детства.

Сигизмунд слушал мать, и перед ним вставали далекие детские годы в Соколке, петербургские вечера и неугомонный стук швейной машинки.

— Мама! — сказал Леваневский, — теперь пришел мой черед сказать вам: бросайте все и немедленно переезжайте в Польшу! Ведь если буржуазная Польша объявит нам войну, то имейте в виду, что я вместе с другими советскими летчиками полечу бомбить Варшаву, и тогда не прогновайтесь!»

★

Выполняя поручение правительства, Леваневский несколько раз ездил за границу, и много месяцев провел в Америке. Его письма оттуда к семье, к товарищам показывают, как остро подмечал он огромное различие — политическое, моральное, психологическое — между людьми советскими и людьми капиталистического мира.

«Ох, скорей бы домой, — писал он жене, — противело здесь все. Америка — это страна в основном людей узкокурных интересов, тугой алчности к наживе. Чем богаче человек, тем скупее. Противно смотреть, насколько могут изуродовать человека деньги. Как счастливы народы Советского Союза, что у них нет нужды и нет в крови этих порочных, омерзительных свойств...»

Леваневского отличало прекрасное качество большевика — скромность. Он вступил в ряды большевистской партии, возвращаясь с челюскинцами в Москву. Преданностью партии, доказательством на деле своего умения беззаветно выполнять ее поручения заслужил он высокую честь состоять в ее рядах.

После исторического перелета Лос-Анжелос — Москва Леваневский, отвечая на приветствия, сказал:

«— Товарищи, по той встрече, которую я вижу здесь, мы вместе с Левченко чувствуем, что сделали вроде что-то хорошее. И мы хотим, если это можно, труд, который мы вложили в процесс перелета, посвятить товарищу Сталину, как и всю свою жизнь».

В этих словах — весь Леваневский.

Книгу М. Зингера, в которой он с такой теплотой, любовью и правдивостью дает образ замечательного летчика и дерзновенного человека, нужно всячески рекомендовать нашему читателю и особенно молодежи.

Е. Шварц.

★

КНИГА О ПРОШЛОМ НАШЕГО СЕВЕРА\*

В нашей литературе существует ряд произведений, рисующих ход революции на окраинах бывшей Российской империи. К числу их принадлежит и новый роман свердловского писателя И. Панова «Урман», в котором изображен уральский Север в первые годы после Октябрьского переворота.

Действие в романе И. Панова разворачивается главным образом в остяцких юртах и в далеком, захолустном рыбацьем селе Полуденном. Насколько мы можем судить, быт как остяков — хантэ, так и зырян — коми и местного русского населения писатель знает не из вторых рук, не по поверхностным наблюдениям. Обилие конкретных подробностей, раскрывающих своеобразие обстановки, в которой приходится действовать героям романа, свидетельствует об этом с неоспоримой наглядностью.

Но интерес, возбуждаемый у читателя «Урманом» И. Панова, отнюдь не исчерпывается интересом к богатому краеведческому материалу. И. Панов сумел создать несколько запоминающихся, художественно обобщенных образов, ярко рисующих попрысающую заботливость, ограниченность и одичалость, которые искусственно поддерживались в дореволюционные времена в районах Севера (и не только в них, разумеется); он сумел показать, с какими колоссальными трудностями столкнулась на первых порах советская власть.

Революция застала еще у остяков остатки родового строя, разрушение которого, однако, зашло довольно далеко. Остяцкие князья и родовые старшины были тесно связаны с русскими купцами и кулаками и беспощадно эксплуатировали своих сородичей. Даже и после установления советской власти многие из этих старшин сохраняли продолжительное время свой авторитет и прежнее влияние.

В своем романе И. Панов вывел одного такого старшину Неунка Локыса, образ которого является, на наш взгляд, несомненной творческой удачей писателя.

«После смерти отца власть старшины рода перешла к Неунку. Слово и дело старшины — закон. Не было случая, чтобы кто-нибудь хоть чем-нибудь нарушил его. Свои амбары Неунко не запирает, — знает, что никто не посмеет взять у него даже иголку. Оленей не метит, невода, снасти, ловушки не сторожит — люди его рода охраняют собственность старшины больше, чем свою. Бывало, Неунко пьяный потеряет кнут. Нашедший, узнав тамгу (знак, мета. — Прим. автора), за много верст привезет его старшине».

Уже по окончании гражданской войны Неунко, устроив праздник, стоивший ему десять оленей, сумел добиться избрания на волостной съезд советов делегатом. И коммунисту Чупину — в первые революционные годы руководителю партизанского отряда и командиру

Красной армии, а затем секретарю райкома — пришлось принять меры, чтобы съезд не выбрал князя в волостполком. Любопытная деталь: тщеславный Неунко, отправляясь на «большой мыр», нацепил на себя старинную медаль, и понадобилось вмешательство одного из его русских «доброжелателей», разъяснившего, что медаль — царская, чтобы заставить старшину снять ее.

Когда приблизилось время выборов делегатов на районный съезд советов, Чупин и другие члены бюро райкома решили провести на съезд вместо Неунка молодого хантэ Николая Пырчина. Когда парень узнал об этом от Чупина, он побледнел от страха: «Чем я провинился перед тобой и советы-законом? К чему губить меня?» С большими трудностями удалось добиться от него согласия выступить против Неунка, но, пишет Панов, «он стал неузнаваем: скучный, неразговорчивый, раздражительный».

И, действительно, кандидатура Николая Пырчина не встретила сперва сочувствия его рода. Отец Николая — старик Ядрей — в разговоре с Чупиным очень точно объяснил, почему народ против его сына.

«— Какой Миколка начальник, — заговорил Ядрей. — Юрта не лучше моей, лошадь одна, и та хромает. Ну, жеребенок есть. Народ не любит таких начальников...»

— Локыса любит?

— Неунка? Как не любить. Хлеба нет — Неунко свой даст, мяса надо — Неунко оленя задавит, а мясо даст. Масла ли, рыбы ли надо, — иди к Неунку, все найдешь...

— Даром?

— Я не сказал — даром. Бог не дает даром, жертву класть надо.

— Какую жертву Локысу народ приносит?

— Неунко — не бог. Ему работа, а не жертва нужна. Неводить ли, ехать ли куда, промышлять итти. Даром! Глядеть будем, много ли Миколка даст даром, если начальником ходить станет».

Немало усилий Чупин и осмелевший понемногу Николай Пырчин должны были затратить для того, чтобы вбить клин между Неунком и хантэ, которые долго не могли привыкнуть к новым порядкам.

Красочно изображена И. Пановым связь между Неунком и кулацкой верхушкой села Полуденного. Русские кулаки чрезвычайно прерзительно относились к жадному, суеверному и не особенно умному старшине и всячески пытались его обманывать, но в то же время старательно поддерживали с ним дружбу и оказывали ему всевозможные услуги.

Большой интерес представляет тщательно выписанная в романе колоритная фигура Матюша Кардашева — кулака и спекулянта новой, так сказать, формации.

Матюш этот — выходец из бедняцкой семьи. Прадед его был повешен, как вожак голодного бунта. Дед всю жизнь был работником у кулаков Квашинных, верховодивших в Полуденном. Отец — Маркел — не захотел

\* И. Панов. «Урман». Роман в двух частях. Свердловское областное изд-во. Свердловск, 1940 г. Стр. 455. Цена 9 р. 50 коп.



пойти в работники к Квашинным, решил стать самостоятельным хозяином, но непосильная работа изуродовала его: после болезни он встал с постели кривобоким, с перекошенным лицом.

Отцовское стремление «выбиться в люди» еще более окрепло у сына. Узнав, «как солона крестьянская жизнь», Матюш пожелала жизни «с сахарком». И ради этого «сахарка», ради своего обогащения он не останавливался ни перед чем. Юношей он ограбил почтальона, вздумавшего хвастать, что он везет казенные деньги. В годы гражданской войны он попытался было скрыться от мобилизации, но попал к колчаковцам, а потом — в бандитский отряд. После разгрома бандитов ему удалось скрыться с золотом, отнятым у богатой купчихи, зверски убитой им. С наступлением зэпа Матюш вернулся в родное село и занялся через Неунку скупкой пушнины. Держал он себя так хитро и маскировал свои спекулятивные махинации так умело, что сумел влезть в доверие даже к Чупину. Но в конце-концов уйти от разоблачения ему не удалось.

Грубее и откровеннее вел себя Андрон Квашинин. Когда на него наложили налог в тысячу двести рублей, взбешенный кулак решил показать себя бедноте. Из рыбачьей артели, в которой он делал, что хотел, забирая себе львиную долю улова, он при помощи своих приспешников выгнал всех бедняков и прежде всего бывшего своего работника — члена сельсовета Никиту Коневских. А когда бедняки организовали собственную артель, в которую привлекли опытного рыболова Маркела Кардашева (отца Матюша, которого сын предпочитал не посвящать в свои дела), то по наущению Квашинина подкулачник Сеня Повариха потопил у них невод. Борьба с Квашинным повела в дальнейшем к организации колхоза и к решению о выселении кулака этого из Полуденного как «вредного элемента». Квашининское же имущество собрание колхозников постановило «взять в неделимый капитал колхоза, как нажитое всем полуденновским обществом».

В изображении патриархальных нравов, господствовавших на Севере до революции, и постепенного их разрушения в годы советской власти и заключается наиболее сильная сторона романа И. Панова. Лучше всего удалась писателю люди простые, живущие по-старинке, с невероятной узким кругозором, ограниченными рамками своего рода или своей волости; отношение этих людей к новым порядкам, устанавливаемым революцией, дано в «Урмане» выгукло и убедительно. Значительно бледнее вышли образы советских руководителей, на которых в первую очередь пала вся тяжесть борьбы за «советы-закон».

Неплохо показан Пановым Чупин. Его преданность делу коммунизма, его большой политический такт сказываются во всех его поступках. Жизнь его сложилась тяжело. Его жена и сын были убиты белогвардейцами. И он остается одиноким, отдаваясь целиком работе.

Неудачен образ старого большевика Львова, который в романе как бы «шефствует» над Чупинным. Описывая Львова, Панов находится всецело во власти штампа. В результате получилась, как говорят в театре, «голубая роль».

Совсем слабо изображены враги, претворившиеся в партию и советский аппарат. Взять хотя бы Алферова, которому уделено в романе сравнительно много места. Сначала он в сводном полку Чупина командует батальоном. Позднее он стал работать вместе с Чупинным, председателем рика, и неожиданно для читателя проявляет оппортунистические настроения. А затем еще более неожиданно выясняется, что он вредитель и взяточник, связанный с самыми крупными кулаками. Все эти превращения Алферова преподносятся автором в порядке констатации фактов, без малейшей попытки конкретно показать, что же представляет собой Алферов и что толкнуло его в лагерь кулачества.

К числу недостатков «Урмане» следует отнести и чрезмерное увлечение автора местными словечками, о которые, читая роман, то и дело спотыкаешься. Если бы всяких этих «пуголов» и «вонзей» было бы меньше, книга только выиграла бы.

Г. Ленобль.

Следует читать:

Страница	121,	строка	10	снизу, «Кру» — глухой
»	171,	»	1	снизу, около метра
»	171,	»	3	снизу, около 160 миллиметров
»	175,	»	22	сверху, задралли все иллюминаторы

Редколлегия: Ф. В. Гладков  
Л. М. Леонов  
В. П. Стаховский  
М. А. Шолохов

Ответственный редактор В. П. Ставский

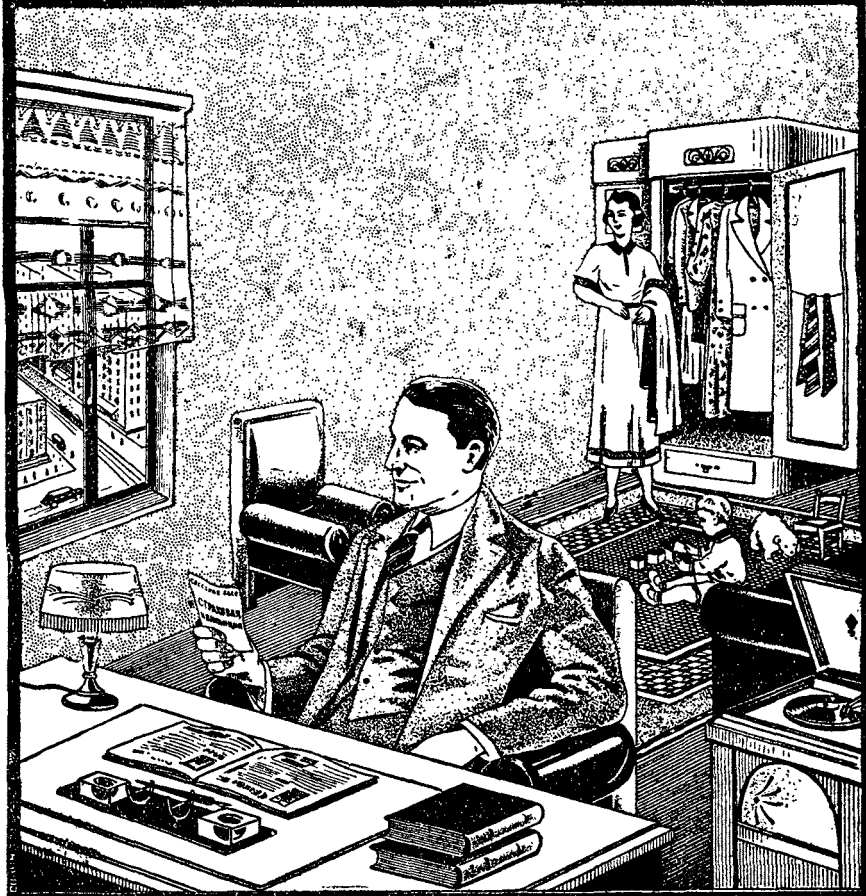
Редакция: Москва 6, Пушкинская площадь, 5.

Издательство: «Известия Советов депутатов трудящихся СССР»

А—31328. Сдано в набор 13/VIII—11/IX 1940 г. Подписано к печати 4/IX—9/X 1940 г. 16 печ. листов. Тираж 80.000. Зак. № 2843. Технический редактор С. Ардашникова.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР», Москва.

ГОССТРАХ С С С Р



## СТРАХОВАНИЕ ДОМАШНЕГО ИМУЩЕСТВА



КАЖДЫЙ ТРУДЯЩИЙСЯ МОЖЕТ ЗАСТРАХОВАТЬ ОТ ОГНЯ И ДРУГИХ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ: обстановку, одежду, белье, швейные машины, радиоустановки, велосипеды, музыкальные инструменты, посуду, книги, сельскохозяйственные продукты и проч.

*Страхование имущества принимается в любой сумме в пределах действительной стоимости по государственным и кооперативным ценам.*

ПЛАТА ЗА ГОД С КАЖДОГО 1000 РУБЛЕЙ СТРАХОВОЙ СУММЫ:

- 1) в городах и рабочих поселках от 1 руб. до 4 руб.,
- 2) в сельских районных центрах и дачных поселках от 2 руб. до 4 руб.,
- 3) в остальных сельских местностях от 4 до 9 руб.

**ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ СТРАХОВАНИЯ. ВЫЗЫВАЙТЕ АГЕНТА НА ДОМ.**

ЗА СПРАВКАМИ ОБРАЩАЙТЕСЬ В ИНСПЕКЦИЮ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРАХОВАНИЯ ВО ВСЕХ ГОРОДАХ И РАЙОНАХ СОЮЗА ССР

Цена 4 руб.

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР»  
Москва, Пушкинская площадь, д. 5.

\*\*\*

ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА НА ОКТЯБРЬ—ДЕКАБРЬ 1940 г.  
НА ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ

# НАША СТРАНА

«НАША СТРАНА» в популярных очерках знакомит своих читателей с географией Советского Союза, отдельных его республик, областей и районов.

«НАША СТРАНА» знакомит читателей с бытом, культурой, историей и творчеством народов СССР.

«НАША СТРАНА» знакомит с борьбой советских людей за овладение силами природы рассказывает о социалистическом строительстве, о создании новых и переустройстве старых городов в СССР.

«НАША СТРАНА» печатает очерки о жизни и деятельности знаменитых путешественников и исследователей, очерки из истории географических открытий рассказы об экспедициях советских ученых и путешественников

Журнал иллюстрируется photographиями лучших фотомастеров. В каждом номере даются цветные вкладыши. Очерки сопровождаются географическими картами и картошками.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА 3 МЕСЯЦА — 7 РУБ. 50 КОП.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: отделениями «Союзпечати» и почтовыми предприятиями, а также уполномоченными по распространению печати на жел-дор транспорте.

**ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1940/41 г.**

НА КАРТОТЕКУ

## „ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО“

**СОДЕРЖАНИЕ.** Жилищное законодательство. Работа управдома и дворника. Учет, отчетность и делопроизводство домоуправлений. Капитальный и текущий ремонт. ПИХО в доме. Опыт мест. Стахановцы жилищного хозяйства.

**СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ НА 1940/41 год — 105 РУБЛЕИ.**

ПОДПИСЧИКИ «ЖИЛИЩНОГО ХОЗЯЙСТВА» НА 1940/41 ГОД ПОЛУЧАЮТ

1. **КАРТОЧКИ**, содержащие правительственные указы, приказы и инструкции НКХ РСФСР, а также разъяснения-консультации, высылаемые по мере опубликования этих материалов и хранящиеся подшивочками в специальных металлических скоросшивателях
2. **«ВИБЛИОТЕКУ ПРАКТИЧЕСКИХ ПОСОБИЙ»**, издания 1940 и 1941 гг. из 9 книг — 1200 стр.
3. Со дня подписки по декабрь 1941 г. **БЕСПЛАТНУЮ ЗАОЧНУЮ ЮРИДИЧЕСКУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ** по всем вопросам жилищного хозяйства с высылкой ответов на неограниченное количество запросов в 3—5-дневный срок по получении запроса

Карточка «ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО» имеющая целью повышение квалификации управдомов и счетовых работников домоуправлений и оказание им повседневной практической помощи в работе рекомендована Наркомхозом РСФСР как необходимое пособие для домоуправлений

ПОДПИСКА ОФОРМЛЯЕТСЯ по получении почтового перевода по адресу Москва, Большая Черкасская 9, Горманшучет НКХ РСФСР (с указанием в бланке перевода точного адреса подшивочкой или перечисляется на расчетный счет Горманшучета № 150178 в Москве в Вауманском отделении Госбанка (ул. Карла Маркса 22), в последнем случае с одновременным заказом.

**ЗАКАЗЫ И ВИСЬМА ПО ВОПРОСАМ ПОДПИСКИ НАПРАВЛЯЮТ** Москва, в Черкасская, в Отдел Распространения Горманшучета.